Какимжан
Казыбаев

Наказ

ЖАЛЫН

Какимжан Казыбаев

Наказ

РОМАН И ПОВЕСТИ

Перевод с казахского
БАХЫТЖАНА МОМЫШ-УЛЫ



АЛМА-АТА
«Жалын»
1982

Каз 2
К 14

Казыбаев Какимжан.

К 14 Наказ: Роман и повести. / Пер. с каз. Б. Момышулы.— Алма-Ата: Жалын, 1982.— 328 с.

Война опалила бедой казахский аул «Алгабас», маленький уголок нашей большой Родины, незваным гостем ворвалась она в глинобитную мазанку Данекера и матери его Кульжамили. Война перечеркнула горькой болью юную любовь Абзала и Торгын, слезами и кровью захлестнула сердце украинки Майи... Давно уже виски обожгло снежной изморозью, а память о прошлом все не отпускает. И тогда рождается книга, главный наказ которой — помнить, ибо память о тех днях достойна уважения.

Роман «Изморозь», повести «Наказ» и «Тайна», родившиеся под пером известного казахского писателя и журналиста Какимжана Казыбаева, открывают перед читателями некоторые страницы суровой истории Великой Отечественной войны.

Каз 2

К $\frac{70303-206}{408(05)82}$ 280—82—4702230200

ИЗМОРОЗЬ

Роман



«На сотни лет эта война останется отправной точкой для всех искусств — от эпопеи и трагедии до лирических стансов».

Алексей ТОЛСТОЙ

ПРОЛОГ

Наконец-то пугливый старческий сон смежил восковые веки Нашекена. Да-а, время взяло свое. Он и раньше был не богатырского сложения, а теперь и вовсе стал похож на лесовичка, вырезанного из темной коры. Некогда темно-русую бороду украсило благородное серебро. Побелела и голова. Я только сейчас заметил, что кожа на его лице стала пергаментной, а о руках и говорить нечего. Как тут не вспомнить слова акына Суюмбая о безрадостной старости:

Мне девяносто, и я устал
И кожей, дубленной на солнце, стал.

Но для меня он остался прежним Нашекеном, и другими глазами смотреть на него я не могу. В годы войны на эти узкие плечи легли заботы целого аула. По тогдашним моим представлениям, Нашекена посылали туда, где было трудней всего. Работал он бригадиром и завхозом, охранял ток и заведовал складом и еще возил зерно на железнодорожную станцию. В то время не было машин, как сейчас. Летом возили хлеб на скрипучих арбах, зимой — на санях. Лето, оно простучит солнечными копытами, и нет его. Только горький привкус полыни на губах остается. А зимой было очень трудно.

Санный обоз отправляли за сто пятьдесят километров на станцию Лепсы. В сани запрягали жеребых кобыл, так называемый

личный скот колхозников. Что касается колхозных лошадей, то бедные животные за лето выматывались хуже рабов на галерах. Куда было их снаряжать в дальнюю дорогу! Была бы душа жива! Вот и приходилось жеребых кобыл гонять. Правда, эта скотина не в пример глаже и сытей колхозных одров, но зато каких трудов стоило вытащить ее с родного двора. Какими только словами не убеждали людей бригадиры и учетчики! А вместо ответа натыкались на детские взгляды — кобыла была кормилицей. Хозяева не поднимали от земли глаз. Дорога долгая, груз тяжелый, риск большой. Что если на пути к хранилищу скотина сбросит плод? Страшно подумать!

Но законы войны суровы. Фронту нужен хлеб. Без крепкого тыла нет фронта. Без хлеба нет победы. Для своих же сынов надо везти хлеб на станцию... А здесь дети... Что делать? И бригадиры с учетчиками действовали двумя способами. В первом случае желали, чтобы вернулся домой сын, по которому уже все глаза выплакали. Тогда смягчалось самое каменное сердце, и добрее становился самый упрямый. В другой раз говорили, что обоз поведет Нашекен. Знали люди и верили, что если ведет обоз Нашекен, то можно быть спокойными за животных. Они вернутся совсем не измотанные дорогой. Этот человек знал норов и возможности каждой скотины и лишний раз не поднимал камчу. Даже если сам он будет дрогнуть в степи, слабое животное не оставит не укрытым. И накормит вовремя. В трудную дорогу Нашекен всегда брал и своих двух кобыл. Это было большой поддержкой слабым. На всем пути до самой станции старику все знакомы, и его хорошо знают. Поэтому ехать с ним интересно, и путь кажется не таким тяжелым. Так говорили люди.

Однажды зимой отправился в путь с обозом из пяти саней и я. Вел нас, конечно, Нашекен. Насколько помню, шел февраль. Очень он был многоснежным. В каждые сани впрягли по две кобылы. Обоз сопровождали трое: Нашекен, женщина по имени Тенге и я. Было мне тогда лет тринадцать-четырнадцать. Отец мой очень любил и жалел животных. Узнав, что в обоз будет взята наша гнедая кобыла, он велел отправляться в дорогу и мне, чтобы присматривать за ней. Бригадир заикнулся было, чтобы вместо меня поехала сноха, она, де, поможет хоть при разгрузке, но отец и слушать не стал.

— Женщина есть женщина. Уж лучше малец, который с пеленок привык ходить за лошадьми,— сказал он.

В общем, тронулись мы в путь. При погрузке от меня никакой помощи не было. Двадцать пять центнеров зерна перетаскали Нашекен и Тенге, вдвоем. И то Нашекен сказал:

— Доченька, женщине вредно поднимать такие тяжести. Уж лучше ты помогай мне взваливать на спину эти мешки, а я как-нибудь сам перетаскаю.

Так и не позволил ей носить зерно. Меня тогда еще поразило, сколько силы таилось в хрупком теле старика.

И вот сейчас он спит передо мной. Щеки его слегка надуваются во сне, и дыхание с шумом вырывается через щель между влажными губами. У меня же сна ни в одном глазу. Время позднее, но ложиться не хочется. Странно, что я до сих пор не думал о том, что в те далекие дни был свидетелем большого народного горя. И теперь Нашекен будто заставил меня вновь перелистать тяжелые страницы дорогой и трудной книги.

...Мы добрались до колхоза «Агарту», который находился за пять-шесть километров от заготовительного пункта Антоновки. На самой окраине этого колхоза есть местечко, называемое Калмык-курганом. Дорога здесь круто падает с холма. С такой крутизны свести вниз сани с грузом в пять центнеров — задача нелегкая. Если лошадь не выдержит и поскачет во всю прыть, то пиши пропало. А надо спускаться очень медленно и осторожно. Нашекен решил сводить сани по очереди. Первая пара розвальней была его, в самой середине шли мои сани, а последние — Тенге.

Конечно, Нашекен знал все препятствия, которые встретятся нам на пути, поэтому он предусмотрительно прихватил с собой крепкий шест. Тенге взяла под уздцы лошадей и повела их вниз, а Нашекен поставил шест под передок саней и шел сзади, притормаживая их движение. В конце концов, с превеликими трудностями сани удалось благополучно свести к подножию холма. Таким же способом спустили и вторые. Третьи — мои. Тенге осталась у задних, потому что Нашекен дал знак, чтобы шел я. «Только натягивай покрепче, изо всех сил»,— предупредил он. Вспахивая снег каблуками, он налегал на шест. Вот уже благополучно миновали полпути, когда я вдруг почувствовал, что не выдержу напряжения. А тут еще ветер рвет вожжи из рук, да наша гнедая все порывается вперед и вперед. Руки мои затекли и устали. А-а, будь что будет! Я выпустил веревку, и кобылы сразу понеслись как на крыльях. Снег из-под копыт бьет мне в лицо. Я прикрываю глаза рукавом и уже не вижу отставшего Нашекена. Груженые розвальни не дают остановиться испуганным кобылам. Дико свистит ветер. Смутно доносятся какие-то возбужденные крики. Теперь уже сани «взбесились» и все гонят и гонят перед собой обезумевших лошадей. Я падаю лицом в снег. Если бы на меня упал мешок с саней, то крышка. Но весу во мне было мало, и я отлетел на порядочное расстояние. Дышло розвальней переломилось пополам. Задняя нога гнедой кобылы осталась под санями, и она, бедная, бьется, пытаясь высвободиться. От ее бурного дыхания разлетается снег. Что со второй кобылой — неизвестно. Ее за санями не видать.

Тут подоспел Нашекен, бледный весь, а в глазах тревога. Во всем виноват я, уж это бесспорно. Поэтому я шмыгаю носом и молчу, не поднимая глаз от земли. Снег, что набился мне за ворот, тает, холодные струи бегут по спине и по животу, но я долго

не замечаю этого. Нашекен уперся плечом, поднатужился и поставил сани на полозья.

— Чу! Чу! Родимые!— закричал он, поднимая животных. Но кобыла, которая только что бесилась и рвала недоуздок, лежит не шевелясь. Я задрожал от ужаса. Неужели она подыхает? Ведь и она была кормилицей целой семьи. Нашей семьи. Отец все лето не слезает с седла, охраняя колхозные посевы. Дрова на зиму, сено для скота — все заготавливает он на этой лошади. А если нужно ехать на мельницу, то опять же запрягаем ее. Что же нам делать, если с ней что-нибудь случится? Эти мысли — как лед на сердце. Я то и дело вздрагиваю, а глаза сами наполняются слезами. Не помню, как очутился рядом с Нашекеном, вопя изо всех сил:

— О Нашеке, что же теперь делать?!

Не успел я сказать эти слова, как сам испугался. А вдруг он закричит: «Сам виноват! Чего же ты хочешь от меня?» Щеки мои вспыхнули, как от пощечин. Я стою и жду, когда же Нашекен бросит мне в лицо эти страшные слова. Но он молчит. Ухватившись за недоуздок, он пытается поднять гнедую, приговаривая свое неизменное «чу!».

И вдруг... О чудо! О радость! Гнедая вскочила на ноги и, слегка приволакивая заднюю, пошла. Сама пошла. Встряхнулась и пошла.

— Благодари всевышнего, мой мальчик! Скажи «тауба». Ох, как я испугался! Думал, она хребет сломала. Ну, теперь, если не сбросит жеребенка, то все в порядке. Да и самого тебя спас аллах.

В тот день мы ночевали у одной из родственниц Нашекена в «Агарту». А наш аул всего в восемнадцати километрах отсюда.

Рано утром я вышел из дома, и лютый мороз тут же перехватил мне горло. Защипало глаза, уши, нос. Я прошел во двор, но на том месте, где мы вчера сбросили сено для лошадей, гнедой кобылы не было. Не видно и Нашекена. У гнедой был вздорный и драчливый характер. Может, Нашекен привязал ее отдельно? Я прошел дальше. Но и здесь кобылы нет. Это меня очень удивило, ведь остальные-то лошади были на месте. Что за наваждение?

Через некоторое время из-за холма на окраине аула появился конный. Солнце поднялось на высоту курука[1]. Степь, покрытая снежными волнами, кажется могучей рекой. Сказочными огнями переливаются ее струи, вспыхивают и гаснут на гребнях серебристых волн. От этого великолепия, от свежести и солнца я задохнулся. Неописуемый восторг охватил все мое существо. Радостно всмотрелся я в конного и узнал в нем Нашекена. Под ним резво бежала его же кобыла, которую он перед походом оставил в ауле. Тогда... где же гнедая? Земля, что ли, поглотила ее?

---

[1] Курук — длинный деревянный шест с веревочной петлей на конце, применяемый при ловле лошадей.

Нашекен, видимо, заметил мою растерянность и еще издали заговорил:

— Что, милый, кобылепку потерял? Ну-ну, не расстраивайся, она в надежных руках. Отцу твоему вручил целой и невредимой. Дома твоя гнедая. А взамен, видишь, пегую привел. Чем она хуже?

Только теперь я понял, что после вчерашнего происшествия Нашекен серьезно встревожился и, так как путь предстоял неблизкий, решил не искушать судьбу, а отвести гнедую подобру-поздорову домой, и словно сам во всем был виноват, привел свою лошадь. Эх! А виноват-то я... Будь на месте Нашекена кто-нибудь другой, ни за что бы так не поступил. Взял бы просто и запряг кобылу снова в сани. Или бригадиру все уши прожужжал бы, жалуясь на меня.

До станции Лепсы мы добрались с двумя ночевками. В тех домах, где оставались на ночь, Нашекен первым делом устраивал на отдых Тенге и меня, а сам не ложился, где-то пропадая подолгу. Оказывается, за лошадьми ухаживал, корм подсыпал, укрывал их... В дом он входил весь в клубах морозного пара, с заиндевевшими бровями. Сапоги его так скрипели, что казалось, вот-вот развалятся прямо на ногах. Не успевал Нашекен разуться, как голенища уже запотевали в тепле и по ним сбегали тонкие струйки воды. А мы в это время обычно успевали отогреться и сидели разнеженные, розовые, наслаждаясь теплом и покоем. Щеки горели и пощипывали. Слегка покалывало в кончиках пальцев.

Тенге — миловидная женщина с гладкой смуглой кожей. Лицо ее обветрилось на морозе, но не потеряло привлекательности. Когда входил Нашекен, она легко поднималась ему навстречу, сама не замечая изящества своих движений. «Сохрани аллах от женщины, которая продолжает сидеть как квашня, когда входит мужчина»,— говаривала моя мать. Видимо, вежливость и уважение к мужчине были в крови у Тенге. Кроме того, не было в нашем ауле женщины, которая бы не уважала Нашекена, и все, кто был моложе его годами, считались его снохами.

Не сидел на месте и я. Гремя кожаными штанами, неуклюже поднимался. В глубине души, думаю, Нашекен был доволен нами.

— Пусть и вас ждет почет в будущем. Дай вам бог счастья,— тепло благодарил он нас.

Во время второй ночевки Нашекен раскрылся мне совсем с другой стороны. Я считал его человеком неразговорчивым, а он оказался интересным собеседником. Хозяин дома был одного с ним возраста. До поздней ночи они вели разговоры. Впрочем, хозяин просто поддакивал да кряхтел от удовольствия, а говорил больше Нашекен. Вполголоса, мягко и задушевно строил он свой рассказ, и в речи его было много красок, самых разнообразных. Слова становились ощутимыми, живыми. Я чувствовал не только основные тона, но и нежнейшие переходы, ощущал мелодию их

и трепет. А Нашекен все говорил и говорил, и плавным был его голос, в котором все время слышалась забота о нас:

— Детей бы не разбудить... Намерзлись, устали...

Становилось до слез сладко от стариковской заботы, и легкие сны порхали над нашими головами, и очень хотелось сделать что-нибудь особенное, доброе для этого человека.

Беседа текла как медленная река, и в струях ее можно было услышать плач женщин и детей, негромкие, твердые голоса аксакалов, гневные нотки в речах джигитов. А то шелком прошуршит ласковый девичий голосок или крик осиротевшего ягненка...

Судя по всему, разговор шел о войне, о трудных для народа временах. Нашекен рассказывал хозяину аульные новости. Все о том же: кто пишет домой, а от кого давно нет вестей, в какой дом пришла черная бумага, а какой дом проклятая похоронка пока обошла.

— О дуние![1] Если б были мужчины дома, молодухи бы рдели как ягоды, и белые руки их светились во мгле призывно и сладко. Разве этими руками таскать тяжелые грубые мешки? Разве этим нежным ножкам шагать по ледяной дороге, понукая кобыл?

Я понял, что речь зашла о Тенге.

— Аллах ниспослал на великий народ великие испытания. От ее мужа давно нет писем. Среди самых искусных и ловких джигитов был он первым. А как любил работать! Любое дело ему по плечу. И все-то он делал с радостью. Глядя на него, всем хотелось работать с праздником в сердце. Ох и дьявол!

Последние слова Нашекена хорошо известны мне. Свое восхищение он всегда выражает словами: «Ох и дьявол!»

— Ойбай-ау! Да я же знаю Ахметжапа. Так эта молодуха его жена? Вон оно что...

Глаза у меня то слипаются, то вновь широко раскрываются. Так хорошо под теплым тулупом, в каждой ворсинке которого прячется сон, но лучше всякого сна эта беседа.

— Вот и этот ребенок. Родители потели от страха, когда он кашлял, старались повкусней накормить, первым его шагам не могли нарадоваться, а залопотал — и вовсе их счастливыми сделал. Брат у него был в районе на большой работе. А вот, пришло время — и солнечное детство к закату. Станет взрослым, начнет детство свое искать, а было ли оно, детство-то? Косточки еще не окрепли, а тоже на помощь взрослым: лошадей распрячь или корму подбросить, да мало ли чего... Не заболел бы малец на лютом морозе. Как тогда его родителям в глаза смотреть станешь? А своей совести что скажешь? Ну, бог даст, обойдется. Дни, слава аллаху, стоят ясные, солнечные. Упаси нас, создатель, от бурана в открытой степи! Особенно тревожит меня эта мрачная низина за Мариям. То ясно там, то неожиданно налетит бешеный ураган. Дурное место...

[1] О мир!

— А есть ли вести от Данекера Кульжамили? Как у нее, бедняжки, дела?— спрашивает хозяин.

— Давайте продолжим беседу чуть позже, почтенный,— просит Нашекен, вставая с места.— Лошадок проведаю, сенца подброшу.— С этими словами он и выходит. А когда возвращается, я уже крепко сплю.

Утром хозяин дома угостил нас чаем с жареной пшеницей. Нашекен велел выложить на дастархан булку хлеба из дорожных припасов. Животы наши стали тугими от чая. Когда наконец мы вышли из дома, то казалось, сам воздух хрустел от мороза. И снова дорога, все вперед и вперед...

...Вот он, тот самый Нашекен. С тех пор наметом промчались двадцать семь быстрых лет. И если тогда я был подростком, то теперь меня уже никто не назовет юношей и даже просто молодым человеком. А Нашекен был одним из тех людей, которых мне давно хотелось повидать, и я, признаться, даже скучал по нему. Кто мог подумать, что ему в старости суждено гостить в моем доме? И я этому рад. Нашел аксакал меня в Алма-Ате и, чувствую, доволен этим. Если б дал мне знать, я и встретил бы его сам. Мы не переписывались, но не похоже, чтобы он совсем не знал, чем я живу. Видимо, интересовался, следил за моей судьбой. Мне часто передавали от него приветы. Значит, не забывал. Как никогда не забывал о нем и я.

Одет Нашекен очень чисто и опрятно. Верхние пуговицы белой косоворотки расстегнул. Грязную дорожную тюбетейку спрятал в сумку, а взамен достал праздничную, бархатную. Я постелил на пол специально для него войлочный ковер и шелковое стеганое одеяло.

— Зачем ты беспокоишься? Мы ведь тоже научились сидеть на высоких стульях,— с улыбкой пошутил аксакал.

Все-то ему к лицу. Ни одного лишнего слова. Да, это все тот же Нашекен. Он чувствует себя свободно, словно приехал к сыну, и в то же время скромно, как это и положено в гостях. Скромность и непринужденность. Эти его достоинства пришлись по душе и моим домашним, видевшим его впервые.

На кухне он с интересом наблюдал за голубым пламенем газовой плиты. Порасспросил, откуда идет газ, как распределяется по квартирам. Долго смотрел на город с четвертого этажа, совершенно потрясенный открывшимся видом.

— Слава аллаху, родной, слава аллаху. Как жаль, что твой покойный отец не увидел всего этого! Он бы порадовался. Какой труженик был! Бывало, позовут работать — он отодвинет в сторону недопитый чай и идет. За честную душу и подарил ему аллах вас. Отец не увидел, зато узрел я, его знавший. Довелось и погостить у тебя. Будьте счастливы, держитесь за родную власть; благодаря ей живем мы в радости и достатке. Тауба! Благодарю тебя, всевышний, за то, что дал узреть мне эти дни.

Я заметил, что с самого приезда Нашекен не устает повторять

«тауба!». Мне очень хотелось побеседовать с ним наедине. Хотелось посидеть у его ног и без конца слушать о настоящем и прошлом, о земляках и об ауле, по которому давно скучаю. О горных цветах, о мятных травах, о запахе жусана, о детстве, которое не мог найти... И вдруг показалось мне, что этот человек привез с собой... мое детство.

Я приставал к нему с расспросами о тех стариках и старухах, которых когда-то знал. Кто из них жив, а кого уже нет? Кто остался после них, какая новая поросль, какие люди? Все мне хотелось знать. Я даже сам был удивлен. Вспомнил и ту далекую зимнюю ночь, и россыпь неторопливых слов, и теплый голос, и живое молчание. Мне кажется, что сейчас он говорит еще лучше. Да, река его речи стала спокойнее и глубже. Те времена, оставившие не один рубец в сердце Нашекена, внезапно больно ударили и меня. Мы долго беседовали и в разговоре коснулись судеб Кульжамили и сына ее Данекера.

— Ты же видел бурого козла, а?— начал Нашекен.

— Еще как видел!

И он заговорил ровным, тихим голосом, уютным и теплым, как золотой уголек. Я внимательно слушал...

— Старики страдают многословием, а у тебя завтра работа. Не выспишься, будет нехорошо.

Я согласен с ним, но сна теперь ни в одном глазу. Он уснул, а я все сижу. Почему меня так взволновал приезд старика? Давно угасла беседа, но я продолжаю ее наедине с собой. Нашекен вздыхает в глубоком сне, а я погружен в свои воспоминания.

Те вихревые и грозные дни вошли в мое сердце суровой песней, и я знаю, что она смолкнет только вместе со мной...

ГЛАВА ПЕРВАЯ

— Ты же видел бурого козла, а?

— Еще как видел!

Они вернулись, эти слова. Вернулись и увлекли меня далеко за собой. Думаю, они-то и подняли такую бурю в моей душе.

Да и как забыть? В один день пришли повестки сразу семнадцати джигитам. Войны еще не было, спокойные облака плыли на запад. И все же печален аул. Грустны люди. Хмурятся мужчины, плачут женщины. Только сами призывники веселы. Они ходят друг к другу в дом и утешают близких, отцов и матерей.

— Дело ли — слезами сына провожать? Три года пролетят незаметно. Даже оглянуться не успеете, как мы вернемся домой.

Призыв в армию сделал парней общими баловнями. Всякий найдет для них ласковое слово: старики и старухи, молодухи и девушки, и даже дети. Казалось, что-то предчувствовали люди, балуя вчерашних сорванцов. Или станет пусто в ауле без их озор-

ства? Какое ж теперь веселье на свадьбах? Эти ребята были застрельщиками всех забав, цветом и гордостью аула. Они мерялись силой в борьбе. Пели лучшие песни, будоража темными ночами аульных собак. Они ставили пьесы и тащили людей на представления, не слушая никаких ссылок на усталость. Среди них были и свой Кодар, и свой Тулеген, и свой Козы, и свой Жаптык[1]. Не знаю почему, но всегда казалось, что только ими живет аул. И вдруг — все они уезжают разом.

Что говорить о родных и близких, которым сам бог велел любить этих юношей, когда даже те, кто не был связан с ними кровным родством, ходили подавленные. В тех домах, куда пришли повестки, вовсю кипела подготовка к проводам. В ступах дробили тары[2], готовили сытный талкан[3]. Соседи принимали во всех приготовлениях самое деятельное участие. Одни жарили просо, другие бойко стучали пестиками, третьи помогали резать скот, а четвертые пекли баурсаки.

Все призывники, за исключением одного-двух, веселые холостяки и едут на службу с легким сердцем. На проводы колхоз ничего не пожалел для ребят, даже выделил двух-трех баранов.

Много было сказано в ауле правильных и утешительных слов, но все они не задели сердца старой Кульжамили. В тот день, когда Данекер получил повестку, она вцепилась себе в волосы, расцарапала в кровь лицо и так принялась голосить, что ее не могли унять до самого возвращения в аул стада с пастьбы.

— О несчастный! Лучше похорони меня своими руками, прежде чем уехать. Что я буду делать без тебя, единственный мой, какой радости ждать?! Даже невестки мне не оставил, как другие...

Данекеру неловко было слушать вопли матери. Ему казалось, что все люди смотрят в их сторону. Воспользовавшись суматохой, оставленные без присмотра козлята живо нашли своих маток и прилипли к сладким соскам. А Кульжамиле хоть пропади все пропадом, будто началось великое светопреставление. У ее дома собрались почти все аулчане, но никто так и не осмелился сказать ей ни слова. Грозной, как медведица, была старуха. В гневе она страшна, и не было еще случая, чтобы кто-нибудь мог одернуть ее в такие минуты. Каждый из присутствовавших с радостью бы взял у нее повестку и оставил Данекера дома. Но такой власти никому не дано. Что было делать? Увидев множество людей, Кульжамиля разошлась еще пуще. Почти дикими стали ее крики. Данекер от стыда чуть сквозь землю не провалился. Горькие упреки, обидные и злые слова готовы были слететь с его губ, но он сдержался. То ли уважение к старшим, привитое с детства, то

[1] Герои казахских пьес.
[2] Тары — просо.
[3] Талкан — густая каша, приготовленная из жареной пшеницы или пшена.

ли жалость к матери, которая теперь останется одна, удержали его, но он промолчал. Молчали и люди.

— У кого-то есть брат, какие-никакие родственники. А у этой бедняжки никого. Одна, как перст,— вздыхали аулчане.

Но прошло совсем немного времени, и слезы ее высохли. Глядя на нее, никто бы не поверил, что эта старуха только что готова была обрушить небо на землю. Не поверил бы никто, кроме аулчан. Уж они-то хорошо знали прав Кульжамили. Она вся была как сильная, но кратковременная гроза и столь же кратковременное затишье. Старуха, которая только сейчас сидела в озере из собственных слез, вдруг прыснула в ладошку. Виновником такой перемены оказался друг сына Мукатай, у которого, кстати, тоже лежала в кармане повестка. Характер Кульжамили знаком ему давно. Услышав вопли, он понял, что старуха снова устроила «концерт», и потому не медля прибыл на место события. Явившись, Мукатай громко скомандовал всем присутствующим:

— Смирно!

И тут же принялся маршировать парадным шагом перед ошарашенными аулчанами, резко отбивая рукой счет и выкрикивая звонким голосом:

— Ать, два! Ать, два!

Потом он вытянул руки по швам, замер, держа равнение направо, соединил носки вместе, а пятки расставил. Поза была нелепейшей. Вид джигита и насмешил старуху. А Мукатаю того только и надо. Он знал, что теперь-то река войдет в свои берега.

Старуха уперла руки в боки и, оглядывая пронзительным взглядом притихших женщин, сурово сказала:

— Нечего тут глазеть, мокрохвостые! Не на свадьбу мою явились. Берите-ка тары да поработайте! Нет у меня пока снохи, чтобы за вас это делала.

Женщины сразу загомонили, засуетились. Одна вынесла кошму и расстелила ее прямо перед домом, другая притащила тяжелую ступу, третьи выволокли мешок с просом. За одну ручку пестика взялся Данекер, другую предложил Мукатаю, но тот лишь хитро улыбнулся.

— Я не холостяк, который ночами собственные колени гладит. В моем доме есть кому заняться просом,— и с этими словами выскользнул из толпы.

Люди знали, что эти двое всегда подшучивают друг над другом, порой даже очень жестоко. Но все молчали, боясь нового взрыва чувств взбалмошной Кульжамили. Однако старуха услышала слова Мукатая и злорадно посмотрела на сына.

— Досталось тебе, дураку? Выбирал себе жену, как арбуз на базаре, вот и остался с носом. Так тебе и надо!

— Апа, ты всегда держишь сторону Мукатая. Увидишь, я со службы домой такую красавицу-матрешку привезу, что все ахнете. Волосы у нее будут, как золотая пшеница, губы, как розовые цветы, глаза глубокие и синие, как озера.

— А-а-а, вот о чем ты думал и молчал! Хорошо. Вези хоть шайтанову дочь, лишь бы хозяйкой была в доме.

Настроение старухи поднялось. В это время и работа пошла веселей. Данекер толкался среди трех молодух. Рубашку он скинул. Штанины засучил до колен. Босой. Мать украдкой посматривала на сына. Она все еще считала его маленьким, а он, оказывается, вон какой вымахал. Плечи широкие, под гладкой кожей бугрятся сильные мышцы. Узкобедрый, с выпуклой грудью. Такой же, как отец, высокий и широкобровый. Пестик в его руках будто игрушечный. Быстрые и горячие взгляды бросает он на молодух, и те опускают глаза. Далеким и радостным повеяло на старуху. Мать замечала, что сын ее выделяется бойкостью даже среди самых горячих сверстников. Он организовывал все молодежные вечеринки в ауле. А она, считая его ребенком, частенько заявлялась на такие сборища и гнала Данекера домой. Его друзья прощали старухе брань и даже затрещины. Мало того, они любили незлобивую, крикливую старую женщину, чувствуя, что и она любит их всех. А теперь Кульжамиля жалела, что все время лишала сына каких-то радостей. А он, оказывается, вон каким джигитом стал. Только сейчас открылись ее глаза. Неужели это повестка сделала сына за один день взрослым? Сколько бы старуха ни кричала на него, какими бы оплеухами ни награждала, Данекер ни разу не огрызнулся даже. Она гнала его перед собой с какой-нибудь вечеринки, как заблудившегося ягненка, и он покорно шел, словно было ему пять лет. На сердце матери вдруг стало горячо и больно. Зачем она была так строга к единственному сыну?

Кульжамиля не выдержала. Она встала и, подойдя к Данекеру, поцеловала потную ложбинку на спине сына. Молодухи весело рассмеялись и опустили пестики.

— Моя мама — то зной, то стужа,— смутился Данекер, но в голосе его слышались горделивые нотки.

— Ты хотел сказать, что твоя мать сумасшедшая старуха? Так бы и говорил,— пошутила Кульжамиля и, взяв в горсть очищенного тары, добавила: — Я сейчас провею его, а потом вы будете дробить. Дробленое тары вкуснее, и его можно дольше хранить.

Слова старухи пришлись всем по душе. Лица осветились улыбками.

Баран к тому времени был освежеван, вкусно шкворчал в казанах куырдак из печени и почек.

— Спасибо народу. Если б не вы, то разве я успела бы собрать так быстро своего Данекера? Напрасно, выходит, называла его одиноким. Тауба! Прости глупую старуху со злым языком! Откуда взяться разуму в старой голове? Разве не помешаешься тут от этой бумаги, которая хочет забрать от меня сына? Всем вам досталось, а? Так и вы, люди, простите старуху, прошу вас!

Кто знает, какую боль носила в сердце женщина? Эта боль заставляла ее говорить без умолку.

— Увидите, я не буду завтра плакать, провожая Данекера. Бог свидетель, не буду. Разве дело — сына слезами в дорогу провожать? Не такая уж я дура, как вы думаете... Нет. Кульжамиля еще не то видела в своей жизни. На моих глазах враги зарубили отца моего мальчика. Прошли годы, а мне все кажется, что вчера это случилось. Данекеру в ту пору только годик исполнился. Что было делать? Стиснула я зубы и стала малыша растить. А теперь, сами видите, живем не хуже других, еще бы лучше жили, но вот...— Она замолчала, глубоко о чем-то задумавшись.— Но нет! Я не заплачу! Никто моих слез не увидит. Ох, несчастная моя голова, зачем я только начала этот разговор! Ну, вот что, отдохните, родные мои, подкрепитесь. Я вижу, все готово, осталось только в коржун[1] сложить.

Но молодежь раззадорилась. Звонко стучали пестиками. И тогда Кульжамиля прикрикнула:

— Я кому сказала?! Бросьте сейчас же!

Работавшие побросали свои пестики где попало и пошли умываться.

В это время уже сгустились сумерки, и аул утонул в голубом тумане. Синий дым от горьких кизячных костров, пыль, поднятая возвращающимся стадом,— все это вместе соткало полупрозрачную кисею. Краткое, как искра, и призрачное, как сказка, видение; вот подул с юга ветер Бесбаксы и прохватил аул сквозняком. Этот ветер, который всегда дожидался сумерек, захода горячего солнца, был хорошо знаком здесь и грудному младенцу, и дряхлому старику.

Много в народе ходило легенд о Бесбаксы. Особенно часто рассказывали одну.

Пять поколений баксы[2] лечили людей от лунатизма, заставляя несчастных спать в открытой степи. Ветер никогда не поднимался днем. Но едва скрывалось солнце, вылетал он из ущелья, спеша, как полночный вор, а чуть занимался рассвет, снова возвращался в темное свое логово. Летом в ауле никто не спит в душном доме. Люди стелят постели на свежем воздухе, и сны им приносит горный ветер на тугих и прозрачных крыльях. Люди спят. Иногда только вскрикнет девушка от укола в сердце. Значит, ей привиделся первый сон о любви.

Выходят из хлевов коровы и всю ночь лежат, повернув морды к ветру, раздувая ноздри, вдыхая свежие первобытные запахи, принесенные из каменных пещер. Какие им снятся сны? Тучные, сочные травы? Грубые человеческие руки, которые впервые решились подоить корову — праматерь, дрожащую, испуганную и... счастливую? А может, снятся коровам крутолобые смешные и

---

[1] Коржун — переметная сума.
[2] Баксы — знахарь.

милые телята? Кто знает... Но люди говорят, что здесь, в отличие от других мест, коровы тучней и щедрей на молоко из-за этого самого ночного ветра. Мягкий и ровный, он никогда не бушует, неистовство не в его характере. Он очень спокоен, ласков. Даже суровые зимние морозы смягчаются, когда дует этот ветер. Но не повезло ему с именем. Так и назвали в память о пяти колдунах-знахарях — Бесбаксы. А впрочем, доброе имя в руках людей. Было когда-то почетным и славным имя Баксы, врачевателя и мудреца, певца и бессребреника. Но в грязных руках шарлатанов и плутов оно потеряло свой блеск.

Ветер ласкал и гладил людей, собравшихся за куырдаком у Данекера. Перед дверью лежал серый кобель, изнывая от аромата свежего мяса, так вкусно поджаренного. Ноздри пса трепетали, а в глазах билась голодная волчья тоска. Косясь на виляющий хвост собаки, замерли у кизячной пирамиды козы.

* * *

Следующий день выдался облачным. Вчерашний зной заметно пошел на убыль. Облачным было и настроение людей. Три арбы, запряженные парами лошадей, выстроились в ряд на центральном дворе. Председатель Ахметходжа не пожалел на этот раз лучших колхозных лошадей. В передней упряжке каурый великан, красавец-жеребец. Не часто доводилось людям видеть его запряженным. Во второй красуется гнедой конь. Он не так статен, как каурый, не так виден собой, но зато не знает себе равных в беге, будь он при санях или в тележной упряжке. Поэтому председатель держал его для себя.

Некоторых удивило, что Ахметходжа велел запрячь этих двух жеребцов. Каурого даже пригнали из табуна. Это особенно раздосадовало табунщика.

— Неужели других лошадей не нашлось? Что за ужас? На свадьбу, что ли, едут? Недаром говорят, у кого голова не болит, тот и бога не поминает...

Одни слушали табунщика, другие отмахивались. А он все ворчал:

— Бедные животные, что с ними станется, когда вернутся. Восемьдесят километров до районного центра — путь не близкий. А разве подвыпившая молодежь станет жалеть скотину? И как этого не понимает председатель?! А еще народом руководит!

Причитания табунщика слышал и Нашекен, который в это время внимательно осматривал хомуты, упряжь, колеса и оси. Подготовить выезд ему поручил председатель Ахметходжа, хорошо знавший, что за порученное Нашекену дело можно больше не беспокоиться. Сам Ахметходжа с активистами колхоза ходил по домам отъезжающих. Со стороны казалось, что жители аула наносят друг другу визиты и сами принимают гостей, как во время айта, праздника правоверных мусульман. Там и здесь соби-

рались группами люди. Особенно многолюдно было у домов будущих солдат.

А табунщик, кажется, ничего не замечал. Он все ходил возле коней и всплескивал руками, ахал и причитал. Так ему жалко было отдавать каурого.

— А если я заберу сейчас хомут и вожжи, не расстреляют же меня, в конце-то концов? Или голову отрубят? Тоже мне, всё орут «колхоз, колхоз», глотки надрывают, а единственного стоящего жеребца не жалеют. Где это видано, чтобы такого аргамака в телегу впрягали?

Нашекен тут не выдержал:

— Эй, Тлемис, я молчал, а ты все не унимаешься. Завтра призовут и твоего сына. Подумай сам, как приятно будет ребятам промчаться по улицам райцентра на этих красавцах. Может, все три года службы они будут с гордостью вспоминать, как сумел их проводить колхоз. А ты что, хочешь опозорить наших детей — дать полудохлых кляч? Перестань причитать! Ничего с конями не случится от одной поездки.

— Ладно. Раз уж вы сказали, так тому и быть, Нашеке. Пропади он пропадом, этот жеребец! Всё! Я кончил. Дай бог здоровья детям!

— Зачем же коня проклинать? Конь тоже нужен. И дай нам бог побольше таких скакунов. Но следует помнить и о детях, об их настроении. Ахметходжа неглуп. Он подумал об этом.

— Не знаю сам, что это на меня нашло. Плакать хочется, Нашеке,— сказал Тлемис, оглядывая собравшихся из-под руки.

Нашекен коротко рассмеялся и пошел прочь, в сторону дома Кульжамили.

Солнце стояло высоко, и некоторые призывники уже двинулись к повозкам. Из домов доносился плач. Это горько причитали женщины. Носовые платки старух промокли от слез, и теперь они вытирали глаза кончиками кимешеков[1].

Подойдя ближе, Нашекен заметил, что у дома Кульжамили собралось особенно много народа. Он забеспокоился. Как бы взбалмошная старуха не учинила очередной скандал. На душе у Нашекена тяжело. Он шел, обдумывая слова, которые успокоили бы старуху. С другой стороны к дому подходил председатель колхоза вместе с сопровождавшими его людьми. Среди них были и изрядно захмелевшие от угощения. Если не выпить в каждом доме, то хозяева обидятся. Особенно крепко «наугощался» плоскопосый бухгалтер Ешмухан. Растянув рот до ушей, он радовался каждому слову, будь то веселая шутка или печаль, вызванная расставанием. Ахметходжа по рассказам знал про выходки старухи Кульжамили. Его тревожили те же мысли, что и Нашекена. Увидев Нашекена, председатель искренне обрадовался. Он облегченно вздохнул, словно с плеч его свалилась гора.

[1] Кимешек — женский головной убор.

— Чудеса! Матушка-то наша — стойкий человек. Ни слезинки не пролила. Да-а, у старых людей есть чему поучиться. Крепкий народ, очень крепкий. А что толку от слез? Не в ссылку же едут ребята, а служить в рядах защитников отечества, выполнять свой гражданский долг. Эх, люди, не мне бы о вас плохо говорить, да вы порой из мухи слона делаете.

Завидев председателя, женщины осушили слезы. Старухи одна за другой принялись обнимать и целовать Данекера. Заметив руководителей колхоза, парень вырвался из объятий и пригласил гостей в дом.

На дастархане дымились два больших блюда с нетронутым бесбармаком. Множество жирных баурсаков, разбросанных по скатерти, словно светились изнутри. Пока вновь пришедшие располагались за столом, большинство женщин вышли на улицу. Данекер вопросительно посматривал на мать. Ему хотелось налить гостям по чарочке, но он никак не решался. Парень хорошо знал, что при одном упоминании о водке волосы Кульжамили становятся дыбом. Но помог бухгалтер Ешмухан, он усиленно принялся что-то искать на дастархане, не обращая внимания ни на мясо, ни на баурсаки.

— Светик мой, Данекер, угости гостей современной пищей, коли нельзя без нее. Что поделаешь, раз так принято. Сегодня такой день, что я ни в чем не могу тебе отказать, даже если захочешь собственноручно поджечь дом,— сказала Кульжамиля.

— Дело другое! Ах, эти старые люди...— удовлетворенно заметил Ешмухан и, засучив рукава, подсел к блюду. Хоть и пьян был, а запомнил слова председателя. Посчитал своим долгом напомнить их.

Ахметходжа как вошел, так и не отрывал взгляда от Кульжамили. Она намотала на голову новый пышный тюрбан-кундик, словно собралась на праздничный той. Кимешек ее украшен чудесной тонкой вышивкой. На ней синий сатиновый чапан, который туго перетянут в поясе коричневым платком. Держится старуха прямо, ходит гордо и на всех посматривает немного свысока, словно тьма поколений ее предков привыкли повелевать и в жилах ее струится голубая кровь. Глаза у Кульжамили пронзительные, пытливые. Кажется, она умеет читать самые сокровенные мысли собеседника. Горящими очами она обводит гостей, и, право, этот взгляд мало располагает к фамильярности. В тех словах, что она сказала сыну,— великодушие и терпимость, широкие, как сама степь. И щедрость. И душа. И ум... А когда услышала она слова Ешмухана, снисходительная улыбка чуть тронула ее губы и задрожала в зрачках. Но сразу погасла, как крохотный горячий уголек на холодном снегу. «Есть в тебе, матушка, и веселье, и упрямство, но скупа ты на радость. Видно, нелегко пришлось тебе в жизни»,— подумал Ахметходжа.

— Апа, есть у вас корова? Сумел ли Данекер собрать скот?

— За коровой трудно ходить, светик мой. Есть десяток коз.

Если будет на то воля аллаха, хватит этого добра одинокой старухе. Только бы был покой на земле, мир людям.

— А они зарегистрированы в колхозной книге?— спросил Ешмухан, но тут же осекся под гневным взглядом председателя и смущенно заерзал.

— Коз я смогу прокормить и без твоей книги. А книгой ты уж сам питайся на здоровье, чернильный ты человек. Если же я, не дай бог, потеряю коз и приду к тебе, опять-таки не приведи господь, то ты мне тут же важно отыщешь скотину в своей книге, верно?

Люди захохотали.

— Получил?— спрашивали одни.

— Так тебе и надо,— смеялись другие,— нечего было выскакивать со своей книгой.

Ешмухан и сам доволен — смеется. А над чем — одному богу известно.

Ахметходжа попробовал мяса, слегка пригубил из стопки, поблагодарил хозяев и с сожалением сказал, что уже пора трогаться в путь.

— Нехорошо получится, если джигиты опоздают по нашей вине. Военком — человек строгий, да и не гоже его подводить. Подводы уже готовы, друзья. Время не ждет. Пора пожелать нашим воинам счастливого пути.— Председатель встал с места. За ним поднялись и остальные.

Два парня ухватились было за плотно набитые коржуны Данекера, но они оказались слишком тяжелыми, и джигиты задержались. А коржуны были такой богатой работы, что глаз не оторвать. Новехонькие. Им, как и хозяину, впервые предстоит далекий путь.

В ауле нет мастерицы искусней Кульжамили. Ее пальцы плетут чудеснейшие узоры на сырмаках, текеметах и чиях. Когда приходит время валять войлочные ковры, каждый старается зазвать к себе Кульжамилю. Ее буквально на части разрывают. Самый сладкий чай и самое нежное мясо в каждом доме — для нее. А в эти коржуны, сделанные для сына, она вложила все свое умение, все свое сердце. Ахметходжа сразу заметил их. По краям — ярко-оранжевая кайма, которая придает сумам праздничный, гостевой вид. По углам вышит узор в виде рогов архара, этот орнамент скрадывает величину коржунов и делает их небольшими и компактными. Пушистые, как хвосты жеребят, кисточки связаны рядами по основанию мешков. Даже жалко такие прекрасные изделия на землю ставить. Их бы только для красоты возить по аулам, перекинув через седло.

Как ни сдерживался Данекер, но когда гости вышли, рыдания подкатили к его горлу шерстяным комом. Такими родными и близкими показались ему вдруг простые стены глинобитного домика, что он не мог оторвать от них глаз. Потолок в прихожей так и не успели обмазать. Казалось, не к спеху. Важней была срочная

колхозная работа. Камышитовый настил ровен и красив, но было бы все же лучше, если заделать глиной. Необыкновенно теплыми и близкими показались ему давно привычные вещи: старые калоши матери, кувшин для омовения, кнут. Новыми глазами взглянул он на камчу, висевшую на стене. Кожаная кисть кольцом охватывала красное кнутовище из таволги, тугая плеть тускло блестела. Глаза его наполнились слезами. Он украдкой вытер их, чтобы не заметила мать. Но старуха все видела, однако промолчала. Данекер тоскующим взором снова обежал комнату, словно желая запомнить на всю жизнь. Потом поднял лицо к потолку, не давая пролиться непрошеным слезам, и взгляд его упал на белую вязальную спицу. Он вздрогнул, словно эта игла вошла ему в самое сердце.

— Апа, положи-ка спицу в шкатулку, чтобы не искать потом и не просить у соседей.

Данекер вдруг отчетливо почувствовал одиночество, предстоящее матери. Он не выдержал и бросился к ней, в тоске прижал голову к ее теплой груди, а в его сердце росла великая сыновняя жалость. Оцепенела от горя мать, от слез и боли медленно выцветали ее глаза, жилистые руки гладили жесткие волосы сына, но она этого не замечала. Плечи Данекера сотрясались от рыданий. Мать вспомнила, что еще младенцем он точно так же зарывался лицом ей в грудь. Огромная нежность затопила все ее существо и пролилась неудержимыми слезами. А горячие слезы сына обжигали ее высохшую грудь. Плакали мать и сын, и оба молчали. Данекер устремился к двери, как бы говоря: довольно горя. Старуха успела провести по лицу ладонями и шепнуть слова благословения, когда сын перешагивал порог родного дома:

— О аллах! Дай ему счастливую дорогу!

Выйдя на улицу, мать с сыном увидели, что все ушли к центру. Только Ахметходжа с активистами да Нашекен стояли возле дома. Данекер устремился было догонять ушедших, но Кульжамиля остановила его.

— Приведи-ка сюда бурого козленка!

Ни Данекер, ни присутствующие ничего не могли понять.

— Ты что, забыл, как ловят козлят? Я же тебе велела привести сюда бурого...

Козленок резвился на поленнице, и Данекер без труда поймал его за заднюю ногу.

— Ну, начальство, не посчитайте, прошу вас, меня совсем из ума выжившей. Единственный сын мой отправляется в дальний путь. В жертву приношу этого козленка, чтобы была счастливой дорога его. Пусть вам это покажется странным, но для меня это очень важно. Доброе материнское благословение даю. Да вернется сын домой живым и невредимым. Вместе с козленком и себя объявляю жертвой. Да помилует нас аллах! Да примет жертву нашу!— И с этими словами старуха схватила козленка за шею и

трижды обошла вокруг сына. Данекер стоял красный, не зная что предпринять.

— Да исполнит всевышний твои пожелания! — громко сказал Нашекен, складывая ладони для благословения, и губы его зашевелились, шепча молитву.

Ешмухан скосил тусклые пьяные глаза на Ахметходжу и был поражен, увидев сложенные ладони председателя. Икнув, бухгалтер тоже попытался придать себе серьезный вид и раскрыл ладони, но потерял равновесие и чуть не упал.

— Аумипь!

Все провели ладонями по лицам. Кульжамиля отпустила козленка. Тот радостно заскакал и вскоре смешался с другими. Мать-коза перестала пастись и с тревогой следила за детенышем, которого окружили люди. Теперь, когда, целый и невредимый, козленок прибежал к ней, она стала обнюхивать его, ласкать, прятать под живот. «Вроде, тварь неразумная, а тоже не хочет дитя свое далеко от себя отпускать». Эта мысль вошла в сознание Кульжамили как холодный острый клинок. Невольно она еще раз оглянулась. Козленок самозабвенно сосал матку, и знала мать человеческая, что мордочка счастливого звереныша пахнет молоком. Знала и молча шла среди молчаливых людей, вышедших проводить ее... единственного... сына.

Чем больше собиралось народу, чем громче становились голоса, тем беспокойнее вел себя каурый жеребец, храпя и роя копытом землю. Кто-то плакал, кто-то смеялся. Подвыпившие джигиты целовали смущенных девушек, забыв обо всем на свете. Старики старались этого не замечать. Данекеру накануне не удалось вырваться из дома. Сейчас он искал взглядом кого-то в толпе, украдкой вытягивая шею. Забросив коржуны, он уселся на переднюю арбу. В последний раз обнял мать.

— Всю ночь не выпускали своего птенчика из родного гнезда. Дайте же и нам попрощаться с ним, — раздался женский голос над самым ухом Кульжамили. Старуха и сын резко обернулись.

— Жанар!

Молодые слились в крепком объятии.

— Аллах! Что делает эта несчастная? Всякий стыд потеряла!

— Апа, простите меня! Даже если всем аулом зацелуем джигита, в этом сегодня нет никакого стыда.

Эти слова Жанар сказала тяжело вздохнув, с глубокой грустью. Какую тяжесть несла она в сердце своем? Какую тайну берегла? Или открытую рану разбередила? Только горестным был излом ее тонких бровей, и страдальчески кривились губы. Стояла, опустив голову перед Кульжамилей, глаз не поднимала, словно была невесткой. Данекер, сидя на арбе, видел длинную гордую шею, белую и гладкую, склоненную сейчас перед его матерью. Но недолго стояла Жанар с опущенной головой. Резко откинулась она всем телом назад и сразу стала высокой и неприступной.

Только драгоценными каменьями сияли ее глаза, полные непролитых слез.

— Пусть видят материнские очи! Слишком уж скромен подарок, не обессудьте, да что в наших силах сделать еще, когда каждый шаг на заметке.— Жанар положила в карман Данекера вчетверо сложенный вышитый платок и со стоном поцеловала его молодые горькие губы.

Люди, бывшие свидетелями этой странной сцены, удивленно замерли. Кульжамиля прикусила пальцы от изумления.

Ходили по аулу какие-то туманные слухи, недобрые разговоры, колкие намеки, но не придавала им значения Кульжамиля. Япырау! Выходит, все это правда. Как же он... словно девушки не нашлось ладной и милой — связался с замужней женщиной.

В это время раздался громкий голос арбакеша:

— Ну, родичи, пора трогаться в путь. Время не раннее, как бы не опоздать.

Застоявшиеся кони пустились вскачь, едва арбакеш отпустил вожжи. Очень эффектна была первая пара: великан каурый и стройная красавица-кобылица.

Джигиты чуть не вывалились из арбы, так резво тронулись кони. Они долго махали руками, повернув к аулу печальные лица.

— Прощай! Прощай!

— Счастливого пути! Да будет ваша дорога широкой и прямой! Возвращайтесь скорей! Возвращайтесь!..

Плач и крики поднялись над аулом. Девушки и джигиты бежали за подводами, не в силах расстаться с родными; старики и старухи собрались скорбной кучкой, махали платками и вытирали слезы жесткими ладонями.

Горяча звездолобого коня, рядом с передней арбой ехал Ахметходжа. За ним следовали несколько всадников.

— Гони скорей!— приказал председатель арбакешу.— Пусть отстанут провожающие. Не стоит расстраивать джигитов. Гони!

Арбакеш взмахнул вожжами, и кони перешли на рысь. Еще свист и еще один взмах кнутом — и вот уже несется пара стремительным галопом, так, что колеса сливаются с убегающей назад дорогой и уже не касаются земли, а будто летят по небу, разрывая в клочья густые облака.

Родная земля, родной народ! Трудно вас покидать. Взлетят кони на гребень дороги, ринутся вниз — и не станет видно аула, где детство прошло в перестуке альчиков. Все подавленно молчат. Не слышно больше плача и крика, словно земля поглотила звуки. Жадно смотрят по сторонам джигиты, зная, что каждая картина накрепко врежется в память. Вот холм Кайрана. Он лежит весь в толстых складках, словно хребет слона. Призывники играли и озорничали здесь в детстве, когда шел сенокос, когда собирали сухостой. На коричневой терраске — четырехугольный старый мавзолей, привычный, не страшный. Даже его покидать

жалко. А там, в предгорной степи, раскинулись поля колхоза. Много дней и ночей проведено здесь. Спускается с холмов аульное стадо на полуденную дойку. Каждый день гонят его знакомой дорогой опытные пастухи. А солнце-то какое светлое! Слева стремительно уходит в небо белобородый Алатау. Полы его бешмета из богатого темного бархата. Папаха из серебряного руна. Все так знакомо и привычно, но сегодня эти картины вдруг предстали обновленными и до боли родными. Семнадцать пар жадных молодых глаз вбирают в себя красоту родного края, чтобы увезти далеко-далеко в своих сердцах. Аул, прощай! Только школа еще белеет вдали, самое высокое здание в ауле. Издалека крытая камышом крыша похожа на гладко оструганную доску. А за школой вытянулась контора. Остальное скрылось в прозрачном мареве, волшебном и зыбком. Но каждый сумел разглядеть и свой дом. Данекеру кажется, что мать его стоит на крыше и все еще машет вслед ему рукой, смотрит из-под ладони. Рядом с ней скачет беспечный козленок и нет ему дела до людских горестей и забот. А Жанар...

— Ну, джигиты, здесь и мы расстанемся с вами!

Он и не заметил, что целая толпа всадников во главе с Ахметходжой все еще сопровождает подводы. Председатель сошел с коня и расцеловался с каждым из отъезжающих джигитов. Теперь, когда аул скрылся из глаз и только аллах в этой пустынной степи тому свидетель, можно дать волю чувствам, перецеловать этих мальчиков, готовящихся стать мужчинами. Мальчики!.. Даже лошади понурили головы и опустили уши. Опечалены все, не скрывают и не стыдятся слез. Не выезжали раньше эти парни дальше районного центра. Большой мир и пугал их, и манил. Страшно расставаться им с копшиками. Кажется, с их отъездом рвется последняя нить, связывающая с аулом. Но вот отстали и они.

— Счастливого пути вам, джигиты! Ждем вас и надеемся, что не уроните чести своей! Хош! Хош![1]

Густое облако пыли разделилось надвое. Одна часть поплыла к аулу, другая двинулась в райцентр. Солнце стояло в зените. Стало душно, и измучил зной. Сидящие на подводах расстегнули воротники. Мукатай жалко и растерянно все ищет взглядом аул, далеко вытягивая шею.

— Эй, храбрец! Где же твое «ать, два»? Поглядите-ка на этого батыра: едва оторвался от юбки жены — и тут же нюни распустил. Сейчас разревется.

Парни расхохотались. Сумел-таки Данекер отплатить за вчерашнее. Поднялось настроение и у тех, кто ехал сзади. На второй арбе затянули песню «Туган жер»— о родном крае. Запевалой был, конечно, абдрахмановский Курманали. Тот, что всегда играл роль Тулегена в «Кыз-Жибек». Его приятный бархатный баритон с удовольствием слушали на пирах в честь новорожденных и на

[1] Прощай!

свадебных тоях. Грустная песня. Все дружно подхватили и понесли мелодию над степью. Кажется, теснее стало на дороге. Но горы и степь, скрипучие арбы и бурые травы подпевают молодым. Сокровенные, глубинные чувства, высказать которые еще вчера мешал странный стыд, сегодня вырвались на волю, вызволенные чудной песней. И не стало больше стыда. Кони перешли на ровную рысь, будто прислушиваясь к мелодии. Даже Байжан, который ни на одном тое рта не раскрыл несмотря на насмешки и уговоры, и тот сейчас подпевает. Но это почему-то никого не удивляет. Всю любовь, переполнявшую сердца, вобрала в себя песня. Да, пока для этих ребят Родина — это сто дымков маленького аула. Пока. Но к ним быстро придет зрелость, и Родина раздвинет для них свои границы...

Край, где мне перерезали пуповину,
Как я покину?
Сладкое молоко матери-родины
Как я забуду?
Не сиротой ли горьким я стану,
Если меня от тебя оторвут?
Прощайте, мать, родные и братья!
Возмужали и мы.
Долг нас зовет покинуть
Наши родные дымы.
Но для тебя, край родной,
Мы останемся детьми.
Мы вернемся к тебе после службы,
Счастливые, как жеребята.
До встречи, друзья и подруги!
До встречи, зеленые долы!
До встречи, гривастые кони!
Прощай, край наш родной!

В молодости мать Данекера участвовала в айтысах, всегда была рада спеть. Пишет стихи и Данекер. Вот и теперь губы его беззвучно шевелятся, а глаза прикованы к клочку белой бумаги. Когда только успел? Видно, стихи посвящены этому памятному дню. «Вот бы спеть последние две строчки вместе с Жанар!» Ему и дела нет, что у каждого осталась в ауле своя Жанар. Жанар... Она пришла незваной в его думы, взяла за руку и увела в далекие голубые дали. Нет для Данекера ни горькой дорожной пыли, ни высокой крылатой песни, ни скрипа телег.

Резво бегут лошади. Льется мелодия. Возчик только чуть пошевеливает вожжами. Каурый и кобылица поняли друг друга, легкая рысь приносит им радость. Это видно по тому, как они вскидывают головы.

— Я их погорячу, уж заставлю поиграть, когда въедем в райцентр. Пусть увидит народ, как лихо въезжают джигиты колхоза «Алгабас»! Иду на спор, что люди будут с восхищением глазеть нам вслед. Чем не чапаевская тачанка, какую в кино показывали?! Кто желает поспорить? Давай руку!

— Ну-ка, роди-и-имые, проведем-ка репетицию!— крикнул арбакеш и задергал вожжами.

Кони стелятся над дорогой как птицы. Вытнув лебединые шеи, они косят горящими глазами, и летит дорога из-под быстрых копыт. Хороши кобылица и каурый. Ох как хороши!

Стоит раз увидеть такую красоту — запомнится на всю жизнь. Как легкие танцовщицы в стремительных ритмах, несутся кони. Сколько огня и грации в их полете! Крупы потемнели от пота. Крутые горячие бока вздымаются от глубокого и ровного дыхания. Легко, как по воздуху, мчатся подводы. Ритмичный перестук колес и цокот копыт сливаются в мелодию. Гордый и счастливый арбакеш то и дело свысока поглядывает на джигитов. Это он сумел создать удивительную гармонию. Видите, парни, на что способен арбакеш. О-о-о, он еще не то может!

А Данекер все занят своими мыслями. Крепко взяла его за сердце Жапар, далеко-далеко увела. Не отпускает и сама не хочет быть свободной.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Мягкий лунный свет тихонько сочится в маленькое оконце. Почти как в ту давнюю ночь...

Они шли по широкой степи. Ветер Бесбаксы ласкал лица, пробуждая глубокие и сильные чувства. Отчего-то хотелось смеяться и плакать и идти куда глаза глядят. Бесшумно ступал рядом с Жанар Данекер, боясь спугнуть тишину. Ему было жарко, хотелось прохлады, которая успокоила бы неистовое биение сердца. Сняв широкий чапан, он нес его на полусогнутой руке. Другая рука его металась, не зная покоя. Она то обвивала тонкий и гибкий девичий стан, то гладила шею, высокую и светлую, как лунный луч. Пальцы джигита ласкали мягкие шелковистые волосы девушки. Все вокруг находилось под властью пугливой радости: свет луны и душная трава, легкое дыхание и нежный шепот, тихие ласки и притушенный огонь в глазах. Казалось, не было никого, кроме них, в подлунном мире, а все равно хотелось говорить неслышно. Легкие губы Данекера робко касались маленького ушка, шепча слова, от которых жар заливал грудь и становилось больно дышать. Жанар невольно останавливалась, запрокинув счастливое и грустное лицо к звездам, и Данекеру открывалась ее трогательно беззащитная шея. Так бы и слушала без конца его сладкие слова. Едва касаясь горячими губами Данекера, она вдыхала запах его кожи и целовала так, что щемило сердце. Стремительно летела над ними ночь, распластав свои звездные крылья. И так хотелось задержать ее полет, чтобы идти и идти, изнемогая от любви, плача от нежности, смеясь от счастья, идти до самого края степи и дальше, по Млечному пути...

Ах, зачем эта ночь так похожа на ту? Светлая луна плывет по небу. А в маленькое оконце украдкой заглядывает луч. Комната погружена во мрак. Тени какие-то бродят, бесприютные, бесплотные. Душная ночь, густая. Невозможно уснуть. Открыл глаза и Тулеп, заботливо укрыл одеялом.

— Жанар, почему не спишь? Болит что-нибудь?

— Не знаю. Ничего не знаю. Что-то с сердцем происходит. Никак не может успокоиться. Ты ложись отдельно, а то и тебе покоя не будет...

Тулеп перетащил свою постель. И вскоре снова заснул. У него-то, счастливца, на сердце никакой тяжести. Счастливца ли? Бедняга!.. Что ему за дело до страданий жены? Ничего-то он не знает, ни о чем не догадывается. Ей душно в этих стенах. Душно! А ему хоть бы что. Встанет утром и уйдет, как обычно, в кузницу. Намахается за день молотом — и домой. Каждый вечер домой. Он не знает иной дороги, не подозревает, что есть совсем другая жизнь. Даже думать об этом не хочет. Доволен собой, доволен работой, доволен знакомой дорогой, ведущей из кузницы домой. Сон его крепок, душа спокойна. Таким уж беззаботным рожден человек.

Не из-за этой ли беспечности потерял он жену? Если б следил за каждым шагом, если б был не так равнодушен, может, не зашло бы у них с Данекером так далеко. В последнее время собственная смелость пугала Жанар. Незваный стыд приходил в ее бессонные ночи. Раза три возвращалась она домой поздно, ссылаясь на разные причины. То спектакль, то помощь подруге... Но молчал Тулеп, молчаливый муж. Или считал и себя виноватым в нелепой судьбе Жанар? Все же он старше жены, и намного. Жалко его, беднягу.

Ах, эти женге[1]! Не могут они жить без того, чтобы кого-то не сватать, не сводничать. Так и ей задурила голову проклятая Айша. Не по-родственному поступила. Чем соблазнилась? Тем, что ножи, кетмени, лопаты да ножницы бесплатно и быстро наточит кузнец? По ее мнению, да и не только по ее, девушка-сирота все равно что кость, которую не жалко выбросить собаке. Если голодный пес завиляет хвостом, не станет огрызаться и рычать, то почему бы и не кинуть? Какая злоба заставила женге толкнуть несмышленую девчонку в объятия человека на двадцать пять лет старше? Какая корысть? Или по глупому своему разумению сделала она это? А ведь чуяла недоброе Жанар, когда та зачастила в кузницу. Сумела-таки Айша окрутить простоватого Тулепа, у которого и в мыслях не было ничего похожего на столь странную женитьбу. «До каких пор бедовать тебе одному, собственные колени обнимать? Да мужчина ли ты наконец? Или кто-то должен уложить тебе девушку в постель?»

[1] Женге — жена старшего брата, родственника.

— Так и сказала. Подковала кузнеца,— эти слова не раз слышала от женге Жанар. Однажды она и вовсе брякнула: — Выходила б ты, голубушка, замуж за Тулепа.

Уперла руки в боки и ну молотить языком — целый град обрушила на девчонку.

— Нет ничего хуже и противней, когда девка шестнадцати лет засиживается дома. Тебе и дела нет, что я все ноги обила, чтобы тебя как-нибудь пристроить. Смотри, догуляешься до позора. Известно, чем кончается девичья свобода. Ойбу-у! Какими глазами я на людей смотреть стану, что им говорить буду? Уж лучше умри, чем до такого стыда дожить. Пропади! Уйди с кем-нибудь, пусть он даже будет кривым, хромым или горбатым. Пять классов у тебя образование? Ну и что! Да какая девка принесла кому радость своими знаниями? Вот мы, хоть и не можем алиф[1] от палочки отличить, но все ж сумели обе ноги твоего брата в один сапог затолкать. Он у нас по струночке ходил. Не до того мне, чтобы о твоем приданом заботиться, о тряпках да нарядах твоих! Уволь! Не те сейчас времена, чтобы за девку калым брали да с почетом из дома провожали. Лишь бы место нашлось, где с голоду не сдохнешь,— и ступай. А Тулеп-то тебя всего на двадцать пять лет старше. Подумаешь, двадцать пять! Раньше девчонки шли и за семидесятилетних старцев, и ничего — жили не тужили. А он мастер, у него каждый палец знает больше, чем ты. Левой рукой он может прокормить еще десяток таких дурнушек. Чашку кому-нибудь починит или чайник, а все не оставит тебя голодной. Станешь бабой независимой, хозяйкой самостоятельной и не будешь ни у кого в глазу бельмом торчать. Да и нам польза. Все же бесплатно, чай, будет нам косы отбивать и кетмени править. Хоть этим-то отблагодари меня за то, что с четырех лет кормлю да вожусь с тобой. А кому из молодых ты нужна, голь перекатная? Радуйся, что хоть старик заметил. И все. Раз сказано «уходи», значит, уходи. Убирайся!

«Нищая», «сирота»— уши так же привыкли слышать эти слова от женге, как тело привыкло к побоям. А вот сердце не хочет мириться. Последний скандал и упреки переполнили чашу терпения. Двоюродный брат, единственная опора и утешение девушки, умер в прошлом году от скоротечной чахотки. Не успела земля высохнуть на его могиле, а женге уже начала попрекать ее куском хлеба. Да сладок ли был этот хлеб для Жанар? Глиной сухой застревал в горле, камнем падал на сердце. Только заикнулась о своем желании дальше учиться, как набросилась на нее женге с бранью и побоями, из дома выгнала, словно паршивую овцу. Два дня ночевала девочка где придется. Что смерть? Не страшила ее смерть. Одну ночь провела она на могиле брата. Но так глубок был его сон, что не услышал брат ее жалоб, не протянул аруах[2]

---

[1] Алиф — буква арабского алфавита.
[2] Аруах — дух предков.

руку помощи. Властной и недоброй женщиной оказалась женге. В безысходности и унижениях прошло детство Жанар, и не смела она ослушаться злобной бабы. Осталась девчушка на перепутье. Две дороги было у нее: выйти замуж за Тулепа или продолжать жить с жестокой женге, которая стала бы теперь холоднее льда. Нет, не выдержать ей больше оскорблений. И Жанар выбрала первый путь. Глубокая тоска охватила все ее существо и с тех пор уже не отпускала. «Чем терпеть адские муки в доме женге, лучше сносить мучительные ласки старого мужа»,— так решила глупенькая, не зная, не понимая, что жизнь не кончилась, что придет еще к ней радость первой любви, по горькой будет любовь эта. Бездонным станет отчаяние. Окаменело сердце Жанар. Так злая судьба соединила Жанар и Тулепа.

К чему грешить против истины? Не видела она ничего плохого от бедняги Тулепа. Ни разу не повысил он голоса на нее, все прихоти исполнял, на руках носил. Да сердцу-то не прикажешь. Все, что зарабатывал, приносил домой и отдавал в ее руки. Через каких-нибудь два года ожила и поправилась Жанар. Одеваться стала не хуже других, украшения носила с достоинством. Смелый и гордый ум обнаружился у вчерашней замарашки. Голову высоко научилась держать. Впрочем, и побои женге принесли свою пользу. Ловкой, хозяйственной, опрятной женой оказалась Жанар. Наволочки новые приобрела и вышивкой украсила, одеяла и полог над кроватью своими руками сделала. Два-три текемета сваляла, ковер выткала, сырмак. И однажды аул с удивлением заметил, что совсем еще недавно чумазая, забитая оборванка превратилась в чистую и красивую юную женщину. Это было похоже на чудо. Слишком необычным показалось это превращение иным аулчанам. «Ойбу-у,— говорили они,— что-то ярко цветет наша Жанар. Не тесно ли ей станет скоро в хибарке кузнеца?» И пошли разговоры, охи да ахи. Наслышалась Жанар и от женге. Та переменилась к ней, ласковой стала, советов житейских не жалела: «Коли он супротив слово скажет, то ты сделай так-то...» Змеей вползла в дом, лисой вертелась, все жить ее, дурочку, учила.

— Ты не очень-то из шкуры лезь, чтобы угодить мужу. Потихоньку-помаленьку. Не все добро в свой сундук складывай, вспомни, что есть у тебя родной дом. Дом твоего брата и женге. Говорят, если раньше в руки девушки попадали два мотка ниток, то один из них она отдавала своим близким. А что стало с нынешними девками? Ты вот живешь напротив, а дорогу к нам забыла. По сравнению с тобой, Тулеп куда добрей. Его не приходится дважды просить, все с полуслова поймет и сделает. А ты, как стала самостоятельной, так и нос от нас воротишь, близкую родню не хочешь признавать. О неблагодарное чудовище! Правду говорят люди: «Если дурная лошадь нагуляет жир, то и торсык[1]

[1] Торсык — емкость для хранения кумыса, сшитая из козлиной или бараньей шкуры.

ей тяжел, если плохой человек встанет на ноги, то рядом с собой стадо прогнать не позволит».

Все, что долгие годы копилось в груди Жанар, все муки и обиды, все унижения — все вдруг разом прорвалось. Высказала наболевшее:

— Мало тебе — сгубила всю мою жизнь, так еще чего-то требуешь! Холодом несет от тебя, нет в тебе ни капли человеческого тепла. Ушла ведь я, замуж вышла, а ты все не даешь мне покоя. Все детство промучилась в твоем доме. Да разве было оно у меня, детство-то? Разве играла я хоть раз, как все дети? Ни одного целого платья не надела на себя. Всё твои обноски донашивала. В праздник в тряпье наряжалась, в будни — в лохмотья. Иголку не выпускала из рук, боялась, что спадут с меня твои «пышные» наряды и предстану я голой перед всем светом. А с каким презрением ты швыряла мне это старье! Благодетельница! «На, заштопай и можешь носить». С дровами входила в твой дом, с золой выходила. Даже улыбка моя выводила тебя из себя. А что тáкое смех, я даже не знала. И в смерти брата виновата ты. Из-за твоей жадности он заболел. Ну какая из тебя хозяйка? Ты же грязная неряха. Из твоего полотенца масло выжимать можно. Разве думала ты о том, чтоб повкусней накормить больного, постель ему сменить? Только сохла от злости, забившись в угол. Все свое зло на мне срывала. Пожалела ли ты хоть раз меня, сказала ли слово доброе? Нет. Так чего ж ты теперь от меня хочешь? Да разве найдется в моем сердце добрая искра для тебя? Сама ты убила все. Лед у меня на сердце. Лед! Твоими стараниями. А теперь, видишь ли, самой близкой стала, самой родной. Да и этому Тулепу не ты ли меня продала, не ты ли прогнала меня из дома, толкнула к чужому человеку, несмотря на мои слезы? А я так хотела учиться! Тарелку похлебки пожалела... Слава богу! Хлеб твой камнем застревал в горле. Теперь я ем свой хлеб. Горький, но свой! Знай об этом и не смей больше зубы на меня скалить! У меня еще много зла на тебя, не все я сказала, так что не дразни спящего. Запомни, нет больше прежней Жанар! Приходи по-хорошему или вовсе не переступай порог мой. Наберешься ума, может, и я к тебе по-хорошему отнесусь. Хоть и редкая ты дрянь, все же грела постель моего брата. Но не жди, что сердце мое оттает.

— Астапыралла! Астапыралла![1] Сдурела совсем девка! Что это такое она мелет? Да как только язык повернулся?..

Глаза женге чуть из орбит не повылазили от изумления.

— У тебя яду набралась. Пример все годы перед глазами, было у кого поучиться. Сама виновата. С тех пор, как помню себя, из уст твоих одна гнусная брань и вылетала. Хоть и говорят, что брань на вороте не виснет, все ж сумела и меня запачкать. Это тебе лишь одна тысячная из того, что получала от тебя я. Доведешь меня, и остальное верну с лихвой.

[1] Сохрани аллах!

— Тьфу! Тьфу! Чтоб глаза мои тебя не видели! Господи, не приведи рядом оказаться!

С этого дня Айша далеко обходила дом Жанар.

Вспоминая в одиночестве памятную ссору, Жанар то хмурилась, то вдруг начинала безудержно хохотать. Временами настроение портилось, и она боялась, как бы не перешла к ней и в самом деле жестокость злой бабы. Заразная это вещь. Собственная горячность и резкость пугали ее. Казалось, вылившаяся горечь и ее обдала чем-то грязным и черным, как сажа. А смеялась она оттого, что радостно было выпрямить спину, победить многолетний, окостеневший уже страх перед Айшой. Да, месть иногда приятное чувство. Какая ошеломленная и глупая рожа была у женге! Как тут удержишься от смеха? А как она бросилась бежать! Ну и героиня! Жестокость всегда труслива. Сама виновата, что наступила на хвост спящей змее. Про эту стычку женге сама не преминет рассказать Тулепу, думала Жанар. Но Тулеп ни разу не заикнулся об этом.

Молчание мужа удивляло и беспокоило Жанар. Не мужчина он, что ли? С трудом сдерживалась, чтобы самой не рассказать. Он же молчал. Ходит себе да под ноги смотрит. Вернется из кузницы и снова молоток в руки, какими-то поделками занимается. Стучит себе и молчит. Как чужие друг другу. Жанар далеко от Тулепа. Тулеп еще дальше от Жанар. И такая тишина стоит, такое безмолвие, что дом пустым кажется. Порой даже скучно становится Жанар, привыкшей к постоянной брани и пронзительному голосу женге. В такие минуты она мечтает услышать хоть стук молотка. Одна постель да темная ночь открывают им глаза на то, что они все же муж и жена.

На второй год Жанар начала привыкать к своему положению, оттаяла душой. Первым признаком этого пробуждения было то, что молодая женщина стала напевать за стряпней или за иной хозяйственной работой. Иногда она помогала мужу раздувать маленькие домашние мехи. Работая с Тулепом, Жанар надеялась услышать от него хоть одно ласковое, ободряющее слово. Тихонько напевала, но Тулеп не обращал на нее никакого внимания. Взгляд его всегда прикован к раскаленному железу, которое под умелой рукой принимает изящные формы. В такие минуты лицо кузнеца озарялось радостью.

Многое стала замечать Жанар. Особенно красивые узоры чеканил Тулеп на кольцах и браслетах. Мастер, он и есть мастер. На железе пишет с такой же легкостью, как прилежный писарь на бумаге. Коровьи рога, что обычно валяются в мусорной куче, попадая в руки Тулепа, превращаются в изумительной красоты рукоятки для ножей и плеток, кинжалов и боевой камчи. Ниспослал же аллах свою благодать на скромного и незаметного труженика, дав ему в руки волшебное умение! Раздувая угли, Жанар не отрывала взгляда от рук мужа. Порой красота узора так за-

хватывала ее, что она забывала обо всем на свете, и только песня продолжала дрожать на ее губах помимо воли.

Не будь он мастером, разве время от розового рассвета до золотого заката не тянулось бы для него бесконечно? Чем бы он жил тогда? Даже жены своей сторонится, словно она строгая теща. Но, может, он чувствует себя вольно там, у горна? Желая убедиться в этом, Жанар несколько раз заходила в колхозную кузницу. Тулеп ворочал щипцами на наковальне раскаленную докрасна тележную ось и не было ему дела до целого света.

— Передохнем, Туке!— радостно заорал как-то безусый джигит-молотобоец, увидев входившую Жанар.

— Нет-нет, не время! Председатель ругаться будет. Надо закончить работу. Не стой, не стой!

Казалось, приход жены смутил кузнеца, и он замолчал, сосредоточив все свое внимание на наковальне. А молотобоец нет-нет да бросит украдкой взгляд на Жанар. Глаза их встретились. Женщина вздрогнула и поспешила отвернуть запылавшее лицо. На мужа посмотрела. А тот ничего не замечает, кроме куска горячего железа на наковальне. Он в своей стихии, среди грохота и шума, огня и металла, сверкающих искр и алых угольков. Здесь его место, его радость, его жизнь.

Молотобоец взялся за большие кузнечные мехи. Если молот и наковальня требовали предельного внимания, то эта работа позволяла глазеть по сторонам. По обнаженной выпуклой груди струился пот, оставляя грязные следы. Лицо у парня было чумазое и веселое. Под молодой гладкой кожей перекатывались бугры мышц. Ему было неловко за свою наготу перед юной миловидной женщиной. Джигит растерянно провел ладонью по влажному лицу, размазав копоть. Жанар не выдержала и прыснула со смеху.

— Что, женге, не видели никогда мужчину, измазанного сажей? Не такого ли каждую ночь в свою постель берете?

Тулеп тихонько рассмеялся. Щеки Жанар стали пунцовыми. Ее смутило не то, что она позволила себе засмеяться, а то, что парень назвал ее «женге». Пожалуй, он старше даже ее года на два, а туда же — «женге». Впрочем, разве так и не положено, ведь он младше Тулепа. М-да, теперь молодежь этого аула и вовсе забудет, что зовут ее Жанар. «Женге, очередная жена Тулепа, токал[1]»,— так теперь станут ее называть, и только те, кто будет ближе и родней всех из младших родственников мужа, станут ласково звать «женеше»[2]. От этих мыслей горько и тревожно сделалось на душе молодой женщины. Она повернулась и пошла домой. Тулеп даже не спросил, зачем приходила жена.

...В ушах Жанар все еще стоит звон могучего молота, который, как глину, месит железо. От каждого удара земля под ногами ходуном ходит. Ах, ноги! Ослабли почему-то. И нет сил

[1] Токал — младшая жена.
[2] Женеше — ласковое обращение к жене старшего брата, родственника.

оглянуться, хотя очень хочется. «Держись прямее, голову выше, легче ступай. Ты должна выглядеть красивой!» — будто шепчет кто-то. Зачем? Для кого? И кажется ей, что из широких дверей кузницы смотрит вслед юный молотобоец, и жгут спину, пронизывая насквозь, горячие его глаза. Шла как во сне, растерянно пытаясь разобраться в новом, необычном, тревожном и мучительном чувстве своем. Дома работа валилась из рук. Болело сердце. Но хотелось, чтобы оно болело еще и еще. Следующий визит тоже не дал ей ничего нового. Все тот же молчаливый Тулеп возился с железом. Только народу в кузне было больше. Собрались и ведут какие-то беседы. «Гу-гу-гу», — так и гудят голоса. Завидев Жанар, молодежь принялась точить языки.

— О, Туке, ваша любовь горячее или у молодой токал? Что-то в последнее время зачастила она к нам.

Все дружно засмеялись. Дрогнули в невольной улыбке губы Тулепа, но он так и не повернул головы, продолжая что-то ковать.

— Туке, вы и в постели такой неразговорчивый?

— Да разве позволит молчать молодая жена?!

— Ха-ха-ха! — Гогот насмешников долетел, наверное, и до конторы.

— Бесполезно к нему обращаться. Надо у самой женге спросить.

— Дома-то он хоть говорит о чем-нибудь?

— Мой молчаливый муж, отагасы[1], дороже мне всяких слюнявых и юных попляков, — с шутливой прямотой ответила Жанар. Ее не смутило, что джигитов много. С достоинством произнесла она эти слова, внезапно почувствовав в себе прилив сил и мужества. Да и насмешки парней задели ее за живое. Казалось, не над ней смеются, а над Тулепом издеваются ребята. Если сразу не положить этому конец, то они и на шею сядут. Тогда хоть беги из аула. Возмущение и стыд, протест и боязнь обидеть кого-нибудь невзначай породили в груди Жанар такую бурю, что стало трудно дышать.

Джигиты, не ожидавшие отпора, растерялись.

— Ого! Вот это отбрила! М-да, мы, выходит, все вместе и ногтя Тулепа не стоим...

— Вот только зачем это она мужа родного, как старшего деверя или свекра, «отагасы» величает? Ну, если уж так уважает, то хотя бы Туке назвала, что ли. Или подчеркивает разницу в летах? Так все равно ведь за него замуж выскочила. Что же это она так? Или на свою молодость внимание хочет обратить? Неслыханное кокетство!

Зазорно было джигитам терпеть поражение от одной молодухи, вот и пустили в ход запрещенные приемы. Ниже пояса стали бить.

---

[1] Отагасы — уважительное обращение к старшему. Букв.: хранитель огня.

— Выходит, вы не казахи, коли не знаете поговорки: «Кого люблю, того и бью». Мой муж, как хочу, так и величаю. Вот когда вы немножко поумнеете, тогда поймете.

— Все! Все! Кончили! Сдаемся! Твоя победа, Жанар! — заговорили парни.— Вьюга-баба! С такой женге не соскучишься!

Последние слова Жанар услышала, уже покидая кузницу, ставшую полем сражения. «Не соскучишься!.. Вьюга-баба...» Ну и пусть! А Тулеп только и знает что свой горн да наковальню. Неужели в жизни, кроме кузницы, так ничего и не увидит? Она стала задыхаться от злости. «Твоя победа, Жанар!» Нет, не победительницей она возвращается, а побежденной. Сама судьба бросила ее на колени перед этими беспечными парнями. Какое унижение! «Вьюга-баба...» И во всем виноват Тулеп, бросивший ее под ноги гогочущим джигитам.

Только один из них не принял участия в жестокой шутливой перепалке. Это давешний молотобоец. Улыбаясь, он молча смотрел на Жанар. В тот раз она толком не разглядела его, а сегодня заметила его зачесанные назад волосы цвета воронова крыла, выпуклую мощную грудь, сильную красивую шею. Все существо его дышало юностью, энергией, удалью. Или из уважения к кузнецу, или из жалости к юной женщине, но парень не вступил в грубую словесную схватку, сознательно отойдя в сторону. Ах, почему и Жанар не держалась скромно! Зачем только вспылила? Не показалась ли она вульгарной? Огрызалась, как собака в чужом ауле. Красиво ли это? Впрочем, тем оболтусам так и надо. Но как стыдно теперь перед юным молотобойцем! А он стоял молча и только улыбался.

Может, эта его улыбка и взорвала Жанар? Какой черт ее дернул лезть в перепалку?!

Да, во всем виновата та улыбка. С нее все началось. И Тулеп виноват. Зачем было уезжать на целых два месяца в МТС? Коня, жену и оружие никому не доверяют настоящие мужчины. А он... на два месяца...

На прополке Данекер всегда старался оказаться рядом с Жанар. Все та же странная улыбка озаряла его лицо. Были в ней и робость, и нежность, и чистота, и бесстыдный призыв. Робость парня вызывала в сердце Жанар ответную нежность, на призыв она отвечала таким же призывом. И вот однажды, когда стало темнеть, они отстали от других.

Шли среди моря пшеницы, густой и высокой. Ветерок обвевал их пылающие лица. Шумит поле, словно поет тихую ровную песнь. Как-то надломлена Жанар. Кажется, нарочно подавила она в себе непринужденное веселье, открытую радость. Почему ей так не по себе? Что с ней? Зачем она в этом поле наедине с джигитом? А вдруг жестокое желание возьмет над ним верх, и сомнет он ее, опустошит душу, изваляет в грязи... Жанар вздрогнула. Ох, оказывается, это всего лишь рука Данекера. Всего лишь рука. Она ползет по гибкой спине и начинает гладить ее волосы.

А что будет дальше? Все они одинаковые, эти мужчины! С поглаживаний начинают, дышать боятся, а потом ни мольбы, ни слезы их не удержат. Напряглась Жанар, внутренне воспротивилась первым робким ласкам Данекера. Ждет, когда эти нежные, едва слышные прикосновения разбудят спящую страсть и она увидит близко-близко искаженное похотью лицо. Нет! Не надо! Нет! Ах, как гулко бьется сердце! Зачем только осталась с ним наедине? Кто ее заставлял? Не понять ничего...

— Жанар, я давно хотел поговорить с тобой. Но что-то петлей захлестывало горло, и я не мог выдавить ни слова. А потом, так трудно найти нужные слова, самые верные. Тайна есть у меня на сердце, хочу открыть ее тебе. Как загонишь на ночь скотину, можно будет прийти к тебе?

— А здесь кто тебе мешает говорить? Уж если здесь, на просторе, слов не найдешь, то как думаешь найти их в тесной каморке?

Куда девались все страхи Жанар? Словно и не было их. Напрасные опасения. Легко и радостно, будто ожила от оцепенения. Она облегченно вздохнула и рассмеялась. Засмеялся и Данекер. Так и смеялись в открытой степи и были похожи на одержимых. Впрочем, одержимые любовью поняли бы их. И природа поняла. Все вокруг улыбалось вместе с ними. Тонко звенели далекие звезды, и только самое чуткое сердце способно было услышать их нежный смех. Смеялось поле. И ветер. И степь... Когда они подошли к окраине аула, в небе появился молодой месяц.

Если хочешь понять красоту ночной степи, выйди на ее просторы, когда рождается новая луна. И ты не сможешь оторвать от нее глаз, как от нагой красавицы, купающейся в прозрачном ночном озере. От белого тела ее исходит зыбкий, неверный, манящий волшебный свет. Отступает, редеет мгла. Даже мрачноватые резкие горы словно смягчаются, обласканные лунным светом, становятся загадочными и прекрасными.

Жанар никогда раньше не замечала этой чарующей красоты. Она замерла, растерянная и восхищенная. Что это? Неужели глупое счастливое сердце создало эту картину? Или сама природа припасла для нее свой бесценный подарок в этот необычный день? Жанар хотела поговорить об этом с Данекером, но что-то ее удерживало...

В ту ночь он не скрыл ничего. Рассказал, как она запала в его сердце с самого первого дня, когда пришла в кузницу. С тех пор он томился, не смея выдать своей любви. Но особенно понравилось ему, как Жанар расправилась с насмешниками. Заметил джигит и скрытую боль, тайну, которая подтачивала ее, как грозный недуг. Сумел увидеть, хотя и защищала она своего (своего ли?) бессловесного Тулепа. До сих пор она прятала свою тоску от чужих глаз. Открытой и бесхитростной казалась всем Жанар, а глубоко в тайниках души хранила заветный ларчик, и сама старалась забыть, где ключ от него. Только надежным, верным и

чистым рукам можно доверить волшебный ключ. Данекер хотел бы узнать эту тайну, которую так строго хранит Жанар. А ей Тулепа жаль. Никому он не сделал зла, не причинил сознательно горя. Но что-то неотвратимое растет в груди, могучее и неизведанное, что гораздо сильнее жалости, острой и глубокой.

И Данекеру жалко Тулепа. И работу молотобойца он бросил из-за Жанар, боялся, что не станет любить чумазого парня. Но не это главное. «Я не привык чувствовать себя виноватым перед людьми. А перед честным Тулепом не мог глаз поднять от земли. Мало-много, но мы работали с ним вместе и успели друг друга узнать. Хотел уйти с ваших глаз, забыть, не нарушать добрый покой, но в чем моя вина, если я оказался бессилен. Видеть тебя! Слышать тебя! В этом моя жизнь... Вина моя велика. Я преступник перед Тулепом, перед тобой, перед людьми, перед совестью. Но я на все закрыл глаза...»

Буря поднялась в груди Жанар. Все, о чем она думала втихомолку, жарко и бесстыдно шептал ей Данекер. Или она, сама того не подозревая, отдала ему ключ от заветного ларчика? Как он смеет?! Всю душу разбередил! Ей хотелось плакать. Кто его знает, может, это один из приемов, которыми пользуются коварные мужчины, чтобы завлечь и обмануть глупых женщин? Все они легко говорят самые ласковые слова даже едва знакомым. Все они на словах сгорают и умирают, тоскуют и вздыхают. Хотелось бы верить... Но если поверишь, прильнешь к нему, сердце отдашь — он надсмеется и покинет. А раньше, может, и не узнаешь, какой он из себя. Все они ждут удобного случая да темной ночки. Еще в поле она ждала какой-то беды... А ночь уже поздняя. Надолго ли хватит у него терпения? Очень трудно поверить. Еще бы! Столько кругом красивых девушек, а он выбрал замужнюю женщину, уже видевшую дом мужчины. Выходит, поразвлечься решил. Жанар не отталкивала Данекера слишком резко, но и ласкам его не очень-то поддавалась. Но бедное сердце ее, изголодавшееся по теплу, уже готово было покориться. И чем он ее приворожил, этот джигит? Этого Жанар и сама не знает. Только тянет ее к нему. Предложил Данекер вместе в аул возвращаться — и она молча осталась. Попросил разрешения вечером зайти — и она согласилась. А если б оборвала резко парня, то и не испытывала бы этих мук. И она успокаивала себя тем, что еще представится возможность показать себя строгой и неприступной.

Но все получилось наоборот.

— Мать, наверное, беспокоится, ищет меня, кляня на чем свет стоит. Ну и характер дал бог человеку! Она весь аул способна обшарить, если разозлится,— сказал Данекер, чмокнул ее в щечку и бросился бежать.

А Жанар с той самой ночи покой потеряла. Наутро ее охватил сильный испуг. Она уже сама себе не верила и все молила кого-то, чтобы скорей возвращался Тулеп, иначе может случиться

непоправимое, которое безжалостней кинжала раскроит судьбу многих людей. Надвигается неотвратимо какая-то беда.

Весь тот день на работе Жанар чувствовала себя нездоровой, разбитой. Может, оттого, что не выспалась. Но вскоре работа так увлекла ее, что она забыла обо всем на свете. Да и запах трав влил свежесть и бодрость в ее измученное тело. Увидела она и Данекера, отмеряющего землю саженью. Народу на прополке собралось много. По двое, по трое быстро разобрали рядки и споро приступили к работе, соревнуясь друг с другом. Жанар с двумя школьниками достался рядок, густо заросший сорняками. Соседи ушли далеко вперед, а она со своими помощниками все еще возилась в самом начале. Ей стало жалко детей, которые старались изо всех сил, чтобы не отстать от других, но именно в начале ряда густо и буйно росли сорняки, не пуская их вперед. Маленькие ладошки ребят сразу стали зелеными.

Жанар вся ушла в борьбу с сорняками. До чего же странные шутки выкидывает жизнь! Как она сложна и противоречива! Нет бы стлаться ровным зеленым ковром, как это поле. Много в жизни сорной травы, дурмана, чертополоха, хмеля и вьюнков... «Сорный» — какое жестокое слово. Люди не любят сора, сорных мыслей, поступков, слов. Выдергивая с корнями сорняки, Жанар словно вырывала из своего сердца пугающе новое, тревожное чувство. Закончив рядок, она оглянулась назад. Там нежной зеленью ласкало взгляд чистое и доброе поле. Как хорошо, что руки человека не дали погибнуть слабым росткам!

С работы все возвращались с песней. Вторая бригада закончила прополку. С саженью на плече впереди всех размашисто вышагивает Данекер. Голос у него, оказывается, чистый, сильный и приятный. Он обернулся и взмахнул рукой, приглашая петь всех. Пожилые женщины отстали и шли себе потихоньку, занятые разговорами. Молодежь шагала впереди с песней. Выделялись звонкие голоса школьников.

Данекер сразу увидел Жанар. Он понял, что она все время шла сзади и смотрела пристально на него, решая свой трудный вопрос, и тихо, радостно рассмеялся. Ах, опять этот смех, такой знакомый и волнующий! Жанар покраснела, словно шагающие рядом люди могли узнать ее мысли, ее сладкую тайну. Кто-то из мудрецов говорил, что нельзя скрыть три вещи: бедность, глупость и любовь.

— Жанар, присоединяйся к нам! — звонким голосом позвал Данекер.

Женщины стали подталкивать ее вперед, уговаривая. Жанар почувствовала себя неловко, она упиралась и отнекивалась, но тут завелась Маржым:

— Чего артачишься? Гляди-ка, не успела расцвести, как в старухи хочет записаться. Ну, мужик старый, так сама-то молодая. Нечего тебе среди вислобрюхих баб сплетни слушать! Иди! Там твое место! Среди молодежи!

Жанар прибавила шагу и вскоре была с молодыми. Но казалось ей, что и здесь она выглядит белой вороной, что совершенно напрасно прогнала ее Маржым, хотя и с пожилыми женщинами ей было тяжело. Но уж лучше с ними! Всегда ее заставляют делать что-то против воли. Неужели ни разу не сделает она самостоятельного шага? Эта мысль ранила Жанар. Да, много было в ее сердце уязвимых мест, незажитых ран. Но в это время к ней повернулся Данекер, и виноватыми были его глаза. Он словно просил прощения за украденный вчера поцелуй. Разве за это просят прощения? И Жанар вдруг стало легко рядом с ним. Хорошо, что он здесь! И во встретившихся взглядах их были горячее признание и тайна! Принадлежавшая отныне только двоим.

— Давай, Жанар, запевай! «Гаухар тас»[1], если можно.

На двух тоях в честь новорожденных слышал Данекер, как пела Жанар. До этого ни он, ни другие люди не подозревали даже, какой талант кроется в ней. Новой стороной раскрылась перед аулчанами Жанар. «На веселых пирах у одаренного человека начинается зуд»,— говорят в народе. Вот и она не выдержала в тот раз. Билась крыльями о стены, трепетала от боли печальная песня любви. Бледнело и становилось волшебно прекрасным лицо певицы, и алыми лепестками дрожали ее губы. Через вечность, пролетевшую как мгновение, заметила Жанар мужа, прислонившегося к косяку. Слушал жену Тулеп, и все ниже клонилась его голова.

— Ого! Как она поет! Да такой женге в целом мире не сыщешь! Повезло Тулепу!

Может, эти слова смутили кузнеца или что другое, но он вскоре потихоньку исчез. Была у него дурная привычка: никогда ни в каком доме не проходил он в красный угол, несмотря на уговоры. Даже если все собравшиеся были моложе его, он все равно присаживался на корточках у самой двери. Смирение паче гордости, считали одни, а другие просто привыкли к этому. Пинками и подзатыльниками указывала прежде злая женге место Жанар. Нет, не считала Жанар, что место ее у порогов чужих домов. Чем выше сидела она в гостях, тем лучше себя чувствовала. Это и саму ее очень удивляло порой. Откуда в ней такая гордость, если вся жизнь прошла в унижениях? Но такое ее поведение как бы скрадывало болезненную скромность Тулепа.

Когда скрылся неизвестно куда только что стоявший у самой двери муж, Жанар стало не по себе, и она поспешила уйти, несмотря на самый разгар веселья. Может, чего доброго, приревновал к кому-нибудь? Тулеп сидел в передней комнате, засветив лампу, и постукивал молоточком. «Да нет, этому бедняге и в голову не придет ревновать». Она даже пожалела мужа, который ни песен не понимает, ни ревновать не умеет, ни даже прикрик-

---

[1] Казахская народная песня.

нуть по-мужски не смеет. Уж лучше бы выругался хоть раз, спросил строго, где она бродит, чем сидеть, склонившись над наковальней.

Предложение Данекера спеть «Гаухар тас» воскресило в ней картины прошлых праздников. И если эти воспоминания отдалили Тулепа, то тем ближе и опасней стал Данекер. Как ни хотелось ей держать парня подальше, ничего не могла поделать с собой, словно привязанный к земле серебряной нитью слабый жаворонок. Жгучая тайна была во всем этом. Не стала противиться Жанар, запела, как та бедная птица, пленница своей песни. Но теперь она совсем по-другому чувствовала и выводила мелодию «Гаухар тас», даже слышала ее совсем иначе. И не заметила, что все вдруг замолчали, слушая ее. Песня захватила людей. Шли они по земле, а она звала их к звездам. Завиднелся аул. Его легкие дымы казались отзвуками мелодии. Совсем не так, как прежде, вились они над домами.

И аул их встретил нынче по-другому. Навстречу несся разноголосый рев стада, выходили из домов удивленные старцы, выбегали радостные дети. Словно праздник несли с собой в аул молодые. Веселый азарт идущего впереди всех на байге скакуна, задорный вызов, удаль и хмель охватили Жанар. В полную силу запела женщина. Глядя на нее, радовался и удивлялся Данекер, открывая для себя непознанную красоту. Жанар вся светилась от гордости и счастья. Нет на свете ничего прекраснее лица молодой и влюбленной женщины. Вот она, истинная красота! В простенькой рабочей одежде. Только мягкий свет ложится на неброские серьги в форме полумесяца, качающиеся в такт шагам. И на сердце Жанар те же мягкие блики. Обо всем на свете забыла. Не помнила об усталости, о том, что из-за старого мужа и она принадлежит к старшему поколению, о том, что не с песней должна бы порхать по аулу, а степенно идти среди пожилых женщин. Какая-то мощная волна захлестнула ее, заставив обо всем забыть.

Не откатилась эта волна и после, не пропала, оставив лишь пышную пену. Нет, она увлекла за собой Жанар, сжимая тревогой сердце, не давая ей выплыть, вернуться в серые будни. Но что больнее всего, так это то, что эта волна вынесла и бросила ее к ногам Данекера. И не знала Жанар, винить себя за ту ночную слабость или не винить. За что же ей было винить себя? Всю жизнь жила она по чужой указке, по воле других, так неужели не смеет она хоть раз послушаться своего сердца? Она ведь свободным человеком рождена. Неужели для нее не зажглось ни одной звездочки в этом необъятном небе? Неужели не для нее светит ярко солнце? Она, словно враг своему счастью, сама себе ставит преграды, сама закрывается от света. Пусть призрачным будет счастье, коротким, как вздох, легким, как сон, но разве не мечтала она забыться в сказочном сне?

Томительны были их ласки на темной зелени лужайки. И ес-

ли слабели руки одного, то тем крепче становились объятия другой. Поцелуи были сродни смерти, ибо за ними следовало сладкое пебытие. Губы сливались с губами, ярко-алыми в темной ночи, словно степные маки. Возрадуйтесь, люди, это ваша ночь! Она скромна и ничего не видит. Завернулась луна в цыганскую шаль, спрятала от зависти лицо. Пусть они дадут счастье друг другу! Будьте вовремя молоды, люди! Ночь для вас дарит звезды, яркие, как гаухар тас — драгоценные камни. И когда ваша нежность оборвется на самой вершине утеса великого чувства, она ударит в желтый бубен луны в честь вашей свадьбы. Ночь, чье имя — Любовь!

Ветер утих. Настороженно молчит тишина. Пусть для влюбленных пройдет эта ночь без свидетелей. Только смех молодых мягко журчит, словно весенний ручей, да шепчет то горячий, то расслабленный. Нет, не сон это, а волшебная явь. И сами они виноваты, что дали искре разгореться, превратиться в могучий степной пожар.

Она расцветала при каждой встрече с Данекером. Светлый кюй постоянно звучал в ее сердце. Копоть обид, ржавчину унижений — все унесла могучая волна. Становилось страшно от нестерпимо яркого счастья, которое горело в их глазах. А если проходила неделя без свиданий, то казалось, что медленно протащился целый год. В разлуке особенно глубокой становилась тоска...

Однажды Данекер сказал:

— Не стать ли мне снова молотобойцем, чтобы чаще видеть тебя?

Вздрогнула от боли Жанар, повернула к любимому сразу потухшее лицо:

— Нет! Я не хочу... Я не смогу видеть тебя рядом с Тулепом. Ты не унизишь меня. Только наедине с тобой я счастлива и свободна. Пусть все будет как прежде.

Данекер предлагал ей уехать с ним из аула, от кривотолков и обид. Но Жанар отказалась. Не ждала она от него таких слов. Не считала себя вправе калечить судьбу джигита, не хотела стать его несчастьем.

— Ты думаешь, о чем говоришь? Здесь нельзя ничего решать сгоряча. Это страсть говорит в тебе, не разум.

— Верь мне, любимая! Верь мне, радость моя! Не сгоряча сболтнул, а сердце подсказало. Будь что будет! Ну что мне за радость, если женюсь на другой? Судьба улыбается смелым. Море жизни бурное, но нам ли бояться его? Наши места в одной лодке. Садись, поплывем...

Что скажут люди? Не сочтут ли неблагодарной? Мол, приоделась и отъелась за три года совместной с Тулепом жизни, напакостила и сбежала. А как его, беднягу мужа, не пожалеть? Не везет ему с женами, не ладится семейная жизнь. Ведь Жанар у Тулепа четвертая. До нее три жены бросили старика. Ни одна

не подарила ребенка. Мало того, две стервы забрали с собой все до нитки, оставив Тулепа среди голых стен. А разве не его золотыми руками было создано благополучие дома? Брошенный муж. Может, это незаслуженное оскорбление сделало его таким молчаливым? Старик, говорят. Да, он старше ее, этого не скроешь. Но ведь не развалина, выжившая из ума. Силы в нем еще на двух молодых хватит. Эх, бедняга! До чего же несчастный человек! Таким уж народился. Коли аллах решил создать его таким, люди бессильны помочь. Нельзя строить свое счастье на чужой беде. Причинив горе обиженному судьбой человеку, как станешь счастливой? Сама же считала, что если и есть на свете двое людей, самых несчастных, то одна из них она. Если несчастный не пожалеет несчастного, то кто же это сделает еще? Может, только сейчас он начинает себя чувствовать равным другим, гордиться семьей и достатком. Если уйдет она, не оправиться Тулепу от жестокого удара. Если покинет его, ни люди, ни бог не простят ее. А муж будет вправе проклясть. Впрочем, он и этого не смеет, не захочет. Себя будет винить. Бросившие его бабы все замуж повыходили и нарожали детей. Счастье и благополучие в их домах. А разве могло быть такое, если бы проклял их Тулеп? Иногда она и готова плюнуть на все, уйти с Данекером. Но жалко мужа. Только перед ним чувствует она себя виноватой, только жалость удерживает ее.

Данекеру нравится, что Жанар жалеет Тулепа. Это от природной ее доброты, впитанной с материнским молоком. Может, поэтому чувство их с каждым днем становится глубже, а вот куда оно их занесет: поднимет ли на вершину или столкнет в бездну? Этого они не знают. Жанар кажется иногда, что она катится в непроглядную пропасть. Но стоит ей свидеться с Данекером, и все за свете забыто. И мир светел, и много песен. На всем свете нет тогда людей счастливее их. Особенно памятна ей та удивительная ночь, когда он переполнен был нежности и ласки его сотворили с ней чудо. Золотым светом наполнились глаза, и руки Жанар стали невесомыми, как белые крылья лебедушки. Звезды дрожали на черном бархате неба. Руки его! Ах, какая это была ночь!

Как она не хотела расставаться! Казалось, желала воскресить и заново пережить все тайные их встречи, которые яркими кострами освещали прошедший год. Она, словно скупой, пересчитывающий добро,— в страхе потерять свое главное богатство. Все, все она сохранит!

Перед глазами живая улыбка Данекера, каждый его жест, каждое движение. Короткое счастье отпустили им небеса, а оно им казалось вечным. И вдруг разлука... Раньше эти воспоминания были для нее утешением, радостью, а сейчас все в ней кричит, жалуясь на величайшую несправедливость. Зачем? Отчего так больно сердцу?

Явь это или сон, предчувствие или бред — не знает Жанар.

Зыбкий, призрачный туман стелется до самого горизонта. В этом мареве тонет Данекер, машет рукой, зовет к себе. А у нее ноги ослабли и крикнуть не может. Бедные ноги! Она хочет бежать, а они как ватные. Ох, как тоскливо! Смеются зловеще белые чертенята. Откуда они? А потом... сорвал с нее Данекер одеяло и бросился бежать. Жанар окружили галдящие бабы, и злая ругань поганила их черные рты. Все они подходили и плевали ей в лицо. Была среди них и женге, глаза которой стали белыми от бешенства. Жанар сердится на Данекера. Зачем он обидел ее? Данекер подбегает к ней и грубо вешается на шею. Хохочут, ревут, скалятся люди. Она задыхается. Рванулась, хотела горестно крикнуть, а Данекер улыбнулся и приложил палец к губам: «Молчи!»

Нет! Воздуха нет! Дернулась Жанар и проснулась от собственного хрипа. Тело было горячим, потным. Она потрогала лоб: «Не сошла ли я с ума?» На висках выступила холодная испарина. Горло пересохло. В груди все горит. Она глубоко вздохнула и обвела помутневшими глазами комнату, залитую лунным светом. У стенки безмятежно храпел Тулеп. Этот храп показался ей кощунством. Ему не было никакого дела до ее страданий. Как он смеет храпеть, когда ей так плохо!

На улице залились внезапным лаем аульные собаки. Жанар невольно вздрогнула. Оторвав голову от горячей подушки, она привстала и посмотрела в окно. Гулко и часто стучало сердце, словно собираясь выпрыгнуть из груди или остановиться навек...

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Целый день слонялась возле дома старуха Кульжамиля, ворча что-то под нос. Все муки, которые испытала в ночь после отъезда Данекера, вспомнила она. Чем бы заняться сегодня? Как пройдет эта ночь? Может, соседского малыша позвать? Все живая душа. Только кто же согласится свое дитя каждую ночь отпускать в дом старухи? Надвигавшиеся сумерки пугали ее, словно тень от крыльев ангела смерти Азраила. Не выдержит ее старое сердце еще одну такую же ночь. Одна-одинешенька сидела Кульжамиля, скованная печалью, не в силах проглотить глотка чая, когда загремело в сенях, словно вошел кто-то. Старуха выглянула и увидела бурого козленка. Он вдоволь насосался молока и теперь резвился, как все сытые малыши. Кульжамиля посмотрела на него с доброй улыбкой.

— Ну и озорник! Все играешь, чертенок. То-то, мать под боком, вот и весел. Кому и играть, как не тебе.

Кульжамиля ловко схватила козленка за ногу и потащила прямо в жилые комнаты. Там она соорудила подстилку для козленка, уютное и теплое гнездышко. Старушка, довольная, про-

должала говорить сама с собой. Быстро стемнело. Скотина затихла в загоне. Только кашляли изредка овцы. Козленок днем бегал сам по себе, а ночью держался рядом с матерью. На этот раз он заигрался, так не хотелось ему идти в тесный загон. На громкие призывы матери он и внимания не обращал. А теперь вдруг страшно стало, к матери захотелось, и он жалобно заблеял.

— Ах вот как, озорник! Ты же только что шалил как чертенок!

Козленок, задрав ухо, пристально рассматривал пламя в лампе. Ну до чего он милый, просто слов нет! Вот и забава старой Кульжамиле, вот и живое создание. Лишь начнут одолевать ее тяжелые думы, а козленок тут как тут: «Мме-е-е!» — и куда только девались грустные мысли. Это он к себе внимания требует. Вскочит на ножки, забавно так запрыгает. Не захочешь, а засмеешься. Или как примется блеять, никак не уймешь. Вот и сейчас поднял крик. Кульжамиля встала с места и дала ему хлебца. Он потянулся к ней мордочкой, обнюхал руки, раза два фыркнул и принялся жевать.

— И ты знаешь, что вкусно, малыш? Сразу плакать перестал, верно?

Теперь козлик стал лизать шершавым язычком руки Кульжамили и обнюхивать ее рукав. Старому человеку приятно наблюдать за проделками детеныша. Только собралась старуха встать, как козленок выпрыгнул из гнездышка, чуть не опрокинув лампу. Кульжамиля довольна всем. Ей все кажется, что это бегает по комнате резвый топотун, баловень и непоседа. Время от времени доносится тоскующий голос матки.

Вот ведь как страдает бедняжка, словно это она проводила сына. Все же жалко скотину, отпустить к ней козленка, что ли? Но и отпускать не хочется. Столько времени радовал он одинокую старуху. Пока она колебалась, козленок забрался на почетное место и улегся там, изредка почесываясь задней ногой. Притих, разнежился. Брюшко у него сытое, круглое. Дышит, молчит, словно задумался о чем-то. Кульжамиля рассмеялась: «Ах шалун, ну чисто ребенок». Она подошла ближе, наклонилась и стала почесывать у него за ухом. Козленок даже глаза закрыл от наслаждения и потянулся сладко.

Старуха почувствовала удовлетворение, словно ей удалось убаюкать беспокойного малыша. Довольная собой, она пошла к своей постели. Видно, прошло немало времени, пока возилась с бурым озорником.

Оказывается, она успела крепко заснуть. Разбудило ее мягкое щекотанье губ козленка, который уже успел рассыпать по всей комнате черные горошины. Она дала ему хлеба, и он стал есть лучше вчерашнего. При этом он так забавно помахивал хвостиком, что трудно было удержаться от улыбки. Такой смешной! Не выдержала Кульжамиля, взяла в ладони милую мордочку козленка, понюхала его черный носик, погладила шелковистую

шерстку. Малыш понял ласку. Она вывела его из дома, приоткрыла дверцу загона. Козленок резво подбежал к матери и уткнулся в ее теплый бок.

С каждым днем все больше привязывалась к козленку старая Кульжамиля. Первое время она брала его на ночь в дом, несмотря на жалобы и крик малыша, но потом и козленок привык. Вечером все козы заворачивают в загон, а этот идет прямо к дому. Стал бегать за Кульжамилей как собачонка, обнюхивая ее подол. К тому, что малыш не все ночи проводит рядом с ней, привыкла и мать-коза. Она уже перестала тосковать и звать козленка, как прежде. Словно чувствовала, что ничего плохого не случится с бурым, что он в надежных и добрых руках. А козленок, где бы ни увидел Кульжамилю, все старается увязаться за ней. Лаской и лакомствами привязала она его к себе. Хлебом угощала, сахаром баловала.

Из-за этого козленка разругалась и с соседом Орынбаем. Както попросила старуха Орынбая вышить ей узоры на сырмаке. Не было особой охоты, но все же пошла Кульжамиля. Козленок по привычке за ней увязался. В дом, конечно, не попал, а остался за дверью. Когда старухи увлеклись разговорами и работой, вдруг раздался жалобный крик. Выбежавшая из дома Кульжамиля увидела, что серый кобель Орынбая кусал за ноги ее козленка. Кульжамиля и сама не заметила, как у нее в руках оказалось тяжелое коромысло. Она со всех ног бросилась к собаке и ударила ее по голове. С громким визгом, взбудоражив весь аул, пес кинулся прочь. В это время кто-то и вырвал из ее рук коромысло. Оглянувшись, она узнала Орынбая. Лицо его было бледным, борода тряслась от негодования.

— За что бьешь собаку?

— Зачем козленка покусала?

— Ну и покусала! Собака лежала спокойно и никого не трогала, а козленок стал резвиться и задевать ее. И вообще, от того, что подохнет козленок, ты не обеднеешь.

— Посмотрим. Если с козленком что-нибудь случится, то я вырву твою бороду и тебе же подарю. Для меня этот козленок дорог. Я его посвятила моему Данекеру.

Вскипел и Орынбай, поскольку была задета его борода — достоинство мужчины и его честь. Услышав шум, высыпали из дома и остальные. Старуха Орынбая хотела было успокоить мужа, но это ей сделать не удалось. Уж очень он был сердит. Визжащий пес, обежав вокруг дома, замотал от боли головой и вдруг, задрав морду к небу, дико и тоскливо завыл.

— Заткни ему глотку! Еще беду накличет паршивый пес. Уж не твою ли смерть чует, вон как развылся.

— Пусть эта беда в твой дом войдет. Пусть коснется твоего лоботряса, что в армию ушел...

— А-а... что ты сказал, сволочь?!

Кульжамиля сама себя не помнила. Гнев багровой пеленой

застлал ей глаза. Страшный хрип вырвался из ее груди, и она бросилась на Орынбая. Женщины закудахтали и кинулись их разнимать. Это им удалось, хотя удержать рвущуюся из рук, обезумевшую от гнева старуху было нелегко. Успела-таки Кульжамиля запустить камнем в воющего пса, да не попала. Кобель ударился в бегство.

Густым паром исходил самовар, остался лежать забытый людьми ковер с начатками узоров. Не до них было. Черная от обиды, двинулась Кульжамиля домой, во все горло вознося «хвалу» проклятому Орынбаю. За ней бежал бурый козленок, припадая на одну ножку. Но он уже забыл о боли и снова готов резвиться и играть без конца. Да и откуда ему знать, что это он явился виновником большого скандала. Подбежав к дому, он увидел сгрудившихся на солнечной стороне козлят, запрыгал от радости и присоединился к ним. Ни следа в его памяти от укусов пса не осталось.

Кульжамиля была как черная буря, которая если поднимется раз, то не утихнет долго. Об этой черте ее характера знал весь аул. Да и старуха Орынбая с утра до вечера пилила мужа.

— Ругали бы друг друга, зачем было сына ее единственного задевать?! Злой бабе вряд ли пришли бы на язык такие слова. Неужели не мог ничего другого сказать? Из-за твоей глупости и ковер остался недоделанным. Совсем из ума выжили, из-за собаки и козла убить друг друга готовы.

Свидетели этой ссоры сначала винили Кульжамилю за несдержанность. Но как только Орынбай задел Данекера, вся вина пала на него. Зачем он разбередил рану материнского сердца? Следовало пожалеть одинокую женщину. Когда гнев прошел, Орынбай и сам понял, что сплоховал. Перестал выть серый кобель, все так же лежал возле дома, словно ничего и не случилось. Только буря, поднявшаяся в душе Кульжамили, никак не хотела утихать.

— Не мужчина тот, кто способен оскорбить мать из-за паршивой собаки. Пусть мои слезы сожгут твое сердце, Орынбай!

Каждое утро, выгоняя скотину на пастьбу, выкрикивала эти слова старая Кульжамиля. Орынбай отмалчивался. «Эх, Кульжамиля, дал же тебе аллах характер, тяжелый как у медведя»,— думал он про себя и очень сожалел о случившемся. Не надо бы ему обижать старуху.

* * *

Было ясно, что гнев Кульжамили продлился бы еще долго, если бы не почтальон Малик. Как-то ехал он на пестром молодом коньке, скособочившись и помахивая плеткой. Кульжамиля встала с места, не выпуская из рук веретена. Был на ней старый помятый бешмет, а на голове грязный кимешек, который еще больше старил ее. Малик ни разу не видел старуху такой неопрятной. Даже пожалел. Лицо Кульжамили исхудало и было печальным.

— О апке[1]! С тебя сюинши причитается, подарок за добрую весть. Я привез тебе письмо от нашего Данекера.— И, натянув туго повод, он принял важную позу.

— Вот и тебе работа нашлась. А кто за тебя здороваться станет?

Малик был озадачен таким приемом. Растерявшись, он поерзал в седле, а потом вдруг выхватил из сумки, висевшей на боку, драгоценное письмо и завопил:

— Разве может быть приветствие лучше этого письма, апке?! О-о, что-то твердое в конверте! Не фотографию ли свою он прислал?

Глаза Кульжамили наполнились слезами. Как во сне подошла она к почтальону. Не сходя с коня, Малик быстро вскрыл конверт.

— Ойбай-ау! Да сыночек-то ваш стал совсем как Буденный. Ах, тысячи раз глаза твои целую, сокол мой!

— А кто это, твой Бодёни?

— Вот это да! Стыдно, апке, не знать такого батыра в Советском государстве!

Кульжамиля вырвала из рук почтальона фотокарточку сына и покрыла ее безудержными поцелуями. Курманали, Мукатай и Данекер снялись втроем. Одеты они были в долгополые шинели. На головах красноармейские шлемы. Туго затянутые ремни. Стояли джигиты как братья, сильные, стройные и спокойные. Могучие богатыри, воины.

— Глазоньки твои ясные... Губоньки твои теплые... Жеребенок мой... Вот и шлем богатырский тебе доверили... Айналайын[2]...

Закручинился и Малик. Горько было видеть, как вцепилась в бумагу старая женщина и целует ее неистово без конца.

— Иди-ка сюда, дай и тебя поцелую. Ты словно привел мне сына из далеких краев. Будь счастлив, айналайын!

Смущенный Малик наклонился к старухе:

— Да что с вами, апке?

А она достала из кармана три рубля.

— О апке! Я же пошутил насчет подарка. Для меня лучший подарок — такую весть привезти. Не нужно, не возьму!

— Цыц! Он еще перечить мне вздумал! Бери и спрячь в карман, ну! Что, от других ребят тоже есть письма?

— Все написали. Ну, теперь надо и их обрадовать. К вам я прежде всех заехал, апке. Вы уж не сердитесь, что не остался выпить чаю.

— Оу, а разве ты не прочитаешь мне письмо?

— Эх, апке! Скажите спасибо, что хоть фамилию на конверте разобрал. Пока я ваше письмо прочту — ночь настанет. Уж лучше я поеду, не задерживайте меня.

---

[1] Апке — старшая сестра.

[2] Айналайын — милый.

С этими словами Малик завернул своего пестрого конька. На лице его играла довольная улыбка. Хорошо привозить людям радость! Да и себе прибыль... Но разве дело в этих трех рублях? О люди, он везет вам полную сумку радости! Настроение хозяина передалось и коню, который стал резво и весело перебирать ногами, унося Малика навстречу добрым пожеланиям.

Кульжамиля отправилась искать человека, который мог бы прочесть ей письмо Данекера. Но, кроме ссутулившегося возле своего дома старика Орынбая, никого не увидели ее острые глаза. И, видать, письмо и фотография сына заставили ее обо всех обидах забыть.

— Эй, сумасшедший старик! — закричала она. — Пришли-ка ко мне Асема, пусть письмо мне почитает.

Орынбай слышал весь разговор Кульжамили с Маликом. То, что старуха немного смягчилась, очень его обрадовало.

— Сейчас, байбише[1]! Сейчас!

И он быстро засеменил к дому.

Вскоре прибежал запыхавшийся Асем. Глаза его горели от любопытства.

— Бабушка, письмо от Данекер-аги получили? О, какая радость! И фото? Как это хорошо, апа!

Успокоившись, Асем уселся поудобней и важно, не торопясь стал читать долгожданное письмо:

«Милая моя мама! Сердечный тебе привет из Красной Армии от сына твоего. Ты уж успела, наверное, соскучиться, хорошая моя, с тех пор, как я от тебя уехал? Да и мне было нелегко. Едва скрылись дома родного аула, как я уже заскучал по тебе. С тех пор не было дня, чтобы я тебя не вспоминал. Это все оттого, может, что раньше я тебя не покидал надолго, не уезжал далеко. Не тоскуй, мама. Не только твоего сына призвали исполнить долг, но и всех джигитов моего возраста. Привезли нас в Брестскую крепость. Оказывается, это не только окраина Белоруссии, а и всего Советского Союза. Только река Буг разделяет нас. Стоим на самой границе. Там — чужая земля. Мы сыты и довольны. Ты сама видишь, какую нам выдали красивую форму. Словом, мы теперь настоящие солдаты. И еще хорошо получилось, что все мы служим вместе, кроме жумановского Кельбета. Словно наш аул взял и переехал на западные рубежи родины. Правда, обучают воинскому мастерству очень строго. Подъем на самой заре. Если дома я мог валяться до обеда в постели, то тут вскакиваю как ошпаренный, едва раздается команда. И все так. Но мы уже привыкаем к суровой солдатской жизни, и она не кажется такой тяжелой.

Апа! Каждую ночь с тех пор, как я покинул аул, ты снишься и снишься мне. Не плачешь ли ты, добрая моя? Не надо этого

[1] Байбише — уважительное обращение к пожилой женщине, хозяйке дома.

делать. Ты же была сильной, не плачь! Я был счастлив и горд, когда ты, провожая меня, ни слезинки не уронила. Знаешь, как я хвастался перед джигитами? «Если мою маму золотом назвать, то золото потускнеет. Если алмазом, то алмаз рассыплется». Драгоценная моя, цены тебе нет! Что значат для нас три года? Они пролетят, как сказочный тулпар. Сено для твоих коз на зиму даст колхоз. Я напишу руководству. Среди людей живешь, думаю, они тебе не дадут голодать. Об этом не беспокоюсь.

Я многому научился здесь. Впрочем, вернее будет, если скажу, что меня научили. Родина раздвинула свои границы для меня. Моя большая Родина так же дорога для меня, как ты, моя мама. Если кто посягнет на нее, то мы все встанем грудью на ее защиту, не щадя жизни. Пусть эти слова не пугают тебя, апа. Сейчас все спокойно. Тишина. Но не везде, к сожалению. Когда я вижу рядом своих друзей, сильных, уверенных, то невольно думаю, что никто не осмелится напасть на нас.

Правду говорят, что и травинка с родной стороны дорога в далеком краю. Мы скучаем по дыму аула, по холмам, по закатам и по родному небу. Но особенно сильно мы скучаем по людям. О апа, если б ты знала, как я по тебе истосковался! По твоему ласковому ворчанью, по твоим тумакам! Как хочется мне прижать голову к твоей груди и замереть!

Передай от меня поклон всему аулу, аксакалам и малышам, женщинам и девушкам. Если хотят, чтобы я служил хорошо, с душой, то пусть не оставят с заботами тебя. Долг платежом красен, говорят. Я об этом знаю и всегда помню. Разве джигит не в состоянии вернуть все с лихвой? Буду жив, отплачу добром всем людям, которые не оставили тебя, апа. Не печалься, не беспокойся обо мне, золотая моя мама!

Данекер».

Все собравшиеся плакали. Ослабила вожжи и старая Кульжамиля.

— Умница мой! Да буду я жертвой за тебя, мой ягненок!..

Старуха вытирала обильные слезы концом несвежего кимешека. Влажной дымкой наполнились и глаза Орынбая. Опершись на палку, старик стоял рядом.

— О аллах! Возьми под свое покровительство юных воинов наших! — и он провел ладонями по лицу.

В это время солнце уже валилось на запад, и аул был разбужен ревом возвращающегося стада. Кульжамиля вспомнила, что надо еще привязать козлят. Козы уже дошли до дома. Навстречу им бросились изголодавшиеся по молоку малыши.

— Пусть! Пусть сегодня и для них будет праздник и они вдоволь напьются сладкого молока. Это мой сюинши для них,— улыбнулась Кульжамиля и больше не обращала внимания на коз. И бурый козленок заскакал, потом уткнулся мордочкой в теплое вымя матери, только хвостиком помахивая от наслаждения.

В этот день во многих домах не было молока. А для сосунков

случился неожиданный праздник. Людям было не до них. Кипели разговоры вокруг треугольных солдатских конвертов. Не прошло и месяца, как уехали джигиты, а весь аул, кажется, соскучился по ним. Все радуются первым весточкам.

Ночь выдалась звездной, ясной, безоблачной. Звезды показались Кульжамиле особенно чистыми и светлыми. Засмотрелась на них Кульжамиля и долго стояла молча. А аул все никак не мог угомониться. В такие минуты человеку легко оторваться от земли и лететь на светлых крыльях вслед за мечтой.

Взгляд Кульжамили упал на ковш Медведицы. Тут она поняла, что прошло уже немало времени. Достала из-за назухи фотокарточку сына, внимательно глянула в его лицо, поцеловала и пошла к дому. Козленок по привычке прибежал ночевать в дом и уже занял свое место. Кульжамиля так и заснула с письмом и снимком, прижатыми к груди.

* * *

В этом году не было человека, которого бы не удивил столь богатый рост хлебов. Многие были озабочены вопросом, удастся ли его собрать полностью, без каких-либо потерь. Кульжамиля часто слышала от аулчан, что в озимых может заблудиться всадник вместе с конем и никто не увидит их. Почти все люди в поле. Страда. Горячая пора. Даже нет времени домой заглянуть, так и ночуют на станах и на токах. Стало мертво и пусто в ауле. Затосковала от необычной тишины старая Кульжамиля и решила в один прекрасный день проведать аулчан. Опираясь на крепкий посох, тихо побрела она к ближайшему от аула току. Видимо, поднялся добрый ветер, потому что над хирманом стояло густое облако пыли. Джигиты дружно провеивали пшеницу. Навстречу ей двинулся караван подвод, груженных зерном. Нет сомнения, что либо к зерноскладу держат путь, либо в Антоновку. Запряженные парой быки на ходу важно покачивают головами. Тяжелый груз везут. Дорога, проложенная прямо по стерне, стонет от напряжения, уходит вниз из-под колес, которые провалились уже по самые оси. Мягкая дорога, пыльная. Но колеса скрипят зловеще, грозя развалиться на части.

— Цоб!— кричит один арбакеш.

— Цобе!— лениво откликается другой.

Но в их будничных криках слышится гордость за свой труд.

Картина, полная красоты. Тучи пыли над током, горбатые хребты хлебных буртов, спокойное золото стерни отдыхающих полей, мирный караван скрипучих подвод. Это зрелище наполнило сердце матери глубокой радостью. Сидя дома, можно все на свете прозевать. Хоть раз прийти на этот ток на самой окраине аула — и то великая радость. Незачем желтеть от одиночества в пустом ауле. Она почувствовала себя бодрей.

— Апа, как ваше здоровье?

— Апке, как ваши дела?

Один за другим здороваются с Кульжамилей проезжающие арбакеши.

— Спасибо, родимые! Спасибо, ласковые! Да увеличится ваш доход!

— Мед тебе в уста, мать!

— Да сбудутся пожелания твои!

Она встала у самой обочины, приложила к глазам ладонь козырьком и стояла, вглядываясь сквозь густую пыль в лица возчиков, одного узнавая, другого — нет.

Когда Кульжамиля добралась до тока, то первым ей попался на глаза Нашекен, который истово перелопачивал белое зерно. Рядом трудились четыре здоровенных джигита, бросая снопы пшеницы в ненасытную пасть молотилки, которая ровно тарахтела, требуя все новых и новых порций, жуя и выплевывая зерно отдельно от соломы. Работавшие поздоровались с Кульжамилей. Нашекен перешел к скирде и стал подавать оттуда золотистые снопы, не поднимая головы. Было видно, что человек занят своим делом, что он настоящий дехканин. Да, на земле нет работы для равнодушного. Пота, терпения и великой любви требует к себе земля. Светлой струей течет чистое белое зерно.

Ревет комбайн на другом конце тока. Там всё в тучах густой пыли. Ничего не видно, ничего не слышно. Несколько человек забрались на скирду и сбрасывают оттуда снопы. Двое тут же рвут жгуты, перепоясывающие их словно девичий поясок невесты. И не успеешь глазом моргнуть, как летит пшеница в рычащую пасть, чтобы чистым зерном обернуться. Как в гигантскую топку летят снопы, и работа кажется бесконечной. Темными стали от пота рубахи. Лоснятся согнутые спины. Тра-та-та, тра-тата, тра-та-та! И вот уже нет золотой горы. Про это чудо слыхивала Кульжамиля, а вот видеть до сих пор не доводилось. Да, это настоящее чудо, сотворенное руками человека. Светлая голова придумала эту машину. Зерно отдельно, сабан[1] отдельно. Ах, как хорошо! А раньше на эту работу уходило много времени и сил.

Нашекен подошел к Кульжамиле справиться о ее здоровье. Джигитам он разрешил немного передохнуть. Хотели они не спеша, с толком и вкусом поговорить, но помешали. Смотрят, а это жнецы идут — серпы на плечах. С ними бригадир и учетчик. Все они что-то кричат рабочим тока, машут руками. Те отвечают тем же да ладошками шлепают. В это время и железный богатырь умолк. Звоном влилась в уши тишина.

Нашекен и Кульжамиля тоже подошли к собравшимся. Солнце стояло еще довольно высоко и кончать работу было явно рано. Но все почему-то толкутся на току. Даже у вечно хмурого бригадира Садыка сегодня веселое лицо. Он-то и открыл собрание от имени партийной организации и правления колхоза. Основная

[1] Сабан — солома.

его должность — бригадир. Но все молодухи называют его «парторг-кайнага»[1]. Он и был секретарем партийной организации колхоза.

— Сегодня мы чествуем жнецов. Они на высоте. Весь урожай увязан в снопы. Теперь только не дать зерну сгореть, вовремя обмолотить и вывезти... Передовым колхозникам вручаются награды.

Люди зашумели. Кого же ждет награда? Какая? Садык молча ждал. Пауза затянулась. Из будки охранника два джигита притащили большой пестрый коржун.

— Товарищи! Среди передовиков есть один человек, который с начала и до конца уборки никому не дал обойти себя. Это настоящий герой, товарищи! Первый приз ему. Поздравляем, Имансерик! По труду вам и честь.

— Чем наградили его?

— Что дали-то?— заговорили самые любопытные и нетерпеливые.

— Премируется он одним бараном и пятью метрами ткани!

— Ого! Повезло человеку!

— Эх, знал бы я, что так будет, бросил бы к шайтану скирдовку и пошел лучше жать. Ай-яй!— стали сокрушаться некоторые из присутствующих.

— Не было равных нашему Имеке. Это не человек, а комбайн. Да, комбайн!

На середину вышел сутуловатый черноусый человек с торчащей задорно бороденкой. Он был смущен, но довольная улыбка невольно растягивала его губы, так что белыми рисинками сверкали из-под усов зубы.

— Баран твой в стаде. Потом заберешь. А материал вот он держи!

— За тобой угощение, Имеке!

— Готовь той!

— Верно! Верно! Надо отметить. Пусть колхоз организует праздник в честь окончания уборочной страды.

— Вторая премия — Жанар!

Люди снова зааплодировали.

— Выходи! Пусть выйдет на середину!

— А ей что дадут, интересно?

— Жанар получит пять метров шелка!

С тех пор, как уехал Данекер, Кульжамиля в первый раз видела Жанар. Лицо ее показалось матери грустным. Или она устала от тяжелой колхозной работы? Все же, по сравнению с прошлым, поблекла. В выцветшем ситцевом платьишке, распустив тяжелые косы, не снимая рабочего передника, гордо ступая, вышла Жанар перед колхозниками. Взгляд ее на миг встретился со взглядом Кульжамили. Она чуть замедлила шаг и едва заметно

[1] Кайнага — старший родственник мужа или жены.

наклонила голову, приветствуя мать Данекера. Лицо ее зарделось, глаза засияли. И сразу стало ей неловко, словно тысячи игл пронзили ее с головы до ног. Казалось бедной, что люди смотрят на нее вопрошающе, а не радуются ее успехам: «Кого вспомнила, красавица? Отчего застыдилась, заалела как маков цвет?»

— Наша Жанар оказалась самой искусной жницей среди женщин. Ни одного дня не пропустила она с самого начала страды. Но лучше вспомним, как она работала! Будто то быстрая лодка рассекала волны пшеницы. Нелегко было Имекену победить ее.

— Надо просить сюинши у Тулепа.

— Он нам даст хорошую премию,— стали посмеиваться джигиты.

Прошло немало времени, пока опустел большой мешок с призами. Люди получили передышку, развеселились. Там и тут раздавался смех и шутки.

— Товарищи! Для вас зарезан баран и готовится угощение. Сегодня будет у вас праздничный вечер. Даже артисты из района приехали.

Когда люди стали расходиться, Кульжамиля увидела рядом с собой Садыка.

— Ну, как, апке,— спросил он,— видно, не вытерпела ваша душа, в самую горячку потянуло? Не помочь ли нам явилась?

— Черта с два!— отрезала старуха.— На меня понадеешься — без порток останешься.

— Ойбай! Тогда молчу! Ох, сестра, вам и слова не скажи! Зачем же вы тогда пришли? Должно же быть какое-то дело?

— Так ведь уборка идет, самая страда, какое сердце выдержит дома-то? Или я не крестьянка уж? Впрочем, я вот у Нашекена пришла попросить кеусен, первого зерна, как издавна повелось.

Нашекен широко улыбнулся:

— Что же ты раньше не сказала? А вот взяла и брякнула при парторге. Смогу ли я теперь тебе дать?

— Нарочно при нем говорю. Коли самовольно дашь, на кражу будет похоже, а если парторг разрешит, то все будет законно.

Слова Кульжамили всех рассмешили.

— Я тебе от своих трудодней выпишу два центнера пшеницы. Если хочешь, сегодня же привезу к тебе домой, нет, так завтра,— пообещал Нашекен.

— И один центнер от меня,— добавил Садык.

— Да отблагодарит вас создатель! Скучно мне стало в пустом-то доме, вот и потянуло к людям. Не думала, что все такой пользой обернется.

— Это ваша доля, а доля Данекера отдельно лежит, байбише,— заметил Нашекен.

Слова эти еще больше обрадовали и без того довольную старуху.

Кульжамиля направилась в аул. Время было уже скотине воз-

вращаться с пастбища. Надо пораньше привязать козлят. Большая часть людей с тока давно ушла в аул. А те, что задержались, тоже уже в пути. Сегодня все обязательно должны побывать дома, помыться, переодеться в праздничные платья. Решила пойти на той и Кульжамиля, после того, как подоит коз.

Только... боялась она расплакаться, вспомнив Данекера, когда увидят ее глаза веселую молодежь. Да и что ей до этого зрелища? И козленок без нее затоскует, станет искать, как в прошлый раз.

Тогда она засиделась за чаем и сплетнями со старухой Орынбая до поздней ночи. Когда, наконец, спохватилась и пошла домой, то обнаружила его у самой двери, жалобно блеющего. Привык шайтанов сын в доме ночевать. К ней привязался, ласковый. Без нее он сиротой себя чувствует. А в загоне кричала матка, заслышав голос сына. «Ойбу-у-у, совсем из ума выжила, как же я тебя закрыла... Малыш мой...» — ругала себя Кульжамиля.

Узнав голос хозяйки, выскочил и кинулся к ней козленок, теребя теплыми мягкими губами то подол ее платья, то рукав, то край кимешека. Чего-то просит детеныш. Было у старухи в кармане два баурсака, и она тут же угостила ими своего любимца. Тот с наслаждением захрумкал. Успокоилась и коза во дворе. Перестала кричать, надрывать душу. Тогда Кульжамиля прижала к себе козленка, приласкала и уложила спать.

Теперь ей вспомнилась та ночь, и она пожалела козленка, который рос упитанным и крупным, не то что другие. Оно понятно, Кульжамиля кормит его и травкой, и хлебом, и молоком, и сахаром изредка. На особом положении бурый. Он мать свою в росте догоняет, а для старухи все еще несмышленыш, сосуп. Не зря говорят, что выросший в доме верблюд всю жизнь носит кличку верблюжонка. А у этого уж и рога поперли из башки. Да-а, не человеческое дитя все же, быстро растет, даже слишком быстро. Природа так уж распорядилась, отпустив животным короткий век. Хоть бы сохранил аллах живым этого козленка до возвращения Данекера... Через два-три дня козлят уже отпустят со стадом, с козами, которые начали терять молоко. Если продолжать и дальше доить, можно погубить козу. Ну вот... козленок, который бегал возле дома или путался в ее ногах, теперь тоже уйдет со стадом. Неужели он и на пастбище будет таким же озорным и неугомонным? Вчера она заметила, что он начал ухаживать за козочками, не давая красоткам покоя. Это может повредить его здоровью, надо принять меры, а то не будет привеса. Говорят, у старого Орынбая легкая рука. Пусть он отомстит за обиду своего серого кобеля.

Кульжамиля не смогла удержаться от смеха. Спохватившись, оглянулась воровато, не услышал ли кто, и увидела тихо идущую за ней Жанар.

— Эй, девка, ты что это от всех отстала?

— Апке, я все ждала, когда вы останетесь одна.

«Апке...» Неуместно Жанар называть старуху «старшей сестрой». Обе женщины почувствовали это. Вырвалось, поскольку все так называли мать Данекера. Замолчали отчужденно. Одно слово. Оно не дало раскрыться одной человеческой душе, доверить себя другой. Слово помешало. Да и первые слова Кульжамили не располагали к откровенности. «Девка». Эх, люди...

Если бы это была не мать Данекера... Но что-то мешает ей сказать грубое слово старухе, что-то не пускает вымолвить ласковое. Молча идут они рядом. Мысли тревожные и молчание как пустая стерня. И нет им конца. Много прошло времени.

— Апа!— надломился голос Жанар.— Окажите милость, примите...— и она выхватила из-под передника премиальный шелк.— Прошу вас!— Задыхаясь, она сунула тяжелый отрез в руки Кульжамили, зарыдала без слез, страшно и пошла, не оглядываясь, вперед.

«Ох, язык мой — враг мой. Не зря так говорят. А мой язык — чудовище, дракон. Обидела я эту несчастную, ох как обидела! А она-то ко мне всем сердцем, открытой душой». Вспомнился старухе день отъезда Данекера, платок, вышитый руками Жанар, и тот поцелуй. Но была она тогда храброй, открытой, дерзкой. А сегодня... что-то сильно ее гнетет. Не надо было доводить до слез. Нелегко, видно, бедняге, как и одинокой Кульжамиле. Нет бы поговорить с ней по-человечески, а то сразу с грубости начала...

— Оу, Жанар! Подожди! Стой! Да оглянись же!

Но Жанар бежала вперед, не оглядываясь, и плечи ее сотрясали мучительные рыдания.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

День выдался ветреный. Весь западный край неба обложили черные тучи. Быстро и неотвратимо ползут они на мирных косарей, тяжелые, свинцовые. Запахло грозой. Трудно стало подавать сено на выросшую уже скирду. Нашекен всегда подгоняет, торопясь до первых капель закончить укладку стога. Порывистый ветер порой опрокидывает волокуши с сеном. С высокой скирды все видно Нашекену. Черная туча повернула на юг, закрыв собой вершины Алатау в стороне Сарканда. Заметил, что дождь обложил и город. Из многолетних наблюдений он знает, что если дождь осыпает Сарканд, то и у них он будет неминуемо. А ведь все лето не было дождя. Эх, пролиться бы этому ливню на две недели раньше! Странные капризы у природы: то она отпускает свои дары щедрой рукой, то скупо сожмет все в кулак, а потом отдаст, когда в подарке уже нет никакой нужды. В прошлом году все было иначе: дождь лил как по заказу, именно в нужное время. Тучи трудились по ночам, орошая землю, а днем ярко свети-

ло солнце. Вот и получили неслыханный урожай. А нынче была поздняя весна, часто дули сухие ветры, а когда нужен был дождь, тучи стали стороной обходить поля. Да, год на год не приходится.

На днях Нашекен сам обошел хлеба. Чахлыми были колосья, больными. Тогда он сказал бригадирам, чтобы пустили на поля воду, не надеясь на дождь. Хлеб губить нельзя. В тот раз он очень испугался, увидев листья сасыра, очень странного растения. Созревает он раньше всех и раньше других погибает, сгорев за какую-нибудь неделю. Если за эту неделю не собрать сасыр, то потом его не найти и никакие заклинания не помогут. Сильными свойствами обладает сия трава. Если дать ее жеребой кобыле, то она выкинет плод. Коли дать после того, как ожеребится,— нет лучшего лекарства. Животное быстро поправляется. Особенно любят сасыр козы и овцы. Есть верная примета: если головки сасыра остаются сжатыми, то год будет засушливым. Нашекен хорошо знал об этом. Вот и нынче сасыр предсказал ему засуху. «Проклятая трава!» — не сдержался он и стегнул камчой по сжатым головкам. Все так и вышло. Оттого что не было дождей, трава выросла редкой и низкой. Много труда уходит на то, чтобы заготовить такое сено. На эту работу руководство колхоза специально направило Нашекена, зная, что он не успокоится, пока не выполнит порученное дело, и другим не даст покоя. Себя он не умел щадить.

Скирды на буром плато стояли редко, и было грустно смотреть на них. То ли в щедрые годы, когда обилие стогов радует глаз. Нашекен снова оглядел все вокруг. Ветер уже начал трепать уложенное сено. Рубаха на спине Нашекена вздулась парусом, штаны прилипли к ногам. Он с трудом удерживал сено, подаваемое снизу, трамбовал его ногами и укладывал вилами.

— Нашеке! Спускайтесь вниз, а то ветер сбросит вас сверху, перевернет вместе с сеном! — еле донесся голос с земли.

Через некоторое время ветер стих, и на землю упали первые тяжелые капли.

Со стороны Сарканда мчался наметом всадник, пытаясь обогнать плотную завесу ливня. Конный летел прямо к работающим. Люди уже успели собраться у крайней скирды. Некоторые, спасаясь от дождя, накинули на головы свои бешметы. Но все с тревогой смотрели на взмыленного всадника. Это был парторг Садык. Лицо его мрачней тяжелой тучи. Брови сурово нахмурены. Гневная складка прорезала лоб. Со щек спал обычный румянец, они побледнели. Губы у гонца покрыты серым землистым налетом. С тяжелым вздохом он слез с коня. Вымок до нитки. Люди встревоженно молчали. Нашекен, который все еще был наверху, не выдержав, закричал:

— Оу, Садык! Что с тобой? Все ли в порядке?

— Нет!

— О, что за беда еще?

Зашумели люди, задвигались.

— Война! Люди! С Запада пришла к нам война, немец напал!

— Горе! О аллах! Что ты сказал?

Завыли женщины. Опустили головы мужчины. Чувство глубокой вины охватило парторга, словно он уже привез этим людям весть о смерти родных и близких. Может, так оно и было. Издавна черный вестник — самый несчастный человек на земле. Раньше его убивали, а за что? Замер наверху Нашекен, опершись тяжело на вилы. Свинцовыми стали ноги Садыка, непослушным — язык, а на сердце лежал горячий камень. Молча, оцепенев, люди смотрели на своего парторга, а потом вдруг все бросились в аул. Страшно было смотреть, как они бежали под секущим дождем, под черным небом, которое будто обрушилось. Косые струи зло хлестали по их лицам. Клубилась и рвалась над пустеющим полем туча.

— Эй, Нашекена забыли!— крикнул парторг. Два-три джигита остановились, непонимающе посмотрели на Садыка, молча вернулись к скирде. Один из них забросил наверх длинный аркан, и все ухватились за его нижний конец. Нашекен обвязался веревкой и соскользнул па землю по другую сторону от ребят.

Снова разверзлось небо. Синие клыки молний разрезали тьму. Крупные полосы дождя заливали поле. Но люди, получившие страшную весть, не обращали на стихию никакого внимания. В их сердцах поднялись другие бури.

Нашекен подумал внезапно о тех семнадцати ребятах, которые ушли служить осенью прошлого года. Среди них был и его племянник Кали, сын семидесятилетнего брата Ахметжана. Данекер там же. Один он у старой Кульжамили... Она еще в тот раз, когда только повестка пришла, такой шум подняла на весь аул. Что же будет с ней теперь? Несчастная старуха. Он шел один и молился про себя. По горестному его лицу бежали дождевые струи, исчезая в бороде. Ох как плакало небо в тот день! Окончив молитву, провел он руками по лицу и посмотрел назад. На дороге один только Садык, оставшийся, чтобы пригнать в аул скот, для которого тоже в тот день кончились труды. Быки жадно хватали траву. Видимо, вкусней стала она от дождя. Скотина — скотина и есть. Что ей до человеческих страданий? Было бы брюхо набито. Никогда раньше не приходилось Садыку быков заворачивать, сегодня он взял на себя и эту работу.

Капли становились все мельче. Ливень, обрушившийся на землю, переходил в нудный затяжной дождь. Садык нещадно молотил плетью тупых и упрямых быков. Горе и ненависть, боль и недоумение вкладывал он в эти удары. Неразумно срывать сердце на бессловесной скотине. Но может человек хоть раз поступить неразумно? В такой день! «Эх ты, бычья душа! Ревешь только когда тебе больно, а до других тебе и дела нет. Быком родился, быком и подохнешь. А как мне горе многих людей своими плечами поднять? Всю их боль принять сердцем?!» Не захотел На-

шекен оставлять Садыка одного под этим дождем. Он повернул назад.

Над Екинды тучи поредели, небо посветлело. Аул, который словно вымер с утра, ожил. Особенно много народа собралось у центральных дворов. В страду было очень неудобно собирать в стадо животных из каждого дома, и руководители колхоза нашли целесообразным построить общий скотный двор, который и называли центральным. Здесь и доили хозяйки свой скот днем и вечером. Людям это понравилось. Не надо было без конца гонять скотину то в стадо, то во двор. Привяжут козлят и ягнят, чтобы не припустились к маткам, подоят — и домой. Для ребятишек особая радость. В обед и вечером, когда возвращается стадо, удавалось им собраться теперь вместе и вволю поиграть.

Но сегодня грустны и ребячьи лица. Двор превратился в грязное навозное болото после дождя. Нет ни клочка сухой земли, где можно было бы присесть на корточки и подоить овечку или козу. В поисках подсохшей земли люди вышли на улицу. Некоторые женщины воют в голос, сидя у своих подойников. И дети, которые придерживают коз и овечек за шею, грустно смотрят вниз. Черная весть опечалила весь аул. Строги и нахмурены, грустны лица стариков и детей, мужчин и юношей, девушек и старух.

— Светоч мой, говорят, враг далеко в нашу землю вошел. Как же это? Говорили же, что война будет на чужой земле и что никакого врага не пропустят. Эх!

— Вероломно ведь напал, неожиданно!

— Ох, разбойник! Собака! И чего не хватает ему?!

— Слушайте, правда это, что напал немец прямо в том месте, где наши джигиты служат?

— Эх, молодцы-удальцы! Хоть бы живы остались парни!

— Спаси их аллах! Возьмите под свою защиту, духи предков!

Пронзительный крик заставил всех вздрогнуть. Даже скотина насторожила уши.

— Будь ты проклят! Позор и стыд тебе! Горе и проклятие тебе, наславшему на землю войну! Эй, бог! Я проклинаю тебя! За что ты казнишь нас? За то, что боялись и почитали тебя? Все! Тьфу! Будь проклят, равнодушный и жестокий! Или это награда за наши молитвы? Так возьми мою жизнь, порази меня громом и молнией! Пусть земля поглотит меня! Я тебя не боюсь!

Народ сразу узнал бедную Кульжамилю, проклинающую само небо. Каждое ее слово больно ранило людей. Как лезвие бритвы терзали сердце ее проклятия.

— Несчастная! Зачем бога задевать?

— Астапыралла!

— Беда, мать, великая пришла!

Лицо старухи почернело от горя, глаза налились кровью. Размахивая пустым ведром, кричала она страшные слова, от которых старики бледнели и судорожно хватались за вороты.

Все поняли, что сейчас бесполезно говорить что-либо старухе: не внять ей словам разума, не услышать утешений. Только бурый козленок, тихо ступая, подошел к ней. Хотел, как обычно, обнюхать подол ее платья, но хозяйка со злостью ударила его по носу пустым ведром. Еще! И зазвенело ведро, ударившись о твердый рог. Самые пугливые овцы вырвались из слабых детских ручонок и кинулись прочь. Но бурый козленок все не отставал от хозяйки. Он не понял обиды.

— Черным вышло благословение мое! Пусть тебя теперь волки съедят!

Но больше не стала бить. Опоздала сегодня на дойку Кульжамиля, но козлята были привязаны. Они жалобно блеяли и рвались из веревочных петель. С тех пор, как был построен скотный двор, Кульжамиле не приходилось самой привязывать козлят. Все ребятишки знали ее живность, жалели старуху, и то один, то другой привязывали ее козлят.

Она стала по одному освобождать рвущихся козлят.

— Идите! Ступайте вон! Если бы оглохший бог, у которого нет ни семьи, ни детей, шепнул мне, что жив мой единственный, всех вас принесла бы в жертву, начиная с бурого. С себя начиная! С себя! Зачем мне дом? Зачем скот? Жизнь зачем?!

Все это от отчаяния, от бессилия что-либо предотвратить. Но не принесло облегчения Кульжамиле то, что побила она бурого, что других козлят отвязала. Как пришла она с порожним ведром, так и вернулась. Брела как слепая по лужам, по грязи. Звонко постукивая копытами, бежал за старухой бурый козленок.

Может быть, из-за туч, по стемнело рано. Снова подул холодный ветер. Совсем не похожа погода на летнюю. Самая настоящая осень. Наверно, в горах ливень перешел в снег, тогда понятно, почему поднялся студеный ветер. Здесь всегда так. Что странно, теплый Бесбаксы не дует в пасмурные, облачные вечера. Вот и сегодня нет доброго ветра. Стужей пахнет на улице, стужа царствует в домах. Через некоторое время показался среди туч тусклый осколок угасающего солнца. Он был словно в крови. Подавленно молчал аул. Не слышно обычной вечерней суеты.

Там и сям тоскливо завыли аульные собаки. Невыносимо было слушать этот жуткий вой. Вскоре уже казалось, что в ауле хозяйничает волчья стая. Многоголосый вой способен был свести с ума. Овцы, только недавно загнанные во двор, стали пугаться, перебегать беспокойно с места на место. Особенно встревожены козы. Они дрожали от напряжения, и стоило громко крикнуть, они разнесли бы все вокруг и бросились вон, калеча друг друга. Страшно было и сторожу. Он поспешил пораньше запереть ворота и пошел к людям. Кто станет воровать скот в такую ночь?..

Громко плача, шла к своему дому Кульжамиля. Все ее отчаяние, все бессилие и горе вылились в слезы. Она чуть не падала с ног. А у самых ее дверей жутко выл серый кобель старого Орынбая, поджав свой разбойничий хвост. У бедной женщины

чуть сердце не разорвалось от страшного приступа тоски, она оцепенела, не в силах двинуться с места. Но тут словно всхлипнуло что-то, и взвизгнул серый кобель. Это бурый козленок с разбега ударил рогами в бок своего врага. Пес раза два перевернулся, пока удалось ему вскочить на ноги. Козел погнался за ним, выставив угрожающе рожки. Собака с визгом бросилась бежать. Ободренный козленок, гордый своим подвигом, важно пофыркивал и никак не хотел заходить в дом. Он стоял и смотрел то в сторону центрального двора, то туда, где скрылся пес.

— Айтак! Айтак!— донесся голос сторожа. Видно, чувство долга пересилило в нем страх, и он вернулся. Только часто кричит он сегодня. Все-таки жутко и неуютно одному. Вот и кричит, и все аульные собаки вторят ему.

В голос заплакала Кульжамиля, обнимая за шею козленка:

— О-о-о, Данекер! Есть ли ты на свете, или нет уж давно тебя? Отчего меня мучает смертная тоска? Сердце не находит покоя, все болит во мне!

— Перестаньте, байбише! В сумерках нельзя говорить такие слова. Примета плохая!

Она подняла слепые от горя глаза и узнала Нашекена.

— О Нашеке! Не осталось во мне веры в бога. Не услышит он меня никогда, проклятый! Ты... веришь... ты... помолись. Может, тебе он ответит.

— Терпение, байбише. Не следует казниться в сумеречный час и окна оставлять темными. Иди, зажги лампу, мать,— с этими словами он помог Кульжамиле переступить порог ее дома. Вместе с ними в дом вбежал и козленок.

* * *

Столпотворение возле дома Тулепа. В основном, здесь собрались старики и старухи да сопливая детвора. За один месяц осиротел аул без мужчин, ушедших на фронт. Стали обычным явлением проводы четырех-пяти джигитов ежедневно. Но не были они уже такими торжественными, как те, давние, когда провожали Данекера с товарищами. Давно это было, еще до войны. Теперь все проще: получивший повестку прощается с семьей, садится на арбу, выделенную колхозом, и отправляется в район.

Люди в поле узнают, что такой-то уже уехал, а этот получил повестку. И дело тут не в равнодушии. Мечутся аулчане, разрываются на части, а толку мало, и везде видны следы запущения. Не хватает людей. Каждый год к новому урожаю сенокос завершался. Но нынче все не так: ни на уборке, ни на косовице нет нужных рабочих рук. Одним из первых ушел на фронт председатель колхоза Ахметходжа. Временно его заменил Садык. В одном лице представляет он и председателя, и парторга, и бригадира. Первую бригаду он поручил Нашекену. Бригадиром третьей поставил Кумара, которому давно уже минуло шестьдесят. Клевер

косить не успевали. Хозяйству грозили потери. Восемь женщин пригласил Садык на эту работу. Ни одна из них раньше не то что не косила, но и косы-то в руках не держала. Поэтому нужен над ними начальник, мужчина, который бы и подсказал, а где и косу наточил. Долго ломал голову Садык, пока не остановился на старике Шораби. Странный он человек. Не было случая, чтобы он с кем-нибудь согласился, всегда возразит, слово против скажет, да еще и напугать собеседника норовит. Порой, это ему и удается вполне. Кто не знает этой его черты, может принять Шораби за полоумного. Многие считали старика вздорным и тяжелым человеком, избегали его общества, да он и не навязывался. Словом, особенный был старичок.

И вот, выпала забота идти к этому вредному деду и просить, чтобы присмотрел за бабами да научил их косы правильно держать. Садыка очень удивило, что старик тотчас согласился, без обычного упрямства. На следующий день Садык поехал проведать косарей. Шораби был заметный старик, высокого роста, с благообразной бородой, несколько суровый на вид. В ауле его называли за это то «длинным дедом», то «упрямым стариком». Садык завидел группу женщин и Шораби. За два дня они лишь два рядка накосили. Разозленный парторг приблизился к ним и глазам своим не поверил, увидев плачущего старика. Да, редко такое увидишь. Кремень-старик, задень его — и искры посыплются; в гневе единственному сыну смерти может пожелать — и вдруг слезы. Женщины молчат. Некоторые тоже вот-вот расплачутся.

— Эй, Садык!— резко поднял голову Шораби.— Избавь меня от этих мук! Лучше завтра же пошли на фронт! Может, убью и я хоть одного немца, все же будет от меня польза. Где это видано, чтобы баба косила? Да я и видеть этого безобразия на старости лет не желаю! Глянь-ка, что они с косами сделали!

Пять кос были безнадежно поломаны. Все понимал Садык, но что он мог сделать? Опустил голову и молчит. Эх, бабоньки, ведь литовка не веретено. Даже старика до слез довели. Крепко, видать, досадили. Первый раз видит его таким Садык. И в его груди, оказывается, бьется не каменное, а теплое человеческое сердце, полное любви и страданий.

Задумчивым взглядом смотрел Садык вдаль. Кажется, вспомнил он веселых и умелых джигитов, которые бы от этого клевера за два-три дня и листочка не оставили. Разве не здесь кипела работа с шутками и песней? Только спины лоснились от пота, да блестели горячие глаза. Даже этот Шораби, приезжая за кормом для серой кобылы, невольно заглядывался на молодежь, вздыхая: «Эх, где она, молодость? Что может с ней сравниться?» Мысли Садыка тут оборвались, и он заметил засновавших женщин. Что-то их неуверенные движения не внушали особого доверия. Словно младенцы, которые только учатся ходить и часто падают. Будто траву жалея, только приглаживают ее своими косами. Вяло машут, неумело. На кого надеяться, кого ждать? Нет, уж пусть

хоть так, но работают. К такому решению вынужден был прийти Садык.

Взгляд Шораби остановился на Жанар. Она и здесь впереди. Ей пока единственной удалось научиться правильно держать косу и даже работать ею. Да только тяжелая она ходит, живот-то вон какой. Вчера он отругал ее за чрезмерное усердие. Нельзя ей так напрягаться.

— Себя не жалеешь, так хоть беднягу Тулепа пожалей! За всю свою жизнь не слышал он крика младенца!

Никто не заставлял Жанар выходить на косовицу. Но когда все выходят на работу, она чувствует себя одиноко в пустом ауле. Для нее это мука. В такие минуты в голову лезут самые мрачные мысли. С самого начала войны перестали приходить письма от Данекера. Словно кто-то взял и оборвал провод. Она не могла удержаться от слез, перечитывая старые весточки. Не было в этих письмах горячих и нежных слов любви, но она умела их найти. Да и как бы он стал писать открыто чужой жене? Поэтому начинает с салема[1] Тулепу, с расспросов о его житье-бытье. Для отвода глаз. «Уважаемый наш Тулеп-ага, почтенная наша женге!» Но Жанар читала между строк, все по-своему понимала. Все письма она прятала и берегла как зеницу ока. А теперь и этих-то скупых вестей нет. От всех семнадцати джигитов, ушедших вместе с Данекером, никакого известия, словно ножом отрезало. «Апырау, уж не погибли ли они все сразу?» Когда она думала об этом, то становилось трудно дышать, и сердце начинало неистово биться о ребра. А тот, кого она носила под сердцем, тут же толкался в бок. Думай, мол, мать, обо мне. В такие минуты и ему не хватало воздуха.

Со дня отъезда Данекера Жанар не отпускала тоска. Ей было глубоко безразлично, дома ли Тулеп, или нет его. Не интересовала ее, как раньше, и работа мужа. Что ей за дело до ножей, браслетов и колец, выкованных Тулепом? Пусто ей и дома, и в колхозе. Раньше она помогала качать мехи, когда муж работал дома, теперь ей и этого делать не хочется. Девять месяцев без Данекера показались ей как девять долгих лет. А тут еще почувствовала, что должна родить, и это открытие не принесло ей радости. Тоска по любимому, тяжелые думы о предстоящих родах, общее горе, которое принесла война,— все это сделало жизнь чернее ночи. Одиночество было в тягость. Чтобы избавиться от него, забыться за работой, вышла она с женщинами косить. Увидев плачущего аксакала, подавленного Садыка и расстроенных женщин, Жанар призвала все свое мужество и энергично взмахнула литовкой совсем по-мужски: раз и два, раз, и два. Вдруг резкая боль в пояснице переломила ее пополам, остро пронзила живот. Согнувшись, она опустилась на землю. Женщины зашумели и окружили ее.

---

[1] Салем — приветствие.

— Саке! Кайнага! Надо срочно доставить Жанар домой!

По встревоженному виду женщин и Садык, и Шораби поняли, что случилось что-то серьезное. Двух женщин верхом на скором коне Садык отправил в аул.

— Эх, люди! Очерствели ваши сердца. Разве можно женщину на сносях впрягать в такую работу?— привычным тоном заворчал Шораби.

Кровь бросилась в лицо Садыку. Он весь потемнел от стыда: ведь ничего не сказал Жанар, когда и она изъявила желание выйти на косьбу. Зря позволил. Да ведь не хватало людей. Что было делать? Подумал, что хоть какая-нибудь польза будет от нее. Садык чувствовал себя виноватым во всем.

— Да живот ее показался мне не таким уж большим,— тихо сказал он как бы оправдываясь. Были ли услышаны его слова?

Шораби долго смотрел суровым взглядом на подавленного парторга. Женщины на коне скрылись с глаз в логу, что лежал рядом с аулом.

С того самого часа три дня продолжались схватки у Жанар. На третий день, измученная и обессиленная, она потеряла сознание. Тулеп повесил на шею четки и, причитая, шатался возле дома. Люди просили у бога милосердия. Молили сохранить жизнь младенцу и матери. Сказали Тулепу, чтобы стучал по наковальне, и он послушно стучал. Велели бить по казану, и он бил, веря, что шум помогает при тяжелых родах. Пять-шесть старух три дня сменяли друг друга у ложа Жанар, давили на живот, чтобы вытолкнуть плод. Устали старухи. Замучили Жанар. На ее беду и девушки-фельдшерицы не оказалось в ауле. Не было вестей и от человека, которого Садык срочно послал в район. Попытался было дозвониться по телефону из аулсовета, так ему только и смогли сказать, что все врачи заняты осмотром мобилизованных. Словом, страшная полоса невезения.

Придя в себя, Жанар попросила старух прислать к ней Тулепа.

— Поз-зови-и старуху... Куль-жамилю. Го-во-рят, она опытная в та-ких делах,— раздельно, с трудом произнесла она.

Тулеп бросился исполнять ее желание. Когда явилась Кульжамиля, Жанар снова была в беспамятстве.

— Светоч мой, открой глазки! Пришла я к тебе, пришла!

Жанар открыла глаза, и в слабой улыбке дрогнули ее губы. И тут же с криком явился в мир новый человек.

— О духи предков! Айпалайын! Дорогая, бесценная апке! Оказывается, твоего прихода ждали они...

— Требуйте сюинши у Тулепа! Табунщик явился на свет! Табунщик! Аллах услышал молитвы несчастного.

Старухи бросились к дверям, расталкивая друг друга и радостно крича. В узком проходе не повернуться, но все старались перекричать товарок:

— Тулеп! Тулеп! Сюинши! Жена твоя сына родила! Истинго, сына!

Растерявшийся от счастья Тулеп только спрашивал:

— О люди! Правда ли это?

Неверными шагами засеменил он к своей двери, и в это время одна из старух, самая взбалмошная, сорвала с головы Тулепа старую тюбетейку, которую он никогда не снимал, и обнажила внушительную плешь. Тулеп густо покраснел.

— Ойбу! Голова-то у тебя, оказывается, плешивая! Откуда я знала? Да уж ладно, когда сын родился, нет тут никакого греха,— затараторила бабка, оправдываясь и хохоча как ненормальная. Тюбетейку она тут же вернула.

Узнав о том, что Жанар родила, к дому Тулепа стали собираться аулчапе. В очаге перед домом закипал чай. Во дворе свежевали барана. Люди, возвращавшиеся с работы на обед, тоже заворачивали сюда, чтобы поздравить с рождением младенца. Садык, Шораби и Нашекен пришли вместе.

— Он родился на покосе. Назови его Покосбай,— смеясь, предложил Шораби.

— Туке, ваша жена благополучно разрешилась от бремени. Может, после обеда пойдете в кузницу? А то у нас два комбайна и три лобогрейки простаивают,— озабоченно заговорил о делах Садык.

Нашекен заметил, что Жанар очень ослабела. Суета и разговоры собравшихся раздражали ее.

Кульжамиля тем временем, накрепко запеленав новорожденного, требовала со всех приходящих сюинши. Сердце ее переполнилось какой-то особой нежностью к младенцу. Она не могла не вспомнить странных поступков бедной Жанар, когда та, растолкав людей, припала к груди Данекера, отъезжавшего на службу, потом ее подарок и бегство в поле и наконец, что вызвала она к себе старуху Кульжамилю. Здесь что-то было. Зачем она украдкой дарила чужой старухе шелк? Зачем слезы лила по дороге с тока? Почему именно ее позвала, едва придя в себя? Была во всем этом какая-то жгучая тайна. Пристально и жадно смотрела Кульжамиля на крошечное личико младенца, все время чего-то боясь. Кажется... похож он на Данекера. Она тяжело вздохнула, подумав о единственном своем сыне. И в это время почувствовала на себе неотрывный взгляд Жанар. Молодая мать робко улыбнулась. Казалось, она читала тайные, страшные и сладкие мысли старухи. Радовалась, что именно Кульжамиля держит на коленях ее сына и просит за него сюинши. Но шум и крики людей отняли у нее последние силы.

После обеда Тулеп ушел на работу. Жанар отказывалась от чая и мяса. Она чувствовала какое-то беспокойство и задыхалась, трудно дыша. Старухи встревоженно заговорили, что не вышел послед. У матери появился жар, и она начала бредить и метаться. Сознание все чаще оставляло ее. Растерявшиеся бабки

послали за Тулепом. Тот прибежал грязный, как черт, даже фартук свой снять забыл. В это время Жанар снова пришла в себя. Глубокими и чужими стали глаза ее. Грудь высоко вздымалась.

— Тулеп! Гаснет моя звезда. Чувствую, что ухожу от вас. Прости меня! Об одном прошу тебя, назови мальчика Женис[1]... Пусть его старшие братья, пропавшие без вести, вернутся домой с победой.

Задыхаясь, с трудом сказала она эти слова. Хотела ободряюще улыбнуться, но увидел Тулеп, как плакала в тоске каждая ее клеточка. Снова угасло сознание. Где-то далеко от этих мест витала Жанар. Старухи принялись вертеть над ее головой истошно вопящую курицу, выпроводив Тулепа во двор. Набросив свой пояс на шею, бедняга предался глубокому отчаянию, причитая как вдова.

Дома все внезапно всполошились. С горестным криком бросился к двери Тулеп.

— Прочь! Прочь отсюда все! — услышал он страшный голос Кульжамили.— Я знаю, что делать. Не отдам ее смерти! Нет! Старые вороны, пошевеливайтесь! Я знаю, как ее спасти, я видела точно такие же роды у одной женщины в давние времена. Эй, старая, беги в мой дом. Там в сенях под потолком сушатся травы. Принеси пучок белой травы. Ее сок вернет к жизни Жанар, иначе сердце ее остановится! Ну, живо! — И старуха скрылась в доме, захлопнув за собой дверь, которую никто открыть не решился.

Забыв про болезни и годы, сбегала маленькая старушонка за травой, хотела было и к роженице пролезть, постреливая любопытными глазками, но вытолкала ее в шею Кульжамиля, появившаяся на миг перед людьми с потным, осунувшимся лицом.

До вечера не расходились аулчане, покорно ожидая самого худшего. Тихо переговаривались, то и дело посматривая на закрытую дверь. Что-то безумное шептали губы Тулепа. Видно, молился несчастный. Вдруг тихо заскрипела дверь, и из дома вывалилась растрепанная Кульжамиля. Без сил опустилась она на камень и тихо сказала:

— Что же замолчали, сороки? Будет дочка жить! — И заревел аул, заплакал на радостях.

Вскрикнул от счастья Тулеп и бросился в ноги старухе, но она остановила его движением руки и строго сказала:

— Рано радуешься, кузнец. Я, темная старуха, только сердцу ее сил малых дала, чтобы оно билось и не останавливалось. Сумела унять поток крови. На большее даже у меня, у ведьмы, ни сил, ни умения не хватило. Если повторится кровотечение, то я ничего сделать уже не смогу. Везите ее в больницу, люди. Везите к знающему врачу. К Петровскому вези, Садык! Ты лучше всех сможешь ему все объяснить. А я домой пойду, устала что-

[1] Женис — по-казахски победа.

то... Да, у тех, кому суждено умереть, не такие лица бывают. Она очень плоха, но должна жить. Так что поторопитесь!— И старуха пошла домой не оглядываясь. Она не видела, как смотрели люди ей вслед, не видела, как со всех ног кинулся Садык к конюшне.

* * *

Тот год был невероятно тяжелым для почтальона Малика. Давно забыта важность, с которой он обычно восседал на пегом коньке. Печальным он стал и сутулым и нехотя ехал в аул, словно кто-то тащил его на аркане. Страшно тяжелой стала и тощая сумка почтальона, пропитанная горем, кровью, слезами и смертью. Всей своей тяжестью давило на его плечи горестное небо. Ушло в далекое прошлое то светлое время, когда веселая детвора выбегала встречать Малика, когда стыдливые девушки с нетерпением ждали его. И были щедры на подарки гордые аксакалы. Опрятные и добрые старушки готовили специально для него вкусное угощение. Он был для людей словно звонкий жаворонок, посланец весны, солнца, радости. Как это было давно!

А теперь, едва появится вдали почтальон, сердца людей сжимает клещами тревога. Бледнеют лица ласковых женщин, страдальчески кривятся губы, и глаза полны мольбы. Нет! Не надо! Не ко мне! О-о! Кто это кричит так страшно? Нет, никто не кричит. Молчат женщины. Это кричит изболевшееся сердце Малика-почтальона. Мужчины один за другим занимают боевые седла. Все повестки прошли через руки Малика. Все невеселые вести в аул привез он. Черные вести тоже привез он, черный гонец. Немало их было. Гиеной стал чувствовать себя почтальон, злым вороном. Но на кого посмеешь взвалить свой трудный груз? И часто после его приезда в доме кричали смертельно раненные в сердце люди. Горе, о человек! Мгла окутала твой аул. Он часто ошибался. Думал, доброе письмо везет, а оказывалось, черная бумага. Это сердце обманывало, истосковавшееся по радости. «Сколько же можно?!»— кричало оно. Теперь Малик выработал спасительную систему. Он ощупывал пальцем каждый конверт. В тощих обычно таилась смерть. Плотные говорили о жизни. Не всегда, но все же... Верил Малик, что если пишет письмо с фронта своею рукой солдат, то уж никак не меньше двух листов испишет. Другие же сухо сообщат, и все. Пусть не сухо, но все равно мало. В последнее время он стал заезжать прежде в контору, чтобы проверить все тонкие конверты. Если есть похоронка, то лучше сообщить родным осторожно, через кого-нибудь, по обычаю степи, а не вручать сразу свинцовой тяжести письмо. Впрочем, кто знает, как лучше? Но лучше бы и не придумывал этого бедолага Малик. Теперь, когда вместе с ним шли по аулу Садык и Нашекен, люди уже знали, что в чей-то дом пришла смерть. С воплями и плачем бежали навстречу этим троим все

аулчане. Кровавыми слезами плакали старцы, по-взрослому рыдали дети.

Неудержимая бледность стала заливать щеки Садыка, едва появлялся Малик. Долго молчал он, не пряча горестной складки у рта. Брови хмурил. В этот раз в конторе оказался и Нашекен. На стол перед ними легли четыре тонких конверта. И все четыре оказались похоронками. В ужасе они смотрели друг на друга, не в силах сбросить оцепенение.

— Ойпырау! Малик! Хоть бы по одной возил.

— О Нашеке! В своем ли вы уме? Или я своими руками творю это зло?

Малик стал зло хлестать камчой свою черную сумку и, зарыдав, упал лицом на стол. Нашекен пустыми глазами смотрел в окно, заложив руки за спину. Выцвели его глаза от горя. Четыре отца навсегда ушли, оставив сирот. Боль какая! Жена сапожника Каткена выбежала из дома, пугливо посмотрела по сторонам и бросилась бежать. Видно, застыдилась, что на работу опоздала. Далеко вперед ушли толпой жницы. Женщина бегом припустилась за ними. Несчастная! Ни о чем не подозревает. Он вспомнил, как она всплакнула на днях, жалуясь, что давно нет писем. Кому же теперь пожалуется? Какими слезами плакать будет?

Сын Семиза Ахметжан был великодушным и честным джигитом. Всего прошло каких-то пять месяцев, как ушел на фронт, а уже похоронка на него. Его жена Тенге выполняла в колхозе работу многих мужчин, была одной из тех, кому верили и на кого надеялись люди. Как она косила, бесценная! Нашекен тогда поспорил с Кумаром, и в соревновании двух женщин, Тенге и Кумис, победителем почему-то оказался он, потому что верил в Тенге. Тогда Тенге выкосила пшеницу на площади в один гектар и двадцать соток, всего на десять соток отстала от нее Кумис. В то время, когда мужчины были дома, пшеницу не косили литовками. Такую работу не всякому джигиту удалось бы сделать. До чего только не доведет нужда! Сейчас Тенге послали на край земли, к железнодорожной станции, чтобы привести дикого, никогда не знавшего узды, злого и сильного жеребца ахалтекинца. Больше всего они с Ахметжаном мечтали иметь ребенка, забавного крошку, ласкового и красивого. Но не дано сбыться мечте. Когда Тенге, измученная единоборством с конем, доберется наконец до дому, то навстречу ей выйдет черная весть.

Встретились взгляды Нашекена и Малика. Оба вспомнили, как совсем недавно говорила почтальону Тенге, называя его почтительно кайнагой, чтобы к ее возвращению он приготовил радостное известие.

Как бы не разорвалось сердце несчастной Алиши. Сразу две черные бумаги придут в ее дом. Первая похоронка на мужа Айта, вторая на брата Нуркасыма. Как ей сказать? Или скрыть пока одну? Посевы целой бригады с самой весны поит она водой. Поливальщицей стала Алиша и только имя женское сохранила, по-

тому что работа ее по плечу только дюжим мужчинам. Куда ни пошлешь ее, она никогда не ропщет. Ведь так надо. О, какой жестокой бывает судьба! Сразу лишилась женщина мужа и брата. Судьба эта — война.

А разве не стали сами они, все трое, страшными, ненавистными для людей вестниками смерти? Разве они трое не жертвы проклятого бога войны? «Возненавидь того, кто скажет тебе о смерти отца твоего». С ужасом смотрели аулчане, когда шли Садык, Нашекен и Малик по притихшей улице, готовой взорваться криком отчаяния и горя.

Все трое подумали об одном и том же. Не могли они в этот миг думать ни о чем другом. Садык поднял голову и посмотрел на Малика. Черная, как смоль, борода была тронута серебряным инеем. Совсем белой стала голова. Глаза запали, щеки ввалились. Он выглядел даже изможденней тех, кто занят тяжелым физическим трудом на погрузке и поливе. Оказывается, человек худеет, даже если работает не сходя с коня. Садыку понятна причина такого истощения Малика. Если война продлится дальше, то нельзя будет отыскать человека, чей труд был бы тяжелее труда почтальона. Тяжесть давит не на плечи ему, а на сердце. Сколько раз он приходил и плакал, умоляя избавить его от черной сумки. Нелегко было видеть его слезы, когда он просил дать ему самую трудную, грязную и голодную работу, лишь бы не возить эту сумку, полную черного горя. Он готов был забыть все свои болезни и даже мучительный ревматизм. «Пошли меня в грязь и воду! Избавь от беды!» И плакал. Когда болит у человека душа, то он готов и этой душой поступиться. А если его послушать да хоть на день отправить на полив, то что будет — ой-ой! Да и кто пойдет на его место, кто согласится стать черным гонцом? Он, как мог, успокоил Малика, постарался объяснить: «Мужчины все на фронте. Коли ты поддашься слабости, я опущу руки и обессилит Нашекен, то на кого опереться женщинам, детям и старикам? Возьми свое сердце в руки, родич! А если мы потеряем мужество, то что станет с ними? Или не мужчины мы? Или ты думаешь, нам с Нашекеном радостно ходить по дворам, собирая мешки и веревки для зерна, выводя в поле пахать стельных коров? И у меня сжимается от боли сердце, когда я вижу заплаты на платьях молодых и красивых женщин, которые вчера еще весело перебрасывались шутками на тоях с удалыми джигитами, нарядные, праздничные. С каждым днем у меня все больше болит сердце. Надолго ли хватит дырявого, залатанного платья? А измочаленного сердца человеческого на сколько хватит?» Горькие слова сказал Садык. И печально посмотрел на него Малик. Больше он ни о чем не просил.

Но после сегодняшних четырех похоронок будет нелегко остановить его. Разве его рыдания не знак того, что человек дошел до точки, что терпение его вконец истощилось? Голова пошла кругом. Никакого выхода. Сегодня уйдет Малик, завтра Нашекен...

Ведь и он просил как-то освободить его от бригадирства и послать на любую другую работу. Ему было очень трудно заставлять детей и женщин выполнять работу взрослых мужчин. На ходу, вполуха слушал Садык его слова. Освободить Нашекена — значит развалить хозяйство. Само уважение, которым пользуется Нашекен у народа, объединяет людей вокруг него...

— Садык! — начал ровным голосом Нашекен. — Надо спрятать эти похоронки. И без того людям тяжело приходится, а эта весть и вовсе сломать их может. Кто своими глазами видел смерть джигитов? Кто их собственноручно хоронил? Война есть война. Даже в сорокалетней битве умирает тот, кому судьба. А может, над кем-нибудь смилостивилась судьба? Помнишь, в «Агарту» получили черную бумагу на Искака, а он через три месяца сам домой явился. Даже слабая надежда на то, что жив близкий человек, — большая поддержка для людей. И для хозяйства прежде всего. Надо нам прекратить это дело. Не следует тотчас вручать похоронки. Сами измучились и людей заставляем страдать. Спрячь в сундучок плохие вести. Аллах простит нам нашу вину.

— О-о-о, светлая голова! О мой Нашеке!

Малик встал с места и бросился на грудь Нашекену. Садык тоже с большим вниманием выслушал Нашекена.

Снаружи послышался голос старухи Кульжамили. Садык быстро спрятал похоронные извещения в ящик стола.

— Эй, драконы! Чудовища! Кого вы еще успели проглотить?

Нашекен задрожал всем телом.

— А ты, борода, — повернулась она к Малику, — почему ты избегаешь встреч со мной? Увидишь — и в сторону! Или никак не можешь сказать мне о смерти Данекера? Эх ты, лицо у тебя черное! Ну, говори сейчас же! Давай сюда черную бумагу! Не мучай мою душу. Чем тысячу дней умирать, лучше околеть сразу. Давай же!

А потом она посмотрела на Садыка и Нашекена.

— Долго уж стоит привязанной у конторы пегая кобыла. Что, сватаете кого-нибудь, почему так долго сидите? Сначала мне сообщите, ойбай!

Кульжамиля стала стучать кулаком по столу. Она готова была загрызть всех троих. Снова накинулась на Малика.

— Ты-то всегда ко мне первым заезжал. Все «апке, апке!». Уж я ли не старалась накормить тебя повкусней? Что же теперь бегаешь от меня, как от Азраила? Увидишь издали и тут же поворачиваешь лошадь. Ты, плут, что-то скрываешь. Может, жалеть вздумал по-своему? Коли аллах не сжалился над старухой, то уж хоть почтальон помилует, а? Может, в твоих силах сохранить жизнь Данекера? Эх ты! Я тебя сегодня нарочно выследила. Все же попался мне в руки. Давно я ждала этого. Ну-ка, открывай свою проклятую черную сумку!

Малик не пошевелился. Кульжамиля стала выбрасывать содержимое сумки.

— Эй, байбише!— строгим голосом сказал Нашекен.— Умела бы читать — дело другое. А то почем зря все раскидала. Что тебе от этого? Если б умер твой сын, разве не сказали бы тебе? Что ты, лучше всех?

Нашекен, бледный и расстроенный, подошел к старухе. В жизни он никому грубого слова не сказал, а тут. И сам не заметил, как вырвалось это «эй!».

— Дай-ка, Садык! Все четыре письма покажи! Пусть эта старая волчица сама убедится, своими глазами увидит!

Кульжамиля удивилась. Гнева как не бывало. Буря утихла. Ее сменил страх, от которого холодели руки. Казалось, слезинки застыли ледяными кристаллами на ее ресницах.

— Ну, вот, смотри же! Ты этого хотела! Тебе же только твой сын и дорог. Узнай о смерти других детей!

— Ахметжан... сапожник Катке, Айт вместе с младшим братом Нуркасымом. Ну, теперь ты спокойна?

Молчат трое мужчин. Самые тяжелые раны разбередила своими словами взбалмошная старуха. Если мужчины слабеют, значит, и мужеству есть границы. Это поняла сердцем Кульжамиля. Как же это? А она все в грудь себя бьет: Данекер да Данекер. Ведь под каждой крышей жил свой Данекер. На четырех Данекеров сразу пришла в аул похоронка. И трудней всех приходится этим троим, тяжело переживающим смерть аульных сынов... самыми первыми. На их плечах и заботы о хозяйстве, о вдовах и сиротах, о погасших очагах. Мужчины они. Зная все это, Кульжамиля на них же и набросилась, словно озверевшая волчица. А они молчат. Да что же это, люди?! Уважают как старшую, слова поперек не скажут, жалеют одинокую старуху. О ней же заботятся, водой и хлебом обеспечивают. Что же она на них-то зло свое срывает? Разве можно? А они все терпят. С одной стороны война, с другой — разруха. Тут еще вздорные люди вроде нее. Над четырьмя убитыми джигитами рыдали они, а она ворвалась со своим неуместным криком. Стыдно! Сама себя оплевала.

Смерч, буря, туман — все смирилось перед разумом. Огромная жалость к этим трем глубоко несчастным мужчинам захлестнула ей горло. Про себя старуха сказала, что поняла теперь, какое тяжелое горе носят они в своих сердцах, несравнимо тяжелее ее страданий. Заплаканы глаза Малика. А Садык и Нашекен смотрят на нее, словно говорят: «Вот, байбише, видишь, нет на твоего сына похоронки. А что нам с этими делать?»

Молчание нарушил Малик. Вытерев глаза большим платком, он сказал:

— Вот, Саке! Кончилось мое терпение! Не в силах я больше видеть слезы матерей, вдов и сирот. Все! Пусть завтра же умру, но сегодня готов идти на полив, на погрузку, на плаху. Освобождай меня!

И он швырнул ненавистную сумку вместе с письмами и бума-

гами себе под ноги, а сам направился к двери, судорожно сжимая сложенную вдвое камчу.

— Малик! Постой!

Но Малик даже не оглянулся. Отвязав пегого конька, он вставил ногу в стремя. Кульжамиля увидела, что он еще раз вытер платком глаза.

* * *

Усталый и измученный вернулся сегодня Нашекен из Текели. Муку разобрали быстро, прямо из рук рвали. Большой черный портфель был туго набит деньгами. Хоть бы хватило!

Во время войны всякий труд тяжел. Словно короткая веревка, которую как ни тяни, все не будет хватать, или куцее одеяло, открывающее ноги, если надумаешь укрыться с головой. А как хочется от всего укрыться! Но тяжелее всего оказался для аула заем. То десять, то сто тысяч. Военный заем. На этот раз он пришел вместе с напряженными весенними работами. А собрать надо за считанные дни. Народ понимает, ни слова против. Правду говорят: если народ плюнет, озеро образуется. Вот уже три года колхоз ни копейки не задолжал по займам. Одни продают скот, другие — одежду ушедших на фронт, третьи сбывают продукты, отрывая от себя и детей. Но все же справляются.

А хлеб к весне остается лишь у самых бережливых. Только молоко не дает людям умереть с голоду. Все с надеждой смотрят на спасительное вымя коров, овец, коз и кобыл. Привыкли к такой жизни. Чего не покажет война, чему не научит! Она заставляет старцев забыть о недугах, а детей рано взрослеть. Она отнимает покой у старости, крадет детство у малышей. В первые годы женщина, получившая весть о смерти мужа, неделю сидела дома никуда не выходя. Колхозу приходилось считаться с освященным временем обычаем. Люди умеют уважать чужое горе. Как повернется язык сказать убитому горем человеку о работе? Но теперь и сроки траура сократились. Сегодня плачет человек и убивается, а завтра с тяжелым сердцем выходит на работу. Сам, без принуждения. Все видит народ, все понимает. Колхоз задыхается, но держится. Благодаря людям. Всему учит война.

Аулчане перестали верить извещениям о смерти родных особенно после возвращения Абди. Это случилось так: Абди, сын табунщика Тлемиса, через месяц после свадьбы ушел служить. Призванный вместе с ним Мукат был ранен в ногу и вернулся в аул через год. Перед самым его приездом мать Абди получила черную бумагу на сына, расцарапала себе лицо, изошлась криком и три дня пролежала в беспамятстве. Его молодая жена Балжан, дочь старика Шораби, неделю просидела в траурном одеянии и вышла на работу. Прошло немного времени, и Мукат собрался жениться на ней, чтобы не вдовела больше жена его лучшего друга.

Аул разделился на два лагеря. Одни одобряли решение фронтовика: «Видно, судьба. Так уж на роду им было написано. За что же Балжан мучиться? Она даже расцвести не успела как следует. Долго ли ей вдовой сидеть? Выйдет же в конце концов замуж. Чем за какого-нибудь чужака идти, пусть лучше станет женой джигита из нашего аула, который к тому же был другом Абди. Раньше-то казахи не только на вдове друга, но и на вдове брата женились, чтобы не отпускать женщину из рода. Нет ничего греховного в таком браке. Мукат, оказывается, лежал в одном госпитале с солдатом, который своими глазами видел, как убили Абди. Балжан, видно, всякую надежду потеряла на возвращение мужа, вот и поддается на уговоры. Что делать? Война свои законы диктует».

А другие были против. «Что это за срам! Позор на нашу голову! Девушки ему не нашлось, что он на вдову друга позарился? Может, он ее и любил раньше, да все равно так не поступают. А где совесть Балжан? Боится без мужика остаться? Хоть бы до конца войны потерпела».

Отца и мать Абди эта весть ранила даже больнее, чем смерть сына. Мукат и Балжан, родители жениха без конца ходили к ним, прося благословения. Наконец уговорили. Как не согласиться было старикам? Абди нет в живых. Какая радость юной женщине сидеть со стариками? Ребенка, который цеплялся бы за подол, тоже нет. Все это и склонило родителей Абди дать свое согласие на брак. «Ну, поживет с нами год-другой и уйдет все равно,— думали они,— не удержишь. Тут хоть сама просит позволения, а коли уйдет не спрашивая, что ей скажешь? Да и люди станут говорить, что, мол, старики ее век заедают. Уж лучше отпустить». Другого выхода и не было. Война. Чему только не были свидетелями люди.

Во всем ауле был единственный человек, который не дал благословения на этот брак. Это отец девушки Шораби. Много раз ходили к нему Мукат и Балжан. Сообщили, что даже родители Абди дали свое согласие. Но старик был непреклонен.

— Я не могу благословить женщину, которая не умеет ждать. Я не дам благословения мужчине, который позорит постель своего друга. Я не просил у бога такой дочери. Прочь от меня, прочь! Подальше! Э-э-э, видно, и это суждено было мне пережить на старости лет.

Люто встречал их старик и еще холодней выпроваживал.

... Свадьба была в разгаре. В тот день Шораби совсем не вставал с постели. Так люди говорят. Нашекена не было в ауле. Он уехал в Антоновку за нарядами на зерно. Тогда-то и случилось то, что до немоты изумило всех. За аулом проходила дорога, большой тракт. С нее-то и свернул к аулу человек в военной форме. С небольшим чемоданчиком в руке он направился прямо к тому месту, где собрались люди. Но гости почему-то оцепенели и головы к земле клонят. Солдат удивился. Не ожидал он такой встре-

чи. «Что с вами, родные мои? Я же так истосковался!» Ему все знакомы здесь: и старые и малые. Но что это с ними? Никто не бросился ему навстречу. Никто не прижал к своей груди. Ничего не понял солдат. Или он с ума сошел, либо все эти люди свихнулись.

— Оу, здравствуйте же, родичи! В «Алтабас» я попал, или это другой аул, в конце концов?!— корявым языком спросил он. Обидно было. Неразборчиво говорит как-то. Пуля пробила язык, изуродовала лицо. «О тауба!— заговорили женщины.— Ему голову чуть не оторвало, хорошо, сохранил аллах». Опомнившись, несколько стариков и старух расцеловали Абди и увели в отдельный дом. Услышав о возвращении его, Мукат и Балжан растерялись. На них словно небо обрушилось. Пока ел мясо Абди, никто не знал, на чей все же пир они попали. Этого не знал и Абди. На его расспросы люди отмалчивались. Старики направили разговор в другое русло и буквально засыпали его вопросами о войне.

— О родичи, да скажите же вы наконец, чья это свадьба? Надо же поздравить молодых, счастья и детей им пожелать. Кто жених? А невеста кто?— с трудом проговорил Абди, но глаза у него были веселыми.

Дальше мучить его не имело смысла. Люди сказали ему правду. Тяжело вздохнул солдат. Трудно поднялся с места и пошел к своему дому. Только теперь он, кажется, понял, почему не было на пиршестве его родителей. Стали расходиться и гости, которые чувствовали себя виноватыми перед Абди. Послышался горький, надрывный плач Балжан. Но никто ее не услышал. Просто удивительно, что в самый день свадьбы явился давно оплаканный муж. Он словно нарочно выбрал время. Явился укором и совестью. Благословен твой приход, воин! Только двое людей искренне счастливы. Это отец. Это мать.

— Будь она проклята! Пропади пропадом! Мы заново родились, сынок. А ведь мы было ослепли от горя. Довелось увидеть твои глазоньки ясные, жеребеночек. О аллах милосердный! За что нам такое счастье?! Живой, живой он! Жену ты себе всегда найдешь, не тоскуй!— говорят родители, а сами не знают, куда его усадить, чем накормить. Когда прошло около десяти дней, Тлемис устроил той. Собрался весь аул. Теперь люди редко ели мясо и пили горячую сорпу. Перед праздником упал Мукат в ноги своему бывшему другу:

— Убей меня, Абди! Не прощай вину мою, убей! Я боялся смерти от немецкой пули, но воевал честно. А сейчас мне жизнь не мила! Убей меня, Абди!

И запомнили люди ответ Абди:

— Ты честно проливал свою кровь. Неужели ты считаешь меня хуже врага? Тебя ждали в ауле. Живи долго и счастливо с супругой!

Прошло некоторое время, и Абди, забрав родителей, переехал к родственникам в соседний, Андреевский, район.

А старый Шораби долго не вставал с постели. До самой смерти. Зашедшему к нему повидаться Абди сказал:

— Светик мой, не вини меня за позор моей дочери! Хочешь верь, хочешь не верь, но я перед тобой чист. На пороге могилы я не стану оскорблять свои уста ложью. Я умер бы счастливым, если бы сумел унести с собой в могилу твои печали и все народное горе, сын мой. Если бы аллах все горе опустил в могилу строптивого старого безбожника, то этим он весьма облегчил бы и свою совесть.

Нашекен пересчитывал деньги, когда ему вдруг вспомнились тяжелые слова старика. Эти деньги тоже очень тяжелые. Военный заем. В тот день не хватило взносов колхозников. В трудное положение попали они тогда с Садыком. Но он сам внес предложение, которое вынужден был принять Садык.

— Лошадь и корову пусть колхоз обменяет мне на пшеницу. Я сам отвезу ее на мельницу, а потом продам муку горнякам в Текели. Может, деньги рабочих нас выручат.

Молча кивнул головой Садык. У народа больше нечего было брать. Весь лишний скот уже успели продать. Платят по мере сил. И то хватает их на десять, пять тысяч. Но план все еще не выполнен. Строптивая старуха Кульжамиля продала трех коз. Эх, если бы еще два-три таких человека, как Нашекен! В газетах часто пишут про таких людей. Везде находятся патриоты, советские люди, которые вносят крупные суммы в фонд обороны, за свой счет покупают танки и самолеты для Красной Армии. Он сам читал людям газету, где писали о знаменитом борце Хаджи-Мукане, который внес деньги на целый самолет. Таких патриотов много и в их районе, в их ауле. Жуман, Адамбай, Нашекен, Кумар. Больше всех внес Нашекен — 200 000 рублей. Эту сумму он выручил за муку, проданную в Текели. 20 центнеров вышло. А килограмм муки стоит 100 рублей.

Нашекен еще на базаре был так удивлен этим, что схватился за ворот рубашки. Что это? Или деньги совсем не имеют цены, или так тяжело стало жить людям? Он поблагодарил бога за то, что живет в ауле. Все же, какая-никакая, а скотина есть, да и урожай... хлеб два раза в году. Во время сева да во время уборки. Жалко стало ему горожан. За килограмм муки платят они по сто рублей. Да и коров у них нет, чтобы на молоке жить. Только и надежда на деньги. Жалко.

Скот дорог тому, кто пасет его. Когда он сказал о своем решении отдать государству лошадь и корову, то заплакала его старуха. Да и самому нелегко было. Саднило сердце. Только увидев, как жители города в узелках, мешочках, кастрюлях и мисочках уносят муку, он осудил себя в душе. Им живется лучше, нежели горожанам. Нет, никогда бы он не поверил, если бы кто-нибудь сказал ему раньше, что за деньги, вырученные от продажи одной лишь лошади и одной коровы, можно целый день кормить жителей такого города, как Текели.

Да-а, прежде он думал, что вся тяжесть войны легла на колхоз «Алгабас». Теперь он стал думать иначе. Если сказали бы Нашекену, что сегодня кончится война, он бы отдал и весь оставшийся скот, и дом, и старуху, и себя. Тяжелая жизнь наложила свой отпечаток на лица горожан. Нет, он не ощущал стыда. Боль, да. Никто не спрашивал, почему он так дорого продает муку. Сам Нашекен не чувствовал неловкости. Не для своей же выгоды продавал он муку по дорогой цене. Не в свой карман собирался положить деньги. Нет, он чист перед этими людьми. Тяжелые времена научили и горожан великому терпению. Им терпеть было трудней, чем аулчанам.

Сопровождал его Аким, живший с некоторых пор у старухи Кульжамили. Строптивая старуха совсем измучилась одиночеством. От Данекера не было никаких вестей. Пустой дом ей опостылел. И тогда Нашекен посоветовал ей взять на воспитание одного из многих сироток. Кульжамиля послушалась его и взяла себе мальчика из детдома. Это и был Аким. За воспитание его старуха взялась крепко. Если весь аул у нее по ниточке ходил, то уж мальчуган тем более был почтителен и послушен. Ранние страдания и лишения сделали его совсем взрослым. Это было видно по его походке, по серьезным глазам и разговорам. Да не коснется его дурной глаз, но наренек был очень смышленым и хозяйственным. Не успел Нашекен и глазом моргнуть, как Аким уже успел продать привезенный с собой центнер муки. Да и при разгрузке удивил старика. Малец ворочал тяжелые мешки и таскал их не хныча и не жалуясь. Вспомнил Нашекен, как сказал однажды Садык об этом мальчике:

— Такой расторопный паренек. Не хочется, но приходится его посылать на трудную работу. И еще как справляется!

Мальчик в жизни не видел таких денег и растерялся. Он подошел к Нашекену и спросил, куда спрятать их, а сам испуганно покосился по сторонам. Словно боялся, как бы не украли их у него. Всякое случалось на базаре. Осторожность мальчика пришлась по душе Нашекену. А если бы стоял здесь тюхой?..

— Купи прежде всего матери платье. Обрадуешь старуху. А остальные деньги отдай-ка мне, пока в аул не вернемся. Сохранней будут.

На базаре нет ничего дешевле одежды. Эх, если бы можно было истратить эти деньги, то весь аул одел бы с ног до головы. Только деньги нужны для более важного вклада.

— Ата! Вот бы нашего бурого козла продать! Уж за него не меньше, чем за корову, дали бы. Он же такой огромный,— войдя во вкус торговли, сказал горячо Аким.

— Цыц! Если мать услышит эти слова, хорошего не жди. Все ребра тебе переломает. Она верит, что с этой страшной войны вернется твой Данекер-ага, и потому бережет для него козла. Смотри же, не проболтайся дома ненароком.

— Я знаю об этом. Тогда уж мне не поздоровится. Ладно, если просто отлупит. А то ведь и впредь житья не даст.

Нашекен украдкой смеялся в то время, как Аким с гордостью укладывал в коржун подарок для Кульжамили.

Жизнь идет своим чередом. Далеко грохочет война на Западе, но помнишь о ней всегда, и мир кажется тесным. А с другой стороны, молодость свое берет, и таким вот Акимам хочется радости, счастья и веселья.

Звезда надежды. Это не просто красивые слова. Вовсе нет. Она помогает жить. Если ведет тебя надежда, то легче дышать. Странное существо человек. Зная, что бесценна жизнь, он приносит в жертву брата своего. Много ли отпущено ему? Ведь так короток его век. Диким еще воевал человек. Но теперь-то!.. Камнем и дубиной, ногтями и кулаками, стрелами и топорами из камня, из бронзы, из стали... Ножами и мечами, на воде и на суше... Танками и самолетами... Остановись же, человек! Не-е-ет, человек не хочет воевать. Он пахать хочет. Войны начинают нелюди. Всю бы мощь эту да во благо людей обратить. А тут, слезы и горе, смерть и страдания. Да разве объяснишь это все врагу? Гадкая, ядовитая мечта истоптать весь мир коваными сапогами, всех на колени поставить и залить небо кровью. На мирную землю принес он горе, пожар и ненависть. «Кто с ножом пришел, того мечом встреть. Кто с добром пришел, тому сердце отдай». Поднялся народ. А когда поднимается народ, то любого недруга проучит. Пусть не пустуют боевые седла, пока не издохнет чудовище в коричневом своем логове! А люди все беды вытерпят. Не бесконечны же их страдания. Об этом говорил Шораби, да будет ему пухом земля. Надо запастись терпением на будущее. Завтра оно будет нужней...

Такие думы терзали Нашекена, когда он, набив привезенными из Текели деньгами черный портфель, ехал сдавать их девушке-агенту. В безмерное отчаяние впадал он, но что-то возносило его как на крыльях к свету. Два крыла его — вера и надежда.

Ведя Акима, вышла из дома и Кульжамиля. В руке у нее мешочек с деньгами...

У конторы колхоза толпились люди. Нашекен слез с кобылы и принялся взглядом отыскивать в толпе знакомых. Вдруг он весь подался вперед, не сумев удержаться от крика:

— Боже мой, неужели это Жанар?

Взгляд Нашекена привлекла молодая женщина, ведущая за руку мальчика. Да, жизнь иной раз не скупится на чудеса. Ведь и она, и ребенок, можно сказать, на том свете побывали. Или мольбы Тулепа вернули их к жизни? Говорят, когда умирала Жанар, слезы его текли не ручьями, а реками. Да и что было делать бедняге, если впервые услышал он в своем доме крик новорожденного? Беднягой назвал, да простит его аллах, но кто сейчас в ауле крепче Тулепа стоит на ногах? Мастер он на все руки, десяти ремеслам хозяин. Жена совсем юная. Всю жизнь о сыне

мечтал, и эта мечта его сбылась, услышал всевышний его мольбы. Да и сам он рожден для труда, для людей. Дни и ночи в кузнице проводит. В эти трудные времена, можно сказать, он один из пристяжных, что весь колхоз вперед тащат. Арбы, сани, плуги, сохи, подковы, ножи, серпы, лопаты, кетмени, мотыги, кирки — все на его плечах, все из его рук выходит. А ведь они как хлеб нужны в этой жизни. Благодаря ему, колхоз не испытывает нужды в самых необходимых вещах. Единственный недостаток — уж смирен слишком. Но ведь тут как посмотреть, а то ведь и за достоинство смиренность его посчитать можно. А что бы делали, если бы он был из тех, кто за каждый удар молотом золота требует, искусством своим в лицо каждый раз тычет да в грудь себя бьет? Тогда бы самим пришлось смириться. А где мастера другого найдешь? Или мало слухов о том, что, не выдержав трудностей, уходят кузнецы один за другим из колхозов. А к Тулепу обращаются за помощью и из других хозяйств, из «Агарту», даже из саркандского «Жана турмыса». И он не может людям отказать. Не знает ни жалоб, ни устали. Да хранит его бог! В эти дни Тулеп для колхоза «Алгабас» большая удача, считает Нашекен, счастье его.

Да и сам Тулеп стал смотреть веселей с тех пор, как ребенок родился. Или время плечи ему расправило? Нашекен очень доволен Жанар. Сумела подарить мужу вон какого сына. Четыре жены не смогли принести радости. Сама сиротой росла, как ей не понять сиротства Тулепа? Двое сирот — это уже не сироты. Друг другу поддержка и свет, уже семья, да какая! Несмотря на большую разницу в возрасте, сумели очаг построить. А теперь и вовсе никуда не уйдет — сын родился. Сейчас и помоложе Жанар не особенно долго выбирают мужей, рады и старикам. О жизнь!

Садык-то мужество проявил настоящее, когда лежала Жанар на волоске от смерти. Сделал то, что достойно парторга. Когда не прибыл врач из Аксу, сам лучших коней запряг и отвез больную аж в Сарканд, и в больницу сумел ее положить. Там и спас ей жизнь знаменитый доктор Петровский. В этих краях имя Петровского почитаемо как имя самого пророка. Врачебная слава его легендами овеяна. Тулеп и Жанар старания Садыка до самой смерти не забудут. Несчастный случай на покосе чуть не погубил и Садыка, и беременную женщину. Спасти ее, значило и Тулепа спасти. Если бы потерял он жену и ребенка, то совсем бы пропал. Искупил Садык свою вину. А все вместе они должны поклониться Кульжамиле.

При виде Жанар все эти обстоятельства вспомнились Нашекену. Мальчика с развевающейся на ветру челкой зовут Женис. Это имя дал ему сам Петровский. По-казахски врач знал не хуже иного жырау-сказителя. Он понимал, чего больше всего хотят люди, и назвал младенца Женис, что значит победа. Этого имени для сына хотела и Жанар. И вот уже четвертый год сыну Тулепа. А ведь он с войной вместе родился. Крепнет Женис, и победа

народная крепнет. Вот как время летит! Вспомнил Нашекен и про тот кинжал, что ковал прошлой зимой Тулеп. Очень приглянулся ему тогда клинок. Красивый, с узорными ножнами, с ладной рукоятью.

— Для кого такую красоту мастеришь? Для сына?

— Нет, Нашеке, это подарок для нашего спасителя. Не только сына и Жанар он спас, но и меня к жизни вернул. Для доктора делаю.

Нашекен похлопал одобрительно Тулепа по плечу. Добро нельзя забывать, надо уметь быть благодарным. Говорят, Петровского очень обрадовал этот дар.

Вся жизнь Жанар и Тулепа держится в этом черноглазом малыше. Души они в нем не чают. Наглядеться на него не могут. Жанар ни на шаг его от себя не отпускает, даже на работу с собой берет. На покосе посадит под кустик, навес от солнышка соорудит. На пахоте шалашик построит да посматривает то и дело. Не раз он видел на току и Тулепа, заменяющего Жанар из-за малыша. Чего ради ребенка не сделаешь? Ведь единственный он, долгожданный!

Ради ребенка и ради колхоза на все готовы пойти Жанар с Тулепом. Когда бы их ни подняли, куда бы ни послали, они всегда готовы. Вот и деньги свои несут раньше всех...

ГЛАВА ПЯТАЯ

Орынбай беспокойно озирался по сторонам, собираясь вскоре гнать стадо в аул. Бурый козлище вдруг стал рыть копытцем землю и грозно фыркать. Он никогда раньше так себя не вел. Обычно козел, когда бывал сыт, стоял спокойно у самого края отары. В такие мгновения он казался вожаком диких коз. Крепкие, крутые рога выросли у шалуна, широкие у основания и острые, как кинжалы, на концах. О аллах! Даст же природа мирному домашнему животному такое грозное оружие! Могут не поверить те, кто не видел, но вырос козел огромным, как взрослая телка.

Понукая ленивого и невозмутимого быка, колотя его пятками, подъехал старик ближе и онемел от неожиданности. В зарослях чия лежал волк и голодным ненавидящим взглядом следил за пасущимся стадом. Вскинулось от испуга сердце Орынбая. Если бросится волк на овец, то, аллах акбар, можно сказать «аминь» всей отаре. Время позднее, дело идет к вечеру. На быке волка не догонишь. Так себе, для очистки совести Орынбай закричал:

— Айт! Айт!

Тут же напуганные овцы бросились к козлу и встали за ним встревоженной кучей. Волк словно этого и ждал. Он тут же метнулся к приотставшей ярочке. Растерявшийся Орынбай чуть с быка не свалился. И вдруг, о чудо! Выставив вперед рога, козел

бросился бежать вокруг стада. Орынбаю приходилось слышать, что жеребцы защищают от волков свой косяк, но пусть он оглохнет на оба уха, если когда-нибудь слышал, чтобы козел защищал от хищника овечью отару. В минуты опасности нет животного вероломней и хуже козы.

На пастуха, сидящего верхом на медлительном быке, волк не обратил даже особого внимания и остановился в прыжке, чтобы выбрать себе достойную жертву. Только судьба не пошла ему навстречу. Овцы стояли плотной массой, и ни одна не вышла из кучи. Бессильно продолжал звать на помощь пастух. Жались друг к другу животные, чуя смертельную опасность. Орынбай молил создателя, чтобы хватило выдержки его овечкам и не бросились они врассыпную, объятые древним ужасом, ибо паника — верная смерть. Пример бурого козла воодушевил и других коз. Они окружили стадо и стояли, выставив вперед острые рога, как сарбазы-копьеносцы. Несмотря на это, волк дважды пытался прорваться к стаду. Дико вопя, Орынбай хлестал камчой своего быка, но оба раза волка встретили рога бурого козла. Один раз бурому, видимо, удалось задеть разбойника, потому что тот коротко рыкнул, отступая. Кажется, это была волчица. Орынбай вдруг вспомнил, как серый кобель укусил рогача, когда тот был еще козленком, как из-за этого поссорился он с Кульжамилей. Да разве могло ему прийти в голову, что придет время и лучшего помощника он не пожелает себе. И присниться не могло такое.

Крики о помощи услышали двое верховых. Они свернули с дороги и погнали коней прямо по целине. Волк двумя прыжками скрылся в логу, и некому было преследовать его. Вскоре всадники подъехали к отаре. Это были Садык и Нашекен, возвращавшиеся из МТС. Придя в себя после стольких переживаний, Орынбай начал рассказывать им о подвиге бурого козла, о его бесстрашии и верности. Тут же, воспользовавшись случаем, он сказал:

— Коня мне не даете, жалеете, а стада вам не жалко? Эх вы, хозяева! Пастух на коне — грозный чабан. Пастух на быке — шут гороховый. Зверь-то на меня плевать хотел. Что есть я, что нет. Волчица какая-то. А если бы это был матерый бандит? Самец? Что тогда? Дорогие мои, все в ваших руках. Вы отцы аула. Дайте мне коня. Дайте хоть какого ни на есть захудалого. Не жалейте, а то все рискуете потерять. Дайте одра, все хоть лошадь. В этом году много волков. Я слышал, что они нападают и на табуны. Знаю, что только благодаря каурому жеребцу обошлось без жертв. Хорошо, что есть такой бдительный страж. Говорят, едва начнет смеркаться, как он перестает пастись и стережет табун. Бедняга Тлемис верил ему как богу. Он говорил, что во время войны этот жеребец ему вместо ночного сторожа. Зря вы такого табунщика отпустили. Кумар раньше тоже водил табуны, да боюсь, не забыл ли все на старости лет. Сумеет ли он справиться так, как Тлемис?

Тут Орынбай задел и Садыка с Нашекеном. Сказал, а сам в глаза им заглядывает, не обиделись ли. Но они и вида не подают. Не обиделись.

— Да ты расскажи о буром,— попросил Садык замолчавшего пастуха.

— Ведь врешь, что козел вышел на волка. Смотри, если как-нибудь волк и в самом деле задерет бурого, то Кульжамиля тебя задерет. Это точно,— засмеялся Нашекен.— За других не беспокойся, а вот бурого береги пуще глаза. Сам знаешь, единственному сыну старуха его посвятила.

Орынбай тяжело вздохнул. Вздохнули и Садык с Нашекеном.

Отара бредет к аулу. Впереди, как обычно, вышагивает бурый козел. Он признанный вожак, атаман овечьего войска, сардар. Да и вид у него внушительный. И не скажешь, что от простой козы рожден. Вон как гордо выступает: высоко держит голову с точеными рогами. Густая шерсть делает его еще массивней. Могучий красавец. Шерсть свисает по бокам как накидка. Он опрятен и чист по сравнению с другими козами. Шерсть лоснится. Люди аула знают, что Кульжамиля частым гребнем расчесывает ее каждый день, не позволяет своему любимцу ночевать в грязном загоне, кормит особо, отборной пищей. Каков уход, таков и приход. Забота-то сказывается. Старуха не любит, когда кто-нибудь рассматривает бурого, удивляется его росту и громадным рогам, ахает.

— Ну, чего уставился?! Козла не видел? Ну-ка, плюнь через левое плечо!— кричит она на слишком любопытного.

Аул привык и к странностям Кульжамили, и к ее козлу, и ко многому другому. Единственное, что осталось от пропавшего без вести Данекера, этот козел. Глядя на него, вспоминает старуха сына. Никому не дает козел забыть имя своего хозяина. По этой причине люди перестали кликать его просто бурым, а стали называть «козлом Данекера». Старуха весьма этим гордится. И пока жив козел, она верит, что жив и сын. Если ласкает козленка, то кажется ей, что она Данекера ласкает.

...Едва отара вступила на улицу аула, как Орынбай начал кричать:

— Эй, люди! Пересчитайте свою живность! Сегодня волк на стадо напал!

Он прекрасно знал, что все овцы целы, но хотел себе цену набить. Только никак не решался рассказать Кульжамиле о подвиге ее козла.

— Эх, даже скотина, оказывается, бывает похожа на хозяина. Данекер, светоч наш, смелым джигитом был,— и, вытерев сухие глаза, он погладил гладкую спину козла, который блаженствовал, положив голову на грудь хозяйке.

А Кульжамиля глубоко задумалась: «О дуние! Когда нечего больше сказать, человек начинает говорить всякие глупости. Разве козел спасал когда-нибудь стадо? А разве было, чтобы бабы

брали города? Правду говорят, что ежели нет на дворе собаки, то начинают лаять свиньи. Если бы были дома мужчины, то разве стал бы ты, семидесятилетний старец, бродить по долам с старой и петь хвалебные песни козлу? О аллах, что за времена! Свалилось на голову, вот и терпим, и ты, и я. Горькими слезами плачешь, немочи терзают тебя, но надо, и ты скот пасешь. И будешь пасти. Я плачу и жду своего Данекера. И буду ждать. Пусть бабы не берут городов, но они родили и вырастили героев. Они кормят их, пока воины в боевом походе. Дети тоже привыкли к трудностям. Терпят, как и все. Чего только не пришлось увидеть. О дуние!»

Вслух нечаянно произнесла последнее слово Кульжамиля. Далеко уже ушел Орынбай, но повернулся к ней:

— Вы что-то мне сказали, байбише?

Он по-прежнему готов пальцы грызть, вспоминая, как отнес собачий вой к смерти Данекера. Эта вина все не дает ему покоя, измучила старика. Ах, зачем он сказал тогда эти слова? Пропал ведь молодец без вести. Не его ли жестокие слова тому причиной? С каждым годом он все больше верит, что так оно и есть, что это он и никто другой послал Данекера под немецкую пулю. Ему нет дела до того, помнит или не помнит о той ссоре Кульжамиля. Сам-то он перед собственною совестью знает свой грех. До самой смерти виноват он перед этой старухой. Поэтому и готов услужить ей при всяком удобном случае. Вот и теперь остановился, думая, что старуха велит ему что-нибудь сделать.

— Это я так, про себя... Вырвалось... Ты, наверное, утомился сегодня с овцами. А тут еще волк напал. Иди отдыхай!— добрым голосом сказала она. Колотя пятками старого быка, Орынбай направился к дому...

Всю ночь не мог уснуть старик. Неясное предчувствие сосало сердце. Не отпускала беспокойная тревога. Встал он разбитым, с металлическим привкусом во рту и головной болью. Тяжелая усталость давила на плечи. Отчего-то сердце частило и все время подкатывало к горлу. К радости или к беде? Он этого не знал. Сидя верхом на лысом быке, Орынбай и сам не заметил, как задремал. Поднялся топот в потревоженном стаде. Он вздрогнул, едва не упав с быка. Если бы на лошади сидел, наверняка бы свалился, а бык только чуть шевельнулся. Растерявшись, старик только и повторял «бисмилля, бисмилля». Козы, подняв головы, чутко к чему-то прислушивались, а овцы продолжали щипать траву.

Человек появился со стороны сая[1]. Ни на кого из аульных не похож. Взгляд старика упал на ноги пришельца, обутые в новенькие хромовые сапоги. Талия туго перетянута ремнем. Ничем не отличается от тех, что возвращаются с фронта. Все военное: и фуражка, и штаны, и гимнастерка. Только... что он делает в без-

[1] **Сай** — лог.

людной местности, если с фронта пришел? Чудно! И потом... зачем ему винтовка? Штык сверкает на солнце. А рядом и дороги-то нет никакой, и подходит медленно, опустив голову.

Отчего-то зарябило в глазах Орынбая. Он вытер рукавом ослабевшие глаза. Тот, пеший, уже совсем рядом. Вроде знакомый. Отлегло от сердца у старика. Да это же Ерден, свой, аульный парень! Один из тех семнадцати, что так и пропали без вести. Без памяти скатился с быка аксакал и кинулся к джигиту с раскрытыми объятиями, закричав:

— О Ерден! Светик мой! Вернулся!

Тот сразу схватился за винтовку, сдернул ее с плеча и направил дуло на старика.

— Стой! Ни с места! Не вздумай кричать!

А сам боязливо и настороженно огляделся по сторонам. Но кому быть в такой глуши? Немая скотина да старый Орынбай. Больше никого и нет. Даже пролетающих птиц не видно. Ничего не понял старик. Если шутит парень, то почему так сурово его лицо? И прилично ли так шутить со старым человеком? Нет, не похоже, что шутит.

— Ни одна живая душа не должна знать, что видел меня, понятно? Дай мне барана из стада. Или лучше... вон того,— и он пальцем ткнул в пасущегося в стороне бурого козла.

— Да забери хоть всю отару, только скажи, светик мой, откуда ты? Какие вести о других джигитах знаешь?

Орынбай направился было к Ердену, но тот снова поднял оружие. Холодным и злым стало лицо парня, а палец впился в спусковой крючок. Чего он так испугался? Видно, что и впрямь выстрелит, если сделать к нему еще шаг. Онемел от ужаса Орынбай, только борода тряслась как в лихорадке.

— Если шевельнешься — проглотишь пулю!

Увидев, что старик до смерти напуган, Ерден пошел к бурому козлу. Тот поднял голову и смотрел на подходившего к нему человека. Все в ауле, старые и малые, ласкали и гладили его. Козел привык к этому. Ласки ждал он и от этого незнакомого человека, но тот грубо схватил его за шею. Козел тут же дернулся и высокими своими рогами выбил винтовку из рук пришельца. Человек поднял ее и уже прицелился козлу между самыми рогами, когда услышал громкий крик старого пастуха:

— Стой! Не стреляй! Не убивай его, лучше меня убей! Ойбай! Не делай этого!

Старик, который только что стоял, оцепенев от ужаса, теперь летел к нему. Крик Орынбая испугал джигита, который стал тут же озираться по сторонам.

— Пусть у тебя черное, жестокое сердце, пожалей несчастную старуху! Это козел Данекера!

Всем телом вздрогнул Ерден, услышав имя Данекера, и отскочил в сторону. Потревоженные криком Орынбая, забеспокоились овцы. А бурый обнюхивал рукав запыхавшегося старика.

— Поклянись душой, что никому не скажешь обо мне! Тогда я возьму овцу.

— Клянусь душой!

Заколебался Ерден. Подумал, что лучше бы кончить здесь старика. Мертвые не болтают. Черная мысль пришла ему в голову. Но... тогда начнут его искать, травить как дикого зверя. Нет, лучше припугнуть как следует, забрать барана, а там, глядишь, старик еще пригодится. Кончить не поздно будет...

Он снова направил винтовку на старика и приказал трижды повторить свою клятву.

— Клянусь душой! Клянусь душой! Клянусь душой!

Потом Ерден повернулся и выстрелом свалил крупную черно-белую овцу. Жалобно закричал осиротевший ягненок. Он ткнулся раз-другой в теплый бок матери, но та дернулась и затихла. Одним махом Ерден взвалил на плечи овцу и пошел прочь. Ягненок, обнюхав кровь матери, заблеял и побежал за человеком до самого края отары.

Страшнее волка показался Орынбаю Ерден. Вчера уберег отару от дикого хищника, а сегодня не смог уберечь от двуногого зверя. Тошно стало на душе, голова закружилась. Он даже не смог запомнить, в каком направлении ушел Ерден.

Люди удивились, увидев в полдень отару на улице аула. С самого начала осени скот не пригоняли днем в аул, а сразу к вечеру. Подъехав к своему двору, Орынбай остался неподвижно сидеть на быке. Из дома выбежали люди и, с трудом сняв старика с быка, внесли внутрь. Едва уложили Орынбая, как его вырвало. Потом его выворотило еще и еще, и он не вставал с постели.

...Черно-белая овца принадлежала Нашекену. Не переставая блеял ягненок, и Нашекен, не выдержав, пришел к Орынбаю. Ему старик открылся, обо всем рассказал без утайки. О клятве своей он и не вспомнил. Нет, не считал себя старик клятвопреступником. Что ему было до своей души, когда столько зла мог принести людям оборотень. А душа болела. Он был бы преступником, если бы скрыл случившееся от людей.

— Ты вправду узнал его? Может, это был кто-нибудь другой?

— Аллах свидетель — Ерден! На наших глазах вырос, как я мог ошибиться? Астапыралла! Настоящим басмачом стал, о несчастный!

— Это нехорошая новость, недобрая. Позор пришел в аул. Он, видимо, сбежал... Трус! Дезертир! Только ты молчи пока! Никому ни слова! Ты, кроме меня, никому о нем не говорил?

— Тебе первому. Никому больше. Я только-только в себя пришел.

— Смотри, и старухе своей ни слова!

— Клянусь душой, Нашеке!

В тот день после обеда было оживленно у конторы. То и дело входили и выходили люди. Кульжамиля почувствовала недоброе. Она тревожилась, даже если три человека останавливались пого-

ворить. Опираясь на палку, она живо двинулась к конторе. Сунулась было с расспросами к Нашекену, но он сказал, что нет, ничего особенного не случилось.

— То есть как «ничего особенного»? Чего это столько мужиков собралось, и рожи у всех таинственные?

— Стареете, видно, байбише. Ну, собрались мужики, что тут такого? Вы уж совсем людей не выносите. Отвыкли, когда все вместе. Или вам кажется, что много нас слишком в ауле, хромых, древних да увечных? Нелегко ведь с хозяйством управляться. О том о сем надо поговорить, посоветоваться. Еще хлеб сдавать нужно, а где взять? Вот и ломаем головы.

В сумерках человек пять мужчин подошли к дому Садыка. Пройдя в комнату, долго говорили. Жену его попросили выйти. В самом центре собравшихся сидел Нашекен.

— Сегодня ночью он обязательно домой заглянет.

— Надо поймать его во что бы то ни стало.

— Осторожней только, он вооружен.

— В том-то и дело. Это очень все усложняет. Сами понимаете, что он легко не дастся в руки. Вооруженный преступник особо опасен,— сказал задумчиво Садык.— По словам Орынбая, он стал совсем как бандит. Он ни перед чем не остановится. Если у него достаточно патронов, то он всех нас порешит.

— Патроны у него есть. Иначе он не застрелил бы овцу.

В конце концов пришли к решению: всю ночь караулить возле дома Ердена. Устроить хитрую засаду. Если беглец явится, то только глубокой ночью, когда все уснут. Раньше ему тут делать нечего.

Садык и Нашекен сказали дома, что их вызывают в аулсовет. Дело важное и долгое, вряд ли придут домой рано. Скорее всего, там и заночуют.

Кульжамилю попросили отпустить в ночное Акима. Старуху это нисколько не удивило. Разве впервые? Привыкла. Даже благодарила бога, что есть в доме человек, который нужен людям. Значит, живет дом. Сама твердила приемному сыну, чтобы он ни от каких поручений не отказывался. Парень пытался раза два ослушаться, но не тут-то было. «Я не то что тебя, даже Данекера колотила»,— сказала старуха и тут же доказала слова свои на деле. Рука у нее была тяжелой. Охая и кряхтя, смирился Аким. С тех пор он стал шелковым. Колхоз ли, Кульжамиля ли куда пошлют — летит как на крыльях. Взять с собой шустрого и смышленого мальчугана предложил Нашекен. Он мог очень большую помощь оказать взрослым.

По плану, дождавшись, когда уснет жена Ердена Умит, мальчик должен был незаметно пробраться в сени и там затаиться. Если Ерден оставит винтовку в передней, то мальчишка должен завладеть оружием и бежать. Все это подробно объяснили Акиму.

Когда аул сонно затих, они подошли к дому Ердена. Почуяв чужих, залаяла было собака, но Аким бросил ей два куска ле-

пешки, и она успокоилась. Садык и Нашекен заняли укромные места в дровяных пустотах. К операции привлекли занятых на поливе Кулжабая и Имансерика. Кулжабай был могучим детиной, которому ничего не стоило справиться и с двумя крепкими мужчинами. Имансерик не уступал ему в силе. Кулжабай должен был занять пост во дворе. Если Ерден пойдет мимо, он схватит его, не дав пройти к дому. Имансерик устроился на западной стороне дома. Если будет необходимость, он набросится на бандита сзади. Таков был предварительный план операции.

Акиму удалось проскользнуть внутрь. Горбатая старуха, спавшая в дальней комнате, услышала какой-то шум и спросила:

— Эй, кто там?

Она боялась, что к снохе может тайно пройти мужчина. Та ведь давно спала одна. Набросив на плечи чапан, она прошла через сени, вышла на улицу и вскоре вернулась успокоенная, не найдя следов «любовника». Поперхав от ночной свежести, как овца, старуха прошла в свой теплый угол.

Тишина. Гнетущая, тяжелая тишина, таящая в себе опасность. Уже высоко стояла в небе красноватая пастушеская звезда. Луны не было, но ночь казалась светлой и прозрачной. Садык боялся, как бы не заснул мальчик на своем посту, но Нашекен успокоил его, сказав, что Акиму можно всецело доверять.

— Не бойся,— сказал он,— парнишка не подведет.

Для ожидающих время тянулось медленно. Казалось, должно было уже раза два рассвести. Ждать всегда тяжело. Время еле ползет. А тут еще такое дело. Садык стал сомневаться. Видно, Ерден решил в эту ночь не приходить.

...Коротко тявкнула собачонка. От волнения сразу пересохло в горле. Бешено заколотились сердца. Из ложбинки, проходящей рядом с домом, показался человек. Даже в темноте можно было узнать его по описанию Орынбая. Да, одет он в форму. Винтовку держит в руках, а за спиной горбом вещмешок. Тихонько подозвав собаку, он что-то швырнул ей. Пес поймал подачку на лету и громко сглотнул. Похоже, мяса кусок. Потом еще и еще. Собака замолчала, признав кормильца за своего. Тот остановился, пристально вглядываясь в темноту, послушал ночь чутким волчьим ухом. Нет, кажется, не продал его старик Орынбай. Хорошо, что не шлепнул его днем. Получилось так, что Ерден не пошел ни мимо дров, где ждала засада, ни рядом с Кулжабаем, ни возле Имансерика. Вьюном скользнул к дому и бросил мешок. Потом неслышно отворил дверь и вошел в сени. Дальнейшее сидевшим в засаде не известно. Перед тем, как войти, он так настороженно прислушивался и так сверлил взглядом ночь, что люди дышать перестали, боясь выдать себя. Но он все же вошел.

Аким не спал. Разве можно уснуть в такую интересную ночь? Мальчик был горд оказанным ему доверием. И он все видел. Летом в ауле редко держат двери на запоре. Вошел черный человек. Звякнул прикладом в углу у самого порога. В той комнате нет

двери. Только марлевый полог натянут. Хорошо, прохладно. Неслышно ступая босыми ногами, Аким кошачьим шагом пошел к выходу.

— Ой, кто это?— испуганно спросила проснувшаяся Умит. Она, кажется, заметила чью-то неверную тень в доме.— Кто там?— повторила громче.

— Я это! Ерден! Тс-с-с!

— Ерден? Откуда?!— закричала Умит. Лежащим снаружи показалось, что кто-то зажал ладонью женщине рот. Послышались глухие звуки и тяжелое, прерывистое дыхание мужчины. Воспользовавшись этим, Аким схватил винтовку, прислоненную к стене в углу, и выбежал во двор. Садык махнул ему рукой. Оказывается, все уже собрались. Подкравшись к окошку, слушали невнятный говор. Потом стали разбирать слова. Между женой и мужем шел необычный разговор.

— Убежал я. Говорю тебе, убежал. И оружие унес.

— Ойбой, тогда мы пропали. Зачем ты это сделал? Как жить теперь будем?

Снова послышались невнятные всхлипы женщины. Сама зажала себе рот, или это сделал Ерден — неизвестно.

— До рассвета спрячь меня куда-нибудь в надежное место.

— Я мать разбужу.— Умит быстро вскочила на ноги и бросилась в комнату матери, но тут взгляд ее упал на окошко, за которым она заметила людей. Тут же пронзительный крик, полный ужаса, взорвал тишину. Садык махнул рукой, и все, кроме Имансерика, бросились в дом. Шум и возня в темноте. Ерден метнулся к винтовке, но там ее не оказалось. Пока он шарил по стене, его схватили грубые руки Садыка и Кулжабая, швырнули на пол лицом и тут же скрутили руки сзади. Вопль снохи разбудил старуху. Горбатая, полуодетая, вскочила она с постели и выбежала на шум. Ей показалось, что умыкают Умит.

— О, кто это мой дом позорит?

Не было у старухи других слов.

— Ана, прости! Это я тебе горе принес. Я — Ерден!

— А?! Что?! О жеребенок мой! О надежда моя, радость! Мы уж тебя ждать устали, ягненок мой!

И старуха упала с плачем на связанного сына. В это время стал мертвенно-серо сочиться на землю рассвет. Наступало утро. В доме стало совсем светло. Рыдали на истоптанном полу мать и сын, увидевшиеся после долгой разлуки. О такой ли встрече мечтали? Сорвав полог, упала в беспамятстве на кровать Умит. Слышны стоны, рыдания и хрип. Трудно что-нибудь разобрать. Молча стоят и смотрят Садык, Нашекен, Кулжабай, Имансерик, Аким.

— Развяжите руки! Дайте с матерью обняться. Потом хоть тут же расстреляйте, дело ваше. Мне уже нечего терять.

Все посмотрели на Садыка. Тот посмотрел на Нашекена.

— Пусть попрощается с матерью, несчастный человек.

Он и сам не мог удержаться от слез. И вдруг Ерден крикнул:

— Люди в этом ауле хуже собак! Собака и то узнала меня и пожалела.

Эти слова задели Садыка. Минутная жалость пропала, уступив место гневу.

— Если бы ты вернулся человеком, то мы бы и встретили тебя по-человечески. Золотом бы путь твой усеяли. А ты вернулся врагом в родной дом, ночным разбойником. Себя вини, подлец! Дезертир, бросил товарищей. Эх ты!

В тот день весь аул был мрачен, словно все сразу получили черную бумагу. Ближе к обеду связанного Ердена заперли в одной из комнат школы, где он когда-то учился. Многие любопытные заглядывали в окно, чтобы увидеть беглеца. Люди не могли скрыть глубокого презрения к нему. Даже дети смотрели на него суровым, совсем не детским взглядом. Кто-то плюнул и отвернулся:

— Тьфу! Предатель! Трус!

— Говорят, он застрелил овцу в стаде.

— Сначала хотел забрать козла дяди Данекера.

В смертной тоске метался на полу Ерден. Глаза его налились кровью, как у бешеной собаки. Когда он смотрел на всех, безумно, ненавидяще, дети бежали в испуге прочь. Если бы были свободными руки, он бы сам разорвал себя. Почему не остался он под Брестом вместе с Данекером? Почему не принял смерть от рук палачей в лагере военнопленных? Как могла прийти ему в голову проклятая мысль о дезертирстве? Какой шайтан попутал его?

...Да, враг вначале наступал крепко. За каких-то полтора дня поредели ряды товарищей Ердена. Их часть, как и многие другие, вынуждена была отступить. Лесная дорога разделилась надвое. Чтобы помочь уйти другим, кто-то должен был задержать врага. Кто останется на верную смерть? Кто выдержит? Кто заступит дорогу врагу, рвущемуся вперед?

— Я останусь,— просто сказал Данекер. К нему присоединился Саша, их однополчанин. Вместе они отнесли в чащу «максим», запаслись гранатами... И только через несколько дней среди солдат пошли разговоры про бой на лесной дороге, у самой развилки, где два смельчака четыре часа сдерживали колонну вражеских солдат. Но никто не мог сказать точно, погибли они или ранеными в плен попали.

Вот почему Ерден сразу опустил вчера винтовку, когда закричал Орынбай, что козел принадлежит Данекеру. Все же осталось в нем какое-то чувство к герою. Пусть он много страдал, мерз, голодал, но он жив... благодаря тем двум. До сих пор жив! Зачем? Ну что стоило какой-нибудь немецкой пуле оборвать его жизнь? Почему он не умер?..

Что же с ним?! Все смешалось в голове: день и ночь, добро и зло... Никак их не разграничить. Принял он пропасть за арычок,

шагнул — и полетел на самое дно. Никто ему руки не протянет. Никто не выручит. Он вернулся в аул, и его схватили родичи, связали. Родная мать, когда уводили его, горько сказала:

— Убил ты нас, Ерден. Теперь над нами друзья смеяться станут, враги топтать. Не один раз, тысячу раз убил ты нас. Лучше бы ты нам ночью горло перерезал своими руками. Стыд убивает героя, а труса — камышинка.

«Неужели я стыд и честь растерял совсем, что даже родная мать напомнила мне об этом? Или немец сумел в пыль стереть мою гордость? Когда наконец погнали врага, я свернул в другую сторону. Простят ли меня люди? Простит ли Родина?»

На красных глазах его выступили слезы. Закапали на пол.

— Плачет. Смотрите, плачет,— зашумели дети.

Больнее всего было осуждение этих вот ребятишек. Полными слез глазами смотрел он на их исхудалые лица. Он словно просил у них прощения, у будущего.

Прежде чем позвонить в район, долго думал Садык. Сердце разрывалось, когда он вспоминал горбатую старуху, бедную Умит, что завяла, не успев расцвести, ту Умит, которая так много сделала для людей, а муж ее, свой же аульный парень, вернулся домой с винтовкой. На кого он поднял руку?

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Весь аул тяжело переживал случай с возвращением Ердена. Кульжамиля страшно побледнела, узнав от Акима все подробности. Через два дня на лице старухи выступили какие-то красные пятна. Аким думал, что мать тут же побежит к горбатой старухе, но она не пошла. Она молча и неподвижно лежала в своей постели, словно потеряв всякий интерес к жизни. Не видя хозяйки, стали беспокойно вести себя козы. Козел, привыкший к тому, что старуха выходила встречать его каждый вечер, стал искать Кульжамилю. Найдя ее дома, бурый очень обрадовался и принялся обнюхивать ноги и грудь хозяйки. Старуха равнодушно следила за его проделками из-под полуопущенных век. Не взяла, как обычно, за рога, не погладила морду. Козел стал нежиться и тянуться, хрустя суставами, чтобы обратить на себя внимание Кульжамили, но тщетно. Тогда козел, гордо ступая, удалился в сени, где у него было собственное гнездышко. Два дня Аким сам доил коз. Мать отказывалась и от кипяченого молока, и от чая. Молча лежала, словно онемев от горя. Аким был очень испуган. Он часто слышал в ауле разговоры о болезни, которую вызывают злые духи. Уж не демоны ли вселились в старуху?

Только на пятый день с трудом встала с постели Кульжамиля. Никогда еще не видел Аким старуху в таком состоянии. Как-

то сразу согнулась и одряхлела мать. Раньше она ходила прямо, держалась гордо. Скотина, говорил Орынбай, похожа на своего хозяина. И Аким думал, что козел научился держаться гордо у своей хозяйки. Красные пятна на лице матери стали иссиня-черными. Долгая болезнь, казалось, загасила в ней весь огонь, все желания, все страсти, за которые называли ее «бешеной» и «строптивой». Она совсем перестала ходить в гости к товаркам, без чего не могла жить раньше. Стала вдруг избегать людей, чувствовать себя лишней и ненужной. Из властной и грозной старухи она превратилась в равнодушную, измученную, несчастную женщину. Или кажется так?

Не только Аким, но и весь аул соскучился по гневной брани и властному голосу Кульжамили. Давно уже не видели мать Данекера и Садык с Нашекеном. Очень заняты были они, но все же выбирали время, чтобы навестить старуху. Ходили друг к другу старики, у которых кончился зеленый насыбай. Никто не знал причины столь странного явления, но весь аул как бы свежел, люди чувствовали себя бодрыми после очередной грозовой вспышки Кульжамили. Ей одной было это к лицу, ей одной было дано право кричать на всех. Особенно досталось от нее молодухам после событий, разыгравшихся по приезде Абди.

— Мокрохвостые курицы! Смотрите, не обольщайтесь вниманием старых кряхтунов да увечных калек. Завтра вернутся здоровые и красивые джигиты, тогда локотки себе погрызете, только поздно будет. Скажете себе: «На что прельстились?» — но не тут-то было!

— Апке! Апке! Пока вы над нами стоите, где уж нам о старых женишках думать? — довольны те.

Весь аул знает, как она дважды посадила в лужу уполномоченного из района по имени Алимжан. В прошлом году это было. В один прекрасный день, заскучав в одиночестве, вышла она встречать жниц. С вязанками хвороста на спине женщины шли цепочкой, напоминая караван верблюдиц. Говаривают: «По зернышку готовит себе зимние запасы муравей». Так и эти женщины запасались на долгую зиму топливом, каждый день таская по вязанке после работы. Иногда Кульжамиле становилось жалко этих трудяг: и на колхоз работают, и хворост себе собирают. Так вот, возвращались как-то эти женщины на закате домой. Возможно, многие из них припрятали в вязанке немного пшеницы. Когда первая из жниц поравнялась с Кульжамилей, из-за овражка слева вынырнул на гнедом жеребце уполномоченный Алимжан.

— Останови баб! Обыщем! — бросил он мальчишке-учетчику.

Женщины перепугались.

— Эй, уполномоченный! Ты что это делаешь? — громко закричала Кульжамиля. — Ты за народ душой болеешь или с неба свалился? Что еще за обыск вздумал учинить? Не видишь, кто перед тобой? На них рубахи от пота сопрели, мясо почернело на костях от работы. — Она схватила гнедого под уздцы и начала выдавать

уполномоченному сполна:— Или ты думаешь, что они арестанты? Давай, с меня начинай свой обыск в таком случае! Правду говорят, у кого голова не болит, тому до бога дела нет. Какая польза народу от такого уполномоченного, как ты? Если ты такой всесильный, то прикажи, чтобы война кончилась, чем пугать несчастных вдов. К богу обратись, который душит нас нуждой. Он виноват!

Пока уполномоченный сумел отвязаться от настырной старухи, работницы скрылись в овражке и бросились бежать. В это время уже и сумерки опустились на землю, замерцали огоньки в окнах. Уполномоченный, очень раздосадованный, поспешил дальше, старуха отправилась своим путем. На следующий день женщины от всей души стали благодарить Кульжамилю.

— Эх, апке, ну и медведица вы! Уполномоченный-то, поди, еле жив ушел, а?

С тех пор при встрече женщины стали просить Кульжамилю рассказать о стычке с уполномоченным и смеялись до колик.

— Ох, апке! Расскажи еще о глупом Алимжане!

— Это что,— посмеивалась старуха.— Аллаху угодно было еще раз столкнуть меня с ним.

— Да-да... об этом тоже расскажите!

И она рассказывала.

...Люди давно уснули, а Кульжамиле как-то тревожно, сердце не на месте, никак сон не берет. Горит вся, а перед глазами всякая чертовщина мелькает. Тогда оделась она, туго подпоясалась и вышла на улицу. Весь аул спит. Даже собаки только лениво и сонно взбрехивают. Ходила старуха взад и вперед перед домом, все никак не могла успокоиться. Делать особенно нечего: дома все в порядке, как сама привыкла держать. Все на месте. Вспомнила аульных мужчин и горько ей за них стало. Истосковалась по веселым их голосам, по шуткам и смеху. Слезы навернулись на глаза. И аул в какой-то грустной дымке, словно от ее настроения. То вдруг покажется старой, что возвращаются домой ребята, одетые в новенькую красноармейскую форму. И так больно и тоскливо на сердце, что готова криком кричать на весь аул. Ну, думает, так недолго и с ума сойти. В это время взгляд Кульжамили упал на дом Мукатая. Ах, родной! Вспомнила она с улыбкой его шалости, то, как он в ее дворе маршировал перед отъездом в армию: «Ать, два!» Долго смотрела старуха в сторону его дверей. Казалось ей, что не спится этой ночью молодой жене Мукатая, мечется бедная Асельжан на горячей постели. Вспомнилось, как умер отец Мукатая. Кульжамиля считает, что если кто и заботится о старом человеке, то пусть ухаживает как Асельжан за своим свекром. Она ходила за стариком будто за младенцем. Хотя бы в награду за ее доброту должен аллах вернуть живым Мукатая. Какой красавицей стала Асельжан! Не в эту пору женщине бедствовать в одиночестве, забыв про горячие руки му-

жа. Смугла, хороша, гибка, как тростник озерный. И недовольной ее не увидишь, всегда весела, щебечет, смеется.

Из тех семнадцати джигитов, что вместе ушли в армию, только двое были женаты. Это Мукатай и Ерден. Может, оттого что мужья их ушли служить вместе с Данекером, Умит и Асельжан казались Кульжамиле близкими, словно родные невестки. Потому, наверно, мысли ее так долго были заняты домом Мукатая.

Через некоторое время донесся вдруг до слуха Кульжамили конский топот. Луна уже народилась и успела подняться высоко в небо, залив окрестности молочным светом. Во всаднике старуха сразу узнала проклятого Алимжана. Он обогнул озеро и направил коня прямо к дому Асельжан. С седла огрел камчой спокойно лежавшую корову. Порвав привязь, корова вскочила на ноги. «Не с ума ли он сошел?— подумала про себя Кульжамиля.— Или же, став начальником, голову потерял? Слабые люди не выдерживают испытания властью».

Привязав лошадь с восточной стороны дома, Алимжан направился прямо к двери. У старухи аж сердце захолонуло. Воистину, бог лишил девку разума и стыда! Если такая жена, как Асельжан, забыла про срам, то что с других баб спрашивать? О... проклятая война! Выходит, ты не щадишь ни чести, ни достоинства опустевших домов! Иначе что здесь потерял ночью уполномоченный, коли сама стервозная бабенка не позвала? Кульжамиля даже озябла от злости, словно кто-то положил ей за пазуху кусок синего льда. Заревела, как взбесившийся во время брачных игр бура[1], и бросилась вперед. Готова была обоих рвать зубами, ногтями царапать их черные лица. Сама не помнит, как схватила попавшийся под руку деревянный кол. Будто предчувствовала эту схватку. Не зря тревожилась и места себе найти не могла. А тот кобель успел уже в дом войти. «Ах, опоздала! Опоздала!» — стучит в висках у старухи. Хочется крикнуть, а голоса нет. Задыхаясь, чуть не падая, ухватилась она наконец за стену мукатаевского дома.

— Уйди, грязный пес! Сын собаки и шакала! Я думала, что ты человек, а ты зверь в облике человечьем!

Ясно донеслись до нее слова жены Мукатая. Зазвенело стекло, и в окно выпрыгнула босая Асельжан в одной сорочке. Увидев спешащую к ней Кульжамилю, она в ужасе закричала, едва не перебудив весь аул:

— Апа! Что же это такое? За что мне такой позор? За что...

Рыдания душили ее. Ноги в порезах от стекла. Схватив лопату, лежащую у порога, Кульжамиля подперла дверь. Уполномоченный толкнулся было два раза, но дверь не поддалась. От громких воплей женщины аул проснулся. Встревоженные люди собрались у дома Мукатая. Такого поворота дела Алимжан не ожидал. Растерявшись вконец, он полез в окно, выбитое Асельжан.

---

[1] Бура — верблюд-самец.

— Молодость, молодость это,— оправдывался он и кривил губы в жалкой улыбке.

— Вот тебе за «молодость»!— Кульжамиля изо всех сил ударила его деревянным колом и принялась честить:— Вором-то ты сам оказался! На месте преступления попался. Эх ты, негодяй, у воина честь хотел украсть, ложе его осквернить. Тебя, подлеца, и немец погнушается убить!

Все знали бешеную старуху. Ей и дела нет, что ночь на дворе, что аул спит. Ругалась от души. От грусти и тревоги ее и следа не осталось. Потом успокоила, как могла, Асельжан и в дом увела. Та, бедняжка, расчувствовалась, выплакалась вволю и все никак Кульжамилю от себя не отпускала. Так они и сидели, обнявшись, до утра, старая и молодая.

На следующий день Кульжамиля была сама не своя. Ее всю трясло, как овцу, на которую волк напал. Целый день не могла успокоиться, душа ныла. Вечером она от кого-то узнала, что в МТС приехал секретарь райкома. Оставив дом на Акима, старуха тут же отправилась в путь. Решила, Алимжан все же прислан из района, аулчане не смогут высказать ему всего, что на сердце лежит. Он власть свою чувствует, вот и петушится, я, мол, из района.

Пешком, ног под собой не чуя от усталости, добралась-таки до МТС. Собрание там проходило или что другое, но пришлось ей довольно долго прождать. Чистенькая, опрятная женщина сказала ей с упреком:

— Байбише! Вы бы лучше завтра приходили, устали ведь люди.

Но Кульжамиля не сдалась.

— Думаешь, мне нечего делать и я из праздного любопытства сюда пешком приперлась?!— возмутилась она.

Когда собравшиеся разошлись, Кульжамиля, несмотря на протесты секретарши, вошла внутрь и увидела там знакомого, как она говорила, «хозяина над всем этим железом, тракторами и комбайнами», который не раз бывал в их колхозе. Рядом с ним были какой-то русский и пожилой казах с жесткими и торчащими, как у дикобраза, волосами. «Вот тебя-то мне и нужно,— решила старуха,— хоть ты и грозный такой да огромный». Глаза у него запали от усталости. Было видно, что недосыпает человек, измучен работой. Но Кульжамиле и дела не было до его усталости: сама еле на ногах стояла, а в груди все кипело от злости. Да и вид у нее, наверное, был нелицеприятный, впору испугаться.

— Кто из вас райком?— бойко спросила она, даже не поздоровавшись.

Сидящие в комнате с удивлением посмотрели на Кульжамилю.

— Я говорила ей, что сюда нельзя, но она не послушалась. Сумасшедшая какая-то старуха!— с досадой оправдывалась за ее спиной секретарша.

— Ну-ка прочь от меня! Держись подальше, кукла! У меня дело не к тебе, а к райкому!

— Что за дело привело вас сюда на ночь глядя, байбише?— спросил ее казах с усталыми глазами.

— Мне кажется, эта женщина из «Алгабаса»,— вдруг пояснил ему по-казахски русский.

Кульжамиля ошарашенно уставилась на него. Откуда он ее знает?.. Потом все по порядку рассказала, словно бусы на нить нанизала. Так-то! Секретарь еле выслушал ее до конца, посерел лицом, встал из-за стола. Заложив руки за спину, принялся ходить взад и вперед по комнате. Брови его то сурово хмурились, то разглаживались.

— Когда враг хватает за горло, волк тащит за подол... Как можно таких дураков посылать в хозяйства уполномоченными?!— закончила Кульжамиля.

Секретарь отшатнулся, словно от пощечины. Но старуха чувствовала: нет, не в обиде он на нее. Только почернел весь от стыда и гнева. Нет тяжелей стыда, чем стыд за другого.

Подумалось вдруг, что кричать на нее станет, чтобы злость сорвать, но нет, он и этого не сделал. Лишь сказал:

— Вы правильно поступили, байбише! Так и надо мерзавцу!

— А что, ваша это сноха была?— неожиданно спросил женский голос. Кульжамиля оглянулась. Оказывается, секретарша стояла за ее спиной и все слышала.

— Что же, по-твоему, если не моя — пусть валяется под ним? Или, думаешь, другие женщины из-за того, что чужие, безразличны мне?

После ее слов русский так сердито посмотрел на секретаршу, что Кульжамиле и самой не по себе стало. Та же и вовсе сникла, поджала хвост — и за дверь.

— Байбише!— нарушил молчание секретарь райкома.— Мы всё привыкли на время валить, забывая, что при любых обстоятельствах человек должен оставаться человеком. Время тяжелое... К сожалению, и в такие дни встречаются люди, которые творят безобразия, чувствуя, что похлебка их чуть погуще, а голос погромче... Но благодаря таким, как вы, наши воины гонят с родной земли страшного и сильного врага, которого, казалось, ничто не в силах остановить. Гоним мы их, мать! Такими, как вы, сильны. Радостные дни уже недалеко. Не за горами победа! Все встанет на свои места. Высохнут слезы, заживут раны. А пока есть еще клопы, которые, пользуясь темнотой, кусают и пьют нашу кровь. Но ведь это паразиты, мать, вроде того, которого вы и сами раздавили ногтем...

Улыбка чуть раздвинула его губы. Кульжамиле показалось, что он не столько ее утешает, сколько себя. «О аллах!— думала она.— Какие мысли грызут его? Но как говорил!.. Это дар от бога! Да и может ли простой человек быть райкомом?»

— У нашей гостьи есть бурый козел, которого она зарежет в день возвращения сына,— заговорил тем временем русский.

Старуха от удивления рот раскрыла. А тот посматривает на нее и смеется. Хорошо так смеется, добро, так что у Кульжамили слезы на глаза навернулись.

— А я о том в вашем ауле слышал. Бывал там,— раскрыл он секрет.

Когда, закончив разговор, все вышли наконец на улицу, Кульжамиля увидела у крыльца пару привязанных лошадей.

— Апа, как вы думаете домой добираться?— спросил у нее секретарь.

— А пешком.

— Нет, так не пойдет. Ночь на дворе...

О чем-то посовещавшись между собой, мужчины отвязали коней.

— Апа, садитесь вот на эту лошадь!

Второго коня подвели к секретарше и поручили ей:

— Поезжайте с апой, проводите и тут же возвращайтесь обратно!

— Спасибо, родные! Дай бог вам прожить тысячу лет! Будьте счастливы, хорошие люди!

...Конь под Кульжамилей оказался отличным иноходцем. «Да разве будет райком ездить на плохой лошади?»— удовлетворенно думала она. Как только перебрались через строптивую речку Кок, конь пошел мягко покачиваясь. Старуха заметила, что спутница ее сидит в седле хуже коровы. Да и ехать ей, видимо, вовсе не хотелось. Ухватилась рукой за луку седла и отбивает задом почище, чем баксы в бубен. «А, красавица,— подумала Кульжамиля,— нечасто, видать, твой нежный задок о седло колотился». Когда глаза привыкли к темноте, ночь показалась светлой, проступили очертания местности. И тут будто шайтан старуху попутал. Зла она была на свою спутницу за то, что не пускала ее давеча, тявкала в дверях, вот и решила ей за это отомстить. И что за дурная мысль пришла в голову, сама потом удивлялась. А той, видно, и так не по себе, все норовит Кульжамилю в разговор втянуть. «Ну,— думает Кульжамиля,— пусть увидит, на что способна сумасшедшая старуха!» Натянула повод, слегка придержала жеребца, позволив спутнице вперед проехать, потом дала коню шенкеля и дико крикнула: «Ойт!» Обе лошади понесли. Старуха на этом не успокоилась: раза два хлестнула камчой по крупу передней лошади, которая уже и так стлалась над дорогой, едва касаясь копытами земли. «Эх, чернохвостый! Чу-у!» Конь летел как оперенная стрела... И своему иноходцу она дала волю, заставив забыть про узду. О, какая это была скачка! Ночь летела по сторонам, развевая черные крылья. Ветер с гудением бился в грудь. Горло было переполнено песней и восторженной бранью! О, какая это была скачка!

Но Кульжамиля не забывала следить за своей спутницей. Та

еле переводила дух, соскальзывая то в одну, то в другую сторону. Старуха даже испугалась, как бы не вылетела глупышка из седла, а секретарша знай вопит что есть мочи:

— Ой, умираю! Ой! Не скачите так! Не гоните! Ойбо-о-ой!

Намертво вцепилась руками в уздечку, а чембур выронила. Запутается конь, наступит на волосяпую веревку, и не миновать бы конца бедняжке. Но тут Кульжамиля придержала своего иноходца. Жертва ее еще проскакала, высоко вскидывая зад, пока ей не удалось остановить лошадь. Старуха же наконец дала волю душившему ее смеху. Хохочет во все горло и ничего не может с собой поделать. Спутница ее оглянулась, а в глазах такой ужас, что Кульжамиля невольно прикусила язык. Бедняга, подумала, верно, не так страшно, что конь понес, а что старуха явно свихнулась. А та лишь улыбается и все не может понять, что за черт толкает ее на такие проделки. Ей и дела нет, что секретарша перепугана насмерть, и жалости никакой, едет, довольная своей шуткой. Давно она так не смеялась. Уж очень важничала перед ней глупышка, зато сейчас поубавилось спеси. «Ах, мокрохвостая! Поделом тебе».

— А если бы я упала?— плачущим голосом спросила секретарша, немного отдышавшись.

Да, не узнать ее теперь. Прямо джигит-девка! Только сопли не успела вытереть. «Ах ты, ласковая моя!— потеплело на сердце у старухи.— Уж и голосок не тот. Хороший, приятный голосок. Поняла, видать, что не из простого теста старуха-то испечена. Это мне и надо».

Провожавшие, видно, и не подумали, что она верхом не умеет ездить. Женщина из аула, казашка, а на лошади сидит — корова коровой.

— Апа, а как я возвращаться буду?

Голосок дрожит, слезы в нем так и звенят. Жалко ее Кульжамиле стало. Не по своей ведь воле выехала она в дорогу. Тут и до аула добрались. Разбудила старуха Акима, посадила его на лошадь, секретарше иноходца отдала. Наказала мальчику, чтобы проводил тетю, а утром вернулся пешком. На прощанье сказала со смехом:

— Не знаю, слышала ли ты про меня, светик мой, только я и есть сумасшедшая старуха Кульжамиля из этого аула. Если раньше не слышала, то теперь, думаю, не забудешь. Счастливого тебе пути! Скажи от меня спасибо райкому!

Так из-за дурака Алимжана старуха Кульжамиля чуть не взяла на душу грех, едва не погубив невинную женщину. А через два дня исчез из аула и сам Алимжан. Видно, крепко всыпал ему секретарь райкома... Не раз и не два потом старуха говаривала: «Вот, родные, защищая честь Асельжан, на старости лет и с райкомом ваша апке поговорила. Со мной шутки плохи...»

Сколько бы ни рассказывала эту историю Кульжамиля, аульные женщины не уставали слушать ее. Да и сама старуха с неиз-

менным удовольствием вспоминала давний случай. И вот, все ее озорство, все неистовые шутки, добрая брань — все-все забыто. Нет прежней Кульжампиз. Тает старуха как воск от огня. Но какой огонь сжигает ее? Она резко сдала особенно после поимки Ердена. Гораздо лучше было бы, если б он пропал без вести. «Я-то горжусь тем, что сын мой с первых дней в огне, больно, а горжусь, но что если вдруг...— невольно приходило ей в голову.— Ой, нет!.. Но что если он тоже где-то в чужих краях прячется от людей, как паршивый шакал, сбежав и предав своих товарищей? Не-е-ет!» Такого позора ей не пережить. Ерден ушел светлым днем, вернулся, как враг, темной ночью. Он умер поганой смертью еще при жизни, отравив последние дни несчастной своей матери и жены. Тяжелым свинцовым позором налиты теперь их глаза, и не посмеют они отныне прямо смотреть в другие лица, в глаза людей... О аллах! Благодарение богу, что сын уехал, не успев связать свою судьбу с женщиной! Черной сажей чернила бы ее лицо невестка, попрекая предателем-сыном. Нет!.. Ойбай! Неужели и Данекер бродит в ночи, как Ерден, или, может, тяжко звенит цепями в неволе, попав в руки врага? Нет радости и от такой вести. Да-а, легко ли пришлось неопытным в ратном деле джигитам, впервые покинувшим аул, там, в далеком краю, когда волчьей стаей напал на спящую землю враг, изрыгая огонь и гром, сея смерть. Трудно ли сойти с ума в этом аду, голову потерять? Кто знает, может, в первый же день был он убит на далекой земле. Это горько, но лучше пусть будет так...

Не-е-ет, астапыралла! Что это она говорит, безумная? Не она ли недавно клялась, что счастлива была бы умереть, увидев сына еще разок? Но ведь увидит и на самом деле, если он сбежит... Ой, да что же это? Откуда только такие мысли? Не сама ли молила, лишь бы Данекер вернулся, пусть даже без рук и без ног, но лишь бы только вернулся живым. Не об этом ли молила? Пусть позорное имя беглеца уйдет из аула навсегда вместе с Ерденом. Эх, бедняга, неужели он и вправду надеялся бегством спастись? Нет, мир слишком тесен для таких. Жаль, что при расставании не подумала об этом, а то бы шепнула Данекеру:

— Только не будь дезертиром, жеребенок мой! Никогда!

Не хочется ей выходить на улицу, все кажется, что люди будут показывать на нее пальцем и говорить с презрением:

— Твой-то сынок уходил вместе с Ерденом. Что-то слишком долго нет от него вестей. Где, старуха, сынок-то твой?

Ох, изгрызла, истомила, сожгла сердце тоска! Как хорошо было слыть просто вздорной старухой, но честной перед людьми и совестью.

С тех пор, как скрутили Ердена, казалось ей, что свет и тень, день и ночь, ветер и звезды, люди и дома — все презирают старуху и с недоверием смотрят на нее. Как стыдно! Как трудно поднять глаза! Надо, надо было хоть заглянуть в лицо связанному Ерде-

ну. Может, глаза, губы его сказали бы что-нибудь, открыли бы ей правду. Хотелось ей подойти и спросить:

— Эй, что ты знаешь о моем Данекере?

Но не подошла. Стало вдруг жалким и слабым сердце твердой и решительной старухи. Боялась она новостей. Боялась слов. Боялась писем. Всего стала бояться, и сердце обморочно леденело, и долго белый холод не покидал ее щек.

Она сидела дома и все старалась до мельчайшей черточки вспомнить лицо дезертира, его голос, его походку, слова... Но видела перед собой что-то змеиное, серое, холодное. Какая-то мертвая гримаса кривила нечеловеческое лицо. Улыбка не улыбка, злоба не злоба. Только ноздри подрагивали. «Ну, что же ты стоишь, ведьма?! Иди ближе, не бойся! Не брезгуй! Твой сын точно такой, как я! Чего же ты не идешь? Ближе!— Не мертвые губы, тусклые глаза его говорили:— Чему радуешься, ведьма? Одной веревочкой позора, унижения и смерти связаны наши с Данекером судьбы. А ты еще жива?..» И был он как обглоданная кость, и грязными прядями свисали на лицо седые волосы. А через щеку — длинный рубец или полоска сажи. Временами в глазах у старухи становилось так темно, что ей ясно виделась могила. Но что это? Не один там лежал, а двое. Ойбай-ау! Не Данекер ли рядом? Почему он голову не поднимет? Ах, это позор давит его к земле. О, горе ей!..

Кульжамиля вздрогнула от собственного крика и пришла в себя. Не было перед ней ни Ердена, ни Данекера... А потом снова упала мгла, снова закружились над ней как вороны черные мысли, крыльями свет заслонили.

Две долгих недели длился этот кошмар. Совершенно измучившись, решила Кульжамиля стряхнуть с себя горькую напасть и побрела на пастбище. Сразу за аулом вытянулся овраг, рядом на холме примостился старый мавзолей с полумесяцем, а за мазаром падает в бездну обрыв, и только дальше стелется ровное плато, где и пасется аульное стадо. Важно восседает на лысом одре старый Орынбай. После памятных всем событий, когда на стадо напал волк, а потом и бандит, колхоз взамен ленивого быка дал старику эту пегую лошадь. Одно название, что лошадь. Ее окрестили в ауле «каменной» за то, что хоть ты режь, а заупрямится она, так ни за что с места не сдвинется, но не дай бог вдруг разыграется — тут уж ее не остановишь. Везет же бедняге-пастуху на транспорт!

Кульжамиля пробралась по краю обрыва на пастбище, направилась к бурому козлу и остановилась в задумчивости. Тот по привычке стал обнюхивать ее подол и рукава, потом горделиво покачал могучими, как у оленя, рогами, пожевал губами.

«Эх, несчастная! Видно, невмоготу ей дома сидеть, вот и пришла, хоть бурого приласкать»,— подумал про себя Орынбай. Стараясь не нарушать уединения старухи, Орынбай держался с другого края пастбища, изредка выкрикивая свое: «Шайт! Шайт!».

Здесь, рядом с бурым козлом, вновь нахлынули на Кульжамилю мысли, черные, как хлопья сажи, снова пригрезились ей Ерден с Данекером. Даже бурый не смог утешить старуху. «Не в добрую минуту подвернулся ты мне под руку,— подумала она.— Дурным взглядом, видать, посмотрел на Данекера. На месте зарежу тебя и мясо собакам кину. Оно так, наверное, и будет — придется зарезать тебя не на той, а на поминки». Какая-то горькая пустота навалилась на нее, наполнила грудь, она устало закрыла глаза.

Весь запад закрыла густая свинцовая туча. Закачались головки цветов. Успевшая отрасти после стрижки шерсть бурого поднялась как конская грива. Добрым золотом переливались вдали хлеба, успокаивая и радуя сердце. Казалось, что само поле перекатывается по земле как ртуть. Насквозь пронзил Кульжамилю студеный ветер, она озябла. Через некоторое время затрещало небо, и на мир обрушился гром. «Ат!»[1] Будто крикнул кто-то в самое ухо Кульжамили, и, подчиняясь команде, рявкнули пушки. Слабо доносится голос Орынбая. О чем он кричит? И зачем? Крупные, как виноград, капли торжественно упали на землю. А потом весело, во всю силу заплясал дождь. Нет! Слишком мало веселья. Ах, мало?! Дождь обернулся веселым градом. И все крупнее становились жемчужные градины. Опершись на свою палку, изваянием застыла Кульжамиля. В небесах чертенята устроили белую свистопляску. С визгом и хохотом крутились они над землей, бросая друг в друга ледяными горошинами. Одна горошина пребольно ударила старуху по носу, заставив ее вздрогнуть. Она посмотрела под ноги и увидела белые хрупкие градины. Словно сказочный белый баран рассыпал здесь свои шарики. Кульжамиля задумалась. Видно, ангел смерти, великолепный, грозный Азраил, вывел ее сегодня из дому, чтобы отнять жизнь здесь, вдали от людских глаз, не дав ей услышать недобрую весть о Данекере. Благодарение великому князю духов! Не узнав позора, легко умереть. Если сын погиб от пули немецкой, то она готова умереть от пули небесной.

Град немного поутих. «Эх!»— с какой-то странной горечью и разочарованием выдохнула Кульжамиля. Но тут с треском разорвалась молния. Все смешалось. Казалось, земля вздыбилась навстречу небу, а небо обрушилось на землю. Страшно, как перед закланием, кричали козы. К ним присоединился вопль старого Орынбая. «Аттан! Аттан!»— призывал он бежать прочь. Больно ударила в темя старухи градина, вторая, третья... дальше Кульжамиля не помнит ничего.

Очнулась она на скрипящем ледяном настиле. Чапан на ней был как пожеванный. Рядом со старухой стоял бурый козлище, с которого ручьями стекала вода. Видимо, стоял он и ждал, когда оживет хозяйка, в то время как другие козы метались по пастбищу, крича от смертельного ужаса.

[1] Стреляй!

Кульжамиля хоть и вымокла до нитки, но почувствовала себя бодрой и здоровой, словно ужасный град выбил из ее головы все мрачные, тяжелые думы. Немало лет прожила она на земле, но никогда раньше не видела такого града. Тишь. Ни звука. «Уж не лежит ли где-нибудь в беспамятстве старик Орынбай?» — подумала она. Солнце покинуло зенит. Время не раннее. Она встала и потихоньку пошла в сторону аула. Оглянулась, а за нею бурый козел вышагивает, ведя за собой стадо...

* * *

Кругом только и говорили о неожиданной стихии, обрушившейся на колхоз «Алгабас». О хозяйстве хорошо знали и раньше, оно вперед всех сдавало хлеб, первым собирало заем, отправляло в армию лучших коней. Славился колхоз и сдачей мяса, масла, яиц, шерсти. В районе всегда называли его в числе первых. Старики, женщины и дети, на которых легли все тяготы хозяйства, работали так, чтобы не почувствовалось отсутствие мужчин. Они получали немало благодарностей из района и области за свой труд. Даже в республиканских газетах не раз упоминался колхоз «Алгабас». Несмотря на тяжелое время, люди очень гордились этой заслуженной славой.

И надо же так случиться, что именно тогда, когда наши войска наконец переломили врагу стальной хребет и гонят его прочь, пришла эта беда. Град побил уже созревшие хлеба. Только яровые успели собрать. А какой был урожай! Даже больно вспоминать. Как радовались люди! И вот... Ведь засеяли поля новыми отборными семенами пшеницы сорта «кожабас». Много надежд возлагал на нее колхоз. Да что теперь поделаешь, хоть и трудно глазам своим верить, но за два часа все пропало: труды, надежды, радость.

Парторга одолевали тяжкие думы. Да, это не сон. Откуда взяться такому сну? Не сам ли он объехал верхом поля, все своими глазами видел. Сказал про себя: «Горе тебе, Садык!» Только и остались от урожая переломанные, обезглавленные стебли. Ни зернышка. Земля лежит истерзанная. Беспощадно высек ее град. Словно кто-то добросовестно проборонил ее, да некстати. Телеграфная линия проходила через поля второй бригады. Упали два столба. Неистовствовали и град и ветер. Поникли измочаленные стебли, поле — как после жестокой сечи. Страшно даже смотреть. А ведь только вчера все здесь радовало глаз. Шумело золотое спокойное море. Легкий ветерок доносил запах поспевающих хлебов. Привыкли люди к этой красоте, а вот теперь стоят, понурив головы, опершись на лопаты словно на посохи скорби. Да и как им не печалиться? Столько пота пролито понапрасну, столько отдано сил. Дважды за лето поливали посевы обеих бригад, трудясь до полного изнеможения. Нет большей радости для дехканина, чем видеть рост высаженных им семян. Гордое чувство отцовства охватывает его тогда. На глазах аулчан поднимались хле-

ба. Когда нежная зелень проклюнулась, умилялись они словно новорожденному. Когда щетинкой встала поросль, радовались, будто ребенок сделал первые свои шаги. Потом дитя наливалось силой, шло в рост, зрело. Стали уважать его как будущего кормильца. Чувства, которые испытывает мать, заботясь о младенце, переполняют и дехканина у нивы. Разве не больно матери терять сына? Так вот и эти: Имансерик с Кулжабаем. Нельзя осуждать их за слезы. Как же не оплакивать им тяжкий свой труд и погибший хлеб? И разве только их по́том орошена эта земля — похоронен труд многих людей, всего аула. А ведь родина уже держала открытыми закрома, готовая принять золотое зерно нового урожая. Кто объяснит случившееся? Или это рок? Обошла же беда стороной поля соседних колхозов «Ульги» и «Агарту». Только хлеба «Алгабаса» не пощадила. Чем провинился перед небесами этот аул?

Счастье недолговечно. Сверкнет оно перед глазами как ртуть и, как ртуть же, быстро исчезнет. Попробуй схватить. Разделится на маленькие шарики и рассыплется в разные стороны. Блеск радует глаз, а распадется — и нет ничего под руками. Эх, «Алгабас»! Твои люди, твое трудолюбие, твои урожаи... Сколько председателей сменилось — ушли воевать! Только Садык здесь неизменно. По состоянию здоровья его не пустили на фронт. Да и возраст уже не тот. Но разве малые страдания он принимает? На каких весах взвесить его лишения?! Только пули не свистят, целя в сердце. Но пуще любой раны мучает его раннее вдовство юных женщин, горькое сиротство детей, тяжкое горе отцов, нужда и голод аулчан... Тысячу раз на день бывает ранен парторг.

Как бы ни было трудно, но не посрамил колхоз своей чести. Только это и поддерживало силы Садыка, заставляло на время забыть о нужде. Столько усилий стоило держать голову высоко, и вдруг случилась эта напасть. Катится удача с ладони, как капельки ртути, и не удержать ее. Все! Теперь никак не выполнить плана по зерну. Мертвыми лежат опозоренные поля. Солома, саман! Как бы зимой не схватил людей за горло лютый голод! Он же сам велел сдать все озимые, сказав, что авансировать будут зерном нового урожая. Кто же мог предвидеть? Попробуй теперь зажечь и объединить голодных людей. И пока идет жестокая, кровавая война, кто одолжит хлеб до будущего урожая? Словом, сделано все, чтобы погубить репутацию колхоза. Вот тебе и «Алгабас», а они-то радовались, когда их называли «Кубанью» района, областной «Кубанью»... Если настоящую Кубань разорил враг, то «Кубань» Аксу разорил град. Эх! Немец напал вероломно, град обрушился неожиданно, молча и страшно. Апырау, как похожи друг на друга силы зла! Немцев бьют, гонят к вонючему логову, а как с градом бороться, как исправить зло, которое он принес? О плане теперь и говорить нечего. Один только выход. Надо составить акт и просить район и область о сокращении плана. Но как совесть позволит просить о сокращении плана, когда идет

война? Бедствие, стихийное бедствие... Да, это, конечно, причина, но...

«С этим кончился авторитет «Алгабаса»,— переживает парторг.— А что осталось от твоего авторитета, Садык? Мучайся, плачь, реви, голоси, грусти, горюй — ничем не поможешь. Ты в тупике». Он вдруг представил, как радуется беде, постигшей аул, подлец Алимжан — мол, так вам и надо! Из-за какой-то бабенки и сумасшедшей старухи досталось мне. Так вот вам! Смотрите-ка, какие они честные, неприступные, безгрешные! Так! Так вам, герои! Когда животы к спине прилипнут, поглядим, мол, на ваше геройство. Может, хлопает себя по ляжкам от радости и гнусно смеется. Что ему за дело до того, что государство не получит хлеба, останутся голодными люди. «Счастливый» характер у обормота. Пузо набито, конь здоров, баба рядом, а что касается бед и забот, пусть у других головы болят. Ему-то что! Скотина цела, и ладно. Но разве таков Садык? Зачем сравнивает свою жизнь с жизнью подлеца? Стыд и достоинство, честь позволяют парторгу прямо смотреть в глаза людям. Нет над ним проклятий матерей и не жгут ему сердце слезы опозоренных вдов. Не-е-ет! Честно жил Садык, прямо ходил и всегда хотел, чтобы люди не думали о нем плохо. Все силы им отдавал, хотел вывести их из нужды, думал, хватит сил на это.

Зарыдать бы от такого горя, облегчить сердце слезами! Нельзя! Народ смотрит. Если увидят слабость парторга, то еще тяжелее жить станет. Надо стиснуть зубы. Слезы не выведут из тупика. Если ты считаешь себя мужественным человеком, то прояви выдержку. Время такое, когда народ ждет решений от вожака, и тот не вправе просто страдать, молча переживая народную боль. В горе надо быть скупым, а в радости щедрым. Горе одного — только его горе. Но горе многих — и его горе. А радость не в радость одному. И только тогда она — правда. А слезы — ложь.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Четверо саней, запряженных верблюдами, еле ползут навстречу бурану. Огромный черный самец все ревет и ревет от усталости. Верблюды всегда кричат, когда устают. Накидка, защищающая его от холода, давно обледенела. Когда он отворачивается от ветра, ветер ерошит шерсть на загривке, цепляется в шею и норовит опрокинуть верблюда. Тогда вскрикивает бура.

Нашекен остановил его и прокричал в белую мглу, чтобы теперь вперед пустили рыжую сильную верблюдицу, но в этой свистопляске никто его не услышал. Настолько густой была буря, что не было видно двух последних саней из обоза. Неужели отстали, заблудились, сбившись с пути? Нет, чёрнеют сзади, движутся вперед. Кто поверит, что в этих четырех санях сейчас два-

дцать человек, по пять в каждом возке. Тихо сидят, никто и не ворохнется. Только горбятся сани подобно везущим их верблюдам. Чувствует Нашекен, что мороз загнал людей в тулупы, а потом и в объятия друг к другу. На всех санях люди с головой накрылись кошмами. Тяжело идут верблюды. Падают на дорогу, словно кто-то дает им команду лечь. «Шёк! Шёк!» Как бы хотелось несчастным животным услышать эти слова, упасть и забыться, перенестись в жаркие привычные пески, услышать звон колокольчика, заунывные песни караванбаши... О-о-о, караван! Гордые нары плывут к голубым дворцам и пестрым восточным базарам. Шелка везут индийские на радость узкоглазым красавицам, звонкие кувшины везут и синие клычи, перец и сладости... Зурны трубят, ослы кричат, дремлют старцы в белых тюрбанах. Морозны ночи. Блажен сон уставшего верблюда. Холодно... Снег глубок. Сладко падать, да подниматься трудно. Только сани плывут по молочному небу.

Из-под текемета на вторых санях виднеется голова Сыдыка.

— Что такое, Нашеке?

Голос его с трудом пробивается через вой бури.

— Черный верблюд притомился, да и у меня глаза устали. Давай выводи вперед рыжую!

— Слушай, а мы не заблудились? Где мы находимся?

— Я думаю, что доехали до окраин Копы. Теперь наст пойдет. Здесь он так крепок, что выдержит любого верблюда.

Как бы в подтверждение его слов, рыжая верблюдица зашагала легко и споро. Сначала она ступала с опаской, боясь поскользнуться, но вскоре уже приноровилась и даже пыталась бежать. Снег, сдуваемый ветром, едва покрывал верблюжьи ступни. А под легким снежным покровом твердый наст словно добрая каменная дорога. Люди стали оживать, высовывая головы из-под текеметов. Они, казалось, не верили, что снег здесь легко выдерживает тяжесть санного обоза.

— Астапыралла! Астапыралла! Как бы эта зима и нас с собой не унесла! — заговорили женщины.

А верблюды уже забыли об усталости, будто не сани вовсе, а перекати-поле за ними стелется. Бегут себе. Им тоже изрядно надоел пугающий вой бурана, визг безумного ветра. Аким соскочил с коня и заспешил рядом с ними. Сам решил проверить крепость наста. Ребенок, он и есть ребенок. Нашекен стал следить за мальчиком, бегущим за санями. На нем желтый новый тулуп, меховая шапка, теплый малахай. Все сработано красиво и добротно руками мастерицы Кульжамили. Да она и сына так же в путь отправила. Нашекена радовали старания Кульжамили. На ногах у мальчика старые черные валенки, но подшиты крепкой и толстой подошвой. Так что его можно смело бросить в этой волчьей вьюге, не боясь, что он замерзнет. Нашекен хорошо помнит, каким явился Аким в аул. Одежонка на нем была в сплошных дырах, а на штанах и вовсе — заплатка на заплатке. Воротник по-

истрепался, нитки из него так и лезли. А сейчас паренек окреп: щеки румяные, одет справно. В таком платье никакой мороз не страшен. Взгляд Нашекена упал на разрез тулупа сзади. Он был аккуратно обшит черным сукном. Вспомнив, как гордилась своим искусством Кульжамиля, Нашекен рассмеялся. Ишь ты, разрез. Когда-то и муж ее носил тулупы с таким вот франтовским разрезом. И не только тулупы, но и бешметы, шубы. Так удобней на коня садиться. Да и при верховой езде такая одежда красивей смотрится. Не ходишь будто с пожеванным задом. Нашекен и сам заказывал как-то Кульжамиле чекмень из верблюжьей шерсти. Обнова так ладно сидела на нем, что он не снимал ее, пока та вконец не поизносилась. Когда в страшный год белые убили Рустембека — мир его праху,— то раздели его донага. Мародеры унесли и славную бобровую шапку-борик, и безрукавку, подбитую красной лисой. Враг тоже знает цену хорошим вещам. И Данекер одевался не в пример другим. Все на нем было ладно, любо-дорого смотреть. «С красивой посуды сойдет позолота, а форма останется». Так говорят люди. Годы не молодят и старуху Кульжамилю, сошла с нее «позолота», но мастерство в самых кончиках пальцев осталось. Много разных ремесел она знает, много талантов ей богом отпущено, да еще «ангельский» характер. Раньше легендой в устах людей становились ее проделки, но и дела рук не оставались незамеченными — игрушечной казалась юрта, которую она сама украшала, а ковры и дорожки, сотканные ею, были так красивы, что жалко ступать по ним. Но своенравна старуха, ох и шумна! От такого характера и искусство ее бледнеет. Однако умеет быть справедливой, надо ей должное отдать. Три зимы руководила она работами по пошиву тулупов для солдат. Бабы у нее по ниточке ходили, дышать боялись, а дело споро делали. Особенно доставалось от нее ленивицам да неумехам. Многие научились добротно шить в ее суровой школе. Помнит Нашекен, как она кроила полушубки, поглядывая на портрет сына-фронтовика. Вот и сиротку-приемыша одела с иголочки... Но все приятные мысли об умелице Кульжамиле улетели из головы Нашекена вместе с новым порывом ветра.

Он криком остановил передние сани.

— Эй, если по дороге ползти, то долго еще придется промучиться. Да и время позднее. Давай-ка наст используем. Если свернем здесь, то скоро к самой ферме выедем. Я думаю, в такой холод река до самого дна промерзла.

Путникам совет пришелся по душе. Нашекен подсадил Акима на рыжую верблюдицу и спросил:

— Видишь кусты туранги?

Аким всмотрелся, прищурившись.

— В такой буран и тугая не разглядишь, не то что туранги. Небо где, а где земля — не разберу. Вот, вроде, стало чуть ясней — все равно не видно.

— Ну что ты болтаешь, парень? Выходит, мои стариковские глаза зорче, чем твои молодые? Прямо перед собой смотри!

— А-а-а, вижу, вижу!

— Так вот, держи прямо на них. Двигай!

Все получилось, как и сказал Нашекен. Наст был настолько крепким, что мог, наверно, выдержать не только верблюда, но и слона. Очень плотный наст. Месяц неистовствовал буран и за это время сделал свое дело. Настоящий джут. Даже коням со стальными копытами не под силу тебеневать здесь. Смогут ли люди лопатами разбить ледяную корку, чтобы лошадям легче было достать из-под снега корм? Не выход. И в то же время единственный.

Даже в декабре и январе казалось, что зима забыла дорогу в эти края. Солнце вовсю светило, дни были какими-то теплыми и раскисшими. Даже дождь прошел. Не к добру. Об этом подумал Нашекен. Всему свое время. Ох, не к добру нагрянула тогда теплынь. Сбылось предчувствие. Едва начался февраль, как повалил снег, и сыпал он не переставая десять дней. Словно прореха какая-то в небе открылась, сыпал и сыпал без конца. И вместе со снегом примчался в степь буран на серебряном коне. В дикой аламан-байге носился, хлестал жесткой плетью, визжал и коня поднимал на дыбы, то чертом вертелся, то заходился разбойничьим свистом. Всаднику трудно было разглядеть уши собственного коня. В горах и долинах голодал скот, с надеждой взглядывая на людей, у которых сердца разрывались от жалости. Что успели на зиму заготовить, скот уже подъел. «Гибель грозит и лошадям»,— пошли разговоры. Едва услышали это в ауле, все, кто мог помочь, выехали в буран. На самые трудные участки посылали Нашекена. И все к этому успели привыкнуть. И вот снова ведет он людей сквозь бурю. С животными, что были близ аула, остался председатель, а в низовья поехал Сыдык. Путь, который обычно легко покрывали за светлый день, пришлось преодолевать с ночевкой. Доехали с трудом.

Только свернули с дороги, как тревога охватила Нашекена, сердце никак не успокаивалось, чуя беду. Холодея от ужаса, смотрел он на белую пустыню. Ни одного стебелька не пробилось. Даже шенгель не смог пробить ледяную броню. А уж шенгель ни в какие снега зиме не покорялся. Этот джут выдался особенно страшным. Лютый ветер сбросил снег с круч и принялся трамбовать его в долинах. Всю реку вылизал ледяным языком. Касымжан, который вчера привез весть о бедственном положении животных, рассказывал, что волк загнал в снег, как в западню, каракового жеребца и задрал его. Тогда еще, помнится, дрогнуло сердце: «Не волк съел жеребца, а зима». И вот он едет сквозь эту зиму и своими глазами все видит. Ах, несчастный жеребец! Добрый был конь, отличный скакун! Справа донесся слабый собачий лай. Не дожидаясь приказа, Аким повернул верблюда в ту сторону.

Сыдык с Нашекеном узнали положение дел у заведующего фермой Жумана. Всю ночь они проговорили. Пока на молочной ферме оказалось все благополучно. Добросовестный Жуман заранее успел обо всем позаботиться. Как хорошо! Возле коровников было собрано довольно много кормов. С овцефермой же вот уже десятый день нет никакой связи. Слышал только, что когда начался буран, запасы их все еще оставались в открытом поле, в скирдах. А ту малость, что успели перетаскать, давно уже съели овцы. Что касается лошадей, так для них в хозяйстве никогда не заготавливали корм специально. Лошади сами выходили зимой в поле, кормясь тебеневкой. Слышал Жуман также, что сильная простуда свалила Кумара. Серьезно заболел человек. Отец слег, а сын оплошал и скормил волку доброго коня.

— Можете поверить, ни шагу мы отсюда сделать не могли. Иначе как на верблюдах от фермы к ферме не добраться. Эх, что за зверь! Не только в песках, но и в снегах незаменим. А мы-то, глупцы, всех верблюдов вам отдали, вот сами в калоше и оказались,— закончил Жумекен.

Он очень расстроился, узнав, что заболел и Касымжан. В дороге его продуло до костей. Что теперь делать? Без него, как без рук. Касымжан был одним из тех, на кого Жуман возлагал большие надежды. И сено на ферму он доставлял. А теперь что же с бабами и детьми сделаешь? Неприятная весть и горькие думы опечалили Жумекена. Хоть он и человек с большим опытом. Хорошо знает природу. Еще осенью он предупреждал, что зима будет суровой и следует ждать гололеда. Предсказывал и то, что долгой будет зима. Но легко ли колхозу? Не разорваться же! Столько дел — и все неотложные. Не хватало людей, чтобы своевременно подвезти к фермам корма. Ждал, ждал Жумекен, а потом отрядил доярок в подручные к Касымжану и с превеликим трудом часть сена перевез поближе. Колхоз еще не оправился от беды, которую принес град, побивший весь урожай, и ничем не мог помочь фермам.

— Ну, Жумеке! Когда же этот буран прекратится? Вы заранее предсказали, что плохой будет зима. Скажите и теперь что-нибудь,— попросил Сыдык.

— У меня же опыт, родные мои. Какие там знания?! Но, думаю, буран этот к утру утихнет, потому что с увалов дует. Вы приехали вовремя. Завтра день будет ясным.

— А как вы узнали, что зима будет суровой?

— Это я понял в сентябре. Покойный отец еще в детстве научил меня этому. Едва начинается сентябрь, я выношу на улицу ведро с водой. Если к рассвету вода замерзнет, то зима не будет мягкой. А в моем ведре в этом году лед настыл толщиной в палец. Вот почему я тревожился еще осенью. Так все и вышло,— вздохнул Жумекен.

Ни спорить с ним, ни укорять его в этот момент не приходилось. Не гадал он на бараньей лопатке и не раскидывал бобы, как

простоволосый баксы. На опыт многих поколений опирается, все слова его сбываются. Как не верить?

— А этот колдун-недотепа говорил, оказывается, людям, что в этом году совсем не будет зимы.

— Э-э-э, брешет, собака, что на язык придет. Он же и про войну что-то болтал. По его словам, война бы еще в прошлом году кончилась... Ну, отдыхайте теперь. Оставим что-нибудь и для завтрашних разговоров.

...Проснулись люди утром, а бурана словно и не было. От вчерашних ужасов и следа не осталось. Такая тишина стоит вокруг, что ушам больно. Солнце взошло, и заиграли снега, словно россыпи драгоценных камней. Синими, зелеными, желтыми, красными огнями вспыхнули. Прав у природы, как у капризной женщины. Вчера только злобствовала, рвала, метала, кричала, выла, визжала, плевалась, а сегодня такая стала ласковая, такая тихая и пригожая, что хочется высечь ее белое тело хорошей двенадцатихвостой камчой. Но и за это спасибо. Если бы все было как вчера, то сегодня пришлось бы торчать как мышам в норах и носа наружу не высунуть. Теперь появилась возможность навестить отары. Черный бура вполне отдохнул. Велев людям отдохнуть как следует, Сыдык с Нашекеном запрягли в сани черного верблюда и отправились к овцам. Где кого следует искать, подробно рассказал им Жуман. Да и для них самих места не чужие, не раз и не два приходилось здесь бывать. Большой снег, правда, многое изменил. Но если не завалил зимовки вместе с загонами, то без сомнения найдут.

Пять отар из десяти были в бедственном положении, без единого клочка сена. Другие пять все же что-то имели. Нашекен глазам своим не поверил, когда увидел, что овцы, измученные голодом, рвут друг у друга шерсть с боков и пожирают. Как истощены! Трое суток взаперти — и ни травинки. Так говорят чабаны. До бурана хоть давали то, что было под рукой, но все равно наек был полуголодный. И вот — трое суток полной голодовки. Плачут пастухи. Нельзя без слез смотреть на отощавших овец. Ревут страшно, душу рвут. Чабаны забыли про дом и детишек, выбирались в буран, срезали горькую траву, желтую, как желчь, ту, что росла вдоль стен кошар и домов. Казалось, смерть нависла над всеми. Так оно и было. Ту муку, что предусмотрительно нагрузили в сани, раздают пастухам пудами. Сначала надо подумать о спасении души человеческих. Буран сорвал крыши с двух кошар. На ослабленные голодом отары обрушился еще и мороз. Овцы стали гибнуть. Подохших животных пастухи складывали в кучи. А оставшиеся в живых жадно рвали зубами шерсть с павшей скотины. Когда подъехал сюда Нашекен с людьми, овцы дружно напали и на черного верблюда. Солому, что была в санях, в один миг расхватали. Взревел бедный великан-бура, словно слепни напали на него. За свою жизнь Нашекен немало джутов перенес, но такого страшного ему еще не приходилось видеть.

Положение лошадей было особенно тяжелым. Ребра животных чуть не рвали кожу, как у голодных волков. Ноги ниже бабок покраснели от крови. У иных содрана шкура и выше, до самых ляжек. Видно, до полного изнеможения били они копытами стальной наст, чтобы добыть себе немного корма. Хоть и улегся буран, кони дрожат от холода. Большой падеж среди жеребят и молодняка. Но насколько ужасной была картина в загоне для лошадей, Нашекен понял, только увидев каурого жеребца. Он когда-то не мог нарадоваться, глядя на коня, возвращающегося с джайляу. Ах, какой это был красавец с крутой, сильной шеей! Грива его спадала до земли, гладкая шкура глянцево блестела. А теперь стояла перед ним жалкая костлявая кляча. Только по могучему росту и подметающей снег гриве узнал жеребца Нашекен. С трудом каурый поднял голову и попытался заржать. Лишь слабый всхлип донесся до ушей Нашекена. Нет уже гордой осанки, которая радовала глаз. Кожа да кости, готовые рассыпаться. Не виноват бедняга Кумар. Он все сделал, что было в человеческих силах. К самым тугаям отогнал лошадей, чтобы хоть от ветра спасти. Да и снег там, кажется, помягче. Полянка хорошая, защищенная зарослями. Но снег до брюха доходит лошадям. Нужны недюжинные силы, чтобы раскидать его и добыть корм. А где эти силы взять? С тех пор, как волк задрал каракового жеребца, его косяк слили с косяком каурого.

Табунщик Кумар, когда они вошли в дом, не узнал их. Он метался и бредил в сильном жару. Сыдык тут же стал готовиться в путь. Надо было срочно доставить больного в Лепсинскую больницу.

Все работы на трех фермах легли на плечи Нашекена и Тулена. До утра Нашекен глаз не сомкнул и наконец принял решение: санный обоз, видно, уже доехал. Самым слабым пяти отарам нужно выделить одни сани и по два человека. Станут подвозить к фермам сено из скирд. Сначала накормят погибающих овец, а потом помогут тем, что еще держатся. Остальных же четырех верблюдов и тех из людей, что покрепче, нужно направить сюда, в эти тугаи. Запрячь верблюдов и пробороновать весь снег под настом. Где не поддастся, разбить лопатами. Необходимо взломать ледяную корку, другого выхода нет. Надо сказать Тулепу, чтобы заточил зубья бороны.

Все вышло, как планировал Нашекен. Многие только понаслышке знали о том, как перелопачивают лед, но заниматься такой работой до сих пор не приходилось. Аким был одним из них. Он сел на верблюда, запряженного в борону, самую обыкновенную, которая применяется во время весенних полевых работ. Верблюд тянул сразу две. Начали взрывать плотный снег вдоль и поперек, а вслед за каждой бороной шли четыре женщины. Они-то и разбивали наст лопатами. Казалось, даже лошади смотрели с удивлением на эту странную борьбу людей со стихией. Не пустым ли делом занимается в снежной пустыне человек?

Верблюды тащили бороны с трудом. Передний даже начал реветь. Легко ли идти вперед, когда борона всеми зубьями вгрызается в снег? Вскоре от всех четырех животных повалил пар. Поле было разрезано на куски, как при ледоходе. Там, где прошли верблюды, словно вскрылась река. Правда, льдины здесь порыхлее и помельче. Снова и снова под крики людей возвращались верблюды к началу поля. Наст понемногу превращался в кашу. Из-под снега наконец-то появились темные травы. Там, где снег все еще глубок, женщины разбрасывали его лопатами. С них тоже градом лил пот и застывал инеем на бровях и ресницах. Если смотреть со стороны, то казалось, будто это снежные бабы и деды морозы собрались на странную зимнюю ярмарку. Иней покрывал даже щеки людей.

Но едва показалась трава, лошади бросились к полю и, всхлипывая, стали рвать траву зубами. Как теперь легко им взрывать копытами снег! Хрумканье лошадей — вместо «спасибо» для измученных людей. С еще большим подъемом стали они работать. Если бы опоздали со вскрытием наста еще на два только дня, двух табунов не досчитался тогда бы колхоз. Но надолго ли хватит женских сил? Если выдержат десять-пятнадцать дней, то можно смело сказать, что беда обошла стороной эту ферму.

Видно, поздно пришла для несчастной твари помощь: одна лошадь вдруг упала. Раза два она дернулась, пытаясь встать, но не смогла. Работавшая рядом Тенге заплакала.

— Ойбой! Подыхает лошадка! Режьте скорее!

Когда Нашекен полоснул ножом по горлу обреченной скотины, то взгляд его упал на понурившегося каурого жеребца. Показалось, что конь тяжело вздохнул. С трудом повернувшись, жеребец медленно побрел прочь, волоча хвост по снегу. Он не хотел видеть, как его лошадиный народ приносится в жертву белоглазой зиме. Он стоял неподвижно, не рвал траву, словно голод его и не мучил. Тяжкое зрелище — густая грива и пышный хвост на живом скелете. Каурый был необыкновенно красив, когда гордо цокал копытами по аулу, и черным ветром билась низкая грива, как цыганская шаль. Был красив. Но теперь... Невозможно поверить, что это тот самый жеребец.

Еще два-три испуганных, жалостливых крика известили о том, что нож оборвал жизнь еще нескольких лошадей. Женщин обуял ужас. Они тряслись и плакали над павшими животными.

— У джута семь братьев, говорят. Ах, как это верно! Хоть бы потеплело, что ли,— сказала Тенге.

— С Гитлером и все восемь братьев у джута,— с горечью вырвалось у Нашекена.

Казалось, Аким, только вчера весело бежавший по насту за санями, сегодня стал многое понимать. Он увидел, что тот же снег принес гибель скоту и страдания людям. Угрюмо молчал парень, опустив голову. Он свидетель тому, как ползали после града женщины по полю, просеивая землю, выбирая зерно, а теперь вот

по снегу волочат ноги. Сколько слез уже пролили! До каких же пор?

Далеко унесли Акима детские мечты и взрослые думы.

Работающая рядом Жанар заплакала. Может, напугали ее собственные ужасные мысли? Будто и сыночек ее Женис мог точно так же погибнуть в этом аду, как бедный жеребенок. Зима пришла прожорливая, ненасытная. Тулеп как пришел, с ходу взялся за дело. На открытом воздухе, при пробирающем до костей морозе затачивал он зубья грабель и бороны. В разрушенных, схваченных холодом до камня кошарах полно работы для мастера. Везде ему хватало забот по горло, и бедняга привык к ним без ропота. Вот и здесь он без лишних слов принялся истово трудиться. Накажет Женису, чтобы тот из дома ни на шаг не отлучался, а сам сюда спешит. Но ребенок есть ребенок, и кто знает, что он сделает в следующий миг. А на ферме разве есть хоть один благополучный домишко? «Зря вы ребенка притащили в этот белый ад, в снег и лед!» — ругала Тенге молодую мать. А где и на кого оставишь дитя? Не как у людей, свекра да свекрови нет. Женге оставить — все равно что смерти своими руками предать. Хоть бы за собой Айша присмотреть сумела. А лютой злобы в ней хватит на сто человек. На все она может пойти и перед преступлением ужасным не остановится. Ведь с каким трудом удалось ее уговорить задавать корм корове в хлеву да поить животное. И то потому только согласилась, что знала: придется ей и самой не раз с просьбой к Тулепу обратиться.

Кто знает, может, стал бы известным скакуном только что павший под ножом жеребенок. Мчался бы на нем на врага какой-нибудь боец. А вот с этой лошадью сразу две жизни ушло. Давно уже остекленели глаза кобылы, а жеребенок, что был в ней, долго еще дергался на снегу. Не хотел умирать, не родившись. Женщины не могли видеть без слез эту страшную картину и отворачивались. Да разве только неродившегося жеребенка оплакивали они? Разве самим им легко приходится без мужей, без отдыха, без радостей, без свадеб? С настоящей мужской жалостью взглянул на Жанар Аким. Он вдруг остро понял, что не быть ему больше ребенком, что пора становиться джигитом. Огнем лизнуло грудь Акима. Острая боль прорезала желудок. Голод? Обида? Кто знает. Он с трудом удержал невольные слезы. Гнев, жаркий, как пламя, охватил его, не дав пролиться слезам, высушив огнем глаза, которые остро и сухо заблестели. Нашекен заметил его состояние и, словно отвечая неясным мыслям мальчика, сказал:

— Аким! Ты оставайся с лошадьми. Я думаю, что сын Кумара Сенби не задержится с подмогой. Не испугаешься?

— Нет! — хмуро ответил Аким. Но это не было недовольством. Просто не тот терзал его гнев, чтобы быстро улечься. Отголоском горького чувства и была суровость Акима, непогасшая его искра, и еще боль.

Вручив стремя пятнистого серого коня Акиму, Нашекен при-

казал людям на санях поворачивать к ферме. Конь этот все же имел постоянно какой-то клочок сена и выглядел лучше табунных собратьев. Павших лошадей нельзя было оставлять в поле. Во-первых, шкуры еще пригодятся. Во-вторых, бросить здесь мясо — значило привлечь волков на живых. Нашекен велел сложить туши в сани и везти на ферму. Оглянувшись, он увидел, что Аким уже в седле и заворачивает к табуну отбившихся жеребят. В такую зиму пришлось доверить пятнадцатилетнему мальчишке умирающих лошадей. Как говорится, в трудную минуту слезы льются и из слепых глаз. Что делать? Мальчик теперь что мужчина. И люди уезжали с верой, что за табуном присмотрит мужчина. Время такое.

Только неспокойно на сердце Нашекена. Хотя бы на два дня хватило сил у мальчонки. А за это время он постарается найти кого-нибудь постарше.

Мысленно Нашекен остановился на черном старике Малике, бывшем почтальоне, который теперь заведовал овцефермой. Вчера тот со слезами рассказывал о пяти бедствующих отарах. Совсем не кремень человек. Вместо того, чтобы собрать все свое мужество, он предается безмерной печали. Таким уж создал его бог, и ничего тут не поделаешь. Нашекен вспомнил и то время, когда стало приходить в аул много похоронок. Рыдая, швырнул тогда Малик черную сумку под ноги Садыку и Нашекену. Он говорил, что не письма давят на плечи ему, а человеческое горе. А вчера опять плакал, прося освободить его и от новой беды. Поддался отчаянию, не собрался, а раскис. Ладно, освободят его. Пока не выздоровеет Кумар, пусть лошадей пасет. Нашекен не выдержал и фыркнул. Овцеферму дополнительно придется поручить Жуману. Ему и без того трудно, но иного выхода нет. Настало время, которое то и дело ставит людей в безнадежное положение. Ничего, вытерпят и это. Главное, с фронта приходят добрые вести. Враг несет поражение за поражением. Пройдет бедовое время. Пусть воины, которые вернутся в аул с победой, не увидят этой ужасной нужды, пусть прежним останется для них аул.

К вечеру мороз покрепчал. Бредущие пешком за санями женщины принялись усиленно тереть руками носы и щеки. Все же не как утром: настоящая дорога пролегла между фермой и табуном. Пришлось заставить верблюдов идти побыстрее. Страх рос вместе с темнотой. Скалились на санях павшие лошади. Постанывали верблюды. Холодный ветер, хорошо знакомый Нашекену, задул со стороны горы Кыскаш. А через некоторое время новый его порыв донес до слуха людей зловещий вой, от которого, леденея, сжималось сердце и падало куда-то в бездну. Волки! Голодная, грозная стая. Мечутся звери в снежной пустыне, и багровый туман застилает им глаза. Крови ищут. Люди молча посмотрели в лица друг друга. Перестали стонать верблюды. Послышалось что-то еще. Опять волчий вой? Нет, это Аким вдруг

затянул песню. Видно, он тоже почуял стаю и решил показать, что на пути ее разбойничьем стоит человек.

— Милый наш джигит! Не затаился, а сам голос подает,— нарушила тишину Тенге.— А ведь совсем мальчик.

Голос Акима, чистый и звонкий, ясно звенит в морозном воздухе. Одну за другой заводит он песни, которым научился в ауле. «Не в таком он положении, чтобы песни петь. Видно, одиночество мучит мальца. С песней-то легче»,— подумал Нашекен.

Есть только один путь не подпустить к табуну голодную стаю. Хоть и ночь наступила, но нужно снять шкуры с двух-трех лошадей, а мясо отвезти подальше, бросить в стороне. Нет волка, который бы не почуял запаха крови. Это должно обмануть их, занять до утра. Если не сделать этого, то жизни Акима будет угрожать большая опасность, а несколько лошадей к утру колхоз не досчитается наверняка. Все это Нашекен решил сделать сам, взяв в помощницы одну лишь Тенге. Остальные же должны как следует отдохнуть. Завтра им снова предстоит тяжелая работа на льду.

Жанар вернулась с работы чуть раньше всех. Женис грелся у казанка. Обе щеки его раскраснелись, лицо горело. Вид ребенка встревожил мать.

— Что с тобой? У тебя жар? Где отец?

— Я на улицу ненадолго выходил. От этого, наверное... Отца забрали в отару. Велел сказать, что сегодня не будет дома ночевать. А сам сильно кашлял.

Жанар потрогала голову сына, но не поняла, от внутреннего жара пылает мальчик или перегрелся у огня. Вскоре ребенок начал дремать. Она постелила постель и принялась его раздевать. Сын сразу уснул. Немного погодя пугающий материнское сердце жар прошел, и Жанар слегка успокоилась.

Все эти дни она была полна тревоги за Жениса и на Тулепа особого внимания не обращала. Слова мальчика о том, что отец сильно кашлял, насторожили ее. Прошлой ночью он тоже раскашлялся крепко и рассказал, что за два дня до этого провалился в Лепсинский омут. Что это за омут, который до сих пор не замерз? Вечно беднягу Тулепа подстерегают на пути всякие неприятности. Добрался оттуда до фермы и, пока огонь не разгорелся, чуть богу душу не отдал. Так сказывал. До этого она его кашлю не придавала особого значения. Многие здесь попростывали, каждый второй. Только зачем же пошел на работу? Безотказный он, готов покорно работать, пока совсем с ног не свалится. Жанар вдруг ясно представила себе мужа, крепко подпоясанного кушаком, в надвинутом на глаза тымаке. Пазуха оттопырена. Это оттого, что с самого почти рождения любил он носить за пазухой у груди малыша, точно диковинное заморское животное кенгуру. Сунет сына в тепло и начинает ходить осторожно и песню под нос мурлыкать. Ходит и ходит без устали, пока сына не усыпит. У мальчика от этого тоже появилась плохая привыч-

ка — не заснет, пока его за пазуху не посадят и песенку не споют. Вот и сейчас — ушел отец, делать нечего, пришлось у казанка дремать, самого себя убаюкивая. Лишь бы Тулеп жив-здоров домой вернулся. Зябкий озноб внезапно охватил Жанар. Кипение молодой крови прошло, и она теперь молила всевышнего о здравии своего «старика». Война эта всех горячих охладила, немало строптивых укротила, многие страсти погасила. Время тоже гасит страсти. Выходит, и сладкие ночи с Данекером стали полузабытым воспоминанием? Кажется, все растаяло в небытии, и только маленький Женис тому греховному и сладкому живой укор и свидетель. Он с каждым днем все больше и больше становится похожим на того, далекого.

Про себя Жанар очень переживала и стыдилась Тулепу прямо в глаза смотреть. Но бедняга, казалось, ничего не подозревает, и душа его безоблачна. Он за нее с сыном умереть готов. Каждую свободную минуту с Женисом старается провести, только о нем и думает. За ночь раз десять встанет, одеяло на малыше поправит, послушает, ровно ли тот дышит, и только тогда ложится, успокоенный, бормоча что-то непонятное, ласковое. За эту любовь, за чистоту и благородство уважает его Жанар, и не дай бог, чтобы с мужем случилась какая-нибудь беда. И Женис жалеет отца. Хоть бы не осложнилась болезнь. Этот кашель проклятый... Неожиданно проснувшаяся острая тревога больше не отпускала Жанар.

Дом стал остывать, и она быстро выбежала во двор, чтобы принести охапку заготовленных дров и сухих веток джиды. Мороз на улице, казалось, стал мягче. Мелькнула мысль — надо пойти в ту отару, где был в ночном Тулеп. Он же свалиться может, бедняга. Внезапно Жанар услышала жуткий вой. Это снова завыли волки: до чего же страшно и тоскливо. Между тем в заунывный долгий вой вмешалось что-то еще, похожее на песню. В морозном прозрачном воздухе чудилось, что поют совсем рядом, над самым ухом. Вышедшая из соседнего дома Тенге тоже замерла, удивленно прислушиваясь.

— Кто это не может без песни даже в такую пору?— спросила Жанар.

— Кто же, как не брат Данекера. Он давеча в табуне оставался. Так уж и не может! Нет, не до песен, поди, ему. Это он волков отогнать пытается.

Жанар что-то словно кольнуло. Показалось, будто Тенге нарочно вспомнила сейчас имя Данекера. Она замолчала и стала собирать дрова из поленницы в подол. Тенге, видно, тоже за дровами вышла. Она набирала в мешок крупные чурбаки.

Снова жутко завыли волки. «Как бы не вздумал один возвращаться. Как раз волкам в пасть попадет, не дай бог»,— забеспокоилась Жанар о муже. Одновременно ее охватила и жалость к мальчику-табунщику. Рядом с дорогим для нее именем назвали его. Только когда совсем застыла, спохватилась, что до сих пор на

улице стоит. Мороз давно под одежду забрался, щиплет и кусается. Все непрерывней и злей воют волки. Она заторопилась домой, в тепло, поближе к сыну.

За десять дней изнурительного тяжелого труда была проделана огромная работа. Все сено из скирд перевезли к фермам. Из десяти отар овец осталось семь. И то слава богу! Жеребят и самых слабых лошадей понемногу кормили сеном. А впереди — по крайней мере еще двадцать дней зимы. Для отощавшего скота весенние заморозки пострашнее лютой зимы. По этой причине Сыдык решил оставаться на ферме до тех пор, пока не просохнет земля и не появится новая зелень. Не один ведь остается. С людьми. Что бы он смог в одиночку? Нашекен засобирался домой, в аул. Конечно, было рано говорить о том, что опасность миновала, но было сделано почти невозможное, и чувство выполненного долга принесло хоть какое-то удовлетворение. Забот еще много. Приведя дела на ферме в относительный порядок, Нашекен стал подумывать об ауле. Сено, которое было заготовлено на усадьбе, требовало хозяйского глаза. С тех пор, как его назначили завхозом, Нашекен обо всем обязан помнить. Ему казалось, что без него корм расходуют неразумно, расточительно, пользуясь временным отсутствием завхоза. Если не приберечь сено сейчас, то потом недолго и загубить всю рабочую скотину. На чем тогда пахоту, другие полевые работы вести весной? Эти мысли и торопили Нашекена с отъездом в аул.

Ему хотелось забрать с собой каурого жеребца. Здешние условия, питание, уход совсем не по нраву Нашекену. Не нравилось и поведение самого коня, который больше стоял понурившись, нежели пасся. Может, он быстро поправится, если его кормить особо?

Сын Кумара Сенби хоть и мальчик еще, а стал знающим табунщиком. И говорит веско, как взрослый мужчина. Он показал место, где волк задрал коня, и рассказал все как было.

Пока отец его не свалился, Сенби пас коней днем, а отец по ночам. Вот его и прохватило морозом до костей. Слег. Что оставалось делать? Стал Сенби и по ночам пасти. Дни и ночи — все превратилось в сплошное дежурство. А тут еще буран поднялся такой, что глаз не раскрыть. И не поймешь, когда утро настает, когда вечер. Думал мальчишка, что вместе с конями и его кости останутся лежать в степи. Только верховых сменных лошадей держали в тепле и сытости. Мать только и успевала что ухаживать за больным отцом и этими лошадьми. В сутки Сенби два раза наведывался домой перекусить. Родители беспокоились, велели одеваться потеплее. Вот он и натягивал на себя всю какую ни есть в доме одежонку.

Ах, как он жалел теперь, что не уберег каракового жеребца! Цены ему не было! Скор он был как ветер. Поверить трудно: перед тем, как погиб конь, волчья стая десять дней кружила вокруг табуна. Сенби прихватил из дома ружье и иногда пострели-

вал. Так ведь и не стрельба это была, а сплошное расстройство. Кажется, и волки прознали о том, что патроны все были мелкой дробью заряжены. На птиц только охотиться. Вот каурый в те дни и сдал. Табунщик и не заметил, чтобы он хоть травинку себе сорвал. Только и носился кругами вокруг косяка и ржал тревожно и угрожающе. Почуяв волков, он уже не мог успокоиться. Все боялся за свою семью. Караковый же был не таков: посмирней, спокойнее. Но и он охранял свой косяк, сбивая его в кучу. Оба косяка Сенби держал недалеко друг от друга. Каурый, который обычно не терпел соседства чужих, на этот раз не проявил злости. Будто тоже хотел чувствовать рядом с собой живых существ в этот долгий буран.

Время было зыбкое, как сумерки. Может, это и на самом деле сумерки, а может, предрассветная пора. Словно тысячи белых змей сползлись в одно место. Свистел и шипел ужасный клубок. Визжал от злости буран. Нервничал испуганный табун. Караковый бросился обегать его, готовый первым встретить опасность. Вызов и сила были в его пронзительном ржании. В такие моменты лошади сбивались в плотную кучу. Даже косяки смешивались. Караковый обычно держался в стороне, признавая превосходство каурого. Он помнил еще его зубы. Летом на джайляу у них то и дело происходили стычки. Может, забытые укусы воскресили старую боль, или близкий конец он свой чуял, но, как бы там ни было, жеребец держался в стороне. Сенби выстрелил раза два. Лошади беспокойно носились. Табунщик боялся, что уйдут они в темноте куда-нибудь в степь. Через некоторое время мелькнуло что-то перед глазами. Сенби напряг их и увидел, как прямо метнулся вдруг жеребец, стоявший прежде как изваяние. Показалось, будто что-то дернулось у его хвоста. Мальчишка завопил что было мочи. Да только кто услышит его в буранной степи? Отец и мать сами в бедственном положении. Так, для собственного утешения крикнул. И точно захохотала над ним вьюга. То ли топот жеребца, то ли шум волчьей охоты, то ли визг ошалевшего бурана — только загрохотало, смешалось все в его ушах. Если броситься на помощь жеребцу, значит весь табун оставить на погибель. Так и казалось, что ждет удобного случая другая стая. Стоит отъехать — и кинется она резать лошадей. Вот и орал Сенби во все горло среди снежной круговерти, а места своего не покинул.

Наутро, когда буран слегка утих, он проехал по следам каракового. Тот, оказывается, к самой реке бросился. Следы четырех волков метель еще не успела занести до конца. Жеребец проскочил к реке и успел трижды обежать островок, что слева от кустарников. Это был отменный скакун. Видимо, до самого островка не давал догнать себя. Кроме следов, никаких знаков не было. А потом он устремился к крутизне, навстречу своей смерти. Ближе к крутому берегу краснели на снегу пятна крови. Полоснул-таки коня клыками серый бандит. А склон почти отвесный, обле-

денелый. Разве выбраться? Западня. Не волки поймали — лед предал. А волкам того и надо было. Пока жеребец беспомощно скользил по льду всеми четырьмя копытами, они и насели на него. Тут и зарезали. Видно было, что изо всех сил рвался конь из западни. Прыгнул отчаянно и провалился по брюхо в снег. Увяз несчастный, и волки завершили свое дело. Эх, даже копытами не доставал он до твердой земли, висел только беспомощно. А звери-то, видать, дней десять голодали. До белых косточек обглодали.

Вот так все и случилось. Если б сказали Сенби волки, что не тронут каракового, но за это потребовали бы двух других лошадей, он бы отдал не задумываясь. Да только разве с волками договоришься?

Ни Малик, ни Сенби не возражали, когда Нашекен сообщил им о своем решении увезти с собой каурого. Только посоветовали захватить и пять-шесть кобыл с уже увеличивающимся выменем, чтобы не так одиноко было жеребцу.

...До боли в глазах сверкает серебряная пустыня. Кажется, солнце с каждым днем набирает силу. Оно уже не такое тусклое и холодное, как в прошлые дни. Из-под полозьев тянется тяжелый ртутный след. В путь тронулись вчера. В одни сани навалили гору сена, нежного и пахучего, которое косили вдоль берегов речки, чтобы зимой кормить ягнят. По звонкой и гладкой дороге без усилия тянет розвальни черный верблюд, ступая важно и гордо. За ним следуют пять жеребых кобыл и каурый жеребец. Сзади движутся сани Нашекена. Видно, так измучила его та проклятая дорога в буране, что он и сейчас не в силах смотреть по сторонам. Согнулся, съежился, как птица, словно белым огнем охвачено все вокруг и можно обжечь им глаза. Правит санями Тенге, а Нашекен устроился на самом дне, закрыв лицо ладонями. Только изредка поднимет голову, чтобы взглянуть на лошадей. На санях, груженных сеном, сидит Аким. Время от времени он выдергивает пук сена и бросает лошадям. И так всю дорогу. Их путь указывали сухие травинки. Едут медленно, без радости. Ждут, пока подберут сено лошади. Останавливаются, чтобы подкормить животных. А стоять приходится часто. Казалось, целую скирду нагрузили, но и она тает прямо на глазах.

Кобылы выглядят спокойными. Нашекен замечает это по тому, как они едят. Один жеребец подавлен и равнодушен к корму. Хоть бы выдержал двухдневную дорогу. Все-таки полтора дня осталось позади. Перевалили через хребет Кайрапа, еще три-четыре километра — и уже виден будет аул. Больше всех это радует Акима. Он то встает на санях, то снова садится, то начинает петь. Детское сердце тянется к жилью и многолюдью. Десять дней каторжного ледяного труда изнурили и Тенге. Глаза ее запали, сáма осунулась, потемнела. Нашекен никогда не видел на ее лице недовольства. Эта милая смуглянка всегда безропотно шла куда бы ее ни посылал колхоз. Но постоянная нелегкая работа, без передышки, без радостей, наложила на ее чело какую-то

мрачную тень. Черная бумага, которая пришла на ее мужа Ахметжана, до сих пор лежит в сундуке у Садыка. Три года тому назад почта принесла одновременно четыре похоронки в аул. Одна из них на Ахметжана. Нашекен хорошо помнит день, когда плакали они в пустой конторе — Садык, Малик и он. Еще, помнится, ворвалась к ним с криком Кульжамиля. В тот день Тенге уезжала на станцию за племенным жеребцом.

Вот ведь как было! Хрупкой, слабой женщине поручили привести злого, необученного, могучего жеребца. Смелости не занимать и тем, кто поручил ей трудное дело. По словам сына табунщика Кумара, все эти пять кобыл в косяке были жеребы от того самого жеребца-производителя по кличке Самар.

Вот у кого положение как у бога! Самар в ауле на овсе живет и на клевере. У него-то не запали бока, и глаза не потускнели, как у каурого. Однако, хорош черт! Глаз не оторвешь! Строен, как борзая. Не в брюхо, а в кровь идет ему пища. Не жиреет, доброй породы конь. Крепкая грудь, стройные ноги, пламенные глаза, лебединая шея, красивые уши — щедра была к нему природа. До этого аулчане только слышали о знаменитых ахалтекинцах, а теперь и увидеть своими глазами довелось. Видно, в крови туркмена любовь к коню. Каких красавцев выводит в своих песках! Если у них все лошади такие, как Самар, то их только и можно назвать истинными коневодами. Если пять крепких кобыл принесут по одному такому Самару, то «Алгабас» станет владельцем прекрасного племени. Но, кажется, не табунный это жеребец. Судить хотя бы по его поведению с местными «красотками». Уж очень беспомощен сам. Словно хану, нужно приводить к нему невольницу... Прошлым летом хотели выделить Самару свой «гарем», да отобрал у него каурый весь косяк. Еще и самого великолепного «хана» чуть не загрыз до смерти. Благо, резвые оказались ноги у холеного красавца. С тех пор его и содержат отдельно. Уход за ним особый. Когда выводят его на водопой, как он играет, как танцует! Не конь, а лебедь! Что лебедь?! Сказка! Язык не повернется назвать его скотиной.

— Тенге, все хочу спросить тебя, как ты одна доставила Самара?

— Ой, Нашеке! И не говорите! То, что я вынесла в тот раз, не дай бог еще кому-нибудь перетерпеть.

Нашекен расположился поудобней, приготовился слушать. Тенге села боком, чтобы сподручней было рассказывать.

...Приехала она на станцию и узнала, что поезд с лошадьми опаздывает на пять часов, делать нечего — осталась ждать. Были там люди и из соседних колхозов. Только другие-то мужиков прислали. Тенге оказалась единственной женщиной. Наконец прибыл состав. Лошадей держали в теплушках. Ну и красавцы же! Все как на подбор. Все привязаны, вот люди вначале и подумали, что кони объезженные. Только свели их по мосткам, тут они и давай беситься. Рвутся, на дыбы встают, скалятся, как волки,

да визжат. Целый тарарам устроили! Ладно еще на станции — все же людей много было. Одни под уздцы вели жеребцов, другие к задку телеги накрепко привязывали. А Тенге в телегу верблюда запрягла. Как увидел двугорбого жеребец — ну рваться да задом вскидывать. Чудом уцелела. Вот вам и Самар.

— У вас в тот день уши не горели, Нашеке?— продолжала Тенге.— А то ведь люди у поезда разные словечки отпускали в ваш адрес за то, что женщину послали за таким зверем. Уж и наслушалась я на всю жизнь. Из вагонов солдаты повыскакивали. Конь на дыбы. Я дернула за уздечку. Он на колени припал да как взметнется — чисто кошка. Шагом идти не хочет, все вскачь бросается. Солдаты где-то крепкую веревку раздобыли, вдвое ее сложили, а потом к задку телеги привязали Самара. Решила в путь трогаться. Хоть стой, хоть плачь. Верблюд вперед тянет, а конь назад. Уперся и все. Я было сзади его камчой хлестнула. Так он чуть телегу не перевернул. А на дыбы подняться не может. Коротко привязали его бойцы. Ох и испугалась я, что конь начнет беситься да сунет ногу в колесо. Люди добрые помогли. Пока со станции не выехала, кто-то вел верблюда под уздцы, кто-то коня сзади подгонял. Так и проводили...

В дороге Самар то и дело рвался с привязи. Вначале его громыхающая телега пугала. Потом привык. Главное, думала Тенге, не останавливаться. Остановится — еще ничего. А как снова трогаться, тут-то и начинаются мучения. Упирается конь, визжит. К вечеру только все, вроде, утряслось. Жеребец перестал рваться. Резво побежал верблюд. Тут уж Тенге от радости затянула песню. Сначала под нос напевала, а потом и во весь голос распелась. И к голосу своему коня приучила. Сначала думала она переночевать где-нибудь в пути. Но Самар смирился, и Тенге решила продолжать путь.

— Сказать по правде, в ту ночь я ни волков, ни темноты не боялась. Одно было опасение, что Самар снова начнет свой норов показывать. С другой стороны, жалко его. Конь привык голову гордо держать, шея высокая, а мы его шею к земле пригнули, слишком коротко к телеге привязали. А что оставалось делать — сам виноват. Пока до аула добрались, он и вовсе смирным стал. Еще бы, всю ночь на поводке шел, как не смириться! До смерти, наверно, не забуду, через какие муки с ним прошла. Сущий ад! А сейчас? Какой бы тяжелой ни была работа, это не то что тогда с Самаром. Все легче. Эх, Нашеке, чего нам только не приходится терпеть! Забыли даже, что мы женщины,— закончила Тенге, и глаза ее наполнились слезами.

Больно было Нашекену смотреть на ее милое лицо. Каким-то нежным и беззащитным светом окрасилось оно, стало безмерно печальным и оттого еще более прекрасным.

— Не из прихоти своей послал тебя Садык тогда. Гордись, светоч мой, что с мужскими делами лучше иных мужчин справ-

ляешься,— неловко стал он утешать Тенге, а у самого в груди будто вьюга холодом закрутила.

Разговор продолжался.

— Апырай, что же будет теперь с беднягой Тулепом?— вспомнила Тенге.— Надо же так сильно свалиться!

— Странный он человек! К чему всю семью было тащить за собой...

— Э-э, Нашеке, не от хорошей жизни притащился он сюда. Разве мы сами не растерялись, когда не нашлось человека, который мог бы мужество проявить? А он за всю жизнь никому не отказал в просьбе. Так и теперь, собрался и пришел, как только попросили, да и жену с сыном с собой прихватил. Здесь он просто богатырскую работу проделал. Целый двор один, своими руками поднял. Надо же было так простудиться!

— Может, поправится еще? Если в Лепсы его отвезти, в больницу, может, спасут?

— Да ведь Жанар, бедняжка, поначалу растерялась — на кого ребенка оставить?

— Ох и крепкая она женщина! Видели бы, как она работала, когда снег расчищали! А теперь вот между малым ребенком да больным мужем... Дай-то бог, чтобы все у них обошлось!

...Сани остановились. К ним бежал, виляя между лошадьми, Аким.

— Нашеке! Жеребец ни травинки не поднял! Кажется, упадет скоро, что-то на ноги слаб.

Все подошли к каурому. Он равнодушно стоял на дороге, и какой-то пленкой были подернуты его глаза. Конь с трудом поднял голову и тут же снова уронил. Другие лошади вовсю хрупали сеном, рассыпанным на снегу. А этот потерял ко всему интерес. Только дрожь его бьет.

— Ну-ка, трогай вперед. Посмотрим, как он пойдет,— предложил Нашекен.

Аким понукнул черного верблюда. Потихоньку двинулись и лошади. Последним плелся жеребец. Было видно, что каждый шаг давался ему с трудом. Перед тем как тронуться с места, конь задрожал от напряжения. Слабые ноги подгибались. Его то и дело заносило в сторону. Но он все же брел за кобылами. Нашекен некоторое время шел рядом с конем, поглаживая его по холке. Шкура стала слишком просторной для коня. Казалось, бьет она его по исхудавшим ногам и обнажившимся ребрам на каждом шагу. Что-то хлюпает и скрипит при ходьбе. Жилы выступили сквозь шкуру веревками и узлами. Ни крошки жира на теле не осталось. Мясо у него, наверное, стало черным и твердым, как уголь. Жестким? Нет, именно твердым. Словно тяжелые заботы пригнули его голову к земле. Он выглядел даже хуже, чем недавно в тугаях. Нашекен зашел сзади. Его охватил ужас, когда он увидел, как заплетаются ноги коня, задевают друг друга. Не должно быть такого. Никогда не касаются друг друга задние ноги

лошади: ни при ходьбе, ни при беге, ни в стойле. Каурый жеребец теперь мало чем походил на коня, скорее жалкая корова.

Нашекен посмотрел вперед, словно хотел узнать, далеко ли еще до аула. Уже давно выехали на дорогу, что вела к райцентру. До третьей бригады — рукой подать. Хребет Кайрана остался горбиться слева. Справа раскинулось безбрежное белое море. Ровное до самого Алатау. Все ложбины, овраги, ямы, хорошо видимые летом, скрыла зима. Ровно... Глазам даже больно смотреть. Только черная дорога вдаль бежит, да они на этой дороге.

Взгляд Нашекена снова упал на каурого. Казалось, он хочет остановиться. Или совсем иссякли его силы? Знающие люди говорили, что во время джута лошадь вот так стоит-стоит да сразу падает замертво. Если этот жеребец упадет, то не подняться ему больше. Нет, не хотел приносить Нашекен в жертву зиме каурого жеребца.

Апырау, не этот ли конь был вожаком аульных лошадей?! Знаменитый каурый скакун «Алгабаса». Был он славен статью и бегом, ветру уподоблялся и звонкой стреле оперенной, верным защитником слабых был и мягкой иноходью известен. Пять лет тому назад вез он алгабасовских джигитов в райцентр, и весь район удивлялся его красе и могучему сложению. Ребята уехали в армию. Еще табунщик ворчал, когда запрягали коня в телегу. Помнил Нашекен недовольство Тлемиса. Ясно увидел и стройную кобылу в паре с каурым, запряженных в головную арбу. А как они тронули дружно. Одно загляденье! Выгнув лебединую шею, легко, как в танце, выбрасывая ноги, понес жеребец. Тогда не только отъезжающие, все аулчане почувствовали гордость за алгабасовского коня. Вот и от ребят до сих пор нет никаких вестей. И дела каурого совсем плохи. Эх, лошадка! Ей бы приз взять на байге, устроенной в честь Победы!.. Неужели и для нее настали черные дни? Довели до точки? Нашекен и сам плетется из последних сил. Но должен держаться. Не ему одному нужны эти силы, этот конь.

Задумался Нашекен и показалось ему, что во многом похожи они друг на друга с дряхлым одром. Вспомнил рассказ Сенби. С самого начала того дикого бурана бегал каурый, оберегая слабых. О своей семье заботился. Никто из косяка не смел отделиться. Вожак понимал, что это смерть. Он чуял, что волки близко. Легко ли в такой круговерти носиться без устали по глубокому снегу? Надорвался, видать. Долго гнал его круг за кругом, и не думал жеребец о собственной смерти. Перед дорогой Нашекен услышал черную весть о смерти Касымжана. Касымжан был болен, и его не взяли в армию. Но он не отказывался в колхозе ни от какой работы, многие тяготы взвалил на свои плечи. Вчерашний буран унес и его. Жесткую ледяную руку протянула зима на жертвенный алтарь, требуя все новых и новых жизней. Неужели теперь и каурого думает проглотить?

Нашекен, отгоняя тяжелые мысли, снова посмотрел вперед.

Среди холодной пустыни где-то на горизонте курился дымок. Подумалось, что если они доберутся благополучно до жилья, сразу станет теплым и приветливым мир, и все беды исчезнут сами собой, и жив будет конь. Сзади закатывался огромный кровавый шар солнца. Словно зловещее, раскаленное медное зеркало, в котором отражается мир. Тяжко давит оно на плечи.

«Ойбай!»— раздался испуганный крик. Нашекен оглянулся и увидел, что жеребец встал, растопырив четыре ноги, как деревянная лошадка. Нашекен соскочил с саней и бросился к нему, но каурый вдруг рухнул на дорогу, точно сраженный пулей. Никто не успел и глазом моргнуть. Он упал на край дороги и скатился на обочину. Ноздри его шумно раздувались, ноги судорожно дергались. Густая грива стлалась по снегу. Подбежали Тенге и Аким. Полными слез глазами смотрели они на мучения коня. Нашекен не выдержал, достал из-за голенища нож и приставил к горлу каурого. Но тут он увидел глаза жеребца. Такая в них была мольба, что человек отвернулся. Нож выскользнул из его ладони и утонул в снегу. Но Нашекен словно не заметил этого, он замер, оцепенел вдруг, как незадолго перед этим конь, уже готовый упасть. Тенге подняла глаза. Нашекен стоял, уронив руки, и тусклым был его взор. Щеки ввалились. Красные веки не прикрывали помертвевших глаз. Какой-то непривычной слабостью сквозило его крепкое, жилистое тело. Неужели и он вдруг свалится как подкошенный на дорогу, раскинув тяжелые руки и запрокинув к небу лицо?.. Еще раз дернулся на снегу конь и затих. Закрыв лицо руками, опустился рядом и Нашекен.

Снова запел тоскливую песню буран. Звенели льдинки в ушах Нашекена. Ветер согнул его плечи. Но почему он черный? Ведь белой должна быть вьюга. И сквозь эти вихри, черный и белый, донеслось до Нашекена ржание коня, ломкое, как прозрачная льдинка. Прощание это! Последний круг бежит жеребец, огибая свой табун. Как знамя развевается на ветру его грива. Снег летит из-под копыт. Человек открыл глаза. Что это, сон наяву? Перед ним павший конь. Пригрезилось...

— Вы вдвоем поезжайте в аул. Побыстрее! Пришлите людей. Пусть приедут на широких санях. Надо отвезти его в аул, хоть и умер он неправедно и мясо его отныне нечистое. Я... не смог зарезать его, чтобы был... он годен в пищу,— дрожащим голосом сказал Нашекен.

Тенге и Аким уехали в аул на двух санях, гоня перед собой жеребых кобыл. В холодной пустыне наедине с мертвым жеребцом остался Нашекен...

— Подох,— горестно вздохнул Аким.

— Конь умирает,— поправила его Тенге.

Густели сумерки. И скоро пропали в них очертания плывущих саней.

* * *

Вернувшись с отгона, Нашекен должен был отдохнуть, в себя прийти. Ему эти два дня передышки просто были необходимы. Но в тяжкое для колхоза время не до того, чтобы отлеживаться. Пошел Нашекен в контору, а там его встретила горькая и внезапная весть о кончине Тулепа — как обухом по голове. Умер он, оказывается, в Лепсинской больнице, так и не оправившись от сильной простуды.

Нашекен без сил опустился на табурет. Председатель прочитал ему телефонограмму от Сыдыка. Сам глаз от окна не отрывает. Задумался, стучит карандашом по столу. Сам от природы смуглый, Садык совсем почернел от забот. Нашекену показалось, что и кончики его усов непроизвольно дергаются, едва сдерживается.

— В тот раз я говорил, чтобы Тулепа не трогали. Да разве на вас с Сыдыком подействует? А теперь что?..

Садык говорил правду. Он не хотел отпускать Тулепа. Но ведь и на ферме было очень трудно, и Нашекен с Сыдыком уговорили председателя дать им в помощь Тулепа. Раскаяние и вина заполнили сердце Нашекена. Будто своими руками толкнул человека навстречу гибели. Но кто мог знать, что дело так плохо кончится?

— Как там сын несчастного? Здоров ли?— Черные мысли охватили Нашекена. На миг показалось, что лишились они и Жанар, и малыша, загубив целую семью.

— Их беда миновала. Надо проведать. Огонь в доме развести, печь растопить. Сыдык сказал, что тело привезут завтра.

...Погода хоть и менялась явно к лучшему, мороз цеплялся и упорствовал. Смерть кузнеца взбудоражила и поставила на ноги весь аул. Старики, старухи, дети — все с плачем тянулись в дом Тулепа, чтобы разделить горе с его семьей. Аулчане любили и уважали кузнеца, несмотря на то, что при жизни он был тихим и незаметным. Люди оплакивали его от всего сердца. После того, как привезли тело, в доме рядом с Жанар постоянно находились то Нашекен, то Сыдык, то Садык.

Вот уж весна не за горами. Легко ли колхозу лишиться кузнеца? Горюя о человеке, эти трое не могли не думать и о делах хозяйства, осиротевшего без Тулепа. Но надо прежде всего с почетом и достойно проводить мастера в последний путь — дальнейшее жизнь покажет.

Плач Жанар, как мороз, пробирал до костей. Старики скорбно кивали в такт жоктау[1], одобряя уважение к обряду. Аульные женщины удивлялись, откуда Жанар находит такие слова.

Оба на этом свете были мы сиротами,
Словно птенцы голодные, с жадно раскрытыми ртами.
Оба мы в этой жизни были опорой друг другу.

[1] Жоктау — обрядовая песня-плач по умершему.

Кто же теперь поддержит в мире твою подругу?
В жизни в руках не держал ты саблю или винтовку,
Людям труда ковал ты серп, кетмень и литовку.
Но жертвой войны суровой стал ты на поле боя.
Не зря же кричат вороны. Не зря же и волки воют.
Если тебя не ценила, прости мне свою обиду.
Если тебя обижала, не подавал ты и виду.
Будь же великодушным и за порогом жизни!
Сделал ты все, что в силах, для дорогой Отчизны!

Плач Жанар был полон не только горя, но и гордости за мужа. Тем и запомнился народу. А отчаянный крик Жениса надорвал душу: «Кто теперь меня будет у груди носить?!» Все плакали.

Много приходило в аул похоронок. Но глаза не видели павших, сердце не верило. А тут своими руками Тулепа в землю опустили, и остро ощутил невозвратимость утраты аул.

Нашекену с каждым разом все труднее было проходить мимо кузницы. «Когда золото в руках, мы его не ценим»,— думал он. Оказывается, звон наковальни был признаком мирной жизни, говорил о том, что пока все в порядке, все идет своим чередом. И вот, тишина. Страшная тишина. Джут скосил каракового и каурого, страшная зима унесла и беднягу Тулепа, будто созданного для того, чтобы безропотно переносить все трудности. Смирный был, безответный, и без нужды его часто не замечали. А теперь вот место его пусто, и некем его заполнить.

«Если тебя не ценила, прости мне свою обиду!»— вспомнились причитания Жанар. Она за всех нашла что сказать.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Едва солнце поднялось на высоту курука, в людях стала видна какая-то расслабленность. Задремали и женщины, ухватившиеся за сохи, и ребятишки, погоняющие быков. Их словно опьянил запах земли, весны, солнца. И если кто-нибудь из них упадет сейчас на мягкую черную землю, то крепко заснет, без сновидений, как на пышной пуховой перине. Но никто и не думает останавливаться. Пусть хоть полоска, но будет вспахана.

Как обычно, люди пришли на поле, едва начало светлеть небо. Можно хорошо поработать, пока не начнет припекать. До обеда думают завершить дела. Сон, прерванный на пороге рассвета, теперь накинулся на работающих, словно боясь упустить свое. Славно припекает солнышко, отогревая промерзшие за зиму кости людей и животных. Лень напала и на быков. Они идут, еле передвигая ноги. Немало среди пахарей на поле таких, которые отдали бы все, чтобы только лечь, вытянуться и блаженно закрыть глаза, но все они посматривают в сторону Тенге, идущей за

самой крайней сохой. Они остановятся только тогда, когда встанет она.

Степенно шагает за сохой Тенге, повязав голову пестрым ситцевым платком. На ней серая холщовая юбка и выцветшая, латаная-перелатанная голубая безрукавка. Со стороны кажется, что она лишь чуть придерживает ручку сохи — так легко идет. Спина у нее ровная, как у голубицы. Столько в этой женщине красоты и грации, что все невольно любуются каждым ее движением. В каждом повороте красивой головы видится природное благородство и изящество. Легкая улыбка светится на ее нежно смуглом лице, немного веснушчатом и ласковом, когда посматривает она на важно сопящего мальчишку, погоняющего быка. Тот сидит на могучей спине животного, свесив ноги, сонно нежась под теплыми лучами солнца, закрыв отяжелевшие глаза, пока отуманенная голова не падает на грудь с такой силой, что лязгают зубы. Малец испуганно вскидывается, не сразу начинает соображать. Тенге с трудом гасит улыбку. Тепло и мерное покачивание быка убаюкали парня.

— Эй!— кричит Тенге.— Чертенок! Гони быков!

Аким вздрагивает и чуть не падает. Часто моргая, смотрит в лицо Тенге. Такая забавная потерянность во всей его фигуре, что женщина не может удержаться от смеха. Продолговатое, начавшее шелушиться лицо Акима кривят непроизвольные гримасы: «Уж не уснул ли я, в самом-то деле?..» Тенге звонко расхохоталась.

— Эй, что вы там смеетесь? Расскажите нам, вместе повеселимся,— раздался голос со средней борозды.

Это Алиша, жена Айта. Видно, прискучила ей работа.

В это время Аким истошно завопил на быков, заворачивая их на новую борозду: «Кайт! Черный!» Тенге завалила соху. Аким уже вполне пришел в себя и, понимая свою вину, что есть мочи орал и щелкал длинным ременным кнутом и вообще всячески старался себя проявить. Да и быки оживились, развернулись и пошли ходко. Особенно лихо ступал Черный Ахметжан, его обычно ставили в первую борозду. Это был теленок от первой коровы, которую Ахметжан и Тенге купили вскоре после свадьбы, а когда он стал бычком, сдали в колхоз. Теперь этот бык был известен на весь колхоз. Когда наступало время пахоты, сеноуборки или жатвы, из-за него буквально дрались. Во-первых, у быка был добрый шаг, во-вторых, он истый трудяга, который безотказно работал до полного изнеможения. Сильный бык. Было у него еще одно прекрасное качество: он никогда не портил борозды и, где нужно было поворачивать, послушно заворачивал, повинуясь окрику и не дожидаясь удара кнута. Люди говорили, что скотина обычно бывает похожа на хозяина, и до отъезда Ахметжана на фронт все нахваливали силу и выносливость Черного быка. А теперь болтали, будто похож он на Тенге. И до чего ведь добросо-

вестный. Когда его запрягали в арбу с тяжелым грузом, он тащил ее в гору из последних сил, падая на передние колени. Единственный недостаток Черного — куцый хвост. Тенге и ее бык стали крепкой опорой хозяйства. И в эту весеннюю пахоту люди спорили, кому достанется куцый. Победительницей вышла Тенге. Она уперлась, заявив, что совсем не выйдет на пахоту, если ей не дадут Черного, а в помощники — Акима. Верила, что ее заслуги и авторитет среди аулчан позволяют ей обратиться к руководству с такой просьбой. Не мудрено, самым трудным для бригадиров весной был дележ быков и помощников среди пахарей. Каждому хотелось взять шустрого паренька и хорошего быка. Однако не каждый мальчишка так горел на работе, как Аким, и не каждый бык тянул так плуг, как куцый Черный.

У Акима даже песня была об этом быке, которую знали все аулчане:

Я еду на Черном быке из Копы.
К аулу родному арба везет.
Когда Данекер вернется домой,
Он братом своим меня назовет.

Иной раз, когда в настроении бывала старая Кульжамиля, она заставляла Акима петь эту песню и каждый раз целовала его в щеки. Гибкую змеевидную камчу Аким тоже получил после того, как сочинил эту песню. До этого камча висела на стене, на самом почетном месте. Никому не позволяла старуха прикасаться к ней, изредка смазывая жиром, чтобы не рассохлась кожа. Памятью о Данекере была эта камча да еще бурый козел. Когда услышала Кульжамиля песню Акима, потеплела: «Глаза не видели, а сердцем в братья принял. Хорошая у мальца душа. За это можно ему доверить белую камчу». И она своими руками отдала мальчику плеть. Но Аким редко выносил ее из дому, разве только похвастаться перед людьми. Вот и сейчас он звонко стрелял кнутом, чтобы на него обратили внимание. Да и мужчиной хотелось себя показать перед насмешливой молодухой.

Тенге услышала крик на другом конце поля. Это Жапар предлагала отдохнуть. Она и сама утомилась так, что готова была упасть. Но если Тенге бросит работу, то и другие остановятся, это ясней ясного. Время ли сейчас отдыхать? В этом году колхоз поздно приступил к пахоте. С каждым днем все жарче припекало солнце, сохла земля. Большие надежды возлагали люди на коричневую падь, не тронутую сохой целину. Поле, которое они сейчас поднимали, предназначалось для проса. Падь-то падь, да ведь высоко лежит. Трудно было воду сюда подвести. Немало пришлось повозиться, пока проложили арыки к полю.

Нашекеп первым предложил использовать для посевов эту просторную землю. Люди говорили, что он был против того, чтобы сеяли там же, где весь урожай побил град. Стоял на своем, не поддаваясь ни на какие уговоры. Все же на избитой градом земле

осталось зерно. Оно даст ранние всходы. Это всем ясно, объяснял он. А новые семена лягут в землю гораздо позднее. Значит, и взойдут позже. Урожай убирать будет трудно. Сроки определить тоже нелегко. Колосья-то начнут созревать в разное время. То-то и оно. Замучаются люди на таком поле. Да и земля там устала родить. Урожаи дает все более низкие. Пусть поле отдохнет года два-три. А дикую пшеницу, что взойдет там, можно будет накосить для скотины.

Хоть и хорошо поняли слова Нашекена аулчане, да убоялись трудностей, которые ждали их на целинной коричневой пади. Справится ли с этой трудной задачей колхоз, обескровленный войной? Хватит ли сил у истощенных людей? Не получится ли так, что ни с падью не справятся, ни старого поля не засеют? Вот тогда-то и запоют в горе: «Аллах милосердный!» И как воду туда поднять? Вода — не козел, сама в гору не заберется! «По-моему, это и есть самое трудное. Воду бы к полю подвести, а остальное сделаем. Люди корни узловатые рубят, пни корчуют, освобождая землю для посевов, а здесь жусан растет, мягкая трава. Там, где жусана полно, земля всегда плодородна. А что касается воды, то наши предки раньше использовали эту падь. Значит, стоит подумать и поискать следы старых оросительных канав. Ведь както они поливали?» Так говорил Нашекен.

Уже давно обратил он внимание на ложбинку, проходящую вдоль высокого края пади. Однажды проехал ее от начала до конца верхом на коне. Коричневая падь начинается сразу от старого мавзолея и тянется до Шоль-Тумсука. Там и кончается. А расстояние между ними около десяти-пятнадцати километров. И все время тянется как царапина ложбинка, прямо-таки готовый арык. Очистить его будет не очень трудно. Если нынче очистить и углубить километров пять-шесть арыка да засеять всю восточную сторону, то можно снять хороший урожай. Но канавка эта идет только до мавзолея, а там теряется в насыпях. Как поднять воду до высоты мавзолея? Но поднять надо в любом случае. Головной распределительный арык проходит по обрыву, что у подножия холма, на котором стоит гробница. От головного арыка тянется чуть заметная впадина, ведущая на коричневую падь. Старый, совсем сокрытый след. Но и его обрыв обрубил. Поднявшись по краю пропасти, след доходит до самого мазара и тут теряется. Нашекену очень хотелось верить, что это старое русло оросительной канавы, но как тогда взбиралась наверх вода? Подъем здесь довольно большой, метров сто — сто пятьдесят. В чем же тут секрет? Нашекену пока не удалось решить загадку.

Людей этот подъем и обрыв пугали. «Не выжил ли из ума Нашекен? Разве заставишь козлом быть воду, чтобы снизу вверх запрыгала?» — поговаривали некоторые. Долго ломал голову Нашекен, так ничего и не придумав, пошел за советом к Кульжамиле. Старуха надолго задумалась.

— Да, вода туда поднималась,— сказала она наконец.

— Но как? Как?!— закричал от нетерпения Нашекен.

— Помню, было мне тогда лет десять, а сейчас все же шестьдесят пять стукнуло. Значит, лет пятьдесят тому назад. А Данекера моего я в тридцать девять родила. В этом году ему двадцать шесть исполнилось. О дуние! Светик мой!— тяжело вздохнула Кульжамиля, отвлекшись от разговора.

— Не печальтесь, байбише! Вернется домой, если жив-здоров. Вы еще своими глазами увидите, как скатится голова бурого козла в день его возвращения.

Нашекен старался говорить убедительно, но в его сердце вкралось тоскливое сомнение. Кульжамиля сумела это заметить. Она выстрелила в него взглядом, как бы говоря, что видит обман, и продолжила:

— Совсем о другом мы с тобой заболтались. Начали о воде, а вспомнили Данекера... Так вот, десятилетней девчонкой носила я дедушке обед на холм, когда он был занят поливом. До самой вершины поднималась по арыку, ползущему вверх как змея. Детство-то какое было!.. Вода, помню, едва закрывала щиколотки. Шла я по арыку словно не в гору, а по ровной дороге. И так до самого верха. А на вершине все глядела вниз и удивлялась, как вода на такую высоту поднимается. Спрашивала у деда не раз, а он отвечал: «Эх, козленок ты мой, все могут руки человеческие. Люди пяти родов пять лет рыли эту канаву. Видишь, светик мой, как извивается арык? Все дело в этих извивах. По ним и тянешь за собой воду наверх. Как по ровному месту бежит вода, сама не зная, что в гору идет. А воде — чуть ровнее, сама потечет. Народ говорит: «Найдешь способ — и снег загорится. Найдешь слово — и скупой щедрым станет». Вот и нашли слово заветное, берем все, в чем нам отказывала скупая гора». Хорошо запомнила я слова дедушки. На этом верхнем поле он и на ноги крепко встал, какой-никакой скотинкой обзавелся.

— Значит, как змея извивается? Так вы сказали?

Нашекен словно и не слышал никаких других слов, а сразу ухватился за эти и переспросил, как бы не доверяя собственным ушам. Он точно нашел уже ответ на мучившую его загадку.

— Вы сможете найти свой давний путь, если мы вместе пойдем?

— Кто знает? Столько воды утекло с тех пор.

Но про себя Кульжамиля подумала, что, пожалуй, найдет. Нашекен повел ее на место, и они долго ходили, то и дело наклоняясь к земле, словно искали сокровища, пока не набрели на едва заметный след. Нашекен показал Кульжамиле и ту ложбинку, которую обнаружил сам. Оказалось, что потерянная половина ее скрывается в том поле, которое прошлым летом побил град.

— Как раз на этом месте я и упала,— со смехом вспомнила старуха.

Обо всем разузнав, все как следует изучив, Нашекен настоял

на своем мнении и сумел убедить председателя колхоза. Едва успел сойти снег, как все, кто способен был держать в руках лопату и кетмень, стали штурмовать гору. За каких-нибудь пять дней с подножия до вершины свели насыпь шириной в три метра. По этой насыпи прорыли канаву, строго следуя старому руслу. Достигнув основания холма, люди принялись копать извилистый серпантин арыка. Каждый метр его измеряли мираб Тлеужан и сам Нашекен. И арык вышел точно к ложбине на вершине холма и там с ним соединился. Взялись за работу дружно и вскоре большое дело было закончено. Когда вода поднялась на холм, колхоз устроил праздник, заколов трех баранов. Вот так и случилось, что сегодня коричневую падь перепахивают под посевы.

Тенге до сих пор помнит, как воскликнул Нашекен, увидев воду, поднимавшуюся к вершине:

— О аллах! Аллах! Да не обрати в песок усилия многих людей, ливших пот для благополучия невинных детей! Не дай опустеть нашим черным котлам! — С этими словами он бросился догонять воду, и никто не засмеялся над чудачеством уважаемого человека.

Правда, работа та многих лишила последних сил, вымотала, опустошила. Слышал Нашекен, что открылась рана на ноге Муката и Балжан повезла его в районную больницу. С тех пор, как отнял жену у Абди, Мукат ходил по аулу как нашкодивший щенок, и все были холодны с ним. В тот день, когда засыпали овраг, он трудился себя не жалея. Когда насыпь поднялась и женщины уже не могли добрасывать до нее землю, всю тяжесть работы приняли на себя пять-шесть джигитов. Мукат был одним из них. Люди были довольны. Казалось, что вина их с Балжан перед ними как-то уменьшилась. Они ее все время чувствовали, хотя успели обзавестись двумя детьми. Даже поначалу уехать хотели, но не отпустил их аул, где родились и выросли. И капризы, и озорство, и ошибки — все простит родной аул. Эта надежда помогала им жить. Зато и между собой Мукат с Балжан старались жить мирно, без ссор, в любви и согласии, чтобы нечем больше было их упрекнуть. Душу готовы были отдать, умереть за аул, только бы снова вернуть себе право прямо смотреть людям в глаза. Любые тяжести, любые невзгоды им нипочем. Лишь бы стыда не было. Ждали случая себя показать. И когда нужно было аулу, не пощадил себя Мукат. Зачем было так надрываться, что даже рана открылась? Но грех оставаться в стороне, когда стар и млад вышли на битву с горой, словно муравьиное войско. Чем больше сделал бы Мукат, тем легче пришлось бы детям, женщинам, старикам. Разве о ране тут вспомнишь? Да еще этот стыд...

Даже вполне здоровая Тенге, и та после целый день дома проболела. Говорили, что тогдашний председатель Халык был очень доволен тем, что люди засыпали овраг и прорыли арык. Радовался, что попал в «Алгабас» председателем, где всех людей, от мала до велика, следует почитать как героев. В ауле было сложилось

мнение, что новый председатель скуп, но после того, как он приказал зарезать трех баранов, люди изменили свое отношение к нему и забыли о всех тяготах недавнего труда.

Мысли Тенге опять перенеслись к Нашекену. Этот человек не переставал изумлять ее. Откуда в этом маленьком, как птица, старике столько мужества, сил и доброты? Он всегда точно закаленный булат, крепок и справедлив. А как он таскал землю! Никто не узнал бы в этом живом человеке того старика, что сидел подавленно и мрачно возле умершего у дороги каурого жеребца. Он словно опора для всего аула. Если он ослабеет, кажется, весь аул пошатнется. Помня об этом, Нашекен не поддается никакой усталости и никаким бедам, будто знает заговорное слово. Приказы председателя, грозные и суровые, брань бригадиров — все это не стоит одного слова, даже взгляда Нашекена. «Дорогие мои, нельзя, чтобы труд ваш пропал напрасно. Земля сохнет. Пашите!»— Многое сумела понять Тенге из этих его слов.

Совесть. Это она не дает бросить соху в борозде. Солнце стоит высоко, и чем оно выше, тем безжалостнее его лучи. Но работу не бросишь, иначе как посмотришь завтра в лицо старику. Впору будет сквозь землю провалиться, если он скажет: «А тебе-то я так верил, Тенге». Тенге страшится стыда перед аксакалом; другие, что рядом работают, боятся стыда перед ней. Одна совесть погоняет камчой другую, и работа в поле кипит. Но знает Тенге, что нет разных совестей у людей, у всех она одна и одна же для всех. Слышится только скрип дерева и железа. Это голосят сохи на трудной новой земле.

Со стороны аула показался рысивший всадник. И мальчишки-погонщики, и пахавшие женщины — все оглянулись на него. Приуставшие быки тут же встали. Никто из них даже не в силах унять зачастившие сердца. Горький опыт пяти лет научил их не ждать ничего хорошего от верховых гонцов. Немало черных вестей принесли они людям. Кого еще настигла беда? Кто заплачет сегодня кровью, а не слезами? Тревожно переглядываются между собой дети и женщины и снова смотрят в сторону аула. Всадник взял коня в плети. Сказать, озорует какой-нибудь баловник из детей? Нет. Видно, что взрослый в седле. Похож на бригадира Аскарбая, который два года тому назад вернулся с войны без ноги, с культей до колена. И если раньше его называли кияхметовским Аскарбаем, то теперь кличут «Аскарбай-деревянная нога». Четверо братьев ушли на фронт. Вернулся пока он один. Узнав Аскарбая, больше всех всполошились его женге, Батима и Жахия. Жахия была женой самого старшего брата, Базарбая, а Батима — Азимбая.

— О аллах! Какой шайтан гонит его сюда? Зачем так скачет наш средненький?— бросились они к Тенге, все же не называя по имени своего кайны. Тенге побледнела как полотно: четыре года не было вестей от Ахметжана. Она быстро оправилась и весело предположила:

— Может, подарок от кого-нибудь хочет получить за добрую весть?

— О-о, хоть бы так оно и было!

Всадник не осадил коня, спускаясь в ложбину, а на подъеме снова пустил в ход камчу. Так и подъехал к пахарям. Почернел под жарким солнцем, тяжело дышит, вспотел и пропылился, словно с пожара сюда прибежал. Гнедой под ним весь в мыле. Не обращая внимания на встревоженных женщин, он бросил коня к Тенге и сорвал платок с ее головы, тугие косы хлестнули замершую женщину по спине. Такой прекрасной не видел ее Аким. «Видно, счастье ей улыбнулось! Никак, муж вернулся с войны»,— подумал он. Конь затанцевал. Аскарбай упал ему на шею и сорвал ситец с голов двух своих женге. Потом он сдернул и шапчонку Акима. И все это молча, будто немота его поразила. Поддав коню в бока, Аскарбай помчался к другим пахарям. С них тоже посрывал шапки и платки. Напуганные быки вышли из борозды. Аскарбай вернулся галопом к Тенге и своим женге.

— Да не мучай ты нас! Скажи, в чем дело?— взмолилась Батима.

— Сюинши![1] Сюинши, люди! Война кончилась! Победа!

Лицо его ликовало, а голос неожиданно сел, стал сиплым: то ли от бешеной скачки, то ли сердце не мог унять. Крикнуть хотел во весь голос, а сам чуть слышно прошептал. Только Акиму и удалось разобрать: «Сюинши! Победа!» Звонким и чистым голосом он подхватил слова, угасающие на горьких губах Аскарбая, и закричал:

— Сюинши! С победой вас, люди! Война кончилась!

Жанар со всех ног бросилась к сыну, сидевшему в холодке на краю поля, подхватила на руки и подняла высоко, как бы всему миру показывая:

— Победа! Победа! Женис!

А малыш смеялся, потому что так звали его самого.

— О аллах! Неужели правда?!

— Довелось дожить до светлого дня!

— О-о-о, Аскарбай!

— Будь имя твое благословенно и имена родителей, давших тебе жизнь!

— Сохрани аллах жизнь моему...

Загалдели женщины, и трудно было разобрать, кто о чем говорил. Бросились к коню, хватались за стремя, крепко целовали джигита в смуглое лицо.

— О солнце мое, Аскарбай!

Гнедой, окруженный галдящими бабами, рванулся было испуганно в сторону, но его так тесно обступили, что он не смог сделать и шага. Как пчелы, налетели люди роем на счастливого Аскарбая. Он упал на гриву коня, а плачущие женщины цело-

[1] Сюинши — подарок за радостную весть.

вали его лицо, руки, даже протез. Наконец он вырвался из их рук и, облегченно вздохнув, выпрямился. Сохи сиротливо лежали в бороздах, там, где их бросили. Пацаны распрягли быков, уселись верхом и гнали теперь к аулу, истошно вопя:

— Победа! По-о-обе-е-еда-а!!!

При этом они размахивали над головой видавшими виды шапками.

Впереди полосовал бичом Черного Аким. Веселая гонка раздразнила и Аскарбая. Повернув гнедого, он бросил его на дорогу, бегущую к аулу. Пазуха Аскарбая была полна шапками и платками. Он и сам не знал, куда так спешит и куда лежит его путь, но совсем бросил поводья, дав волю коню. Обогнав мальчишек, он поравнялся с Черным быком. Аким неистово хлестал того камчой, не желая отстать, но разве обгонит бык скакуна. Мальчишка вдруг встал в рост на спину бегущему быку. Это был один из его старых приемов, который он не раз демонстрировал сверстникам.

— Убьешься! Не балуйся! — только и успел крикнуть Аскарбай, но Аким уже прыгнул как кошка и уселся на коня сзади Аскарбая, крепко прижавшись к его спине. В другое время Аскарбай непременно выругал бы его за это, а то и камчой вытянул, но тут промолчал, покорно снес сумасбродную выходку. А Черный бык бежал, радуясь неожиданной свободе, волоча по дороге волосяной повод. Гнедой с двумя всадниками летел в аул.

Оглянулся Аскарбай, а за ним по склону женщины бегут. Праздничной и прекрасной показалась ему увиденная картина. Ни пушинки облачка на ясном небе. Ослепительное солнце щедро льет на землю свой золотой свет. Склон украшен, как флагами, факелами алых горных тюльпанов. Конная байга, гонка быков, бег среди женщин. До чего прекрасная картина! Пешие хотят обогнать быков, которые стремятся прийти в аул раньше коня. Но кого хочет опередить конь? Уж не собственную ли радость желает оставить сзади неистовый всадник? Счастье... за ним гонится человек, желая навсегда удержать в себе неповторимый миг великого торжества, перед которым бессильны самая тонкая кисть, самое сильное перо, самые звонкие струны. Неповторимый, неповторимый...

Несущемуся бог знает куда Аскарбаю вдруг пришла в голову одна мысль. Виновником ее был примостившийся сзади Аким. Надо ехать к дому старой Кульжамили.

Старики и старухи аула уже успели что-то прослышать и шумели на улице, то и дело поминая аллаха и снуя из дома в дом. У порога своей мазанки замерла Кульжамиля, не отрывая взгляда от взмыленного гнедого.

— Конец войне! Апке, сюинши! Сюинши! — закричал Аскарбай издалека, словно боясь, что Аким раньше успеет сообщить об этом матери.

— Возьми, светик мой, возьми! Все, что пожелаешь, — твое, родной мой, если правду привез к моему порогу. Кончилась... про-

клятая... Солнце только не проси. Не в силах я тебе его подарить. Луну не требуй. Не смогу тебе отдать. Остальное все твое.

Странно спокойным голосом сказала эти слова Кульжамиля. На нее что-то не похоже. «Все твое... кроме луны и солнца. Рада бы и их тебе отдать, да не в моих это силах». И только теперь понял Аскарбай, какую дорогую весть привез он к дому матери и всей этой просторной степи. Всем сердцем понял. Долгожданную и неповторимую.

Аким спрыгнул с коня и прижался к груди матери. Плечи его тряслись, а косматая голова скрылась под руками старухи. Конь грыз удила и пританцовывал, словно разделяя огромную радость людей. Только сам Аскарбай замер в седле, не зная, что делать дальше. Он выхватил из-за пазухи пестрые женские платки и подбросил вверх. Заструились по ветру синие, красные, желтые, белые косынки, поплыли в высокой синеве, будто и сам ветер просил сюинши у вдов. Сорвав с головы платок, обвязанный вокруг кимешека, высоко вверх подбросила его и Кульжамиля. Усталое сердце ее наполнилось молодой радостью. Белая широкая косынка пролетела по ветру, тяжело повернулась в воздухе, зацепилась за жесткие травы, бескрыло забилась...

* * *

Посреди аула ребятишки играют в альчики. Не отрываясь смотрит на них Кульжамиля. Раньше она была неутомимым ходоком, а теперь два шага сделает, и сердце к самому горлу подкатывает. Задыхаться стала. Появилась трудная одышка. А все же, думает она, крепкое у нее сердце. Уверена была, что разорвется оно на следующий же день после отъезда Данекера. Но живуч и вынослив, оказывается, человек. Кошка, и та позавидует. До сих пор жива старуха. Видно, не до конца еще испила чашу свою.

Вот уже три месяца прошло с тех пор, как перестала Кульжамиля совершать намаз. Словно ножом отрезала: «Я считала себя правоверной мусульманкой, чистой перед всевышним. Всю жизнь сердце свое обращала к богу, пять раз в день исправно отправляла намаз. Чистыми были мои помыслы, искренними молитвы. Но дошли ли они до создателя? Чем он облагодетельствовал меня? Уж не тем ли, что рано отнял мужа? Смирилась, сочла испытанием божьим. Еще усердней стала небу поклоны бить. Чуть лоб не расшибла. Со страхом и сомнением поверила было в счастье свое, а тут Данекер покинул меня, единственный, оставшийся в живых из семи детей. Смирилась. Что видишь вместе со всеми — великий праздник. Дни и ночи молила я аллаха милосердного и всепрощающего о покое и здравии. Думала, увидит слезы мои. Убедилась, что слеп он. Если бы жив был сынок, неужели до сих пор не вернулся бы? Зачем же мне теперь жаловаться слепому и глухому, жестокому и равнодушному? Устала быть его рабой».

Горечь и гнев переполняли старуху, обида и отчаяние. В сердцах отшвырнула она в сторону молитвенный коврик.

— Все блага, что сулишь нам на том свете, можешь себе забрать! Пусть я сгорю и почернею, если еще хоть раз попрошу тебя о чем-нибудь! Единственного сына не увидела перед смертью...

Окончательно поссорившись с богом, Кульжамиля стала таять, как весенний лед. Согнулась, осунулась. Ослабели глаза. По-старчески щуриться стала. Гаснет свет для нее...

Смотрит и смотрит старуха на ребят, увлеченных игрой в асыки. Вон и Тулеш, сын Байбола. Прошло шесть-семь месяцев с тех пор, как он вернулся домой. Этот Тулеш уезжал из аула вместе с Данекером. Зажал локтем костыли и, как малый ребенок, бросает альчики. Не надоест ему игра. Смеется, радуется... Вдруг он сгреб с кона все бабки и, хромая как раненый архар, бросился бежать к своему дому, дико крича:

— Шнель! Шнель!

Дети удивленно посмотрели ему вслед.

— О несчастный! — вскрикнула невольно Кульжамиля.

Тулеш приехал, когда шла горячая пора уборки урожая. Колхоз напрягал все силы, чтобы вовремя собрать хлеб на коричневой пади. С ним приехала русская девушка в белом халате, какой носила Клара, дочь Гальфингера.

В ауле Гальфингера называли Калпенгир, жену его Анну — на казахский манер Анелью, а дочь их Клару — дохтур Кулер. Вначале аул встретил эту семью враждебно, узнав, что они немцы. Да и сами Гальфингеры старались держаться незаметней, всех чуждались. Может, и хотели с людьми поближе сойтись, да языка не знали. И еще им казалось, что с ненавистью косится на них каждый. А может, и не казалось. Однажды аульная сопливая мелюзга пробежала под их окнами, громко вопя:

— Фашисты! Фашисты!

Всей семьей Гальфингеры пришли тогда в контору и долго плакали. Следовало объяснить людям, что не все немцы — фашисты.

Поручение дали парторгу Садыку. Объяснить все аулчанам было нелегко. Не с одним взрослым пришлось крупно поговорить, не одного сорванца наградить затрещиной.

— Это наши немцы. С берегов Волги. Ничего общего у них с теми фашистами нет...

Постепенно люди стали к ним привыкать, и Гальфингеры к людям потянулись. Быстро выучились говорить по-казахски. Люди удивлялись мастерству, с каким глава семьи «Калпенгир» ставил скирды. И если скирды аулчан со временем до самого основания пропитывались снежной водой, то его сено оставалось сухим, лишь верхний слой был слегка подмочен. Много добрых слов летело в адрес этого немца. Особенно часто поминали его в джут. Только благодаря скирдам Гальфингера удалось спасти от на-

дежа большую часть скота. Причем мастер, каких поискать. Каждая скирда его высилась как аккуратно сложенное девичье приданое, радовала глаз.

Но чудеснее всего то, что колхоз, благодаря «Калпенгиру», стал богат водой. Возле аула не протекало ни одной речки, не было ни озерца, ни родника. Зимой снег топили, летом пили арычную воду. И люди, и скот. Особенно трудно было весной. Когда снег уже сошел, а арыки еще не наполнились, приходилось людям скакать за пять километров к Киикбаевскому водоему. Некоторые ранней весной подвалы снегом забивали, в ямы его сгребали, чтобы только без воды не остаться. Дней десять обычно длилось такое, но за это время люди успевали порядком намучиться. Не раз копали колодцы посреди аула. Но все они моментально пересыхали. А то и вовсе воды в них не было. Теперь же вода всегда под рукой, в колхозе вырыли колодец, который аулчане зовут «Колодцем Калпенгира и Кулжабая». Зимой и летом он всегда полон чистой холодной воды. Нашли ее на большой глубине, почти двадцатипятиметровой. Под конец никто не решался лезть в колодец, только Гальфингер и Кулжабай не побоялись. Оба они были высокими. Когда садились верхом, ноги едва до земли не доставали. Гальфингер всегда ходил с засученными и закатанными штанинами. Люди посмеивались, говоря, что на руках и ногах немца растет шерсть рыжего ягненка. Сильный был, бывало, укладывая скирду, подхватывал вилами по целой копне сразу. Но на какой бы срочной работе ни был занят Гальфингер, он никогда не пропускал обеденного часа. «Моя курсак[1] пустой»,— заявлял он и садился где-нибудь в тени. И не вставал, пока не поест, хоть тебе тут пожар случись. Аулчане привыкли и к этой странности немца.

— Ну, подошло время Калпенгиру для намаза,— говорили они и тоже садились отдыхать.

Сказывали в ауле, что когда колодец копали, и то он закричал наверх:

— Кулжабай, стой! Тохта! Моя курсак пропал!— и сел обедать в темном колодце.

Он же придумал и железные колпаки, что-то вроде касок, чтобы камень случайно не зашиб голову. И воду со дна колодца почти до самого верха поднял тот же Гальфингер. Большую радость принесла в аул вода. Вдоволь теперь стало ее и для людей и для животных. Казалось, новая жизнь пришла в аул.

Больше всех немец уважал в «Алгабасе» Нашекена. Когда он встречал его, то обязательно качал головой и приговаривал:

— Ай молодец старик, сильный шал[2]!

Быстро завоевала внимание аульных женщин и Анель. Было у нее неслыханное по тем временам чудо — сепаратор. Если

---

[1] Курсак — живот.
[2] Шал — старик.

раньше сбивали сливки вручную, то теперь можно было отнести молоко Анель, и она все сделает сама. Появились у аулчанок с Анель какие-то свои, женские секреты. Особенно задушевно беседовала она с Кульжамилей. Взгрустнула как-то:

— Время дочке замуж идти. Перезреет, останется вековушей. Кто же старую деву возьмет? А сейчас? Кто на ней женится в ауле?

Кульжамиля отметила про себя, что и немцы переживают, когда дочери запаздывают с замужеством.

— Если мой сын вернется, отдашь за него дочку?— шутя спросила она.

— О, если бы бог дал увидеть эти дни!— вздохнула Анель и улыбнулась.

И снова отметила Кульжамиля, что и бог есть у немцев и ее от всего сердца пожалела. От души сказала: «Если бы бог дал...» Видно, и на самом деле немцы разные бывают. Те, что начали войну, наверняка совсем другие, не от матерей рожденные.

Добрым другом Кульжамиле и всему аулу стал и старик Остап с Украины. Его не нужно было просить об одолжении дважды: он брал в починку разбитые пиалки, распаявшиеся чайники, прохудившиеся ведра. За три года и он сносно выучился говорить по-казахски. В кузнице, где раньше работал Данекер, с мастером Жакупом они творили чудеса. Не только кетмени, лопаты чинили, но и сохи, бороны, даже тракторы и комбайны. Кульжамиля вспоминала: «Одно время, услышав слово «капыр»[1], мы хватали в охапку шапку и неслись куда глаза глядят. Ах, все темнота наша! Когда и кто отравил нас этой отравой, ядом вражды и недоверия? До чего был открытым и честным». Доброго человека сердце зорко распознает. Недавно, перед отъездом на родину, Остап зашел к ней попрощаться. Зашел специально, не забыл старуху. На память ей оставил глубокий удобный чугунок, а взять пожелал мешочек для хлеба, вытканный узорами, с кистями и бахромой. Засмущался даже, словно коня просил. Да разве жалко для доброго человека?

— Вспоминать вас буду,— грустно сказал тогда Остап.— Не плачь, байбише. Вернется сокол твой. У меня, мать, война сразу четырех сынов забрала.

Жалел ее старик, а у самого на сердце черная гора, оказывается. Она-то знала, каково ношу такую нести. Родичи ее хоть на своей земле жили, в родном ауле, а эти несчастные потеряли все: родных и близких, дома и пашни, сады и землю. Трудно было им покидать родные места, ехать в далекие, неизвестные края, а теперь, когда поганый вражий сапог уж не топчет их землю, пора возвращаться домой и вымести вон чужой сор. «Алгабас» им тоже не чужая земля, но есть на западе свой уголок, близкий серд-

[1] Капыр — неверный.

пу. Кто станет удерживать Остапа? Там его родной аул, на измученной украинской земле. А жаль расставаться...

Дочерью казахского аула стала и Клара Гальфингер, или Кулер, как ее называли в «Алгабасе». Кулер[1] она и есть. Все смеется, веселая девушка. В тот год, когда Кульжамиля осталась на поле под градом, Клара вернула ее к жизни. Как родная дочь сидела она у изголовья больной старухи три дня и три ночи, глаз не смыкая. Давала желтое и горькое, словно желчь, лекарство. Как хотелось тогда жить Кульжамиле, какими пустыми показались все ее проклятия жизни. Сладкая вещь — жизнь. Нелегко расставаться с ней.

Говорили, что в старину жил один девяностолетний старец. Чем старше человек, тем слаще кажется ему жизнь. Заболел как-то сын его, и сам старик захворал. Тяжко захворали. Явился ангел смерти Азраил за человеческой душой, и взмолился старик, указывая на сына, что черед тому уступает. А что бы сказала Кульжамиля, если бы и ей предложили выбор? Она или Данекер? Э-э, как ни сладка жизнь человеческая, не отослала бы она посланника божьего к сыну. Нет! Но разве станет смерть советоваться с человеком?

Мысли Кульжамили снова перенеслись к Кларе: «Что же сказала тогда Кулер? Не забыть бы. Вроде: «Апа, а ваш сын семпати». Да, что-то вроде этого, и глаз с портрета Данекера не сводила. Потом пояснила: «Красивый он у вас». И зачем мне его красота? Светоч мой, иногда мне кажется, что я стала забывать твой лик...»

Когда вернулся с фронта Тулеш, то слова сопровождавшей его русской девушки собравшимся старухам переводила Клара. Страшные те слова накрепко врезались в память Кульжамили.

— Эти люди стояли недалеко от Бреста. Есть такая крепость. Наша граница проходит у крепости. Первый удар врага они на себя приняли. Жестокая там произошла битва. Много людей погибло. Фашисты зверствовали. Они пытали вместе с солдатами женщин и детей, расстреливали, издевались. Товарища Байболова им удалось взять в плен, когда он был уже тяжело ранен. Отправили в лагерь на территории Германии, а оттуда уже увезли в Норвегию. Там его использовали на тяжелых земляных работах. Люди голодали. Многих скосил голод. Оставшиеся казались живыми мертвецами. Немцы держали заключенных в суровых условиях, жестоко расправлялись за малейшую провинность, а то — и это было часто — без всякой вины наказывали и убивали. Тулеша из-за его хромоты заставили ухаживать за собаками. Это были прекрасно обученные, злые собаки-людоеды, собаки-убийцы, огромные и сильные, как волки. Голод заставил Байболова воровать мясо и другую пищу, отпущенную для собак. Он крал и для своих больных и истощенных товарищей. Долго так продолжаться не могло, и Байболова поймали. На него натравили собак, за счет которых

[1] Кулер — смеющаяся.

он поддерживал товарищей. Тогда-то он и стал таким...— Потемневшими глазами девушка посмотрела на улыбавшегося Тулеша. И только теперь люди поняли, что случилось с человеком.

— Астапыралла! Какое ужасное зверство!— схватились за воротники старухи.

— Шнель! Шнель!— дико завопил Тулеш и бросился через толпу в степь, сильно хромая.

Женщина помолчала, а потом продолжила:

— Товарищи его не бросили. До своих довели. Записали адрес, все данные и принесли нам. Два месяца лечили. Ничего не вышло. Мозг глубоко травмирован. Речь даже потерял. Только два слова остались у него в памяти. Это «шнель», по-немецки значит «быстро». И еще... мы не поняли. Видно, по-казахски. Что-то вроде «айнам» или «айнаш».

Старухи переглянулись. Уж не о дочери ли смирного Бейсена вспоминал бедняга Тулеш? Ведь только ее звали в этом ауле Айнаш. Говорили, что молодые нравились друг другу. Видно, имя любимой все-таки осталось в больной голове несчастного. Старухи рассказали Кларе, что знали сами. Она притихла, опустив глаза, полные слез. Незнакомка, кажется, спросила ее о причине слез. Клара объяснила ей все по-русски. Тогда всплакнула и приезжая. Вслед за ними принялись всхлипывать и старухи. Слезы двух молодых женщин, плачущих о разбитой любви Айнаш, тронули их сердца.

Снова заговорила русская девушка:

— К вам привезли. Если вы решите оставить его, то он останется. Если не захотите, я его увезу. У нас есть специальное заведение, где ухаживают за такими больными.

Тут закричала, заголосила сестра Тулеша Нуруш, родственники завопили. Да что это такое? Разве можно? И где это видано?

Остался в ауле Тулеш. Но где витала бедная душа его? В жарком бою? В страшном плену? В солдатской теплушке? В раю? В аду?.. Никто не знает этого.

Вот он теперь перед глазами Кульжамили, этот Тулеш. Живой укор войне. Одна из ее жертв. Никому он вреда не причиняет. Ковыляет по аулу, смеется, кричит свое «шнель». В последнее время пристрастился играть вместе с аульными ребятишками. Однажды Кульжамиля увидела его едущим на спине бурого. Она чуть не задохнулась от бешенства, с трудом подавила свой гнев. Если бы нормальный человек позволил себе такое, она бы выбила из него всю пыль.

Бурый козел, видно, тоже начал стареть. Нет уж в ногах былой легкости. Не то что раньше. Уже не впереди отары вышагивает, а плетется сзади. Но все еще не бросил привычку ласкаться к Кульжамиле, обнюхивать ее руки. Отдельно от других коз ночует в сенях на старом своем месте, где еще малым козленком проводил долгие ночи. Только тогда он лежал комочком, пушистым, нежным, маленьким, а сейчас рога его почти половину комнаты зани-

мают. Даже когда он лежит, рога его видны в окно с улицы. Зимой Аким лучшее сено скармливал бурому. Только бурым его назвать теперь трудно. Не та масть. Белеет козел, седеет. Лишь он и не дает забыть имя Данекера. «Бурый Данекера, козел Данекера»,— только и слышно по аулу.

Всем аулом берегли козла, пылинке сесть не давали, и вдруг оседлал козла безумный Тулеш, словно коня боевого. Костыли свои козлу на рога повесил. Сам радуется, хохочет. Кульжамиля схватила его за ворот, сорвала с козла, вручила костыли и, показав на дом, приказала строго:

— Шнель!

Тот постоял, разинув рот, тускло взглянул ей в глаза. Вдруг лицо его задергалось. Боль, ненависть, отчаяние и ужас — все вдруг смешалось и переплелось на этом посеревшем лице. Такой муки еще не приходилось видеть Кульжамиле. Полным страдания, каким-то громким птичьим криком закричал Тулеш и рухнул на землю. Не успела она и глазом моргнуть, как он страшно засмеялся и начал «стрелять». Положив костыли крестом, он строчил и строчил, ведя бой с воображаемым врагом, выполняя долг солдата и гражданина. Потом вскочил, ссутулился и бросился бежать к дому, припадая на раненую ногу и выкрикивая пронзительное:

— Шнель! Шнель!

По представлению Кульжамили, все те, кто в первые дни войны попал в руки врага, были уничтожены. Оказывается, не так было дело. Хоть и страшными были судьбы Ердена и Тулеша, все же они пробудили надежду на возвращение Данекера. Но от этих двух ей ничего не удалось добиться, ничего определенного она не узнала. Один, обозленный, молчал в страхе за себя, другой жил в недоступном горячечном мире. Враг был не так-то прост, как говорили. Иначе не длилась бы война долгих четыре года. Говорили, в начале войны он до ворот самой Москвы добрался. В мирное время ребятишки песни распевали, стихи читали о несокрушимой мощи Родины. Так оно и вышло, да только не так легко, как в песнях пелось, большой кровью заплатили за все. «Если завтра война...», «Врагу землю не дадим. Мечом его победим»,— вспоминались строчки. Сейчас мечом не особенно много намахаешь. Верили песням, да больно беспечными оказались их слова. От них не дрожал коварный враг. Сильное знает меру во всем. Оно не крикливо. Если вернутся джигиты живыми, обязательно скажет им об этом старая Кульжамиля.

Есть собаки, которые молча подкрадываются и кусают неожиданно. Человек может растеряться вначале, но если опомнится, нет пощады коварному псу. Так же подло действовал враг. Уж лучше пес, который громко лает. Старика Амиржана аулчане недавно заставили собственноручно пристрелить его глазастую собаку за то, что та молча нападала на людей. Так бы и собаку Гитлера! Видно, проклятия матерей приблизили его конец. Страшно подумать, что живут еще на земле дьяволы в человечьем обличье.

За жалкие лохмотья мяса натравили на человека страшных собак. Астапыралла! Что бы стало с Кульжамилей и другими аулчанами, если бы они попали под сапог людоедов? Нет-нет, и без того хлебнули в «Алгабасе» крови, даже не видя огня, не слыша выстрелов...

— Светоч мой! Жив ты или давно уж нет тебя?! — томясь, вскрикнула Кульжамиля.

Такая у нее в последнее время появилась привычка. Сама с собой разговаривать стала. Привык к этому и Аким, который вначале с опаской посматривал на мать, боясь, что совсем из ума выжила старуха. Снисходительно покачивали головами и аулчане:

— Что ей, бедной, остается делать? Совсем иссушила ее печаль.

«Светоч мой!» — эти слова Кульжамиля проговорила, проходя мимо детей, игравших в асыки. Ребята решили, что это она о Тулеше, и удивились: «Странный все же характер у бабушки. Недавно сорвала беднягу с козла, а теперь ласковые слова говорит». Кульжамиля посмотрела на выстроенные на кону асыки. За несколько лет впервые видела она в ауле детей, увлеченных игрой. Хотят, видно, наверстать упущенное, урвать хоть немного радости. Что ж, пусть играют. И на Тулеша ей не надо обижаться. Разве знал он, что станет таким?

Старуха вспомнила, как недавно к ней заходила Айнаш. Словно за приговором пришла. Видно, много мучилась и колебалась девушка, прежде чем к ней прийти. Не подруга ведь ей Кульжамиля, не ровесница. Как о самом сокровенном сказать? В годы войны сватались к ней разные женихи. Всем отказала, все Тулеша ждала. Вот и дождалась. Теперь отвергнутые ей в глаза тычут: «Смотри, вон он твой Шнель!» Света не взвидела Айнаш. Измучилась, не знает, что дальше делать. Даже собственная мать попрекает: «Станут тебя старой девой звать. Цену себе потеряешь». А ведь дочерью примерной была и не обузой в семье. Складом заведовала, весь заработок в дом несла. Сыты были. Чем могла и родичей Тулеша поддерживала. Так в чем же вина ее? Перед кем провинилась Айнаш в ауле? Или честность и верность теперь в вину стали ставить? Насколько счастливее она была, когда лишь одной надеждой жила! Зачем вернулся он? Зачем предстал перед ней таким? На днях Айнаш с Нуруш спрятались и перечитали его письмо, написанное перед самым началом войны. И как они плакали! Как плакали!.. Айнаш это письмо как талисман хранила, мечтала ласковые слова от милого при встрече услышать. Прочла ту весточку Кульжамиля.

«Любимая! Моя далекая звездочка! Моя совесть и боль! Моя жизнь...

Айнаш! Я не знаю, какими словами начать мне это письмо. Когда слишком часто говорят «любимая», то это перестает быть правдой. Но что делать. если мне без конца хочется повторять его и каждый раз оно звучит по-новому, каким-то чудесным сиянием

полнится и нежностью необыкновенной. И слово становится только моим. Оно значит для меня то же, что и имя твое. С ним я засыпаю, с ним просыпаюсь, с ним иду в поход, с ним стреляю на учениях. Кончится служба, и я вернусь в аул. Тогда я крепко-крепко прижму тебя к своей груди. Нет, не буду крепко, чтобы тебе больно не стало, чтобы не рассыпалась на тысячи звонких зеркальных капель, оставив меня осиротелым. Я посажу тебя на ладонь и понесу далеко к самым дивным звездам. И буду шептать тебе самые лучшие в мире слова. У меня будет кружиться голова от твоей близости. И я даже упаду на землю от счастья, но снова встану на ноги...

Иногда мне видится, что мы с тобой гуляем по аллеям чудесного парка в Алма-Ате. Будто мы приехали учиться и нам все еще восемнадцать. Мне дали аттестат об окончании школы. Сразу дали, как только узнали, что я служил в армии. Будто... помнишь ли ты о моей мечте стать когда-нибудь писателем? Сейчас я страстно хочу, чтоб мечта моя исполнилась. Солдатская жизнь очень интересна. Многому нас научили. Одно это стоит описать в нескольких книгах. Я хочу еще написать о долгой разлуке верных и любящих сердец. У юноши есть любимая. Джигит с честью выходит из многих суровых испытаний благодаря своей любви. О силе любви, о нежности, чистоте и могуществе ее хочу я писать. Вот какие мысли приходят иногда в голову. Сказать честно, эта девушка как две капли воды похожа на тебя. Смеется совсем как ты, ходит как ты, твоим говорит голосом. Даже мне кажется порой, что сердитесь вы с ней одинаково. Помнишь, перед моим отъездом я хотел тебя поцеловать, а ты не позволила и очень рассердилась? Еще сказала: «Поцелуи никуда от нас не уйдут, успеешь, только возвращайся живым и здоровым». Как я соскучился по твоим сердитым словам! Я готов писать и писать, но я сдерживаю себя. Чтобы все они легли на бумагу, нужно много времени. А нам уже пора выходить строиться. Свободного времени у солдата мало. Воспользовался коротким перерывом. Кажется, дня через два отправимся в длительный поход. Думаю, будут проводиться серьезные учения.

Из джигитов со мной вместе служат Данекер, Курманали, Ерден. Данекер, как и прежде, пишет стихи. Конечно, своей Ж... Читаем все вместе. Только он не может выслать написанное. Положение Ж... тебе известно. Он боится, что у любимой будут неприятности, если узнает муж. Но если бы ты почитала письма Ж... Я думаю, что ни Лейла, ни Баян не смогли бы написать так[1]. До чего богатый язык. Нельзя читать равнодушно. За сердце берет. Теперь представь, каково Данекеру. Но об одном тебя прошу: никому этого письма не читай, никому его не показывай. Нехоро-

[1] Героини восточных легенд «Лейла и Меджнун» и «Козы-Корпеш — Баян-слу».

шо выдавать тайны друзей. Но ты и я — разве мы не одно целое? Поэтому тебе я пишу обо всем.

Курманали поет, как и раньше. Иногда мы просим его спеть песню Тулегена и тогда с особой силой представляем себе наш аул. Весь «Алгабас» видим, словно стоим перед ним, подставив грудь нашему ветру Бесбаксы. Я только теперь понял, что нет ничего дороже горстки родной земли. А какие прекрасные края удалось нам повидать, знала бы ты! Но, кажется мне, все они бледнеют перед глинистыми обрывами Тасарыка.

Ерден все говорит о своей матери и Умит. Переживает: «Вы правильно сделали, что не женились. Молодость может взять свое, тогда она бросит мою старую мать и покинет мой дом. Что мне тогда делать? А здоровье у матери не ахти какое». По сравнению с ним Мукатай куда более спокойнее. Только остальные служат отдельно от нас. Слышим изредка друг о друге. Письма приходят. Привет от меня Асельжан!

Айнаш моя! Ты не представляешь, каких сил прибавило мне твое коротенькое «жду». Письма твои для меня огромное счастье. Я их прячу под подушку и иногда встаю ночью, чтобы перечитать их снова. И снова чувствую радость.

Это письмо я посылаю тебе через Нуруш. Сестра не выдаст — родная кровь. Нашей тайны она никому не откроет. Да она и сама все знает, хитруша. Как-нибудь найдет способ передать его тебе.

Ну, мне пора! Тысячу раз целую твое милое лицо, крепко обнимаю. Сейчас мне можно. Я же так далеко от тебя, что могу и не спрашивать твоего разрешения, верно? До нашей встречи, любимая! Скоро! Ох, как долго еще ждать! Солнце мое! Радость моя! До встречи еще раз!

Тулеш. 20. 06. 41».

Только за два дня до начала войны написано это письмо. Но разве тот Тулеш похож на нынешнего? Он даже не узнает Айнаш, когда она подходит к нему. Только смеется всё своим бессмысленным смехом. Айнаш надеялась, что он выздоровеет, что разум вернется к нему, когда он увидит ее. Подговорила Нуруш, и она устроила им встречу наедине. Тулеш глядел на нее безучастно. И тогда она сказала: «Это я, Айнаш!»

— Айнаш! — ясно повторил он, и девушки обрадовались. «Дада, Айнаш!» — заговорили они, перебивая друг друга. А он вдруг упал на колено, выставил костыль и стал их «расстреливать». Сам доволен, смеется, заливается. Потом заорал: «Шнель! Шнель!» — и выбежал на улицу. Все равно бедняге, собака перед ним или человек. Как тяжко теперь Айнаш! Веру потеряла — излечима ли вообще эта болезнь? Или на всю жизнь останется таким Тулеш? Возвращаются с фронта и без ног, без рук, без ребер, без челюстей... Но они хоть люди. А её вон какая беда постигла. Лучше бы и не видела его вовсе. Спросила как-то Айнаш у Клары, медик все

же, есть ли хоть какая-нибудь надежда. Та промолчала. А потом ответила: «Если бы это у него от контузии было, то со временем ему стало бы лучше, но он испытал сильное потрясение, когда организм был и без того истощен. Впрочем, кто знает...»

Уклончиво ответила, но сердце-то не обманешь. Успокоить ее пыталась Клара: «Ты не жена законная, не мучай себя понапрасну. Ты еще найдешь свое счастье». Оно, конечно, может и так, но за какие грехи бог так жестоко ее покарал? Ведь первая ее любовь! Жалко ей Тулеша, горько за него.

— Ты жалеешь, а бог не знает жалости. Что тут поделаешь? Кулер права. Бог никого не щадит. Да есть ли он? Не связывай себя. У тебя еще все впереди. Только вот будешь ли вполне счастлива, девочка... не знаю,— сказала Кульжамиля после того, как Айнаш закончила свою горькую исповедь.

Сказать сказала, а сама глубоко задумалась. Вместе росли Тулеш с Данекером, как жеребята в одном табуне, и вот до чего довели беднягу... А жив ли Данекер? Ничего пока о нем не известно.

Сын часто снился и грезился матери наяву. То ей виделось, что он погиб в жестоком неравном бою еще в начале войны. Четыре года все некогда было людям, и наконец пришло время со слезами сообщить ей черную весть. Идут к ее дому и громко плачут. Кульжамиля не плачет, потому что в душе давно уже знает, что мертв Данекер. Собравшиеся удивлены ее твердостью. Говорят, что за пять лет горьких все слезы мать выплакала. Темнея лицом, закусив губу, стоит она перед народом...

А то грезится ей Данекер истощенным и страшным за рядами колючей проволоки. Пленный. Скрипит зубами от ненависти к врагу, головы своей не склоняет. Здоровенные рыжие немцы его избивают, травят собаками, но он не издает ни звука. Потом кричит от непереносимой муки, взывая к своему народу. Просит простить его и клянется, что не сдавался он, а попал в плен оглушенный и раненый. И если Родина считает его преступным, то он лучше умрет, чем поганой кровью своей осквернять святую землю. И подставляет грудь под пули...

Бывало, что являлся Данекер матери весь в орденах, звонких и золотых, смеялся и на все расспросы отвечал лишь, что был в тылу у врага, а что делал, о том знают те, кто посылал. Рядом с ним женщина, белокурая красавица. Скромница. Видно, сын научил ее, как держаться со старшими...

Даже когда она на ногах, не оставляют старую видения. А уж ночью — и вовсе покоя нет. Вот от этого она и стала разговаривать с собой вслух.

...По беспредельному, безбрежному океану плывет корабль. Вдруг над водой появляется голова Данекера. Сбросив с плеч широкий халат, Кульжамиля бросается к борту. В это время и сам Данекер цепляется за брошенную веревку. Тянет она изо всех сил.

Все ближе и ближе. И только он весь над водой показался, как вдруг огромная рыба вынырнула рядом и проглотила его...

С криком проснулась старуха. Ах, это только горестный сон. Рядом с ней встревоженный Аким. В сенях вскочил с места испуганный козел.

В другой раз приснились ей несметные полчища гадюк в небе. Тучей черной закрыли они солнце. Свист и шипение вокруг, от которых леденеет сердце. А в самой гуще летает крылатый Данекер. Он размахивает светлой саблей, и сотни изрубленных змей дождем падают на землю.

Клинок в руках Данекера ярко-красный, словно раскаленный. У одной змеи оказалось семь голов. Она оплела Данекера по рукам и ногам, сдавила горло и грудь, так и на землю вместе спустились. Бьет хвостом, брызжет ядом, не пускает мать к сыну.

— Жеребенок мой! Задуши ее! — молит она.

— Пусть остается на семя,— шутит Данекер...

...Райский сад. Тяжелые ветки гнутся до самой земли, отягощенные золотыми, прозрачно-серебряными плодами. Чудесным звоном наполнено все вокруг. Яркие птицы порхают среди листвы. От такой красоты глаз не оторвешь. Сама Кульжамиля одета нарядно, как девушка, хочется ей показаться людям в красивом платье. И вдруг... Сверкнул кинжал в руках Данекера на солнце, высек горячую искру — и запылал сад, объятый могучим пламенем. Он идет среди жаркого огня, и то пламя его не сжигает. А он идет куда-то, взяв за руку жену Тулепа-кузнеца, красавицу Жанар. И они уходят... уходят.

Этот сон вспомнила Кульжамиля, когда Айнаш читала ей письмо Тулеша. Снова воскресило оно образ Жанар, который стал было забываться. Вспомнила, как та ей приз свой отдала по дороге от тока, как настойчиво звала ее при тяжелых родах. Все вспомнилось, точно вчера было. Бедняжка. Теплая волна жалости нахлынула на старуху, а потом снова холодом обдало сердце: «Ушла бы сама, зачем же сына моего увела с собой во сне?»

...Вспомнив теперь тот свой сон, Кульжамиля трижды сплюнула через плечо. Гремя костылями, из-за дома появился Тулеш. «Шнель! Айнаш!» — крикнул он и посмотрел на ребятишек, самым младшим среди которых был Женис. Потом взял и высыпал перед ними кучу асыков. Дети бросились подбирать альчики, образовали кучу малу. Визг и радостные крики огласили воздух. Тулеш стоял и смеялся. Кульжамиля покачала головой, глядя то на детей, то на Тулеша, и пошла своей дорогой, но вдруг остановилась, обожженная внезапной и ужасной болью.

— Эй! — крикнула она отчаянно.— Чей ты сын?!

У маленького Жениса губы от страха задрожали, но он нашел в себе силы чуть слышно ответить грозной старухе:

— Сын Тулепа.

— Да, конечно, что же я это?..— пробормотала Кульжамиля и медленно пошла к дому.

* * *

— ...С детства он был беспокойным. Шел тридцать второй год. Наше положение было ужасным, и я уехал к родственникам, проживающим близ Лепсы. А ему в ту пору и трех не было. Вернулся я, а сына нет. Искали, искали — не нашли. Так и пропал. Какой-то неясный слух дошел до нас, что видели мальчика бредущим за какой-то арбой. Что за арба? Откуда? Куда направлялась? Об этом не знала ни одна живая душа. От свирепого тифа в том же году умерла его мать. Плакали мы, плакали, да разве слезами горю поможешь? Так и сочли пропавшим. Когда я ушел в армию, вторая жена осталась с четырьмя детьми на руках. Еще в армии я слышал много рассказов о пропавших в 1932 году детях, которых потом находили родители в детских домах. Вернувшись, я сразу взялся за поиски. Начал с самого близкого Алакольского детдома. Потом я искал его в Аксу, в Сарканде, в Алма-Ате, в Джамбуле, снова в Алма-Ате, в Карасу и вот прибыл в ваш колхоз.

Нашекен не отрывал глаз от сидящего перед ним человека в военной форме и внимательно слушал его рассказ. Аким очень на него похож, даже горбинка на носу, даже манера смеяться. Нет, он нисколько не сомневался в его словах. Его мучило совсем другое: что же теперь станет делать горемычная Кульжамиля?

— Вижу, вам изрядно пришлось помучиться. Но теперь вашим мучениям пришел конец, вы попали как раз по адресу. Мальчик ваш в надежных руках. Хороший парень, кормилец семьи.

— Никак женился?— испуганно воскликнул собеседник.

— Нет,— слегка улыбнулся Нашекен.— Есть у нас одна старуха. Единственный сын ее с первых дней войны пропал без вести. До сих пор о нем ничего не слышно. Она и взяла мальчика на воспитание. Родным стал для нее паренек.

Последние слова Нашекен сказал со вздохом.

— Все же вы счастливый человек. Сына, которого потеряли трехлетним, нашли юношей семнадцати лет. Но как же быть теперь старой Кульжамиле?

Оба они долго сидели молча. Каждый думал о своем. Кажется, Нашекену хотелось сказать, что найти сына через четырнадцать лет уже само по себе большое счастье. Не лучше ли будет оставить его со старухой? Все равно через каких-нибудь два-три года он женится и станет жить отдельным домом. Так зачем причинять старой женщине новую боль?

А приезжий думал о том, что было бы хорошо, если б нашелся в ауле мудрец, который никого бы не обидел и рассудил справедливо. Так, чтобы и старуха не плакала и он бы вернулся домой с сыном.

В это время вошел Мукажан, подросток пятнадцати лет, единственное чадо и утешение Нашекена. Самый младший, остальные все девочки. Хоть и никто не уходил воевать из дома Нашекена, у старика за каждого воина сердце болело. Всех джигитов

любил он не меньше, чем своего Мукажана. Наверно, даже не меньше родных матери и отца горевал он о детях убитых и покалеченных войной. То, что Аким навсегда уйдет из аула, больно задело старика. Он повернулся к Мукажану:

— Эй, ты не знаешь, в ауле нынче сын Кульжамили?

— В ауле.

Мукажан с любопытством уставился на гостя, которого раньше не видел. Хоть и ребенок, он все же сумел заметить удивительное сходство незнакомца с Акимом. Это понял Нашекен.

— Быстро поешь и беги на работу, а то бригадир сердиться будет,— сказал он Мукажану и обратился к гостю:— Этой осенью думаю послать его учиться. На два года отстал. В нашем ауле нет средней школы, а отправить его учиться в МТС никакой возможности не было. Ну ничего, еще молодой, учиться ему не поздно.— Нашекен намеренно повернул разговор в другое русло. Точно хотел хоть ненадолго отвлечься от мыслей об участи Кульжамили.

— Аким сколько проучился?— спросил военный.

— Признаться, дорогой мой, я и сам толком не знаю. Честно тебе скажу, работа его была нам гораздо дороже учебы. Такое уж время было. Не подумайте, что хвалю его перед вами, но на работе он огнем горит. Тяжелый мужской труд без единой жалобы справлял. Не то что Кульжамиле, но и мне самому жалко с ним расставаться.

— Я понимаю, вам нелегко. Но поймите и вы меня, прошу вас, не чините нам никаких препятствий. Я отец. Позвольте мне забрать сына с собой. Я и без того четырнадцать лет покоя не знал.

— Избавил бы ты меня от этого дела, светоч мой! Сходи с руководителями колхоза поговори. Много слез пролила несчастная старуха. Я не хочу видеть новых в то время, когда находятся пропавшие и воскресают мертвые. Не раз мне приходилось вот эту бороду слезами орошать рядом с ней. Мы устали плакать, родной мой.

* * *

Люди ожидали взрыва горя, криков и слез от Кульжамили, но неожиданно для всех заупрямился вдруг сам Аким. Не захотел он уезжать, только сказал: «Мне не нужен отец, который не искал меня в детстве, а сейчас я сам могу решать. Кем же я буду, если оставлю одинокую старуху, которая уже одной ногой в могиле?» Целую неделю прожил в ауле Касым, не зная, уезжать ему или оставаться. Увидела его Кульжамиля и жалко ей стало человека. Разлука всегда тяжела. Если смерть разлучает, то не остается и надежд. А расставание с живыми больно ранит сердце, и рана эта саднит годы и годы. Так и не заживет она до самой смерти. Неужели Кульжамиля, которая не знала жизни без печали, сможет лишить радости другого человека? Нет, если она так поступит, то не простят ей ни бог, ни люди.

Правда, очень она привыкла к Акиму, привязалась как к родному. Был он для нее и сыном и дочерью сразу, опорой в жизни. Лелеяла его. Кто знает, была бы она жива до сих пор, если б не он. Если бы не его заботы о хозяйстве, о продовольствии и топливе, если бы не его заработки... Конечно, будет ей теперь очень трудно. Кто, как не он, ухаживал за десятком коз? Да и родными стали. Чего стоят одни только его слова: «Когда вернется Данекер-ага, он всюду будет брать меня с собой». А что уезжать не хочет, так это он из-за нее переживает. Будь она сто раз хорошей, хоть золотой, разве с родным отцом сравниться? Она помнит, как не раз плакал в детстве Данекер: «Почему отец умер так рано?» Для ребенка отец все равно что высокая гора. Это отец помогает своему дитяти узнать мир, стремиться к вершинам. Своего сына старуха вырастила без отца. Много трудностей пришлось вынести. Неужто теперь она хочет, чтобы кто-то другой повторил судьбу Данекера? Нет, это будет несправедливо. Тяжело умирать, унося с собой в могилу чьи-то слезы, чью-то обиду, раскаяние. Хватит с нее и своего.

Обо всем этом сказала она Акиму наедине. Как мать и сын поговорили они откровенно. Ни слезинки не пролила Кульжамиля, сдержалась. Боялась, что слезы ее заставят Акима сделать неверный выбор. Все мужество призвала она, и старое сердце ее было твердым.

— В трудное время ты был моей опорой. Дай бог тебе большого счастья! Немало я видела от тебя добра. Пусть и родной твой отец увидит. Он целых четырнадцать лет страдал. Это нелегко, сынок. Рану эту способен залечить только ты один. Я благодарна тебе, аллах тобой доволен. Если когда словом или делом обидела, прости. Сам знаешь, иногда я себя от боли не помню, из ума стала выживать. Так уж не суди. Если есть аллах на небе, не даст угаснуть последней надежде. Ведь и тебя отец отыскал через долгих четырнадцать лет. Может, найдет меня и Данекер.

Слова матери заставили Акима задуматься обо всем еще раз.

Он схватил литовку и ушел косить сено. Решил хоть корм на зиму для коз заготовить. Взгляд его упал на коричневую падь.

Волнуется как море желтая нива. Серебряной спиралью вьется по горе арык Нашекена. Вода блестит, точно ртуть, тяжелым блеском. И чудом волшебным кажется восхождение ее к вершине. В этом есть и доля его труда. Он вспомнил хребет Кайрана, каурого жеребца, похудевшего, смертельно усталого Нашекена. Теплое чувство захлестнуло его. Сердце стало мягким, как сладкий мед. В детдоме тоже прошло немало памятных лет. Но, как говорится, «вкус хряща, съеденного в голод, остается в памяти на всю жизнь». Поэтому годы, проведенные в «Алгабасе», особенно дороги ему. Время заставило его рано повзрослеть. И взрослым он стал именно здесь. Сейчас у него совсем другой взгляд на жизнь. Он стал все взвешивать, отбирать, обдумывать. Продажа муки в Текели, джут, град, буран, ночи, проведенные с табуном,— давно ли

прошел он через эти испытания? Но если раньше мечты его не шли дальше сладкого сна и вкусной пищи, то теперь он стал думать обо всем гораздо глубже и яснее понимать сердцем. Не только ростом стал выше, но и умом вырос.

Задумавшись, он незаметно ушел довольно далеко. Острая коса словно бритвой срезала траву, послушно падавшую на землю. Ручку для этой косы он вырезал сам, сам же и лезвие наточил. Дома в углу сарая лежали вилы, грабли, кетмень, лопата, наковальня, топор, молоток... Все, сделанное его заботливыми руками. Ничем не хуже тех домов, где есть взрослый хозяин. Аким пригладил вспотевшей ладонью волосы, которые отпустил сразу после войны. Отросли, длинными стали, не мешало бы постричься. Не съездить ли завтра в Антоновку? Да и матери чай нужен. Секретарша из правления, кокетливая девчонка, просила и ее захватить, если он решит поехать. Она на следующий год десятый класс будет заканчивать, а Акиму война не дала возможности дальше учиться. Семилетку-то он давно закончил. И хочется ему учиться, да одно смущает — как он с малой ребятней за одной партой сидеть будет, верзила этакий...

Сбросив рубаху, он с новой силой принялся махать литовкой. Даже с одной полянки можно собрать довольно много сена. На зиму хватит. Пока он завтра съездит на базар, оно уже подсохнет, а послезавтра его в один приезд можно будет к дому перевезти. Колхоз, наверно, не откажет дать телегу с быком...

Несмотря на протесты Акима, отец вышел ему помогать. Забрался наверх и прессует сено, которое рогачом подает снизу сын. Краем глаза нет-нет да посмотрит на Акима. Совсем уже взрослый джигит первенец Касыма, пробудивший в нем отцовские чувства, а потом пропавший на целых четырнадцать лет. Спина у него широкая, плечи могучие, мускулы так и играют под кожей. Такого парня воспитали! Касым никогда не забывал говорить четверым младшим о старшем их брате. Имя Акима стало привычным и для слуха жены. Она знает, как страдает муж, не ест, не пьет, когда с новой остротой вспыхнет воспоминание о пропавшем сыне. А теперь вот он, перед ним. Гордость переполняет отца. Только чуждаются пока друг друга, напряженно, осторожно разговаривают. Легко ли? Четырнадцать лет прошло! С Кульжамилей сын ведет себя свободней. Видно, каждое слово этой старухи для него, как повеление аллаха, свято.

Аким тоже украдкой посматривает на отца. Бледный он, ни кровинки в лице. Недавно сам говорил, что в теле у него сидит осколок, видно, мучает; каждый раз, когда он поднимает рогач, жилы на шее его вздуваются как веревки. Жалко человека. Словно ребенок, который хватается за непосильную работу, чтобы заслужить похвалу от взрослых.

Даже носом виновато пошмыгивает. Чувствует Аким, что не выдержит человек, если побольше ему сена подбросить. Будто дьявол какой натолкнул на эту мысль, да жалость острая удержала.

Жестоко обижать так человека. Взгляды их встретились. И сын и отец, боясь верить себе, увидели любовь в глазах друг друга. Заметила это и вышедшая из дома Кульжамиля. «Своя кровь зовет. Мудра ты, природа»,— сказала она про себя. Аким захватил вилами сена и вдруг увидел зашатавшегося отца. Тот удержался, не упал, но лицо его посинело. Только рогач его и поддерживал.

— Отец!— сдавленно крикнул Аким и бросился наверх по приставной деревянной лестнице.

Ласково и успокаивающе взглянул на сына Касым. «Отцом назвал, ягненок мой теплый. Сердце признало, значит». Забыв о боли, он протянул к сыну руки, и Аким сам не заметил, как оказался в его объятиях.

— Пойдемте! Обопритесь на меня! Так. Сейчас вниз спустимся. Я же говорил вам,— испуганно бормотал Аким, помогая отцу спускаться по лестнице.

Кульжамиля, ждавшая их внизу, прослезилась. Мужчина тоже украдкой вытер ладонью глаза, чтобы не заметил сын.

Вечером Аким позвал домой Клару. Она прочитала документы о ранении, задумалась и посоветовала немедленно везти больного в Сарканд.

— Ему совсем нельзя поднимать никаких тяжестей. Осколок сместился. Это очень опасно, так как осколок находится рядом с сердцем.

Аким побледнел. С болью взглянул на Клару, на мать. Касым, заметив, как сильно разволновался мальчик, тихо сказал:

— Успокойся, сынок! Дело не так уж плохо. Ты помоги матери сено заготовить, на мельницу съезди, а потом меня в больницу отвезешь.

Аким места себе не находил. То в дом войдет, то выйдет. Это напомнило Кульжамиле далекое счастливое время, когда Данекер точно так же потерял покой перед отъездом в армию. Видно, и этому сорванцу жаль улетать из гнезда.

Стуча копытами, вышел на улицу бурый козел, просыпал перед дверью горошек и блаженно потянулся. Он стал огромным. Копыта его, если бы не были раздвоенными, вполне можно было принять за жеребячьи. Выбравшиеся из загона навстречу бурому козы были грязными и лохматыми, а вожак их стоял чистый и ухоженный; бахромчатая шерсть как богатая попона покрывала его спину, блестела, серебрилась. Казалось, лучшие породы коз, красивых и могучих, дали ему жизнь. Он почесал осторожно рогами заднюю ногу, задрал ухо к солнцу и замер, куда-то вглядываясь блестящими на свету глазами. Пушистая белая борода его дрожала на ветру. Аким подошел к бурому, обнял за шею. Козел задвигал сизыми губами и обнюхал мальчика. Глаза парня затуманились. Он погладил острую морду козла и оглянулся. На них пристально смотрела Кульжамиля. Увидев, что бурый вышел, козы побрели на пастби-

ще. Спина вожака была широкой, как лавка. Шерсть старательно расчесана. Чуть не до спины загнуты сильные рога. И ступает с какой-то важностью.

Вместе с отцом Аким долго смотрел вслед уходящему стаду.

— Пойдем домой! — наконец предложил он.

Когда они молча вошли в комнату, Кульжамиля стояла у раскрытого сундука, сосредоточенно роясь в его недрах. Через некоторое время она достала оттуда коржун. Тот самый, который она когда-то собрала Данекеру в дорогу. Всех тогда восхитила ее тонкая работа. Все свое умение, все силы, всю тоску и любовь свою вложила она в затейливые узоры дорожного мешка. Данекер выслал его обратно посылкой. С тех пор и лежал коржун в сундуке, памятью, одной из самых дорогих в доме вещей. Его-то и хотела Кульжамиля отдать Акиму. Встряхнула... и осыпались кисти.

— Ой, да что это еще за напасть?! — воскликнула она.

Моль. Мешок оказался траченным молью. Маленькая, прожорливая, вредная тварь. Несколько высохших насекомых упали на пол. Старуха осторожно развернула мешок и увидела множество дыр, словно проколотых тонким кинжалом. Нахмурилась Кульжамиля и повернулась к Акиму:

— Светик мой, от чистого сердца хотела сделать тебе подарок, которого касались руки брата твоего, Данекера. Моль попортила. Да и сколько можно ждать, даже коржун не вынес. — Она помолчала. — Видно, и я в один прекрасный день стану никуда не годной, как этот мешок.

Сжалось сердце у Касыма. Он осторожно задышал, боясь пробудить боль. Это заметили Кульжамиля с Акимом, заставили лечь его и отдохнуть, потом осторожно довели до арбы. Прощаясь, он только и сумел сказать:

— Пусть аллах не оставит вас своими милостями! Спасибо!

Аким бросился к Кульжамиле и крепко обнял. Спрятав лицо на ее груди, он долго стоял, прижавшись к ней, и плечи его вздрагивали. Уставившись куда-то вдаль слепыми глазами, старая женщина гладила его затылок. Так она провожала когда-то и Данекера. Никогда Аким так открыто не проявлял своих чувств. Горько было, тяжело, трудно. С телеги донесся слабый голос отца. Аким поплелся к арбе, и ноги его подгибались...

Кульжамиля забралась на вершину стога, сложенного Акимом, и долго смотрела им вслед. «Касым нашел своего сына через четырнадцать лет». Кто-то словно шепнул ей на ухо эти слова... Через четырнадцать лет... да, верно... нашел. Сколько же прошло со дня отъезда Данекера?

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Самый большой той в ауле был устроен в честь вернувшегося с фронта Кельбета. Ничего не пожалел аксакал Жуман. Гости были приглашены не только из «Алгабаса», но и с Кокузекской МТС и из прилегающих к ней колхозов имени Ленина, имени Кирова, «Агарту», «Октября», даже из Саркандского района.

На краю аула высился большой белый дом. Рядом с ним поставили несколько юрт. Огромные казаны жарились на веселом огне, и аромат варившегося мяса заставлял трепетать ноздри. Не только люди, но и все аульные собаки собрались у дома Жумана. Всюду царила суета. Взад и вперед сновали озабоченные женщины, толпами носились ребятишки. Каждый выполнял какое-нибудь поручение, оказывал посильную помощь. Аксакал Жуман, воспользовавшись перерывом в беспокойной колхозной работе, попросил руководство освободить людей на два-три дня. Между сенокосом и уборкой урожая бывает краткое затишье. К этому моменту и приурочили той. Привезли с молочной фермы и поставили юрты.

Кому, как не старому Жуману, устраивать большой праздник? Небо снова подарило ему сына, от которого долгих шесть лет не было никаких вестей. Одним из самых сознательных и активных колхозников был в годы войны старик Жуман. После Нашекена, до самого приезда Аскарбая был он бригадиром первой бригады, заведовал молочной фермой. На своих плечах вынес и трудный военный заем. Похудел Жуман, тощим стал и его кошелек. Но он собрал все свои силы, все вложил в этот той, не стал жалеть. Да и на что ему теперь добро — сын вернулся!

С сияющими глазами, совсем обезумев от радости, носится среди гостей и сердечная Уазипа. Это вторая жена Жумана. От первой у него остались Кельбет, Кайша, Молдажан, а от Уазипы родился только Карабек. Никто не считает Уазипу мачехой, для всех детей сумела она стать матерью.

— Рада, хозяйка?— спрашивают ее люди.

— Ойбу! Что и говорить?! Кельбет наш словно заново родился и с неба к нам упал.

Не выдерживает, заходит в комнату, где сын с гостями чаевничает, и при всех целует его. Все у нее от счастья из рук валится. За все хватается и тут же забывает, ничего толком не сделает. Бегает от дома к очагам и все щебечет без умолку. Карманы ее набиты куртом и баурсаками, которыми она угощает детишек, снующих под ногами. Даже аульные собаки благодаря ей сыты и довольны. Уазипа радуется, что и псы все собрались к счастливому дому, и бросает им кости и хлебцы.

— Меня ни о чем сейчас не спрашивайте. Я совсем сумасшедшей стала от радости,— не устает она повторять.

Заправляет тоем, всеми приготовлениями Кайша. С радостью исполняет свои нелегкие обязанности, и на лице ее не гаснет улыбка. Она редко заходит в комнату, где сидит брат. Когда Кельбет

уходил служить в армию, она была еще школьницей Пришла ее пора, и мать с отцом выдали дочь замуж. Муженек ее работает председателем одного из ближних колхозов.

Родная мать Кайши была искусной мастерицей, улыбчивой, доброй. Очень ее в ауле уважали. Да жаль, умерла рано. Умом, статью, красотой, сдержанностью Кайша была похожа на мать. А ее простодушие, доверчивость, беззлобность — это от Уазипы. Так люди говорят. Те, кто знал ее мать, удивлялись, до чего ж она похожа на покойницу. Такая же выдержанная, хозяйственная, щедрая.

Кайше очень хотелось послушать, о чем рассказывает гостям брат, но она чувствует себя немного виноватой и старается не показываться часто ему на глаза. Свадьбу-то без него сыграли. Это мешает ей прямо посмотреть брату в лицо. Она даже не успела рассмотреть его как следует. А ведь прошло уже немало времени со дня его приезда. За все эти дни она всего четыре раза мельком видела Кельбета. А потом еще столько забот с этим тоем на нее свалилось, что просто вздохнуть некогда. Отец советуется с ней, доверяет, что-то все поручает. Да изредка промелькнет рядом Уазипа, и голос ее еще долго доносится:

— Ах, солнышко мое! Да неужто правда это?!

Какой день Уазипа все не может никак поверить в чудесное возвращение сына. Она в этом ауле всех уже успела перецеловать, и старого и малого. Нашекен был на три-четыре года старше Жумана. Несмотря на это, она и его сумела облобызать. Люди, конечно, очень этому смеялись, спрашивали, как ей удалось, как в голову пришло поцеловать кайнагу.

— Взяла и поцеловала,— отвечала она.— Неслась как угорелая, а навстречу мне какой-то старик. Я от радости совсем растерялась, схватила его и поцеловала, а потом гляжу: ойбай, это же Нашекеп. И говорю ему, значит: «Ойбу, Нашеке, это, оказывается, вы?» Он засмеялся и сказал: «Ничего, случается в радости и не такое. Не смущайся! Поздравляю тебя! Говорят, кого поцелует сноха, тот старости не поддается».

На следующее утро после приезда Кайша тихонько проскользнула в комнату, где брат начинал рассказ о суровых судьбах людей, о проклятой войне. Все оставили свои дела, стали жадно слушать. Рядом с Кельбетом, задевая его своим коленом, сидела Асельжан, жена Мукатая. Хоть и вместе в армию ушли, все же Мукатай на два-три месяца старше Кельбета. Кроме того, деды у них общие. Вот и считала Асельжан Кельбета своим кайны[1]. «Ученым» называла, потому что больше всех из тогдашних призывников проучился Кельбет. К тому времени он учился в девятом классе.

— Ах, ученый мой кайны, сядь-ка поудобней и расскажи все как следует,— стрельнула кокетливо глазками Асельжан.

---

[1] Кайны — младший родственник мужа или жены.

— Мне удобнее всего было бы обнять тебя.

— Как хочешь, в твоих объятиях и умереть не жалко,— вздохнула Асельжан. Кельбет ее понимал. Без вести пропал Мукатай. Он еще ближе придвинулся к ней и начал рассказывать.

— Стояли мы, можно сказать, в самом центре огня. Речка Буг протекала рядом, небольшая, вроде нашей Лепсы. На противоположном берегу польская земля, оккупированная немцами, а на этом — наши части. Фашистских солдат мы видели ясно, и они за нами наблюдали. Только не думали мы, что скоро воевать с ними придется. Существовал же пакт о ненападении. Сам я этому пакту как богу верил. А в 1941 году к границе нашей стали подтягивать войска. От учения к учению все строже становилась дисциплина. А учения проводились все чаще. Там, где я служил, никого из наших джигитов не было. Но, вообще-то, Брест — город большой. Вокруг него, в самом городе, на границе и в крепости расположилось несколько воинских частей. Особенно много солдат было в крепости. Мукатай тоже служил в этом гарнизоне. Потом мы слышали, что там проходили самые ожесточенные бои. Враг уже далеко продвинулся в глубь нашей земли, а за спиной у него отчаянно дрались защитники крепости. Долго она стояла...

— Выходит, Мукатай в самом пекле оказался?— плачущим голосом спросила Асельжан.

— Да,— вздохнул Кельбет и продолжил:— Данекер, Курманали, Ерден и Тулеш были направлены в подразделение недалеко от города. Я — чуть ближе. За день до начала войны нас решено было отправить на учебу. В воскресенье мы собирались выехать. Но все случилось по-другому. Проснулся я от страшного грохота, выглянул наружу и оцепенел. Все вокруг было объято огнем: и небо, и земля. Мы бросились к оружию. Кто одеться успел, а кто так полуголым и остался. Едва рассвело, мы скрылись в лесу. А лесов и болот в Белоруссии — тьма тьмущая. Они нас и спасли от верной гибели. От части отстали, где ее искать — не знали. А враг к тому времени ушел далеко вперед. Каждый шаг грозил опасностью. Вот так и плутали на волоске от смерти, пока не вышли в Полесье и не присоединились к партизанам. Есть там поселок Октябрьск, его, как и Брестскую крепость, враг не мог взять до самого марта 1942 года. Рядом с ним мы и партизанили. Дороги железные портили, поезда под откос пускали, взрывали мосты, оружие отбирали, казнили карателей и изменников. А сами из леса в лес переходили, часто меняли стоянки. Немцы нас как огня боялись. Однажды дозорные привели на базу двух людей. В одном из них я узнал Данекера.

— Данекера?!— закричали разом слушатели Кельбета.

— ...Да-да, Данекера. Мы обнялись чуть не плача. Он был совсем истощенным и слабым. Дня два-три отдохнул, окреп немного и присоединился к нам. Это было весной 1943 года. Оказывается, с ними в первую военную ночь случилось то же, что и с нами. Только они не рассыпались, как мы, а организованно отступили в

Беловежскую пущу. Курмачаля и Тулеша они с первых часов войны потеряли. Рядом с Данекером из аула остался только Ерден. Вместе отступали. Шоссе, проходившее через лес, вдруг раздвоилось. У этой развилки Данекер со своим другом Сашей остались в засаде, чтобы дать возможность своим уйти подальше. Командир оставил им пулемет и гранаты. Они четыре часа сдерживали врага. Сначала погиб Саша. А враг все ползет, как саранча. Данекер бросил последнюю гранату и собирался пустить себе пулю в лоб, но в последний момент его что-то сильно толкнуло в бок, и он потерял сознание. Это рядом с ним разорвалась мина. Дальше он ничего не помнил. Сознание возвращалось к нему медленно. Он не знал, сколько прошло времени: день, месяц, год... Первой, еще не совсем ясной мыслью была мысль о плене. К несчастью, она подтвердилась. Придя в себя, Данекер услышал где-то рядом резкую немецкую речь. Тяжело раненный и контуженный, он попал в фашистский концлагерь. Его лечили пленные советские врачи, причем немцы их предупредили, что они головой отвечают за его жизнь. И вот почему. Исход боя у развилки удивил фашистов. Когда они узнали, что только двое советских солдат в течение четырех часов не давали им продвинуться, то чуть с ума не посходили от злости. Обрадовались, что хоть один попал в их руки, и, видимо, решили сначала подлечить, а потом вдоволь поиздеваться над ним на допросах, подвергнуть самым изощренным пыткам, может, для того, чтобы себя успокоить... Врачи сказали Данекеру, что немцы готовят ему какую-то страшную участь и что советские люди ищут способ спасти своего соотечественника. Концлагерь этот находился на польской земле, близ местечка Бяла Подляска. Он был окружен несколькими рядами колючей проволоки под высоким напряжением. Охрана была строгая: отлично выдрессированные молодчики из СС и специально обученные собаки. Рана Данекера заживала долго. Особенно мучила его контузия. Когда ему стало немного лучше, врачи заявили, что он заболел тифом, и перевели его в тифозный барак. Немцы, особенно офицеры, очень боялись заразы, поэтому умерших от тифа хоронили далеко от лагеря. Похоронная команда состояла из заключенных. Воспользовавшись этим, вместе с трупами вывезли и Данекера. Он сумел дать знак, и его лишь чуть присыпали сверху землей. Побег удался, а потом он прошел еще через множество жестоких испытаний, пока не встретил партизан...— Кельбет на минуту умолк.

В это время мальчик, стоявший в дверях, крикнул:

— Сюда идет бабушка Кульжамиля!

Кельбет и Асельжан встали с места.

Сначала в проходе показалась рука с палкой, а потом и вся старуха в несвежем кимешеке, в потертом коричневом бешмете. Прищурившись, она внимательно оглядела сидящих и спросила:

— Где сын Жумана?

Так она спрашивала всегда, когда входила в дом какого-нибудь вернувшегося с фронта джигита: «Где сын такого-то?» Потом,

крепко обняв, целовала его и приговаривала: «Вернулся жив-здоров, слава богу!» И, отстранив фронтовика, жадно смотрела ему в лицо. Люди думали, что так поступит она и сейчас. Но ошиблись. Увидев стоящего перед ней в военной форме улыбающегося Кельбета, она вдруг громко заплакала и, крепко обняв, завела вдруг печальное жоктау, словно хоронила кого-то. Люди растерялись, а Кульжамиля уже оправилась и нежно затараторила:

— Вернулся, сокол наш ясный!.. Жеребенок мой пропавший, отыскался!.. Не зря все глаза выплакали по тебе — прилетел в родное гнездо. Без тебя так пусто было на свете, солнышко мое! Мы уж устали жить, но ты вернулся, и снова стало светло вокруг.

Собравшиеся сидели, опустив головы. Потом не выдержали и стали плакать. Долго не мог успокоиться и Кельбет. Он снова и снова обнимал Кульжамилю, пряча лицо у нее на груди. Будто и не радость пришла в этот дом, а новая беда. Всю тоску излили и гости, и хозяева.

— Хватит!— вдруг отрезала Кульжамиля, пристукнув своей палкой, как бы поставив точку.— Руки-ноги у тебя целы, на костыли не опираешься, глаза на месте, голова тоже на плечах. Даже уши твои лопоухие целы. Словно у дальних родственников гостил.

— Разве рождаются дурные дети от таких матерей, как вы? Мы в огне не горим, в воде не тонем, нас пуля обходит, и меч не берет. Такую закалку мы получили в вашей утробе,— весело пошутил Кельбет.

Все громко расхохотались. По нраву пришлись им такие речи.

— Где Данекер? Как же это получается, что уходили вместе, а возвращаетесь врозь?— Кульжамиля тяжело вздохнула.

— Он как раз о нем рассказывал перед вашим приходом,— сказала Асельжан и подтолкнула кайны:— Ну, ученый мой, продолжай!

Специально для Кульжамили Кельбет рассказал все с самого начала. О бое на развилке, о том, как попал в плен Данекер, как его хоронили живым, как удалось ему бежать. Нелегко было рассказывать матери о страданиях сына. Тихо говорил Кельбет, словно его самого хоронили с умершими от тифа заключенными, бисеринки пота выступили на лбу. Кульжамиля сидела молча, только частые слезы бежали из ее открытых глаз. Всплакнули вместе с ней и другие. Кельбет и сам разбередил свою старую незаживающую рану. Стало жарко щекам, и холодом лизнуло сердце. Сможет ли он довести свой рассказ до конца? Хватит ли сил? Тяжело, но люди ждут.

— ...Вот так и свела нас судьба с Данекером в марте 1943 года. Здесь ему тоже пришлось немало горя хлебнуть. Но все же кругом были свои, и тяжелые лишения лесной жизни казались не такими страшными. Он был опять ранен, но легко... Да-а, пришлось нам грязи помесить той весной. Но мы были так рады друг другу, словно весь аул переехал к нам в партизанские леса. Начало 1944

года было холодным. Наши войска наконец-то погнали немца с родной земли, прямо наступали на пятки. Со дня на день ждали мы радостной встречи. Наша база стояла тогда в густо населенном районе. Сюда немцы стали стягивать войска. И наше отделение получило приказ взять «языка», так мы называли взятого в плен вражеского солдата.

— Ойбай, да разве он дастся в руки живым?— перебили Кельбета.

— А как же! Немец, если в руки попадется, как бык становится. В рот ему кляп — и готово, веди. Мы такие операции много раз проводили. Словом, пошли на задание. И Данекер с нами. Мы всегда с ним просились вместе. Думали, если придется погибнуть, то умрем вместе. Пятеро нас было. В сумерках залегли на окраине населенного пункта. Замечаем, охрана усиленная. К ночи немцы становились боязливыми. Отучили мы их спокойно спать. С того места, где мы устроились, просматривался большой гараж, а за ним через площадку светилось окно дома. В нем человек десять, мужчины и женщины. Вроде, плясали. А у дверей пара часовых. Ходят в разные стороны. Сойдутся и снова расходятся. Не один, так другой нас увидит наверняка. Стали выжидать. Через некоторое время кто-то вышел из дома и что-то повелительно крикнул часовому. Солдат тотчас прошел в дом. На улице остался только второй часовой. И тот весь согнулся от холода. Что бы ни случилось, мы решили действовать. Перебежали к гаражу. Когда часовой повернулся спиной, на него кошкой прыгнул Данекер. Быстро забили немцу в рот кляп, сорвали с него шинель и шапку. С нами был один русский паренек, одного роста с тем фрицем. Он быстро натянул на себя немецкую шинель, нахлобучил шапку и стал прохаживаться точно часовой. Ну просто вылитый немец. Данекер остался в укрытии ждать товарища, а мы повели в штаб «языка». Они должны были подождать сколько можно, чтобы мы успели уйти, а потом догнать нас. Втроем повели немца и только вошли в лес, как сзади затрещали выстрелы, послышались разрывы гранат. Судя по пальбе, начался настоящий бой. Залаяли собаки. Данекер знал, по какой дороге мы пойдем — на восток. Поэтому они с Василием, так звали того русского, побежали на запад, чтобы отвести немцев от нас. Мы были уверены, что им удалось пробиться к лесу. Но стрельба все не стихала, а мы ушли уже довольно далеко. «Язык» наш дал очень ценные показания. Враг готовил большое контрнаступление. В отряде до утра прождали Данекера с Василием. Они так и не вернулись. Утром немцы покинули тот населенный пункт. Судя по всему, они испугались партизан. Да и фронт уже накатывался все ближе. Мы отправились к месту вчерашнего боя. Следы есть, а самих ребят нет. Долго нам задерживаться было нельзя, партизаны выступали в поход. Так и не узнали, что же сталось с нашими товарищами.

— Значит, там он погиб,— подняла на рассказчика красные глаза Кульжамиля.

— Эх, мать! Надо надеяться и ждать. Никто его мертвым не видел. Мы старательно все обыскали, не нашли их тел. На войне всякие чудеса случаются. А у партизан особенно. Потом я тоже отстал от своего отряда, попал в Польшу, потом в Югославию. И там партизанил. Перед самой Победой меня контузило и я полтора года в госпиталях провалялся. Не слышал ничего, слова сказать не мог. А теперь сами видите, какой стал...

На людей подействовал убедительный тон Кельбета.

— Да, выглядишь ты неплохо.

— Может, и он где-нибудь ходит, домой дела не пускают.

— Раз его и живым хоронили, теперь никакая беда не возьмет.

— Кто знает, может, снова в плен попал и только теперь домой добирается.

Люди это в основном для Кульжамили говорили, в утешение. Кельбет молчал, нахмурившись. Глубокая складка перерезала его лоб. Кто знает, может, был он сейчас не в своем доме, а в тех лесах...

Вошла Умит. Плечи ее были опущены, походка усталая. Перешагнув порог, она беззвучно зашевелила губами. Даже поздороваться громко не смела с людьми. На исхудавшем ее лице остались одни глаза. Кельбет поднялся навстречу. Поцеловал ее в обе щеки. Умит заплакала. Тогда Кельбет взял ее за локоть, провел к гостевому месту и усадил рядом с собой. Он ласково провел ладонью по ее голове. Старенький ситцевый платок упал на пол. В волосы бедняжки уже прокралась седина, а косы были тугие и толстые, как в девичьи годы. От переживаний она так похудела, что скулы выступили острыми углами, а лицо словно вытянулось. Он снова погладил ее по голове, будто говоря, что ее вины нет ни в чем.

— Были среди нас, холостяков, две красавицы — Умит и Асельжан. Мы в ваши дома по очереди ходили обедать. Вы, наверное, намучились тогда с нами. Помнишь? — ласково сказал Кельбет.

— Разве можно это усталостью называть? Мы потом узнали, что значит настоящая усталость. А то были просто изнеженные капризы,— немного повеселела Умит.— Теперь, если бы вернулось то время, без единого слова готовили бы и ухаживали за вами. Если бы только вернулось...

— Эх, друзья-ровесники! Трое только сидят за одним дастарханом. Две женщины и один джигит...

Кульжамиля рассмеялась. Чудился в ее смехе какой-то невеселый укор. Кельбет направил разговор в другое русло.

— Ну, перейдем-ка к аульным новостям. Я уже достаточно рассказал вам о фронте. По-моему, молодухи совсем не изменились. Наши Умит и Асельжан как цветочки яркие цветут.

Сидящие засмеялись.

— Вчера тут приходили Тенге, Злиха, Алиша, Жамига с Ба-

тимой, Жанар и Жахия. На них смотреть приятно и радостно,— продолжал Кельбет.

— Скажешь тоже,— откликнулась Кульжамиля.— У трех только из семи баб, тобой названных, не пустуют постели, есть мужики, а остальным с чего расцветать без полива?

Гости расхохотались, радуясь соленой шутке старухи.

— ...Как-то встретилась с Садыком и Нашекеном: Я все им своими просьбами надоедаю. И в тот раз чего-то хотела попросить, уж запамятовала чего,— сказала Кульжамиля.— Они, оказывается, подсчитали, что молодых и немолодых ушло из этого аула воевать 110 человек, а вернулось всего 30, считая и тебя. Остальных война проглотила. Кого в этом ауле много, так это яловых баб. Но надо им отдать должное, они несли на своих плечах хозяйство. Благодаря им аул твой остался аулом, а не жилищем для сов. Вот они, сидят перед тобой. Эта, и эта, и вот та...— Кульжамиля стала пальцем тыкать в сидящих.— У каждой рана на сердце. Ни одной нет целой. На этом свете я долго живу, но зверя выносливей бабы мне видеть не приходилось. А уж что только не пришлось им, бедным, испытать, светоч мой...

Девушки за ее спиной не выдержали, запрыскали в кулачки.

— Эй, чему вы там расхихикались?— оборвала их Кульжамиля.— И вы бабами будете. Только счастливей тех. Война кончилась, по одному возвращаются домой уцелевшие джигиты. Вот свяжем вас по рукам и ногам и выдадим замуж.

Девушки бросились вон из дома. Вслед им раскатисто смеялись гости, довольные тем, что не плачет больше Кульжамиля. Старуха словно забыла печаль, держится приподнято.

— ...В один из прошлых годов задумалась я как-то, почему детишки в ауле перестали играть в асыки. Эх, глупая моя голова! Дети ведь совсем не рождались, откуда взяться играм? Скажите, люди, сколько лет вы ждете приглашения на той в честь новорожденного? Тех, кто уже способен был играть, заставили работать. Э-э-э, чего только нам не показала эта война. Говорят, отцы и матери молят бога о том, чтобы в свое время горсть земли в их могилу бросил их сын. Какой же отец мечтает пережить своего сына? Разве может быть счастлива мать, своими руками закрывшая глаза собственных детей? Природа мудра.

— Сохрани аллах, о чем это вы вдруг заговорили? Тьфу-тьфу! Избави аллах! Или у старого Шораби научились?— всполошилась одна старуха.

— Не понимаю, о чем ты? Что тебя так испугало? Зачем же мы тогда старые кости свои таскаем? Или ты надеешься, что твой зять бросит горсть земли на твою могилу? Или Данекер меня похоронит? Ту-у! Если бы все вернулись, то это и не война была бы. Кто-то должен был пасть. Смерть не смотрит на то, одинокая ты, бедная или нищая...— Кульжамиля повернулась к старухе.— Трое сыновей Кияхмета, Базарбай, Азимбай, Аскарбай, все вернулись. У Абдрахмана пришли все, кроме Курманали. Но в каждом ли

доме так? Нет. Многие не возвратились. Отцы, братья, мужья, родственники... Погляди на кыдырбаевский дом. Вместе с сыном и сам канул. Если бы бог знал справедливость, то он пощадил бы нас с тобой в первую очередь. Катке — твой единственный зять. Сыном твоим считается. Данекер — мой единственный сын. Неужели ты веришь, что живы они до сих пор? Бог жесток, он не знает милосердия. До сих пор мы напрасно сопли распускали во имя божие. Он просто злыдень, если позволил разразиться войне. О старике Шораби вспомнила? Шораби мудро поступил, умерев раньше всех. Слова у него были кривые, да прямая правда в них жила. От тоски он умер. Если хочешь знать, и его убила война. Не вражеская пуля скосила, а пуля, отлитая тоской. Такие люди не гнутся, а сразу ломаются, как могучие дубы. Только ураган их вырывает с корнем. Это лучше, чем жить в вязкой печали.

На Кельбета слова старухи произвели огромное впечатление. Он глубоко задумался. «Какой отец мечтает пережить своего сына? Разве будет счастлива мать, закрывшая своими руками глаза собственных детей?» Страшные слова. Война заставила их сказать...

Он, словно хотел уйти от тягостных мыслей, резко поднял голову и увидел, что все смотрят на него. Надо заговорить о другом. Люди устали горевать.

— Жанар идет, Жанар! — объявили те, что стояли у двери.

— Муж у нее умер, скажи слово сочувствия,— сказала Кельбету Асельжан.

С протяжным криком подошла к нему Жанар, радуясь и тоскуя. Ее плач разрывал сердце. Некоторые слова ее были даже больнее, чем речи Кульжамили. Сама излила тоску свою до капли и людей заставила плакать.

Кельбет в душе порадовался, что успел уже рассказать про Данекера. Третий раз повторять было бы невыносимо. Он выразил соболезнование в связи с кончиной мужа Жанар, мастера Тулепа. Она молча опустила голову. Кельбет успел рассмотреть ее. Да, она, кажется, стала зрелой и мудрой женщиной. Нет и следа от той нищеты, которая окружала ее в девичестве, того голодного блеска глаз и вечной, казалось, худобы. Спокойствие и уверенность сквозили в каждом ее движении. Но печаль и красота ее остались. Не отрывая умных, думающих глаз от Кельбета, сидела Жанар в плену у своих мыслей. В комнате возобновился неторопливый разговор.

— Дети, те, что были совсем сосунками, когда мы уходили, стали джигитами. Вот время-то летит!

— Молдажан-то твой... Когда ты в армию ушел, сколько ему было?

— Одиннадцать.

— Прибавь к одиннадцати шесть. Да, сейчас он джигит. Как же, парню восемнадцатый год. Живой — он и есть живой. Вырастет, повзрослеет, постареет. Таков уж закон жизни.— снова взяла

разговор в свои руки Кульжамиля.— Смерти никогда не победить жизнь. Если бы побеждала смерть, то не было бы на земле никакой жизни. Говорят, если умирает тысяча, то рождается тысяча один. От тысяча первого мы родились. Его семя, его потомство. Мы смеемся и плачем, работаем, поем и умираем. Мучаемся, проклинаем тяжелый хлеб, жестокую судьбу и горькие обиды. А на самом деле, оно и есть прекрасная жизнь — горький хлеб, сладкий сон, тяжелая работа и громкая песня. О чем жалеть? Работа — это и есть жизнь. Там, где смех,— там работа, там жизнь. Семнадцатилетние Молдажаны — продолжение наше, звено жизни. Дай бог им безоблачного неба и тихих снов! Пусть не знают они горя...

С улицы, запыхавшись, вбежали два мальчугана. Один из них Карабек.

— Ата договорился с артистами. Они в день праздника приедут.— Карабек называл атой Жумана.

— Что за артисты?

— Те, что из Аксу.

— Уж не Сагимбек ли, сын Рахиша, в этом участвует?

— Он самый!

* * *

Сагимбек был ровесником Молдажана. Отец его когда-то кузнечил в колхозе, но рано умер. Байза, мать, была женщиной суровой и решительной. Нынче она сама провела полив всех посевов третьей бригады и по существу вытянула ее из отстающих.

Весьма интересна история того, как Сагимбек стал артистом. Как-то колхозники, ехавшие в Копу на сенокос, остановились в одном поселке, где давал гастроли районный театр. Среди них был и Сагимбек, чьи обязанности заключались в том, чтобы сидеть на железном троне сенокосилки. Он очень любил петь. Уставшие, соскучившиеся по отдыху женщины с удовольствием слушали его пение. Была у мальчика хорошая черта, он никогда не заставлял просить себя дважды и тут же принимался вопить. Люди над ним посмеивались. Рос Сагимбек балованным, капризным, говорил изнеженным, томным голосом, поковыривая мизинцем в носу. Женге за это прозвали его Сакау[1]. И никому ни в каком сне не могло присниться, что этот Сакау-Сагимбек станет артистом.

Косари решили не упустить случая и посмотрели спектакль. Представление развлекло усталых людей и явилось прекрасным отдыхом.

Наутро они продолжили свой путь в Копу и вдруг обнаружили пропажу Сагимбека и колхозного быка-пестряка. Принялись искать и там и сям, но не нашли. Послали запрос в колхоз — и оттуда никаких новостей, только страшный переполох в ауле. Пла-

[1] Сакау — имеющий дефект в речи.

кала и убивалась Байза. Старший ее сын, Галымбек, в армии, а младший совсем еще ребенок. Единственной ее опорой был четырнадцатилетний Сагимбек. И вот — пропал. Отпросившись у руководства колхоза, бедная мать обыскала все камыши и заросли окрест места ночевки косарей, но сына не нашла. Решив, что мальчик погиб, убитая горем, она вернулась в аул.

А вышло все по-другому. В ту ночь, сразу после спектакля, артисты выехали в другой колхоз. За ними и увязался Сагимбек. Смотрят, мальчуган какой-то верхом на пестром быке не отстает от них. Вечером садится ближе всех к сцене и во все глаза смотрит спектакль. Утром снова следует за труппой на своем быке. Странный мальчик. Спросили все-таки:

— Эй, бала[1], кто ты такой? Где твой аул?

— Я из «Алгабаса».

— Э-э-э, где твой «Алгабас», а где мы сейчас? Почему домой не возвращаешься?

— Артистом хочу стать.

Актеры подняли его на смех, но парнишка был невозмутим. На издевки он презрительно отмалчивался, чем еще больше смешил людей.

— Эх, сопляк, и ты в артисты лезешь!

— Ну и что?

В конце концов на него рукой махнули и оставили в покое. Сагимбек стал путешествовать, ни на шаг не отставая от театра. В одном из аулов заболел артист, исполнявший главную роль, Козы[2]. Деньги колхоз театру выплатил, люди были оповещены. Начальство с ног сбилось. Что делать? Дублера у того актера не было. Все растерялись. Тут-то и появился на сцене Сагимбек. Он подошел к старшей по имени Айша и заявил:

— Тетенька! Разрешите мне выступить?

— Тебе?!— У Айши глаза на лоб полезли.— Но как? Ты же не знаешь роли!

— Роли я не знаю. А слова все знаю.

Айша улыбнулась:

— Ну-ка, прочти!

Потом она гоняла его по всем актам, устроила строжайший экзамен и с удивлением убедилась, что мальчишка не соврал. «Сопляк» шпарил наизусть всю пьесу.

— Где ты выучил?

— Я же все время за вами ехал. Само собой и запомнилось.

Выхода не было. Пришлось выпустить на сцену необычного дебютанта. Нарядили его в костюм Козы, а грима и не понадобилось. Перед актерами предстал настоящий Козы. «Забудет роль, споткнется, провалит весь спектакль, растеряется на сцене перед

[1] Бала — малец.
[2] Козы — герой пьесы Г. Мусрепова «Козы-Корпеш — Баян-слу».

публикой...» — скулили постановщики, но делать было нечего. У артистов сердца замирали как на премьере. Они стояли за кулисами и с ужасом ждали выхода новоявленного собрата. Но мальчик настолько верно копировал каждый жест заболевшего актера, что постепенно все стали успокаиваться. А потом с удивлением обнаружили, что он не только механически копирует предшественника, но и что-то свое вносит. Мальчик стал настоящей находкой для театра. Те, кто совсем недавно обзывал его «сопляком», после спектакля от души расцеловали.

Сын кузнеца, как в сказке, достиг своей мечты и буквально за вечер стал артистом. Причем не «шум за сценой» исполнял, а сразу заглавную роль... Байза, конечно, потом получила весточку от сына об удивительном повороте в его судьбе, а быка вернули в колхоз.

Кельбет смотрит на сцену не отрываясь. До начала представления он обратил внимание на то, что на спектакль явились все аулчане. Гости, приехавшие из других колхозов, сидели на войлочных коврах. Свои же расположились на зеленой траве рядом. С двух сторон простенького занавеса горят керосиновые лампы, и одна стоит посредине. Густой синевой наливается вечер. Света от ламп вполне достаточно, чтобы видеть происходящее на сцене. Стоит удивительная тишина, особенно приятная после дневного гомона и суеты, царивших возле юрт. Погасли огни в очагах. Только одно обстоятельство беспокоит Кельбета. «Жуман даже театр нанял в честь возвращения сына»,— так станут завтра говорить. К чему лишние разговоры? Не нужно было старику так усердствовать. Хватило бы и других радостей на тое. Нет, не-е-ет. Отец позаботился и о людях, хотел, чтобы все порадовались и отдохнули. Не слышно даже комариного писка. Люди следят за сценой с увлечением. Яснее ясного, что им давно не приходилось видеть такого зрелища. Кельбет и сам почти забыл, что такое театр. Только звонкие голоса артистов слышны в ночи. Всякий раз, когда выходит Козы, Кельбет аплодирует ему вместе со всеми. Сагимбек, сын Рахиша! Если бы встретил его где-нибудь в другом месте, не узнал бы ни за что. Хорошо играет парень. Голос красивый. Настоящий Козы, добрый и бесстрашный, ловкий и остроумный. Днем Сагимбек заходил к ним вместе с Молдажаном, чтобы поздравить Кельбета с возвращением. Вытянулся, стал красивым джигитом. Не чета своим аульным сверстникам — интеллигент. Кельбет поискал глазами Молдажана. Сидит с друзьями и две-три девушки рядом. Рано взрослеют мальчишки в такое время.

Рядом с матерью Кельбета сидят Байза и Кульжамиля. Всякий раз, когда на сцену выходит Сагимбек, на лице Байзы отражаются страх и недоверие. Она вся напрягается как тетива и ждет чего-то ужасного. То смеется, то вытирает глаза платком. А когда Кодар вонзил нож в Козы, она даже закричала, словно от боли. Это очень

рассмешило людей. Опомнившись, Байза и сама смущенно заулыбалась.

Кельбету вспомнилось неправдоподобно далекая пора собственного детства, когда они, аульная детвора, сами ставили спектакли, сами исполняли все роли. Друзей вспомнил. Где они?! Курманали, который был их Тулегеном? Даиекер... Сам Кельбет играл Бекежана. Однажды, когда он на представлении «выстрелил» в Курманали-Тулегена, Уазипа завопила во весь голос:

— Ойбай! За что же ты, сукин сын, убил этого мальчика?

Люди тогда до упаду смеялись над Уазипой.

Босоногое, счастливое детство. Почему оно было таким коротким? Словно неясный светлый сон промелькнуло и скрылось навсегда, оставив человеку во взрослой жизни страдания, обиды, заботы. Скольких друзей нет сейчас рядом? Его охватило вдруг острое чувство одиночества. Он почувствовал зависть к Сагимбеку и Молдажану. Им, наверное, не придется тосковать по погибшим друзьям. Они, как беспечные цветы, ярко и радостно расцветают. Только бы холод их не побил...

Асельжан и Умит до беспамятства плакали над горькой судьбой Баян. Черная, жестокая сила, подобная Кодару, отняла любимых и у них. Любовь, побитая бурей, счастье нераспустившихся бутонов. Больше, чем страдания Баян, ранят сердце Кельбета слезы двух молодых женщин, хлебнувших вдоволь горя. Вместе с матерью Козы рыдают старухи. Молча плачет и Кульжамиля. Кажется, горе всех матерей слетелось сюда черной тучей. Только сейчас почувствовал Кельбет, что дует Бесбаксы, мягкий и ласковый. Но сегодня от него почему-то зябко. Гром рукоплесканий вывел джигита из глубокой задумчивости.

После спектакля состоялся маленький концерт.

— Жуман, дай бог тебе радости!

— Да будет счастливой твоя старость! — благодарили Жумана аулчане.

Последними поднялись старики и старухи, отряхивая пыль с подолов и рукавов бешметов. Кругом слышны оживленные разговоры, смех, шутки. Видно, люди хорошо отдохнули. Глаза девушек сияют. В них еще не успело остыть волнение. Женщины затянули песню, и она еще долго не гасла над аулом...

Рано утром, отведав праздничного угощения, люди вышли насладиться новыми развлечениями. На небе ни облачка. Звонкое солнце сияет, как золотой гонг. За домом на привязи множество лошадей. Много лет не видел аул такого количества добрых скаковых коней. То ли от свежей сорпы, то ли от нежного мяса, то ли от солнечных лучей — порозовели лица. Во дворе и вчерашние артисты. Удивленные дети ходят за ними по пятам. Особенно интересным кажется им Сагимбек, который вчера еще бегал босым по аулу. Он снял вчерашние доспехи батыра и надел обычный серый костюм. В этом ауле ни у кого не было такого костюма.

На сером жеребце выехал в круг Садык. В последние годы

усилившийся кашель жестоко мучил его. Много времени он проводил в постели. Его освободили от бригадирства, передав эту должность Алдангару, но Садык продолжал оставаться парторгом. Несмотря на больной вид, Садык со вчерашнего дня весел. Видимо, радость людей, весь этот праздник увлекли его. Хоть и называли торжество жумановским тоем, но это был той всего колхоза. Казалось, люди решили стряхнуть с себя тяжесть военного горя. Мысль о приглашении артистов подал Садык. И сейчас он выехал в круг на танцующем жеребце, чтобы возглавить пир. Председатель колхоза Киизбаев сидел с почетными гостями. Всем своим гордым видом он как бы говорил: «Видели, как у нас умеют праздновать!» Особенно он радовался приезду артистов, то и дело напоминая гостям: «Мы их специально на той пригласили».

Когда вперед выступил Садык, председатель успокоился. Люди уважали парторга. Порядок и дисциплина особенно нужны во время таких вот праздников, когда собирается много народа. Садык в седле. Значит, порядок будет.

— Отойдите подальше, люди! Освободите круг! — призывал он, очищая место для состязания борцов. Увлекательнейшее зрелище — борьба. Будут соревноваться мужчины, за ними померяются силами женщины, потом последует детская борьба. Победителям всех трех видов вручат призы.

— Ну, бригадиры, выставляйте своих богатырей! Готовьте палуанов к схватке!

В круг вышел Кулжабай, закатав штанины, туго подпоясавшись, подоткнув полы бешмета. Казалось, весь жир выпитой сорпы и съеденного мяса выступил наружу, смазав его тело, черные усы и бороду. Этот человек не знал усталости в трудное время, ни днем ни ночью он не отказывался от самой тяжелой работы: спускался на дно глубокого колодца, поднимал воду на гору, поливал всходы, за что его прозвали Черным верблюдом третьей бригады. Вызов Кулжабая никто не принял. Самый вид огромного тела пугал людей. Аскарбай довольно потирал руки, объявив, что приз им достанется даром. Силач-то из его бригады.

Но не тут-то было. Несколько человек за руки втащили в круг Гальфингера. Зрители зашумели, засмеялись.

— Кто же, кроме тебя, осмелится выйти против Кулжабая? Ведь он одним весом всех задавит, — насел на него Алдангар. — Страдает честь второй бригады.

— Я не знайт казахскую борьбу, — пробовал отказаться немец.

— Упадешь — земля поддержит. Не бойся!

Зрители оживленно переговаривались в предвкушении интересной схватки: «Ну, сейчас две горы столкнутся».

Наконец борцы бросились друг к другу и крепко-накрепко вцепились. Гальфингер приподнял соперника и швырнул так, что Кулжабай с трудом удержался на ногах. Люди одобряюще закричали:

— Вот дает немец! Ай да Калпенгир!

Тот снова сжал противника железной хваткой, и Кулжабаю с трудом удалось выскользнуть из клещей. «Опасный соперник. Нельзя его подпускать слишком близко»,— понял он. Снова схватившись, борцы замерли на месте, и только по дрожи в телах можно было понять, с каким напряжением они борются. Да, точно две горы столкнулись.

— Эх, никак под правую сторону не подвернется!— переживали болельщики.

Борцы ходили по кругу, зорко следя за малейшим движением друг друга. Один прием следовал за другим, одна уловка за другой. Кулжабаю наконец удалось взять Гальфингера на бедро и бросить на загудевшую от удара землю. От восторга люди закричали. Улыбаясь, поверженный немец поднялся с земли, и борцы, обнявшись, вышли из круга. Победителю вручили приз — метр красного ситца, который он подарил дочери своего друга и недавнего соперника красавице Кларе.

— Кто следующий? Кто? Выходи!— раздались возгласы.

Женщины с визгом бросились к председателю колхоза Киизбаеву и вытащили его в круг. Он протестовал, отбивался, но никто и слушать не хотел. Если народ просит — отказываться не следует. Нельзя людей обижать. Он засучил рукава, подогнул колени и принялся ожидать соперника как заправский борец.

— Пусть против председателя тоже выходит раис! Да-да, пусть председатель выходит!— загалдели люди, оглядываясь на Али, мужа Кайши, который возглавлял колхоз «Бастауш». Его упрашивать не пришлось. Он уже сам пробирался к кругу сквозь толпу. Говорили, что он горячий джигит. Так оно и вышло. Не вытерпел. Киизбаев по сравнению с ним старик.

Борьба председателей была захватывающей. Оба в галифе, на ногах хромовые сапоги. Гимнастерки перетянуты тугими широкими ремнями. Здесь уже спор о престиже обоих колхозов. Казалось, это понимают и сами палуаны. До начала схватки они посмеивались, но как только приняли боевую стойку, тотчас же забыли об улыбках. Все силы, всю ловкость свою мобилизовали. Неожиданно Киизбаев упал и, падая, перебросил через себя Али, молниеносно оседлав главу колхоза «Бастауш». Люди захлопали в ладоши и до хрипоты кричали, дружно скандируя: «Алгабас! Алгабас!»

— Было бы некрасиво с моей стороны забирать приз на тое собственного кайнаги,— отшутился побежденный Али.

— Кто тебя просил выходить? Так тебе и надо!— довольно поругивала посрамленного мужа Кайша. Поражение Али нисколько не испортило ее радостного настроения от веселого оживления, царившего на тое брата.

После поединка председателей в круг, раздевшись, уселся Мукай. До войны он был самым могучим борцом в ауле. Лопатки его ни разу не касались земли. Но на фронте он потерял несколько ребер. Был ранен в легкое. Теперь и он не выдержал, взыграло сердце старого богатыря. До войны Мукай часто вот так же усаживался

в круг, ожидая соперника, и даже забирал призы за простое сидение на месте, поскольку никто не осмеливался выйти против него. Сегодня же люди не разрешили Мукаю бороться, опасаясь за его здоровье.

Тогда в круг вышел жилистый Имансерик. Он сел, поглаживая бороду, поплевывая в ладони. Был он почитаем среди аксакалов. Может, оттого, что все время проводил в поливах, крупные синие вены выступили на руках его и ногах. В старике водились еще силы, и он легко одержал победу.

Среди пожилых женщин не нашлось никого, кто мог бы сравниться с Байзой. Она легко победила всех своих соперниц. Сагимбеку, с одной стороны, было неловко перед артистами, а с другой, он испытывал гордость за мать и в душе был доволен ее победой. Среди молодых первенствовала Тенге, первый приз выиграла и Жанар. Гости из дальних аулов, из района, артисты — все от души радовались яркому празднику.

Но самым забавным зрелищем стала детская борьба. Как молодые петушки, азартно вступали мальчишки в схватку, сопели, горячились. Настолько во вкус вошли, что и остановить их с трудом удалось.

— Эй, смотрите на тулеповского хитреца! Ну и ловок, чертенок! Подножки ставит! Ха-ха-ха!

Все внимание было теперь обращено на Жениса, который упирался изо всех сил, сдерживая натиск соперника.

— О аллах! Неужели и этот уже для борьбы годен?— послышалось рядом. Жанар резко обернулась и увидела Кульжамилю.

— Сплюньте через левое плечо, апке. Не надо судьбу испытывать.

— Эх, милая, да все глаза мои выцвели, ничего дурного не осталось. Не бойся, никто не сглазит твоего малыша.

А зрители знай кричат, подбадривают ребят:

— Эй! Дави! Жми! Тулеповская кровь! Снизу давай! Снизу!..

— Тулеповский, говорят, а он... А он от того, что без вести пропал. Бабы наши болтали тут...— зашушукались в сторонке какие-то женщины.

Жанар услышала их недобрый шепот. Насторожила уши и Кульжамиля. Но в это время дети у круга громко зашумели, устроили свалку.

— Женис победил! Женис!

— Ох и Жанар! Вместе с сыном все призы забрала!..

Раскрасневшегося, запыхавшегося, потного сына Жанар расцеловала в обе щеки. Приятно, оказывается, побеждать, на высоте себя чувствовать и поздравления принимать от людей.

Этот той поднял ей настроение. Будто какая-то светлая птица махнула радостно белым крылом, прогоняя печаль. Или вернулось с Кельбетом то давнее и почти забытое тепло, что было прежде, вернулось как птица в родное гнездо?.. А страсти разгорались как жаркий саксаул.

— Кульжамиля поет.

— Сумасбродная Кульжамиля?

— Да-да, она. Только мы ее не зовем уже сумасбродной...

Это известие возбудило любопытство у многих гостей. Борьба уже закончилась, поэтому все направились в сторону юрт, где завели песню. «Горемычная, видно, и ей смертельно надоела тоска,— сказал кто-то.— Горе может задушить, как густой черный дым, если ему не дать выхода. Говорят, у старого соловья песни слаще».

У одной из юрт стояла одноконная легкая бричка на четырех колесах. На нее и поднялась Кульжамиля в высоком белом кимешеке, пышном и праздничном. Старая печальная мать. Белый край головного убора закрывал всю грудь и половину черного чапана. Синий сатиновый пояс трижды обернут вокруг стана. Одной рукой она держалась за пояс, другой опиралась на палку. Голос у старухи ясный, громкий. Вокруг брички толпились слушатели. Со стороны все это напоминало большой митинг, где ораторствовала странная старуха с тюрбаном на голове. Спокойная, мелодичная песня лилась над степью:

Вот и мне теперь запеть пришел черед.
Ты не смейся надо мной, честной народ.
Как смогу, так и спою на этот раз,
Изолью печаль-тоску из старых глаз.

С юных лет на песни я остра была.
Песня лебедем над родиной плыла.
От былых торжеств остаток песни той
Заведу, без песен разве может той?

В эти годы, что не видели глаза,
Отгремела над аулами гроза.
Даже тех, кто не придет, так ждали мы!
А над ними уж давно стоят холмы.

Ожидаючи их, выцвели глаза.
Ожидаючи их, высохла лоза.
Понапрасну смотрят вдовы в ночь и даль.
Вы простите, что открою их печаль.

Что скрывать от вас тоску больных сердец?
Много здесь, что спросят вас: «Где мой отец?»
Много их, своих не знающих отцов,
На чужих дорогах павших храбрецов.

Не вините вы ни сына, ни вдову,
Коль заплачут в голос на чужом пиру.
Моль потратила их седла до конца.
Ржа изъела саблю юного отца.

Не вините вы ни сына, ни вдову,
Если я на той их нынче приведу.
Успокою их, поплачу с ними я.
Ведь сироты нынче — все одна семья.

Горю я не поддавалась никогда,
Но оно размыло душу, как вода,

Корни яблони засохшей обнажив.
Я спрошу, быть может, Данекер мой жив?

Сердцем матери становится дитя.
Изболится без него душа, грустя.
Кто откажется от сердца на земле?
Кто поверит той безжалостной молве?

Кто откажется держать надежды нить?
Без нег к чему дышать и есть и пить?
Одиночество, боюсь, сознет меня
И лишит в последний час надежд огня.

Я без веры не смогла бы больше жить.
И слова такие громко говорить,
Что лежали грузом яростным во мне.
О аллах! Верни скорее сына мне!

Пусть же солнце заиграет для меня!
Лишь бы «мамой» он назвал еще меня.
А потом ты можешь сердце вырвать мне
И предать покою во сырой земле.

Ночи полны ожиданий и мечты.
Сын, я жду, когда ко мне вернешься ты.
Но от встречи не проснусь, наверно, я...
Кто схоронит на холме крутом меня?

Хоронить меня придешь ты, мой народ.
Скажешь свое слово доброе вперед...
Но в могиле мне покой не обрести,
Коль не будет данекеровой горсти.

Той единственной лекарственной земли,
Что в могилу сыновья бросать должны.
Без пылинки, милой брошенной рукой,
В изголовье не сойдет ко мне покой.

Не на тое петь такие вам слова.
Не на праздниках седела голова.
Ты прости тоску мою, о мой народ!
Для веселья еще очередь придет.

По-другому я запела бы сейчас.
Сердце бьется, в ребра старые стучась.
Я запела бы... Я стала бы другой,
Если б ты, Кельбет, привел его домой.

Но не думайте, что горя вам хочу.
За ушедшими вослед я улечу.
Как же рада я, народ мой, быть с тобой!
Я скажу им, что в ауле нынче той.

Что пути степные все в аул ведут,
Что в ауле нашем плачут и поют,
Что в ауле дети бегают гурьбой.
Начинайте, начинайте, люди, той!..

— Хватит! — оборвала себя Кульжамиля, смеясь и плача. Она тихонько поставила ногу на оглоблю и осторожно слезла с телеги.

Люди долго стояли молча, тронутые неприхотливой песней матери. Иные даже всплакнули...

Уже начали отвязывать коней. В заключение Жуман решил устроить вихревой кокпар[1]. Хороши кони у гостей! И алгабасовцы не подкачали. Аскарбай давно готовил к игре каурого молодого жеребчика, потомка знаменитого каурого — любимца Нашекена. Киизбаев, Садык и Нашекен, осмотрев жеребца, сказали, что он просто рожден для кокпара.

Бросили обезглавленного серого козла в самый круг нетерпеливых всадников. Туша была похожа на странный волосатый мяч. Встрепенулись конные, толкая и колотя друг друга, стали рвать из рук серого козла. Никто не уступал. Соперники крепко сидели в седлах. Козел то и дело падал на землю, под копыта разгоряченных коней. В неистовом клубке крутящихся крупов, голов, рук, ног, тел, малахаев трудно было что-нибудь разобрать. Наконец из этого смерча вырвался всадник на низеньком чалом коньке и помчался прочь. Тотчас клубок распался на множество злых, разгоряченных бойцов, бросившихся в погоню за чалым. Визжали от возбуждения люди и жеребцы. Киизбаев велел оседлать Самара, стройного, как борзая, туркменского ахалтекинца. Он красив, силен и скор как ветер. В табунах «Алгабаса» появилось много таких красавцев. Люди говорили, что это потомство Самара. Конь пританцовывал, выгибая лебедем шею, но к кокпару его все-таки не допустили. Попробовал серого конька бросить в бой за козла Садык, но и у него ничего не вышло.

Все дальше летел чалый. Всадник то и дело оглядывался назад, как бы насмехаясь над погоней.

— «Агарту» унес! «Агарту!» — закричали болельщики. Многие забрались на крыши домов, чтобы удобнее было следить за поединком. Но в пыльном вихре трудно понять, где чей конь. Некоторые участники игры затрусили назад, повернув коней. Они убедились в том, что не смогут догнать чалого. Если тому удастся выскочить на дорогу у коричневой пади, то кокпар выигран.

Лишь один всадник не отставал от чалого, с каждой минутой его нагоняя. Конь издали казался вороным, а на самом деле это летел на своем кауром Аскарбай. Жеребчик только начинал входить во вкус скачки, наращивал скорость. Вот уже он совсем рядом с приземистым чалым, выходит то слева, то справа. Наконец Аскарбай изловчился и выхватил у соперника козла. Тот сначала растерялся, потом снова ухватился за тушу, падая всем телом в сторону. Так доскакали до самого Шоль-Тумсука. Вдруг каурый сделал рывок в бок, и хозяин чалого выпустил козла. Аскарбай повернул коня назад к аулу. Чем ближе к дому, тем больше отставал чалый.

Люди в ауле заметили столб пыли, летящий к ним, узнали каурого жеребца и Аскарбая с тушей поперек седла. Те, кто еще не сошел с коней, зазвонили и бросились навстречу. Были среди них и

[1] Кокпар — козлодрание, конная игра.

гости. Снова спор, снова игра. Разгоряченный скачкой каурый никому не давал себя догнать. Нашекен следил с интересом за исходом игры. Старый каурый был таким же быстрым и сильным. Как этот жеребчик был похож на него! Зря только выхолостили. Хороший бы вышел конь. А Аскарбай словно хвастал тем, что никому не дал отнять кокпар. Он поддал в бок каурого своей деревянной ногой и понесся дальше.

Всадник снова выскочил из круга преследователей и полетел прямо к дому Кульжамили. Старуха уже успела сменить праздничный наряд на будничное платье. Она стояла у дверей, когда бешеный грохот копыт заставил ее оглянуться. И тут Кульжамиля увидела летевшего к ее дому Аскарбая. На полном скаку тот бросил к ее ногам измочаленного козла и крикнул:

— Апке! Пусть добрым знаком будет! К новому тою.

— Аминь, светоч мой! Да исполнятся все твои желания! Спасибо! Живи тысячу лет!

Каурый, ставший совсем темным от пота, грыз удила, косил кровавым глазом. Участники кокпара повернули коней назад. Все они были в душе довольны поступком Аскарбая. Правильный он сделал выбор. Солнце наливалось густотой, собираясь скрыться на отдых. Оно тоже казалось сытым и умиротворенным...

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Сегодня много народа толпилось возле дома старой Кульжамили. Поднимался дым над земляным очагом. Двое мужчин стояли неподалеку от мусорной кучи.

Сегодня Кульжамиля не пустила на пастбище бурого козла и осмотрела как следует. У него уже не было сил следовать за стадом, а в остальном он как будто не изменился. Как всегда, вылез на улицу, сладко потянулся, почесал привычно заднюю ляжку крутыми рогами. Наверное, в первый раз шеи его коснулась веревка. Привязали бурого, а козы все ждали его, громко блеяли. Он повернул к ним голову и закричал в ответ, дернулся несколько раз и затих. Крепкой оказалась волосяная веревка. Но он не отрываясь смотрел вслед стаду, бредущему на пастбище. Только уши вздрагивали у старого вожака. И казался он не таким дряхлым, как вчера.

Чужие руки ловили козла, чужие руки привязывали. Теперь Кульжамиля боялась к нему прикоснуться. Дрожали руки у старой матери, и сердце было полно черной тоски. Очень короткий век отпущен козам. Бурый прожил уже девять лет. Девять лет прождал он своего хозяина. Постарел. Уставать стал от жизни. Устала и хозяйка. Вечно жить не дано и скоту. Если бывают среди коз патриархи, то в возраст самого древнего из них вступил уже бурый козел. А вдруг в один грустный день пал бы он на улице нечистой смертью? Видно, правы были люди, советовавшие Куль-

жамиле зарезать козла и угостить его мясом аулчан. Раньше ведь говорили, что если съесть долю опаздывающего путника, то он быстрей возвратится. Может, препятствием на пути домой стоял перед Данекером этот козел? Тогда... слишком зажился козел на этом свете.

«Эх, бурый, нам ли о жизни жалеть?— вздыхала Кульжамиля.— Кроме старой кожи и высохших костей, ничего-то у нас не осталось». Не соглашалась вначале старуха. Дни проходили за днями, и сегодня она наконец решилась. Может, свободной станет отныне дорога Данекера? И если раньше бурый живым напоминанием о сыне был, то теперь мертвой памятью станет. Сын ей дороже. Да будет козел жертвой! «Может, бог отвернул от меня свое лицо за то, что я козла пожалела в жертву ему принести?— рассудила старуха.— Не жалко! Пусть забирает! Не какого-нибудь козла, своего бурого отдаю. Был он вожаком стада и живой памятью о сыне. Все для единственного моего. О аллах! Смилуйся же хоть раз! Я буду счастлива и благодарна тебе, если ты заберешь мою жизнь. Только на сына позволь перед смертью взглянуть!»

Сегодня она пришла к твердому решению. Тогда-то и велела поймать бурого. Обратилась было с просьбой зарезать козла к Орынбаю, но тот всплеснул руками и убежал.

— Прикажешь — верблюда зарежу, а на козленка рука не поднимется!— закричал он в испуге.

Слова его были понятны, уместен и испуг. Одним из тех, кто с первых дней ухаживал за бурым, был именно этот старик. Вместе с козлом состарился он. Не способен был больше пасти скот старый Орынбай, не мог уже водить за собой стадо бурый. Как зарезать его своей рукой, когда сам он его от волков спасал, от ерденовской пули уберег?

Старуха привела Кулжабая и Имансерика. Они не пасли скот. Может, у них меньше жалости будет, чем у Орынбая?..

Не могла видеть Кульжамиля, как будут резать ее козленка. Ушла на задний двор и встретила там бормочущего Орынбая.

— Вот и у бурого козла свет померкнет в глазах. Не щипать ему больше травы зеленой, байбише...

Пронзительно закричал бурый. Старики в ужасе зажали руками уши. Как долго кричал еще умирающий под ножом козел, они не слышали. Кульжамиля застонала, и слезы побежали по ее сморщенным щекам. Расстроился и Орынбай. Подавленные, вышли они к месту убоя. А здесь уже без устали стрекотали бабы, вызвавшиеся помочь старухе. Одни сливали кровь в яму. Другие бегали по хозяйственным делам из дома к очагу.

— Ох и желудок у него, точно у коровы!

— Рога прибить бы на стенку!..

Каждое слово раскаленной иглой вонзалось в сердце Кульжамили. Глубокое раскаяние охватило ее. Словно кто-то мучил ее, медленно вводя между ребер острие кинжала. «Ха-ха!»— странно выдохнула она, бледнея.

— Что случилось, байбише? Вам плохо?

— Ничего, ничего. Старый недуг, привычный.

Ей не хотелось видеть даже стоявшего рядом Орынбая. Уйти бы одной куда-нибудь далеко от этого дома. Тихими шажками побрела старушка, опираясь на палку. Неведомо куда лежала ее дорога. Орынбай протер кулаками ослабевшие глаза и посмотрел ей вслед. Совсем сгорбилась, бедная. А какой гордой была когда-то старуха! Грозой надвигалась, готовая ужалить. Самому хану отказала бы в привете. За последние два года сильно сдала. После тоя Кельбета ни разу не довелось видеть ее веселой. Все более подавленной становилась мать. Орынбай снова посмотрел на Кульжамилю, маленькую, сутулую, неясно чернеющую вдали. Жалость сдавила его сердце: «Горе ее состарило». Раньше говорили, что сильной женщиной была Кульжамиля: булат и кремень. Обманчивой надеждой все эти годы жила, своими руками и сгубила эту надежду. Что ей осталось теперь в этом мире? Эх, бурый...

...В доме стоял смутный гул. Гости говорили все разом. Каждый норовил ввернуть слово утешения, чтобы развеять печаль Кульжамили. Все следили за малейшим движением ее лица, за каждым жестом. Пытались шутить, но выходило неуклюже. Внесли дымящиеся подносы. Люди, готовясь к трапезе, засучили рукава, оживились. Два-три старика вытащили небольшие узкие ножи.

— Когда-то Данекер выковал, сокол наш.— Вниманием присутствующих завладел Имансерик.

Видно, на скорую руку был выкован нож с железной ручкой. Грубоватый, не отшлифованный. Только берегли его, видно сразу. Лезвие так и сверкало. Имансерик начал ловко крошить мясо. Нож Данекера кромсал мясо данекерова козленка... Может, именно этот нож и перехватил горло бурому, исторгнув из его глотки предсмертный вопль, прежде чем оборвать жизнь. Кульжамиля отвернулась. Ей показалось, что нож Имансерика тускло блеснул у самого ее горла. Старушка не смогла сдержать дрожь, но гостям и вида не подала.

— Угощайтесь! Ешьте! Берите!

— Бисмилла! Бисмилла!— послышались голоса.

Гости принялись за еду. Некоторые набивали рты целыми пригоршнями мяса, сопели, шумно чавкали...

— Ешьте, байбише! Божья еда. Почему ничего не берете?— обратился кто-то к старухе.

Тогда только Кульжамиля посмотрела на поднос с мясом.

— Бисмилла!— Кончиками пальцев она взяла маленький кусочек, и руки ее задрожали. Никак не могла ко рту поднести. Что-то сдавило горло. Стало тихо. Одни сидели с набитыми ртами, другие замерли, не успев поднести мясо ко рту. Все смотрели на Кульжамилю. Наступила тяжелая, гнетущая тишина.

Возвращаясь к дому, Кульжамиля давеча увидела у самого очага еще не опаленную голову своего козла. Блестящими синеватыми глазами смотрел он на хозяйку с тихим укором. Ей пока-

залось, что голова повела глазами, и чуть заметно шевельнулись рога, которые еще не успели сбить. Закричав, бросилась в сторону Кульжамиля. Женщина у очага быстро набросила на мертвую голову два старых мешка.

И сейчас, когда старуха подносила мясо ко рту, ей показалось, что снова заворочал глазами и мотнул рогами козел. Сердце, которое с самого утра никак не могло успокоиться, теперь застучало, как тяжелый молот Данекера. В пальцах ворохнулся живой кусочек мяса и скатился в ладонь. Она быстро сжала ладонь в кулак. Мутный сок побежал между пальцами. И будто кто-то так же сжал ее сердце, и теплая кровь окрасила его пальцы. Капли пота выступили на лбу Кульжамили. Гостям показалось, что старуха погружается в глубокий обморок.

— Что случилось, байбише?! Плохо с сердцем?! — встревоженно спросил Нашекен.

Собрав всю волю, Кульжамиля открыла глаза, села прямее. Но к мясу больше не притронулась и не в силах была смотреть на вареную голову козла, переходившую из рук в руки. На месте глаз в голове зияли темные впадины. Обнажилась кость. Было невыносимо видеть это. Сколько лет бурый был ее утешением, тыкался мордой в грудь, обнюхивая подол. И вот... Лишь острые кости с желтыми жилами. Кто-то поддел острием ножа эти жилы. Кульжамиля вздрогнула.

После выпитой сорпы гости засобирались по домам. Нашекен сложил ладони, чтобы освятить молитвой жертву. Приготовила ладони и Кульжамиля. Нашекен зашевелил губами. Время текло медленно. Наконец он выдохнул завершающее «аллах акбар». Присутствующие огладили ладонями лица.

— Милосердный и всепрощающий, молим тебя о здравии и скором возвращении раба твоего Данекера!

Кульжамиля молчала. С кряхтением и стонами, хватаясь за поясницу, стали подниматься аксакалы. За ними потянулись остальные.

Кульжамиля осталась одна. Долго и неотрывно смотрела на стену, где висела фотокарточка Данекера. Стекло поблескивало, оживляя глаза сына, которые вдруг стали такими же укоризненными, как глаза бурого. Чуть прищурились. Кульжамиля тяжело оперлась локтем на низенький столик с остатками обеда. Гости все разошлись, кроме двух-трех женщин, оставшихся помочь хозяйке убрать дом. В комнату вошла Асельжан и стала собирать со стола. Обе молчали. У самого порога Асельжан вдруг вскрикнула и схватилась за поясницу.

— Что-то покалывать стало,— пожаловалась она.— Раньше срока догнала нас старость. Видно, бог решил нас лишить молодости. Что же поделаешь теперь?

— Бог? Он глух к нашим мольбам, он слеп, когда дело доходит до наших горестей, он без рук, когда нужно нам помочь!

Знала Асельжан, что скажет эти слова Кульжамиля. В послед-

ние годы вместо намаза посылала она к небу одни проклятия. В душе Асельжан была с ней согласна, но вслух не решалась задевать аллаха. Ей было не по себе.

Когда Асельжан снова вернулась в комнату, Кульжамиля вспомнила Мукатая, который перед отъездом в армию вышагивал возле этих дверей, выкрикивая «ать, два!». Как он утешил ее в тот раз! Простодушный и добрый джигит. Она еще тогда устроила шум в ауле, а Мукатай сумел ее успокоить. Веселый был человек. Смеялся, что плачет она, хотя Данекер не успел еще покинуть родные стены. Старуха слабо улыбнулась, вспомнив проделки парня. Потом посмотрела на фотографию, где Данекер был снят с Мукатаем. Как они юны... «Вот и Асельжан уже по-старчески хватается за поясницу,— промелькнуло у нее в голове.— А Мукатай совсем еще мальчишка. Время не щадит живых и милостиво к мертвым. Постарел от пережитого и Кельбет. Но старость не страшна погибшим».

Погибшим... Слово это огнем обожгло сердце. Она схватилась за грудь, напугав Асельжан.

— Апа! Что с вами, родная? Болит где?..

— Ничего, ласточка моя! Старый недуг, привычный.

— Вы полежите, апа. Это пройдет.

Асельжан подала ей подушку. Кульжамиля прилегла, наблюдая за молодой женщиной, и тихо сказала:

— Асельжан! О чем ты думаешь? Почему не заберешь сына у стариков?

Первенца своего, как только мальчик родился, Мукатай и Асельжан отдали Мукану, отцу Мукатая. Есть такой обычай у казахов. Не хотелось обижать стариков. Малыш называл мать «апке», считая ее своей старшей сестрой. Об этом хорошо знала Кульжамиля.

— Ойбай-ау! Он же меня и матерью не считает!

— Чепуха! Дитя от родной матери никуда не денется. Нельзя, чтобы угасло и забылось имя Мукатая. Пока вы двое живы, не забудется имя старого Мукана. Будет тяжелее, если потомство не оставит мертвый Мукатай, нежели живой Мукан. Забери сына!

Никто еще так прямо не говорил о смерти мужа. Застыла похолодевшая Асельжан.

— Чего ты там оцепенела? Если бы они не погибли, разве молчали бы до сих пор? Где они, по-твоему? Кому суждено было, давно возвратились. Чем годы носить у саднящего сердца острие стрелы, лучше вырвать его сразу.

Асельжан не знала, заплакать ей или стерпеть. Вечер наступил. Послышался рев скотины. Опустив голову, женщина побрела домой. Красивая тугая коса извивалась в такт ее шагам. В такие годы радость бы людям дарить своей красотой, счастьем наполнять дни и ночи любимого...

От земляной печи ни на шаг не отходила Жанар. Она-то и мыла всю посуду. Сегодняшнее состояние старой Кульжамили совсем

ей не понравилось. Вдруг захотелось наедине поговорить по душам со старухой. Раньше почему-то она побаивалась заходить в этот дом. В последнее время прежние страхи забыты. Все чаще и чаще заходит к старухе Жанар. Но разговора с Кульжамилей у нее никак не получается. Кажется иногда, что пытается старуха о чем-то спросить, но вдруг спохватывается и умолкает. И она, в свою очередь, хочет открыться ей, но никак не решается. Общая тайна пугает их и в то же время греет как добрый огонь. «Пусть матери будет известно то, что давно известно богу»,— думает Жанар, но начать боится. Что толку от такого знания? Только еще сильнее ранит душу. При каждой встрече с немым вопросом смотрит Кульжамиля на Жанар и ни о чем не спрашивает. Поговорят о разном, о чем-то незначительном, будничном и разойдутся.

Однажды Кульжамиля застала Жанар врасплох, когда та пристально рассматривала на стене портрет Данекера. Жанар растерялась.

— Смотри-смотри. Что же нам осталось, кроме этого. Видно, родился он для того, чтобы мы смотрели и смотрели на него до могилы. Мы обе...

«Мы обе». Эти простые слова что-то растопили в сердце Жанар, горячей волной омыли душу. Приняла ее мать. Разве можно эту близость лучше выразить? Вместе с тем и жалость охватила Жанар. Как тяжело одиночество в старости! Ей показалось, что и ее судьба очень похожа на судьбу Кульжамили. Ведь и у нее Женис единственный. Завтра и ему придется на военную службу идти... О, слава всевышнему, он уж в третий класс ходит! Цену ребенку узнаешь, когда сам становишься родителем. Как это верно! С рождением Жениса она особенно хорошо стала понимать Кульжамилю. Оказывается, до каждой жилочки, до каждой кровинки душа болит за дитя. И если вдруг уходит из жизни самое дорогое... О нет! Сохрани их аллах! Женис, как и Данекер, единственный сын. И он остался без отца, с одной матерью. От этих мыслей Жанар в ужас приходила, не смея даже представить себе будущее. «Боже, сохрани!»— молила она за сына. Всю любовь, не до конца отданную Данекеру, изливала она на Жениса. Глубже стала понимать и тоску-печаль Кульжамили...

Не раз хотелось ей привести Жениса в дом старухи, но какой-то страх удерживал ее от решающего шага. Казалось, что порог этот проглотит и сына, как отнял любимого. Хватит того, что и сама наведывается. Зачем Женису перешагивать через этот порог? Жизнь с каждым днем все лучше становится. Может, иная судьба ждет ее сына? Хоть бы мир был на земле! Сила в ее руках еще есть. Не хуже других жить станут. Сердце холодело от испуга, когда вспоминала она страшную зиму, которая унесла Тулепа. Бог тогда сохранил их. Глядишь, и дальше милостями своими не оставит. Достаточно, наверное, тех слез, что с детства пролила. Нет, она не жаловалась. Все хорошее, что еще осталось ей в жизни,

пусть Женису достанется. Вот о чем не уставала молить всевышнего Жанар.

Возле земляного очага знакомые мысли не покидали Жанар. Кульжамиля не может своего сына забыть, им одним живет. И Жанар вся с Женисом помыслами своими. Это объединяет двух матерей. Разница лишь в том, что надежды одной уже в прошлом, а надежды другой только в будущем.

Жанар не заметила, как наступил вечер.

— Эй, жена кузнеца! Мне пора идти!— услышала она и вздрогнула от неожиданности. Это голос Асельжан.

— Всего хорошего. Я тоже скоро пойду,— отозвалась Жанар.

Вытерев наскоро руки, она вошла в дом. Кульжамиля лежала неподвижно, опершись на локоть.

— Апке, зажечь лампу?— спросила она.— Уже темно.

— Зачем зажигать погасший свет?— глухо ответила старуха.— Ступай домой и свой светильник засвети.

— Не надо так говорить,— попросила Жанар.— Один шайтан живет без надежды.

Несмотря на возражения Кульжамили, она зажгла огонь в лампе.

— Ну, апке, пошла и я.

— Подожди, Жанар. Отдай это своему малышу.— Она встала с места, откинула крышку сундука и достала оттуда мешочек альчиков.

— Здесь есть и бита, которой любил играть Данекер.

* * *

Козы беспокойно блеяли, разыскивая бурого. Они обнюхивали стоявшие у порога рога и фыркали. Козел с грязно-серой шерстью стал рыть копытом землю. Животные словно чуяли, что произошло нечто ужасное. Какая-то матка отбросила рогами жавшегося к ней козленка, который до этого прыгал и резвился, как обычно. «Живая мышь лучше мертвого льва»,— подумала Кульжамиля. Пока жив был бурый, она не обращала внимания на игры козлят. На душе было пусто. Чем заполнить эту пустоту? Глазам ее представился бурый, который лениво шагал к дому. Вот-вот он ткнется носом ей в грудь, станет обнюхивать руки. Пальцы нервно отстегивали пуговицы на бешмете. Только нет уже козла. Вместо теплого его дыхания, холодный ветер коснулся ее груди. Ей стало зябко. По спине проползла ледяная змея, а она-то ждала теплой, доверчивой ласки. Закрыв дверцу загона, Кульжамиля поспешно вошла в дом. Хотелось лечь и никого не видеть. Хоть бы никто не пришел. Она хотела ощутить всю глубину одиночества этой черной ночи. Могильная тишина. Не слышно возни бурого, его кашля и вздоха в сенях. Нет больше козла.

Света она не стала зажигать. После ухода Жанар, сама лампу в сердцах погасила. На ощупь нашла постель. Уже слипались гла-

за, когда ее вдруг объял жуткий холод. Быстрые мурашки забегали по спине. Она стала падать в густую, безмолвную пустоту, и руки ее никак не находили опоры, хватая не воздух, а нечто еще более бесплотное, не имеющее никакого названия. Вот это жуткое и безмолвное уже охватило ноги, грудь, шею. Казалось, малейшее движение — и она навсегда уйдет в эту бездну... Кто-то схватил ее за горло и выкинул из страшного колодца. Оглянулась, это бурый поддел ее рогами и вытащил на свет. Обняв его за шею, она разрыдалась.

В испуге проснулась Кульжамиля. Вспомнила, что сегодня был убит по ее воле бурый козел. Раскаяние и горечь охватили ее. Она отчаянно закричала пронзительным голосом, и крик ее был похож на предсмертный вопль. Тело обмякло, стало влажным и горячим. Сил хватило только на то, чтобы отбросить прочь непомерно тяжелое одеяло. Она привстала, и руки не смогли ее поддержать. Кульжамиля рухнула на постель. На карачках, с трудом добралась она до подстилки бурого, упала, раскинув руки, прижимаясь щекой к земле, обнимая ее, орошая обильными легкими слезами. Все страдания, которые она вынуждена была скрывать днем, теперь излились теплыми слезами. На месте бурого лежала она сама.

Но козел все равно стоял перед глазами... Вот она трижды обвела его вокруг улыбающегося Данекера, посвятив козла его возвращению. Вот серый кобель Орынбая, рыча, набросился на козленка. Как с Орынбаем она тогда разругалась из-за него. Вспомнила, как кормила козла сахаром и румяными лепешками. Все прошло перед глазами. Теплая мордочка и слабый голосок.

Потом он вырос, заматерел, стал вожаком стада, шерсть на нем огладилась, рога выросли, спина раздалась вширь.

Орынбай после считал бурого чуть ли не умнее человека, не успевал петь ему хвалебные гимны. Особенно после того, как волк напал на стадо. Хорошо помнила она его тогдашние слова:

— Ойбай! Разве это животное? Зверь! Как выставил рога — и ни с места, потом бросился на волка. Тот аж взвизгнул, точно пес паршивый.

Кульжамиля вновь погрузилась в видения... Волки. Много их. Горят злые глаза. Собираются в стаю возле окон старухи. Она хотела защитить от них бурого.

— Камча! Где камча?

Стала искать на стене белую плеть, провела рукой по пустому месту. Нет камчи. Ах да! Она совсем забыла, что отдала камчу Акиму, когда тот уезжал. Ничего! Ничего не осталось у нее от Данекера.

— Аким! Принеси, Аким!..

— Что такое, байбише? Почему света нет?— послышался чей-то голос. В дом вошел Нашекен. На ощупь нашел лампу, засветил ее и увидел лежащую в передней Кульжамилю. Волосы ее расплелись, разметались по земляному полу. Она совсем обессилела от слез. Подхватив ее под мышки, Нашекен отнес старуху на

постель. Посреди комнаты стоял низенький столик, на нем чашка, нож и обглоданный череп козла. Нашекен перенес все это на подоконник и накрыл старым полотенцем. Он еще днем предчувствовал, что случится какая-то беда. То и дело кровь отливала от лица старухи. Заметил он и то, что ни кусочка мяса не съела Кульжамиля. Нашекен понял, что раскаяние и жалость заполнили сердце матери, своею рукой убившей последнюю надежду, единственную память о сыне. Перед сном его охватило беспокойство, и он решил еще раз зайти к старухе. Не плачет ли она в одиночестве? Так оно и вышло.

Долго лежала молча Кульжамиля.

— Нашеке! Зачем ты пришел? Зачем помешал мне умереть спокойно?

— Нельзя так говорить, байбише! Рано вам о смерти думать... Вот вернется наш Данекер...

Кульжамиля перебила Нашекена.

— Молчи! Молчи, лицемер! Хватит лгать! Не в утешение мне эта ложь. Если можешь, избавь меня от страданий, убей меня! Не бога прошу, а тебя, слышишь?! Я с богом в ссоре. Он все мне назло делает. Даже смерти жалеет для меня.

Нашекен почувствовал, что перед ним сейчас человек, потерявший желание жить. Все было решено самой Кульжамилей. Он пытался вернуть ее к жизни, пробудить интерес, но это ему не удалось. Он рассказал ей о том, что аул скоро переедет на новое место. Дома там будут светлые, под шифером и воды там будет вдоволь. Колхозы укрупняются. Люди станут жить в большом поселке. Что за жизнь в этих слепых приземистых мазанках? В первую очередь построят дома для семей фронтовиков. Кульжамилю, конечно, прежде всех переселят. Даже стеклянная веранда будет в таком доме...

— Сколько времени?— безучастно спросила Кульжамиля.

— Люди уже спать укладываются,— вздохнул Нашекен.

— А мне показалось, что скоро рассвет... Надо отдохнуть. Устала я что-то. Ты не обращай внимания. Знаешь же, случаются со мной такие припадки. Не беспокойся за меня, Нашеке. Спасибо. Я тебе большого счастья желаю. Иди домой, отдохни.

После этих слов обрадованный Нашекен решил, что старуха успокоилась. Пожелав ей спокойной ночи, он ушел домой.

После ухода Нашекена сердце старухи снова стало частить и рваться из груди. Липкий страх охватил все ее существо. Только лампа и успокаивала немного. Мягко светила. Ребра от боли просто разламывались. Снова будто иглой кольнуло. Кульжамиля в испуге вскочила на ноги. Ей показалось, что бурый ударил ее острым рогом прямо в сердце. Надо выпустить его на улицу. Воздуха, видно, не хватает ему. Потом нужно окликнуть Нашекена: пусть вернется. А то очень страшно.

Кульжамиля сунула босые ноги в калоши и набросила на плечи чапан. С трудом переставляя дрожащие ноги, добралась до двери.

В переднюю пробивалась из комнаты узкая полоска света. Она отворила наружную дверь. Холодный осенний ветер рванул с ее плеч чапан. И снова будто боднул в левый бок бурый козел. Она резко оглянулась. Кто-то, легкий, как тень, и черный, как мгла, промелькнул в глубине. Потом другой, и еще один. Кульжамиля протерла глаза и снова посмотрела. Никого не было. Пока она добиралась до двери, Нашекен успел уйти далеко. Не видно его. Луна то пряталась в тучи, то вновь показывала миру свое бледное лицо. Вдруг ей показалось, что луна покатилась так же быстро, как проваливалось в бездну ее сердце. В тучу — назад, в тучу — назад. О, как быстро! И как светло от нее!

Старуха взглянула на крышу хлева. Там что-то блеснуло. Кажется, шкура бурого. Ей сразу захотелось спрятаться. Она закрыла ладонями глаза. Повернулась и больно ударилась плечом о косяк, потом другим, будто кто-то невидимый с размаха бил ее кулаками. Даже собственные ноги сейчас мешали ей бежать. Старуха уронила одну калошу с ноги, но искать ее не было сил. Ввалилась в дом, вся дрожа от ужаса. В передней споткнулась о рога козла, задела рукой их твердые края и напугалась; они с грохотом упали. Обезумевшая Кульжамиля метнулась к свету. С трудом, по стенке поползла в комнату, а ей казалось, что летит со всех ног и на бегу бьется коленями об острые углы. Чапан хватал за ноги. И все холоднее становились стены...

Кульжамиля приблизилась к окну. Видно, Нашекен неправильно запалил фитиль, так как стекло лампы почернело от копоти. Сажа была совсем светлой у горловины, а внизу осела густо. На душе у старухи становилось все тоскливее. Так же гаснет свет в навсегда покидаемом доме. Бывало, бурый лежал, пережевывая свою вечную жвачку, и не сводил глаз с огонька. Когда он покачивал могучими рогами, то борода его колыхалась точно тот огонек. Над колыбелью маленького Данекера она всегда привязывала пучок легких совиных перьев. Когда мать покачивала люльку засыпающего сына, над ним тихо трепетали совиные перья. И так же колыхалась борода козла.

Все темнее светила лампа. Все гуще ложилась на стекло копоть. Померк свет в глазах данекерова козла... Показалось, что он, как прежде, лежит в сенях, занимая добрую половину передней. Вот прогнулся, собираясь встать. У него была нужда вставать по ночам. Вместо горшка Кульжамиля подставляла ему старый чугунок, а потом выплескивала содержимое на улицу. Совсем как за ребенком ходила. К этому привыкли и сама старуха, и бурый... Видно, время подошло. Встать хочет. Она повернулась неловко и задела рукой полотенце, упавшее на пол. На нее пустыми глазницами глянул череп козла. Мясо его съели люди, кости обглодали...

Ужас швырнул ее на пол. Она глаз от окна отвести не могла. «Хоть бы погасла скорей лампа!— проносилось в воспаленном мозгу.— Хоть бы погасла скорей лампа! Хоть бы не видеть ничего это-

го!» Вдруг комната осветилась холодным, каким-то неземным светом. В самую душу ее заглянули пустые глазницы. Нет, не вернется к ней никогда ее бурый козленок. Это ясно, но почему так пусто и горько ей? Не надо было резать его! Пусть бы жил себе. Не видела б она смерти его! Памятью живой он о сыне был. Глаза Данекера его видели, руки прикасались к нему.

Своею волей убила старуха козла и показалось, что своими руками перерезала она горло сыну. Страшный череп. О, какой страшный! На карачках, задыхаясь, доползла она до постели, с головой накрылась одеялом. Темно! Ничего не видно... Но из мглы вдруг снова выступил белый череп с пустыми глазницами.

Тысячи молоточков стучали в висках. Устала Кульжамиля, спать хочет. Отчего такой туман в голове? И тысячи игл впились в тело. Почему ей не дают покоя? Будто дробный топот копыт забилась жилка над глазом. Сейчас, сейчас она лопнет! Все гуще багровый туман в голове. Сон это или явь?..

В пустой школе лежит и скалится мертвенно бледный Ерден, связанный по рукам и ногам. Смеются над ним мальчишки, заглядывая в пыльные окна. Кульжамиля бросилась к окну, чтобы прогнать сорванцов. Смотрит, а там не Ерден, а Данекер. Он все отворачивается, чтобы мать не узнала его. Под ее рукой со звоном разлетелось стекло. Она перелезла через окно. С другой стороны показался широко улыбающийся Ерден, и грудь его была золотой от наград. «Апа! Я свою вину искупил! Вон сколько орденов у меня!» — стучит он себя гулко в грудь кулаком.

— Где Данекер?

— Вот он! Прячется.

Хромая, выходят из школы Данекер с Тулешем. За ними целая свора свирепых собак. Серые и рослые, они окружают джигитов, норовят разорвать. Размахивая костылями, отбиваются парни от стаи. Тулешу удалось вырваться, а Данекера закрыла свора. Схватив дубинку, бросилась Кульжамиля на собак. Те с визгом разбежались. Мать крепко обняла сына. А под руками пустота. На месте Данекера лежит белый козлиный череп. Он увеличивается, растет, пока не становится огромным, как скала. Внизу — две черные большие пещеры. Непроглядный мрак. Кульжамиля боится к ним приблизиться, словно там скрываются какие-то невиданные чудовища. Горят чьи-то зеленые глаза. Еще и еще. Вот их уже так много, что они осветили пещеру. Оттуда выходят, взявшись за руки, Кельбет и Данекер с винтовками за спиной. Одеты они в длинные, до пят, новенькие шинели. На головах ушастые шлемы со звездами. Словом, они похожи на тех, что вернулись в аул с войны. И руки-ноги целы.

— Солнце мое! Как долго ты заставил себя ждать!

Раскрыв объятия, кинулась Кульжамиля к сыну. Кельбет со смехом бросил ей под ноги шкуру бурого козла, и она упала, поскользнувшись. И снова никого. Нет Данекера. А шкура вдруг превратилась в беспредельный океан, который поглотил ее... Кель-

бет, стоя на берегу, весело смеется. За его спиной прячется Данекер. А мать задыхается от тревоги. Сын тоже смеется. Он будто доволен, что в волнах океана захлебнулась его мать.

— Вы ту свою песню спойте. Тогда уйдут волны, и вы сможете обнять сына,— предлагает Кельбет.

«Хоть бы вспомнить! О, ну почему же я забыла, ведь на кончике языка вертится,— сокрушается Кульжамиля.— Бог! Когда ты мне помогал, проклятый? Зачем ты вяжешь мне язык, не даешь вспомнить своей же песни?!»

...Она сорвала с себя душное одеяло. Рубашка на ней взмокла от пота. Тускло светила лампа, но даже этого света хватало, чтобы обнажить комнату. Опираясь на дрожащие колени, Кульжамиля встала с места. «Увидела я жеребеночка моего,— заговорила она вслух.— Океан широкий между нами — это долгие годы разлуки. Он рядом с вернувшимся в аул Кельбетом ходит. О аллах! Значит, не забыла я песню. Вернется он. Ведь я так близко к нему подошла. Прости, аллах, безумную и многогрешную рабу свою. Велик ты и милостив». Открыв сундук, старуха надела чистое новое платье. Новые ичиги и нарядный камзол. Много времени прошло, пока неверными пальцами накрутила она на голову тюрбан. Надев чапан, затянула пояс. В полумраке глаза ее нашли зеркало, висевшее рядом с портретом Данекера. Собственное, отраженное в зеркале лицо показалось ей молодым и румяным. Рядом портрет. Ее Данекер. Ее единственный. Он лучезарно смеется, совсем как в недавнем сне. Мать протянула руку к портрету.

— Сын мой! Сокол ясный! Жеребенок мой единственный! Как же я по тебе стосковалась!

Сняв фотокарточку со стены, Кульжамиля прижала ее к груди, потом принялась жадно целовать. Холодное стекло показалось ей горячим, как щеки сына. Губы ее горели...

— Апа! Сюинши! Вы зарезали козла, и Данекер возвращается домой!— Это безногий Аскарбай, который принес весть о Победе. Под ним выплясывает каурый, зло грызет удила.

— Бери! О, все забери, светоч мой! Если бы знала я, глупая, то давно бы велела зарезать бурого!

Всем телом старуха подалась к двери, потому что именно оттуда донесся до нее голос Аскарбая. Взгляд упал на портрет Данекера, который она все еще прижимала к груди. Страшная слабость охватила ее от радости. Сын едет. Неужели не хватит уж сил поцеловать его? Боком, боком добралась она до печи и села на корточки. Прямой тонкий нос Данекера, высокий лоб, широкие плечи... Ее сын, принесший ей немало радости и страданий. Дороже солнца. Дороже луны. Жизнь ее. Хотелось прижать его голову к своей исхудавшей груди. Она раскрыла объятия. «Я слово свое не забыла. Ты исполнил мою мольбу, о аллах, и я теперь довольна. Можешь меня забрать! Я готова».

Она прижала сына к теплой распахнутой груди. От великой ра-

дости, от долгой разлуки слабым звоном наполнилась голова, и ее тихо понесло куда-то далеко-далеко, как на крыльях...

* * *

Время было выгонять скотину на пастьбу, а в доме Кульжамили стояла мертвая тишина. Не видно коз под ее окнами. Холодом пронзило сердце Нашекена. Не случилось ли чего со старухой? Вчера она была очень расстроена. Не понравилось Нашекену ее вчерашнее состояние.

Козы столпились в загоне, готовые снести дверь. Когда Нашекен откинул засов, они бросились из загона, давя друг друга, блея и крича, и совсем оглушили его.

Наружная дверь дома была распахнута настежь. Перед ней лежала одинокая калоша. Уже подходя к этой калоше, Нашекен поднял глаза и увидел шкуру бурого. «Большая, как у коровы»,— отметил он. Шкура уже начала подсыхать на ветру и на солнце, сморщилась, стала твердой.

Нашекен долго стоял перед дверью, не решаясь войти. Ждал, не послышатся ли изнутри какие-нибудь звуки. Тишина. Словно не в дом, а в темную пещеру вошел он наконец с сильно бьющимся сердцем, осторожно ступая. Снова дверь. Во внутренней комнате уже хозяйничало веселое золотое солнце, осветив самые укромные углы.

Перед печкой на корточках сидела, привалившись к стене, нарядно разодетая Кульжамиля.

...Грудь ее была слегка открыта, холодные руки прижимали портрет сына. Смерть не смогла их разлучить.

Тускло тлел фитиль лампы. Рядом валялись закопченные осколки лопнувшего стекла. На подоконнике — обглоданная голова козла. Рядом на полу — какое-то старое полотенце...

* * *

Обмыть покойницу и с честью похоронить ее собрался весь аул. Со вчерашнего дня не гаснет огонь в очагах под казанами, без конца идут люди. Что-то изменилось в ауле со смертью Кульжамили. Весь аул ощутил потерю, люди говорили друг другу слова сочувствия, соболезновали общему горю: «Да успокоится ее душа в садах аллаха! Пусть земля ей будет пухом!» И каждый из них близко к сердцу принимал эти слова, потому что умер родной всем человек.

Завернув тело в белый ковер, вынесли покойную на улицу. Кельбет просил не хоронить ее без него; видно, дела на почте его задержали. Холодное осеннее солнце стояло уже высоко. Даже ночная изморозь не успела еще высохнуть. Громкий жалобный плач послышался издали. Во всю мочь скакали рядом двое верховых. Люди их сразу узнали. Это были Аким и его отец Касым.

Спрыгнув с коней, они, рыдая, бросились обнимать Нашекена. Аулчане старались их развести, говоря слова утешения.

О аллах! Скачущей походкой к дому Кульжамили спешил Тулеш. Собравшиеся изумлялись и во все глаза наблюдали за приближающимся. Или смилостивился над ним бог, вернув несчастному разум? На полпути Тулеш вдруг сделал прыжок в сторону, крича: «Шнель! Шнель!», а потом спокойно продолжил свой путь. Он подошел к покойной, завернутой в белый ковер, и встал, понурив голову. Умит и Асельжан, не выдержав, зарыдали в голос. Вчера они плакали, выпевая слова горестных заплачек, словно родные снохи Кульжамили. А сегодня Тулеш, живая жертва войны, снова заставил плакать людей. Вдруг взгляд несчастного упал на портрет Данекера, стоявший у изголовья матери. Он быстро схватил портрет, долго и пристально всматривался в лицо друга, и по его щекам катились слезы. Первый раз видели люди, как плачет Тулеш. Он прижал фотокарточку к своей груди, потом поставил ее на место, тоскливыми глазами обвел всех присутствующих и вдруг закатился идиотским смехом.

Снова послышался невдалеке громкий и жалобный вопль. Это голосил Кельбет: «Апа-а-а! О моя ап-а-а!» Он, плача, обнялся с Умит, Асельжан, с Акимом и его отцом. Он понял, что люди ждали только его. Они молчали, но ему казалось, что все задают ему один и тот же вопрос: «Зачем ты заставил себя ждать?»

— Родичи! Я не хочу, чтобы на совести моей тяжким грузом лежал невыполненный долг перед матерью. Есть у меня поручение Данекера. Я хочу выполнить его в вашем присутствии.

Люди задвигались взволнованно, замерли, стали внимательно слушать Кельбета; голос его вдруг задрожал, лицо побледнело.

— Жалея мать, я ничего не сказал ей раньше. Прав ли я, не знаю. Но мне казалось жестоким отнимать у нее надежду увидеть сына живым. Она и сама жила этой надеждой. Нет ничего тяжелее, чем сказать матери: «Твой сын мертв!» Я этого не смог. Данекер погиб, о люди! Он умер как настоящий герой... Все вы помните ту историю, когда мы ходили за «языком». Спасая нас, Вася и Данекер приняли неравный бой и в этом бою погибли. Утром, как только враг ушел из селения, мы нашли в лесу их тела. Они были изрешечены пулями, но изверги надругались даже над трупами, в трех местах проткнув штыками. Разве мог я сказать обо всем этом матери, когда она была жива?! В кармане гимнастерки Данекера я обнаружил письмо, адресованное матери. Вот оно.

«Золотая моя мама! Бедная, ты, наверно, совсем измучилась, не имея так долго вестей от меня. Спешу тебе в первую очередь сообщить, что я жив-здоров. Эта война не нас одних разлучила, не нас одних плакать заставила. Надо терпеть. Я был в плену, бежал, сейчас стал партизаном. В плену, в руках врага, мы насмотрелись на всякие ужасы. За седые волосы волокли по земле матерей. Это страшное злодейство, мама. Холодным гневом горит сердце, и ты готов уничтожать врага до самого последнего вздоха.

Без вести я пропал, но не пропал человек во мне. Мстить! Мстить! Одна эта мысль не дает мне покоя ни днем ни ночью.

Не знаю, получишь ли ты мое письмо. Но хочется верить, что ты его все же увидишь. Связь с родной стороной поддерживать трудно. Но, как говорят, только у шайтана надежды нет, авось удастся мне переправить письмо на родину. Ты же у меня сильная, мама. Ты все вытерпишь. Обо мне не очень тоскуй, мы с тобой еще должны увидеться. Мама, мама, как ты далеко!

Добрая, светлая, верная мать!
Сын твой ушел с врагом воевать.
Много страданий пришлось испытать.
Все бы забыл, только б маму обнять!»

Вот, это и есть поручение, которое дал мне мертвый друг. Так я его понял, родичи.

Жанар в это время стояла рядом с Кельбетом. Время уже тронуло ее своей безжалостной кистью, нанеся первые тусклые краски надвигающейся старости.

В какой-то миг она вступила в скорбный хор плакальщиц. Женис, жалея мать, тоже заливался плачем. Он, этот мальчик, удивительно похож на Данекера, словно возродился в нем солдат. Кельбет только теперь заметил это и глазам своим не поверил. Да, была Жанар юной и прекрасной. И никто не ставил в вину Данекеру увлечение ею. Вот она, жизнь-то, как сложилась! Не умер, выходит, Данекер! Кельбет заплакал, не в силах сдержать слезы. Глядя на него, заголосили и другие. Джигит плакал и вспоминал, как люди рассказывали о злой женге Жанар, которая визжала в лицо покойному Тулепу:

— Это не твой ребенок, осел!

И этот кроткий человек по-настоящему разгневался на вздорную бабу:

— Мне все равно, от кого он родился! Но первый крик его раздался в моем доме!

Да, мастер, не только Кульжамилю, мать аула, не только Данекера, но и тебя оплакивали собравшиеся люди.

Кельбет вытер мокрое лицо рукавом и обратился к народу:

— Слезами, родичи, горю помочь нельзя. Хватит слез, о люди!

Погладив малыша по головке, он ласково спросил:

— Как тебя зовут, сынок?

На него строго и удивленно посмотрел маленький Данекер:

— Женис. Это значит «победа».

— Хорошее имя у тебя.

Люди, опустив тело на телегу, двинулись в сторону кладбища, но тут их неожиданно остановил Кельбет. Он сложил вчетверо пожелтевшее письмо друга и положил его под голову матери.

В головах Кульжамили — слова сына, рядом — улыбающееся его лицо...

Весь аул с почетом проводил в последний путь добрую, верную мать.

ЭПИЛОГ

Нашекен проснулся рано. Как солдат, он аккуратно заправил свою койку, смутив этим до слез свою сноху, успел умыться и одеться. Сегодня аксакал собирался в обратную дорогу. В Алма-Ату он приезжал, чтобы показаться врачам. У него болели глаза. Я помог ему, сделав все, что было в моих силах. Нацепив на нос очки, старик просматривал свежие газеты. Он стал совсем белым. И вид склонившегося над газетами седого аксакала был таким трогательным, что захотелось его сфотографировать на память, но аппарата под рукой не было. Зато в сердце моем эта картина запечатлелась. Вчера я слушал рассказы этого невзрачного на вид старого человека, который привез в мой столичный полированный дом мое трудное краснощекое детство. Жадно слушал и, казалось, забыл о том, что я давно уже взрослый человек. Никто уже не ошибается и не называет меня юношей, никто не гладит по голове. Увидев меня, старик поднял свою голову, посеребренную инеем.

— Когда организовывали у нас ликбезы, я кое-как выучился читать. Вот и пригодилось. Если не во зло, сынок, то нет бесполезных знаний. Старое письмо мне и помогло. Во время войны грамотешка моя даже пригодилась людям. Складом заведовал, завхозом был, бригадиром... В общем, не по себе шесток занимал, да ведь не было лучших. Воевали лучшие-то. Глаза вот совсем плохими стали. Почти не вижу ничего. Буквы так и скачут.— Нашекен ткнул пальцем в газетную полосу.

«Не было лучших». Нет, лучшим из лучших считаю я Нашекена. Могу во всем с ним согласиться, но тут я против. Он был для меня живой историей, летописью простого казахского аула, героем метельных лет. Я был удивлен и обрадован его приездом. Столько прошло времени... Будто перелистал тяжелые страницы старой драгоценной книги.

Нашекен собирался уезжать. Мне вдруг неудержимо захотелось уехать вместе с ним. Снова своими глазами увидеть свое детство, трудное взрослое детство. Восстановить все до самой последней былинки, до самой маленькой веточки. Ветви... За эти годы они успели стать раскидистой кроной могучего дерева, чьи корни глубоко уходят в историю аула. Не думаю, чтобы эти крепкие ветви забыли о трудном детстве своем. Сколько бы новых бутонов не выбросила степь, алые цветы моего детства не могли завянуть. Какими яркими были они в День Победы! Мы прожили целую эпоху в истории за каких-нибудь пять лет. Видел я горы и степи, долины и моря, но таких солнечных склонов в цветах, как в тот памятный день, мне встретить больше не привелось. Просто они были в неповторимом детстве моем. Его забывать я не вправе. Память сохранила многое, но мне все чаще стали сниться эти солнечные склоны в алых цветах.

Вместе с Нашекеном обойти бы снова те склоны, поля и пади. Кто лучше его сумеет мне рассказать обо всем? И сколько ему ос-

талось жить? Не раскаяться бы потом. Много времени я потерял понапрасну. Я жил интересной жизнью, но теперь понимаю, что для полноты мне не хватало именно моего детства. Услышать бы повествование Нашекена раньше, годы тому назад! Героический эпос. Я не ошибся. Это действительно героический эпос. Я и Нашекена слушал, как слушают дети чудесную суровую сказку. Нет, не жалею, что поздно услышал ее. И я твердо решил: «Поеду с ним, увижу все своими глазами. Больше не встретится мне такой проводник, как Нашекен».

И я поехал. Что быстрее? Скакун или ветер? Мысли или чувства?..

Конечно, аул стал совсем другим. Нет уже ни одной подслеповатой мазанки. Следуя за водой, аул переехал к подножию Кок-Ийрима. Дома здесь словно чайки белые. Крыши из шифера и железа. Нет ни старой конторы, ни памятной школы. Вместо них многоэтажное здание правления, большая светлая восьмилетка. В каждом доме есть электричество, радио. Изменился аул, изменились люди: спокойные, уверенные в себе, красивые, высокие.

Нашекен велел ехать к своему двору. Встретивший нас на станции Мукажан повернул машину к крайнему большому дому. Мукажану в годы старого аула было тринадцать лет. Закончив учебу, он стал учителем. С прошлого года руководит рабочкомом совхоза. Машина принадлежит ему.

Нашекен по дороге к совхозу дремал на заднем сидении. Мы с Мукажаном беседовали. Я задумался. Интересная штука — жизнь: если раньше одной из опор колхоза был отец, то теперь активно трудится в совхозе сын...

У меня на коленях сидел мой сын Нуртас. Я взял его с собой, чтобы показать аул. Он, конечно, ни о чем не думал. От самой станции он неотрывно смотрел в окна машины. Все ему ново, все в степи для него необычно, ведь рос он в городе. Пески и холмы, перебегающие дорогу ящерицы. Парящие в воздухе птицы.

— Что это за птица?— спрашивал он, а потом, забыв о своем вопросе, радостно кричал о другом:— Верблюды! Верблюды!

Голос его разбудил Нашекена. Аксакал велел остановить машину. Мы вылезли и направились к верблюдам. Нуртас заметил верблюжонка, подошел к нему и ласково погладил его мягкую шерсть. Нашекен поднял мальчика и посадил его между горбами. Казалось, Нуртас хочет поиграть с верблюжонком, а тот — с Нуртасом. Я увидел, что глаза у обоих блестящие и чистые. Радостно малышам. Сияют глазища, ласковые, нежные.

— Помнишь рыжую верблюдицу? Это ее потомство,— улыбнулся Нашекен.

Да, я помнил. Нуртасу в этом году исполнилось двенадцать. Когда началась война, мне тоже было двенадцать. Это сравнение очень меня испугало, я невольно поежился и подумал: «Хоть бы детям не пришлось пережить ужасов новой войны! Хоть бы не знали они холода и голода моего детства!».

— Эту дорогу ты, конечно, помнишь. По ней мы везли зерно. Тенге, ты и я,— продолжал Нашекен, и я обрадовался, что он отвлек меня от тяжелых мыслей.

Мукажан лихо гнал по шоссе машину. Веселый ветерок врывался в окно. Путь, на который мы раньше затрачивали два дня, теперь проделали за два часа. Дорога стала короче, или мы стали жить быстрее?..

Во дворе Нашекена полно галдящей птицы. Утки, гуси, куры, индюки. До самого гаража проложена асфальтовая дорожка. Раньше в глубине двора сооружали обычно хлев. А теперь на том месте гараж. Мукажан загнал машину во двор. Пять-шесть малышей бросились обнимать Нашекена.

— Ата! Ата![1]— звонко кричали внуки. Нуртас убежал с ними играть.

Я посмотрел на окраину аула. Степь. Там стоит белый мавзолей старой Кульжамили. Студентом я приезжал на каникулы сюда, и тогда еще мазар сиял белизной. Ничуть не потемнел.

Бурый козел, Кульжамиля, Данекер... Война... Все напомнил мне белый мавзолей. Тяжесть тех лет, выносливость и героизм людей, трудные их судьбы, честность и благородство, достоинство... Всему этому памятник — последнее пристанище Кульжамили.

— На мавзолей Кульжамили смотришь?— спросил подошедший Нашекен.

— Да,— вздохнул я.

— Аким в этот аул переехал жить. Семья у него. Он каждый год заново красит мавзолей. Двадцать один год уже стоит мазар.

В душе я был благодарен Акиму. Казахи никогда не обновляют могил. Но Аким не побоялся осуждения. Конечно, говорили ему, что нехорошо тревожить усопших, но он хотел всегда видеть мазар матери белым-белым. Каждый год. Правильно он поступает. Пусть не забывают люди...

— Папа! Это чей белый домик? Почему он на пригорочке стоит?— перебил мои мысли Нуртас.

— Это мавзолей, сынок. В этом ауле когда-то жила бабушка Кульжамиля. Она была достойным человеком.

— Она что, совсем недавно умерла?

— Нет. Тому уже двадцать один год.

— Но, папа, могила-то совсем новая. А какая она была?

Сын хочет знать... Так пусть же узнает, и не только Кульжамилю, но и Нашекена. Для Нуртаса это просто добрый старый дедушка, и он ничего больше не знает о нем. Но для меня он остался тем, прежним Нашекеном.

Был он опорой для всего аула. Таким я хочу помнить его. Пусть и сын думает о нем так же. Ему пока кажется, что поля сами собой возделываются, степь цветет, и растут города. Он пока думает, что машинами жив человек. На верблюдов, коней и быков

[1] **Ата** — дедушка.

он смотрит как на зверей в зоопарке. Надо, чтобы он узнал. Надо написать. Историю нестареющего мазара. Историю нового аула. Главное, о людях его написать. Как я не забываю своего детства, так и сын должен знать о том времени и помнить всегда.

Надо писать, пока все ясно стоит перед глазами и впечатления еще горячи. Спасибо Нашекену! Спасибо за честь, оказанную моему дому. Не думаю, чтобы такие встречи, наполненные смыслом, оживившие многих ушедших, повторились скоро. Аксакал привез в своем коржуне мое детство. Но я хочу поделиться теперь и с другими. Что-то дремавшее и угасающее разбудил во мне старик. Надо об этом написать. Надо! Пусть та далекая правда доверится белой бумаге. Пусть не отпустит меня!

ТАЙНА

Повесть



«Я думаю, что вы умеете хранить секреты. Я верю вам. Пусть никто, кроме вас, не знает об этом»,— пожелала она. И вот уже несколько лет я ношу эту тайну в себе.

В моем доме на полочке серванта стоит белая чаша, и когда я смотрю на нее, то снова и снова вспоминаю далекий голос; он будто струится чуть слышно из овальной горловины. Эта хрупкая чаша — и тайный мой собеседник, и замок, запирающий уста, и просто память. Один вид ее пробуждает в моей душе что-то очень сокровенное, то, что обычно покоится молчаливо и тихо в самой глубине.

...Внезапные сердечные боли привели меня после больницы на курорт. Врачи скорее напугали, чем обнадежили меня. Их советы казались мне похожими на утешения святых отцов у изголовья обреченного: «От санатория более чем на пятьсот метров не удаляйтесь. Не перегревайтесь на солнце. Ни в коем случае не нервничайте».

Ну что это за жизнь? Я еще молод, а мне уже запрещены длительные прогулки. Даже от солнца приходится прятаться, каким бы ласковым оно ни было. Советуют быть спокойным, ничего не принимать близко к сердцу. А я не умею быть равнодушным. Стоит ли так жить? Да и какая это жизнь, без радостей и огорчений?! Такие, довольно мрачные мысли не оставляли меня. Если и покидали ненадолго, то на смену им приходили другие, еще мрачнее. У ребятишек моих прекрасное безоблачное детство, жизнь становится с каждым днем все интересней, и сам я, кажется, нашел в этом сложном мире свое место, потому что хорошо работается, радостно и празднично, днем и ночью, в дождь и в туман. А разве не становится от всего этого наша жизнь полнокровной? Неужели моего сердца хватило только до нынешних дней? Неужели оно такое слабое? Почему же так поскупился создатель? Почему я оказался в таком отчаянном положении на тридцать первом году жизни?

Считается, что курортники люди больные. Но все, кто проходит

сейчас мимо меня, жизнерадостны и веселы. От них за версту пышет здоровьем, и веришь, что не только каких-то пятьсот жалких метров они в состоянии пройти легко и без вреда для себя, но и десять, двадцать, даже тридцать километров. Временами мне начинает казаться, что в целом мире болен только я один, а остальные не считают нужным даже притворяться хворыми. Как они открыто и заразительно смеются! Ха-ха-ха! Хо-о-хо! Куда уйти от этого смеха? Где спрятаться?

Медленно проходит в обнимку счастливая влюбленная пара. Молодые то и дело останавливаются, нежно целуют друг друга и нет им дела до всего света. А мне будто горячая игла прошивает сердце, когда я гляжу на них. «Ты можешь через минуту умереть, а они будут идти и целоваться, идти и целоваться»,— вот о чем предупреждает эта злая игла. Сердце мечется, подкатывает к самому горлу, перехватывает дыхание.

Обычно так у меня начинались приступы, и не раз приходилось вызывать «неотложку»; все кончалось уколами, кислородом, утомительным бездельем на больничной койке. Сколько рассветов встретил я с раскрытыми глазами! Эти бледные, как саван, рассветы и черные мысли...

Такие приступы пугали не только меня, но и всех моих близких. Лишь врачи оставались привычно спокойными. «Невроз»,— говорили они и писали неразборчивые рецепты. Меня их спокойствие раздражало, порой даже злило. Несколько раз я пытался даже вступить с ними в пререкания.

— Почему вы не осмотрите меня как следует? Это же сердце, а не палец! Разве с сердцем шутят? Если не хотите помочь сердечнику, то кому вообще нужна ваша помощь? Вы ж не враги, чтобы желать мне смерти? Если меня не жалко, то хоть детей моих пожалейте!— кипятился я, задыхаясь от отчаяния.

— Мы вам не враги,— отвечал пожилой врач,— вы сами помогаете своей болезни малодушной истерикой. Вы еще молоды, бог даст, поправитесь. Отдохнете пару раз на курорте, у моря,— еще футбол погоняете. А всякое самоедство и подобные вспышки я вам категорически запрещаю!

Но ведь раньше-то я не был таким мнительным и вспыльчивым. Видно, все это пришло ко мне вместе с болезнью. Я стал очень несдержанным, и всякая мелочь настолько выводила меня из себя, что я начинал трястись как в лихорадке. А потом расплачивался за дурацкую нервозность, приходя в себя на больничной койке.

«Не нервничайте!» Это заповедь из моего корана. Но чем глубже западали в мое сознание эти слова, тем раздражительнее я становился. Мне начинало казаться, что болезнь обострила мою наблюдательность и под благообразной маской порядочности я научился различать тайный порок, лицемерие, жестокость. Почему-то совсем не удивляло то, что я не вижу в лицах доброты. И страшно раздражали голоса, жесты, один вид окружающих. Домашние в такие дни старались быть незаметными. Но даже их молча-

ние злило меня. Дети все же порой забывались. Они растут, не понимая наших болезней, и энергия их требует выхода. Надоедает ходить на цыпочках. Да ведь это и противоестественно для человека. Но стоило им чуть расшуметься, как появлялась мать:

— Тс-с-с, тиш-ш-ш-е! Отец-с-с-с болен!

Они замирали от этого шипения и свиста, бледнели и испуганно смотрели на меня огромными от ужаса глазами. Редки дома, где не кричат и не смеются дети. Мой дом стал таким печальным исключением. Когда дети смеялись, мне казалось, что они мало любят меня. Когда молчали, чудилось, будто уже оплакивают отца.

Однажды сын принес домой камышинку. Плохая примета, а я с некоторых пор стал суеверным. Покойная мама никогда не позволяла нам делать этого. «Плохой знак. Камыш вносят только в тот дом, где есть покойник»,— говорила она. Сын словно заживо похоронил меня, и я легко поддался диким подозрениям. Камыш в городе редкость. Значит, сын специально искал его. Значит, знал про примету. Его подучили. Кто же, если не мать? И снова знакомое удушье. Я бросил под язык таблетку и потихоньку двинулся к кровати. Ноги отяжелели, и сквозь туман пробился ко мне детский крик:

— Мама! Мама, папе снова плохо!

Из кухни тут же прибежала жена. В глазах ее стояли слезы.

— Не дай бог! Упаси нас аллах!— растерянно всхлипывала она.

Я мучился сам, заставлял страдать близких. В доме царила настороженная тишина, но не было спокойствия. И вот теперь курорт, на который я возлагал столько надежд. Разве таким ожидал я его увидеть? Те же надоевшие заповеди: «Не нервничай, далеко не ходи!» Как все опостылело! Если бы на моем месте был Кожа Насыр, он бы, конечно, решил, что давно умер, и лег под первым же деревом. А я таскаю свои кости, потому что я не он.

И в одиночестве моем ничто не отвлекает меня от мрачных предчувствий. Начинает мерещиться, будто я уже умер и лежу в холодном темном подвале, пока готовят цинковый гроб, чтобы отправить самолетом на родину. Как, однако, растеряется жена, если не хватит у нее средств рассчитаться с Аэрофлотом. И вот я уже мысленно перебираю родичей — кто из них мог бы помочь ей,— и даже слышу их упреки: «Знал ведь о своем состоянии, понимал, что не выдержит, а все же понесло его в такую даль. Отошел бы спокойно дома, не причиняя никому хлопот. Или в больницу бы лег». Потом они станут жену обвинять в том, что не удержала, что одного отпустила, хотя и себе-то путевку я достал с трудом. Вдруг это путевка на тот свет? От таких мыслей все вокруг становилось для меня чужим и черным. И не было никакой надежды избавиться от них.

Так я живу уже больше года, а все никак не свыкнусь. Иногда даже чувствую, что близок к сумасшествию. Боюсь собственного отражения. Вчера случайно глянул в зеркало и обмер, покрылся

противным потом. Глаза запали, стали маленькими и тусклыми, губы обметала синева, кожа посерела, будто пылью покрылась. То и дело я со страхом прислушиваюсь к своему пульсу. Кажется, вот-вот остановится сердце. И вроде стучит оно с каждым днем все реже и слабее...

Первые пять дней на курорте ничем не отличались от тех, что я проводил дома. Все тот же страх, подавленность. Сотни раз на день умираю и столько же раз воскресаю. Куда до меня Иисусу! И все же надеюсь, жду облегчения. По-собачьи, заискивающе заглядываю в лица врачей, сестер и даже техничек. Таскаюсь на прогулки. Все до того же поворота и ни шагу дальше. Словно телок на привязи. Но теленку легче, он не думает. Вот бы и мне ничего не думать, блаженно пускать слюни и добродушно мычать. Проклятые мысли! Как от них избавиться? Они грызут меня, высасывая остатки жизни. Но что я могу поделать с собой?

Деревья оделись в свежую листву, легкий ветерок пробегает по травам, солнце ласковое светит. В майских лучах его серебрится и сверкает гордый Эльбрус. Жить да радоваться надо, радоваться да жить. Но я все воспринимаю иначе. Мне не до солнца, не до кипарисов. Эта красота — словно издевка над обреченным. Она пугает. Снова стиснуло сердце. Конечно, это от принятой час назад ванны, уверяю я себя. Уж не последняя ли она у меня? А жить-то как хочется! Жизнь-то, оказывается, вон какая сладкая!

Волоча ноги, я поплелся к знакомой скамейке, прятавшейся среди красиво и ровно остриженных кустов. Мне уже не раз приходилось сидеть здесь, наблюдая за отдыхающими, которые то и дело проходили мимо. Кусты не закрывали прогулочной аллеи. Зато сзади они тянулись густым колючим барьером с единственной щербинкой, достаточной, чтобы мог пролезть человек. Нет, это вовсе не самое любимое мое место, даже совсем наоборот. Здесь я чувствую себя будто на скамье подсудимых в ожидании самого сурового приговора. Но я же не преступник! Невольно смотрю в сторону санатория, в надежде, что кто-нибудь да увидит мою слабость, поймет состояние и поспешит на помощь. Я хочу этого.

Но, к счастью, боль сжалилась надо мной и отпустила сердце. Вскоре я уже вполне пришел в себя. Настроение немного улучшилось. Сзади зашуршали кусты, и женский голос поздоровался со мной по-русски:

— Здравствуйте!

— Здравствуйте! — ответил я и от неожиданности резко обернулся, напуская на лицо легкомысленную курортную беззаботность. Вспомнил, что я все же какой-никакой, но мужчина, и мне не хотелось обнаруживать свою слабость перед посторонним человеком, тем более перед женщиной. А незнакомка была хороша. Светлолицая красавица. Раньше я ее здесь не встречал. Конечно, а то бы наверняка обратил внимание. Она очень стройна, пожалуй, даже худощава. Во всей фигуре ощущается легкость, собранность и прямо-таки девичья гибкость.

— Мы с вами не знакомы и вы, конечно, удивлены,— улыбнулась она.

— Да-а, признаться, немножко. Но ведь не так уж и трудно познакомиться. Тем более, что на курорте это всегда делается с легкостью, как и в дороге.

— Очень жаль, что у многих сложилось такое мнение.— Она чуть заметно вздохнула и надолго замолчала. В глазах ее таились какая-то грусть, глубокая мысль. Как же я мог принять ее человеческую простоту и доверчивость за бесцеремонность кокетки? Стыдно! Взгляд незнакомки был участливым и дружеским, хранившим в себе мудрость достаточно много пережившего человека.

И еще мне показалось, что женщина была смертельно ранена в самое сердце и что рана ее до сих пор кровоточит. Но это все я понял не сразу. Признаюсь, сначала довольно бесцеремонно оглядел ее с головы до ног. Она не обиделась и продолжала спокойно смотреть на меня, как бы допытываясь: «Что ты сумел увидеть во мне? Не прошло ли мимо твоего взгляда самое главное?»

А я увидел прекрасные волосы, в которых запутались паутинки солнечных лучей, и нежное, такое необыденное лицо. Ничего вызывающего, ничего кричащего, ничего вульгарного. Добрая, природная красота.

Какое-то поразительное изящество было присуще этой женщине и не бросающееся в глаза достоинство в каждом жесте, в каждом движении. Одета она была очень скромно и строго, но выглядела элегантной.

Почти с первого взгляда я проникся к ней доверием, поняв вдруг, что она не наигранно проста. Я почувствовал, что сердце у нее большое и щедрое, что она редкой души человек. На шее у незнакомки был повязан легкий черный шелковый платок. Словно блестящее колечко на лебединой шее. И не сразу дошло до меня, что не красота ее удивительная так поразила меня, а почти физически ощутимые волны доброты и человечности, исходящие из ее глубоких глаз.

— Почему вы всегда один и все на том же месте? Я наблюдаю за вами, знайте.

Я промолчал.

— Я спросила вас...

Как ответить? Начать с ходу жаловаться на болезнь, на сердечную слабость, на предчувствия и поделиться своими гадкими мыслями? Какая польза от этого нытья? Хотя больным нравится говорить о своих хворях. Но при встрече с этой женщиной я както забыл о своем недуге, так зачем же самому задевать неприятную тему. Не стоит сознательно возвращаться к мрачным думам. Надо завести разговор о другом. Правда, врать я не горазд и теперь не знаю с чего начать.

— А что если вы не будете спрашивать? Тогда и мне не придется отвечать.

Я хотел сказать это легко, «светски», но ничего не получилось. Натянутая улыбка приклеилась к моему лицу. Я судорожно вздохнул. Собственный голос показался мне умоляющим, злым, какимто отчаянным. Но она поняла все.

— Не надо говорить, если вам тяжело. Я понимаю. У меня тоже такое было... Простите.— Женщина помолчала немного и вдруг процитировала:— «Спросить о шрамах на лице ты можешь. Не спрашивай, прошу, о ранах сердца».

Шрамы на теле заживают. Раны на сердце кровоточат. Видно, с такой мукой я ответил ей, что она не могла не подумать о какомто огромном горе, свалившемся на меня, перевернувшем всю мою жизнь, не оставившем ничего, кроме боли. Незаметно для себя мы медленно пошли рядом по аллее, спустились на людный терренкур и двинулись к горам...

* * *

На следующий день мы встретились с ней в то же самое время и на том же месте, заранее не сговариваясь о встрече. Это было уже второе наше свидание. Я пока довольствовался ролью слушателя и меня это устраивало. Она рассказывала, а я слушал ее с огромным увлечением, радуясь и переживая вместе с ней. Вначале рассказ ее был несколько суховат, но потом мое искреннее внимание помогло ей побороть скованность, и она перестала искать слова, они сами приходили в нужную минуту. Кажется, она была довольна мною как слушателем. Я почувствовал, что ей необходимо выговориться, откровенно и до конца. Так много скопилось в душе ее переживаний, что она уже не в силах была и дальше нести их в себе.

Детство Майи мало чем отличалось от судеб ее сверстников. Пятнадцатилетним подростком встретила она лихую годину в родной деревушке на Украине, одной из тех, куда война обрушилась в первые же свои часы. В первый же день лишилась отца, и остались они вдвоем с матерью...

— Мама моя была мужественной женщиной. С приходом врага она не потеряла головы, как многие, и думала только о том, чтобы я не попалась на глаза фашистам. Очень за меня боялась и все твердила, что захватчик не пожалеет моей юности, что фашист — это зверь в человечьем обличье. Не уставала повторять мне эти слова.

Целый месяц прятала меня от немцев то в сене, то где-нибудь еще. Шумная, развязная немецкая солдатня слонялась по деревне. По меньшей мере раз в день заглядывали они и в наш двор. В первый же свой приход фрицы пристрелили мою любимую собачку, которую я взяла на воспитание еще щеночком. Я молча плакала в своем укрытии от гнева, бессилия и унижения. Плакала от жалости к щенку, его предсмертный визг долго еще стоял в моих ушах. Даже сейчас порой слышу его.— Она как-то виновато улыбнулась.— Собака всегда чувствует врага. На доброго человека

и лаять не станет. А вот на врага огрызнулась перед смертью. А я, человек, загнанный в сено, пикнуть не смела. Сама себя презирала, но все-таки лежала, затаившись как мышь. Не раз я порывалась выскочить из своего убежища, и только мысли о матери удерживали меня.

Однажды немцы увели у нас корову, потом они пришли за свиньями, постреляли поросят и наконец вернулись за птицей. На кур они устраивали настоящую охоту и дико веселились. А я очень боялась, что они убьют маму. Как я радовалась всякий раз, когда видела ее живой и невредимой! Будто после долгой разлуки встречала ее. Счастьем казалась каждая наша встреча.

Но вскоре я заметила, что мама ночами украдкой уходила из деревни в сторону леса. Перед уходом она не забывала наказать мне, чтобы я лежала тихо и не двигалась с места. Она таскала в лес уцелевшие в доме продукты. Я решила, что она прячет еду от немцев. Жить в заточении становилось невмоготу.

Однажды мама сказала:

— Идем, дочка. Попрощайся с отчим домом. Мы уходим!

Разоренный и опустелый, двор наш никак не хотел отпускать меня. Я здесь выросла, каждый угол напоминал о чем-то дорогом. Тут отец качал меня на руках, мать пела дивные песни... Белые ветки вишни стучали в окно. Я заплакала. Когда стемнело, мы покинули деревню.

Теперь нашим домом стал партизанский лагерь, а семьей — отряд. Мать взяла в руки оружие. А меня приняли в партизанские дочки, любили и ласкали, старались побаловать сладким кусочком. Но я просилась в бой. Это очень пугало маму. Она плакала и отговаривала меня от безрассудного, на ее взгляд, шага. Я до сих пор слышу ее голос: «Нет, нет, нет. Ты не должна так мучить меня. Я же вся изведусь, дочка. Пожалей мать! Я сама повоюю за тебя и за себя. За все спрошу, за все отплачу! Сама я, сама...» А в глазах мольба...— Майя дрогнула, затихла, но сумела взять себя в руки и продолжала:— Командиром партизанского отряда был мужчина уже в годах — или мне, девчонке, казалось так,— могучего телосложения, а бойцы его все сплошь бородачи. Разговоры вели в стороне от меня, таились и опасались, будто я по глупости детской напортачу что-нибудь невзначай. В общем, не заслужила я вначале в отряде большого доверия, всё дитем считали, оберегали.

Стоянки свои мы меняли часто. Почти каждый день снимались с места. Раньше через деревню изредка проходили цыгане, и жители беззлобно посмеивались над их образом жизни. А теперь и сами привыкли кочевать. Ко всему может притерпеться человек. Но табор переезжал с места на место с песнями, шумно и весело, а мы снимались безмолвно, тихо. Меня до сих пор удивляет, как огромному отряду с его хозяйством удавалось сохранять при переездах поразительную бесшумность. В суровой партизанской обстановке я потихоньку простилась с детством, стала настоящей лесной жительницей. Да и мама тоже. Кажется, все бойцы отряда забыли, что

она все же женщина. Сам командир смотрел на нее с верой и уважением. Может, поэтому с особой теплотой относился он и ко мне. Внешне суровый, он был на самом деле человеком большой доброты. Хотя умел быть жестким и требовательным. Но глаза его всегда излучали тепло и ласку, и никакая борода не могла притушить этот блеск. Постоянные переходы, тревоги, бивачная жизнь закалили нас. Я изучила винтовку, автомат, пулемет. Научилась стрелять и бросать гранаты.

Раньше лающая немецкая речь до смерти пугала меня, но теперь я привыкла и к этому. У нашего отряда было немало встреч с врагом. Мама моя очень скоро нашла свое место в отряде и стала полноправным бойцом. Ей не раз приходилось рисковать жизнью, выполняя трудные задания партизанского штаба...

Впрочем, давайте продолжим наш разговор завтра.— Майя Денисовна виновато улыбнулась.— Вас, наверное, тоже ждут лечебные процедуры.

* * *

Я с нетерпением ждал новой встречи. Если раньше был занят только собой, лелеял свою боль и киснул от тоскливых мыслей, то теперь я постоянно думал о судьбе Майи Денисовны, жалел ее, отчасти даже завидовал. Могу сказать одно: рассказ ее не оставил меня равнодушным. Многое она пережила. И если раньше меня привлекал ее голос, ее внешность, то теперь я ощутил растущее сочувствие к этой женщине.

Сейчас мы со страхом прислушиваемся к каждому уколу сердца, а в ту страшную войну, когда сердце каждого было открытой раной, до уколов ли было людям? В добрые времена мы забываем о бедах, а в трудные годы нам начинает казаться, что вовсе и нет никакого счастья. И все-таки умеем надеяться. Потому-то мы и прозываемся людьми. Не всегда замечаем поддержку, нередко отталкиваем помощь, даже когда она рядом. Казалось бы, неприхотливым был рассказ Майи Денисовны, но он воскресил во мне надежду, придал силы и мужества. Хворь побеждает слабых. Я почему-то вспомнил чьи-то слова: нет болезни, а есть мысли о ней. Значит, нужно самому стать сильнее боли. Значит, не думать о недуге — это уже борьба с ним. Я вроде и почувствовал себя лучше. Или красота моей собеседницы оказала на меня благотворное действие. Или рассказ ее вдохнул свежее дыхание в мое стесненное сердце. А может, начало давать результаты лечение. Словом, тяжелый камень, лежавший на душе, будто бы полегчал.

И вот уже снова Майя Денисовна на старом нашем месте. Здоровается тепло, как принято между хорошими знакомыми. Как всегда, красива и подтянута. Улыбается, и я невольно отвечаю ей тем же.

— Я заметила, что вы никогда не опаздываете. Видно, мать приучила.

— Вы правы. Мама считала, что от ожидания одинаково осты-

вают и пища и человек. Помнится, она так говорила об этом: «Не опаздывай к обеду — грех примешь. Не опаздывай к человеку — доброе слово услышишь». Не понимаю людей, которые нарочно стараются опоздать в гости или на свидание. Право, никакой значительности им это не прибавляет.

— Точность — вежливость королей. Впрочем, в вашем правиле чувствуется твердость поведения, а мать ваша подходила к этому и вовсе философски. Пожалуй, нет ничего дороже человека и священнее хлеба. Это уже из области нравственной. По отношению к ближним и к хлебу можно составить суждение о человеке... Мама ваша жива?

— Нет... я ее довольно рано потерял.

— Простите!

Она глубоко вздохнула.

— У меня тоже нет ее.

— Как же она... В партизанах погибла? Ах, какой я неосторожный! Спросил, даже не подумав, что вам будет больно! Я не хотел. Извините!

Она удивленно посмотрела на меня, и я замолчал, стыдясь и проклиная себя, пока не услышал ее голос:

— Ну что вы! Я знаю, что вы не хотели меня обидеть. Я горжусь мамой и могу рассказать о ее гибели, ничуть никого не стыдясь. Не жалкой и не позорной была ее смерть.

— Я не смею просить вас...

— Отчего же? Вам я могу рассказать.— Она снова улыбнулась, но по глазам ее я понял, что Майя Денисовна была уже далеко отсюда, в своем прошлом.

— Проснувшись однажды, я увидела, что мамы рядом со мной нет. Быстренько оделась, прошла через спящих и обнаружила, что, кроме мамы, нет на месте еще около десятка партизан. Я поняла, что они снова отправились на какое-то секретное задание. Мама, зная, как я тревожусь за нее, всегда старалась уйти незаметно. Я просто с ума сходила от страха, и всякий раз ее возвращение было для меня праздником. Наконец группа, ушедшая ночью на задание, вернулась. Бойцы несли кого-то на носилках. Мне показалось, что это моя мама, и я закричала от ужаса. Кто-то закрыл мне рот ладонью, пропахшей махрой и ружейным маслом. Подбежала мама и обняла меня за шею, обдав горячим дыханием:

— Майечка! Жива я, здорова! Ну разве можно так, доча!

Я протянула руки к маме и наткнулась на холодный карабин. Будто к змее прикоснулась. Все лицо маме зацеловала, аж плакала от радости.

— Испугалась?— ласково спросила она.— Успокойся. Пойдем лучше поможем раненому летчику.

Я утерла слезы и обернулась. На носилках лежал совсем еще молодой мужчина с мертвенно бледным лицом. Я осторожно приподняла его запястье и с большим трудом нащупала слабый, зату-

хающий пульс. Командир отряда пошептался о чем-то с мамой и взял планшет летчика.

Уже наступили осенние холода. Лес терял густую листву и теперь перестал быть надежным укрытием. Поэтому отряд отошел далеко в глубь чащобы, и люди зарылись в землю, как кроты. В одну из землянок, отведенную под лазарет, внесли летчика. Распоряжалась здесь мама. По ее знаку уложили раненого и вышли. Мне она велела остаться.

В далеком детстве летчики казались нам людьми необыкновенными, сказочными крылатыми героями. Каждый мальчишка в нашей деревне, вплоть до самых сопливых, знал имена Чкалова, Байдукова, Белякова. И каждый, конечно, мечтал стать таким. Мы испытывали к ним чувства почти религиозные. И вот один из этих крылатых, недосягаемых для простых смертных героев лежал передо мной в темной землянке в глухом партизанском лесу, беспомощный, неподвижный, обескровленный. Я во все глаза смотрела на него. Человек как человек. Руки, ноги, голова — все на месте, все, как у людей. Ресницы чуть подрагивали. Шевельнулись губы. И я, забыв о том, что он полубог, смочила ему обметанные жаром губы. Он приоткрыл ничего не узнающие глаза, и я закричала:

— Мама! Он жив!

— Слава богу, донесли, выходит,— прогудел басом командир отряда.— Ну, коли жив, тебе, дивчина, и смотреть за ним. Выходить летчика — твоя первая боевая задача.

— Ладно, буду за ним смотреть,— совсем не по уставу ответила я, испуганная и обрадованная.

Мой летчик пришел в себя через день. Удивленно смотрел на меня и улыбался. Пока вдруг не нахмурился. Что-то, видно, встревожило его, в глазах появилась настороженность:

— Где я?

— Вы у партизан в лагере,— объяснила я дрожащим голосом.

Он как-то по-детски бережно взял меня за руку и облегченно вздохнул. Потом приложил мою ладонь к щеке и закрыл веки. Две жгучие слезинки выступили в уголках его глаз. Несмотря на то, что руки у летчика были прохладными, мне показалось, что я ощутила ожог на своем запястье. По всему телу прошла дрожь. Лицо эапылало. Я еще ничего не понимала. Не могла и подумать, что жизнь, несмотря на холод и голод, на смерть и разруху, на страх и гнев, берет свое. Иногда, увидев травинку, пробившуюся через асфальт, я вспоминаю все снова. Было самое тяжелое время войны, смерть бродила рядом, мужики на мужиков перестали быть похожими, а женщины, казалось, забыли о том, что они женщины. А мое первое чувство пробилось... Да, я почувствовала себя женщиной и мне ничуть не стыдно в этом признаться. Было радостно и неловко. Будто во сне или в сказке. Ладонь моя тихо лежала на его лице и мне не хотелось убирать руку...

Мой летчик с каждым днем чувствовал себя лучше. На щеках его появился легкий румянец. Все свое время проводила я у его из-

головья. Мне никуда не хотелось уходить от него. Даже тревога за маму стала не такой острой. Я оправдывала себя тем, что выполняю боевое задание, что должна вернуть в строй сокола. Вначале ему и говорить-то трудно было. Одни глаза и жили на его лице. Он с меня взгляда не сводил, пытался что-то сказать и лишь беспомощно шевелил губами. А мне так хотелось услышать его голос! Хотя бы вновь тот короткий вопрос: «Где я?» Вглядывалась в его лицо и ждала, а он закусит губу и глаза закроет. Тогда только я понимала, как ему больно. Просто чудо, что маме удалось в то время найти кучу лекарств и бинтов. У нашего подопечного не было открытых ран, но состояние оставалось тяжелым. Он все еще не мог двигаться. Я ничего не знала, да и не хотела знать, о том, кто он, что за летчик, откуда появился, как нашли его партизаны. Я страстно желала одного, чтобы он быстрей поправился. Три дня мама провела вместе со мной в лазарете. Простой деревенский фельдшер, в отряде она слыла чуть ли не академиком. Люди шли к ней не только с телесными недугами, но и с душевными бедами.

— У него поврежден позвоночник. Дай-то бог, чтобы связки не порвались. Больно ведь ему, ой как больно! А он молчит, терпит. Мужественный юноша!

От этих маминых слов расположение мое к летчику выросло еще больше. Три дня мама пичкала раненого какими-то лекарствами, плотно перевязала его, будто в гипс заковала, положила на голые доски, убрав все тюфяки и матрацы. По тому, что нас каждый день навещал командир отряда и справлялся о здоровье больного, я поняла, что не простой это гость и не случайный. Я ухаживала за ним как умела: вытирала лицо, кормила, поила с ложечки. И однажды он спросил:

— Как тебя зовут, милая?

— Майя,— говорю, а сама вся дрожу.

— Как вы-то с мамой сюда попали?

Я все ему рассказала, ничего не скрывая. Даже о собачке, которую пристрелил фашист. Вдруг лицо его исказилось от боли. Мама предупреждала меня, что ему нельзя говорить. Я вспомнила об этом и почувствовала свою вину. Видно, с таким откровенным страхом взглянула на него, что он пересилил боль и улыбнулся...

Неожиданно отряд стал готовиться к новому переходу. Выпал снег. В последние дни усилилась стрельба в ближайших окрестностях, дошли сведения о скоплении немцев в опасной близости от лагеря. Надо было уходить, сбить их со следа. Самым трудным был вопрос транспортировки раненых. Многие решили идти сами. Им не хотелось быть обузой для товарищей. Сейчас меня удивляет и восхищает героизм этих людей, их мужество. Мы шли чащами и буреломами, уходили в сторону от троп, и все время ковыляли рядом без единого звука, без стонов и жалоб раненые, опираясь на самодельные костыли. А такая дорога изматывала даже самых здоровых и выносливых. Совершенно беспомощным оказался лишь

мой летчик. Его поочередно несли на носилках. Я уверена, его не так мучила боль, как сознание собственного бессилия, стыд за то, что товарищам приходится с ним возиться. Он даже просил пристрелить его, чтобы не быть тяжким грузом для отряда, но его, конечно, не слушали. Я все время шла рядом с носилками или чуть впереди. Раскисшая земля липла к сапогам, расползалась под ногами. Приходилось пробираться через заросли, и холодные жесткие ветки беспощадно хлестали по лицу. Каждый шаг давался с трудом. Каждый выдох казался последним. Время словно остановилось.

Я теперь не помню, шли мы день или неделю. Отряд разделился на группы. Откуда-то из-за деревьев бесшумно появлялись разведчики и указывали дальнейшее направление. В густых сумерках вышли к заброшенному дому лесника. Люди обрадовались, решили остановиться. Примерно на километр в разные стороны были выдвинуты партизанские посты. Лесная жизнь скоро приучила нас всех ходить бесшумно, действовать молча и быстро. Если кто и забудется, то достаточно одного взгляда командира, чтобы восстановить порядок.

Я находилась все время рядом со своим подопечным и видела, как грызет и мучает его мысль о том, что он усложнил положение и без того измученных людей. А тут еще мама подошла и тяжело вздохнула:

— Устала, дочка?

Глаза летчика стали страдающими и виноватыми. Я молча посмотрела на маму, укоряя ее за нечуткость. Да и перед парнем было стыдно.

Ах мама! Она обо мне беспокоилась, места себе не находила, а я ее упрекать смела...

Короче, за то время, пока ухаживала за раненым, я почувствовала себя взрослой девушкой. Да, во мне проснулась женщина. Хоть и одеты мы все были по-походному да как придется, чаще носили мужскую одежду, но я старалась затянуться ремнем потуже, показаться повыше да постройнее, поаккуратней, нарядней. А он, хоть и лежал без движения, а все понимал, все видел. И мои невинные усилия понравиться ему не оставляли равнодушными и его. Как бы сильно ни зажала нас война, она не могла задушить человеческие чувства. Мы были молоды. Оставаясь с ним, я забывала обо всем: об опасности смерти, о тревожно гудящем лесе, о крадущихся шагах, о неудобствах походного быта. Может, жизнь этим и сильна, этим и вечна? Гордость, честь, доброта, гнев, дружба, любовь — великие человеческие чувства, они поддерживали нас в самые трудные минуты.

Отряд рос с каждым днем. К нам приходили новые люди. Это были солдаты, бежавшие из плена, местные жители, оставившие пепелища родных домов, окруженцы. Больные, раненые, истощенные, они усложняли и без того нелегкую жизнь отряда, но это были свои люди, наши граждане и не принять их было нельзя. Геста-

по не дремало. Оно засылало к партизанам диверсантов и провокаторов, поэтому к новичкам в первые дни относились без особого доверия. И люди не обижались, понимая, что этого требуют суровые законы войны. Все проходили испытание боем, проверку кровью. Доверие надо было заслужить. У командира отряда прибавилось забот. Его командирский глаз нужен был не только в лагере, укрытом в густом лесу, но и по всему лесному краю, где пробирались болотами и буреломом его бойцы. Больше стало боевой работы и у мамы. Если я раньше ждала ее возвращения, умирая от страха и тревоги, то теперь просто тряслась в ожидании ее. Ее мужество и выносливость поражали меня. Я была младшей в семье. Мама разменяла только пятый десяток, а мне уже казалась пожилой. Конечно, сейчас я бы этого не сказала, ведь сорок — это еще молодость...— Майя Денисовна с улыбкой посмотрела на меня. Я тоже невольно улыбнулся в ответ, глядя на милую ямочку на ее щеке. Мне захотелось представить себе ее мать в молодости. Конечно, она была такой же красивой, как дочь.

— ...Словом, партизан с каждым днем становилось все больше. Но это как-то проходило мимо меня, никак не задевая. У меня был летчик. Единственный летчик в отряде. Все время, все силы я отдавала ему. Через месяц он начал вставать на ноги и с тех пор быстро пошел на поправку. Наша лесная жизнь его угнетала. Разумом он понимал необходимость подполья, но сердце его бунтовало, ему казалось унизительным прятаться от врага на своей земле. И еще, тесно было ему в лесу, между вековыми деревьями, он жаждал неба, простора. Мечты и труд формируют человека, а профессия неизбежно откладывает свой отпечаток на его личности. Сам он то и дело говорил о том, что хотел бы найти свою часть, попасть на фронт. Он мечтал об открытом бое.

Я никогда не спрашивала его о том, как он попал к нам, да и он ничего мне не рассказывал. Мы подчинялись законам войны. Ничего лишнего не говорили. Кому положено, тот знал. Мама была не очень довольна нашим гостем. После того, как они вместе сходили как-то на связь, мама сказала: «Неосторожен, чересчур горяч». Летчики — люди риска. А партизану, кроме мужества, необходима великая осторожность.

Лихость приводит к беде. Так и случилось в конце концов с мамой...— Майя Денисовна почти прошептала последние слова. Глаза ее стали прозрачными.

— ...Как обычно, я осталась в штабе, а группа партизан во главе с летчиком ушла в соседнюю деревню. В той группе была и моя мама. Предварительную разведку провели неряшливо. Потом на авось открыли огонь, взбудоражив округу. Немцы ударили клином и надвое раскололи группу. Короче, из того боя вернулись не все. Троих потеряли. Одна из них — моя мама.

На следующее утро в деревню была послана новая разведка. Видно, ночной бой испугал немцев, потому что они покинули насиженное место. В то время партизанское движение приняло в

тылу невероятный размах, и немцы очень боялись народных мстителей. Тыл давно перестал быть для них спокойным. В деревне не осталось ни одного фашиста, и мне разрешили идти вместе со всеми. Мы искали маму и двух ее товарищей. Всю ночь я проплакала. Командир отряда и летчик были хмурыми, будто знали что-то страшное. А я все надеялась, все ждала, что мама выбежит ко мне навстречу и спросит:

— Испугалась, дочка?

...Не суждено было сбыться моим надеждам. На площади перед сельсоветом немцы повесили всех троих. Когда я увидела на виселице маму, то закричала страшно и упала в беспамятстве. Мне не раз приходилось до этого видеть погибших. Но тех убивали пули. А повешенных я видела впервые. И... там была мама. Это было ужасно! Когда я открыла глаза, первым увидела летчика. Он сидел рядом, поддерживая мою голову. Я будто окаменела. Даже плакать не могла. Видно, слишком большим было потрясение, и я только зубами скрипела от муки. Люди, наверное, думали, что я буду рыдать, биться, кричать, но я молча шла за санями, в которых лежали убитые. Похоронили маму с товарищами сразу за деревней, на старом кладбище. Вот как я ее потеряла...— Майя Денисовна наклонилась к моему лицу, и мне вдруг захотелось закрыться рукой от ее горящего взгляда.

Сердце взметнулось к горлу, застучало сильно и часто. Я уже не слышал последних слов женщины. Я даже не видел ее, забыл о том, что она рядом, а все шел и шел вперед к Эльбрусу...

Рассказ Майи Денисовны поднял настоящую бурю в моей душе, всколыхнул множество мыслей, пробудил полузабытые чувства. Я вспомнил маму, снова пережил вместе с ней военные годы. Передо мной проходили картины прошлого, в которых каждый штрих рассказывал о маме, о делах ее, о мужестве. Мне казалось, что я заново и пристально перечитываю книгу, которую в детстве лишь небрежно перелистал.

...За семьдесят километров добиралась мать от аула до районного центра. Наша школа стояла рядом с военкоматом, а двор и площадь перед комиссариатом были сборным пунктом: днем и ночью отправляли отсюда парней на фронт. И постоянно окружали двор седобородые аксакалы, сдержанные старухи, молодайки с горестными глазами, необычайно серьезная детвора. Каждому хотелось наглядеться на время долгой, а то и вечной разлуки на своих родных: на сыновей, на внуков, на мужей, на братьев, на отцов... На глазах слезы, на душе печаль, молча плачут, молча терпят. И пришли-то сюда, понимая одно, что нельзя было не прийти, что этими невеселыми проводами выражают свою любовь. Желание увидеть родных еще раз хоть издали привело их сюда и еще надежда на то, что удастся в последний раз прижать к себе солдата. Издерганные, с воспаленными глазами, работники военкомата сорванными голосами кричали на собравшихся, прогоняли людей со двора, от забора. Люди не обижались. Они понимали, что кричать и злиться этих

военных заставляет тоже война. Отодвинется толпа, всколыхнется и снова прихлынет. В большие ворота выезжали арбы, в которые были запряжены красивые кони, подготовленные специально для фронта. И лишь после того, как всех призывников рассаживали по местам, родным давалось разрешение попрощаться. И тут, словно прорвав плотину, людской поток устремлялся к телегам. Долгое терпение рушилось, и люди давали волю слезам и неудержимой ласке. Во дворе поднимался невероятный шум. Заслышав его, мы тоже покидали классы вместе с учителями. И вместе со всеми плакали.

Наконец трогалась в путь передняя телега.

— Довольно! Возвращайтесь! Идите по домам!— надрывались военные, и молили мобилизованные. Но никто не обращал внимания на эти слова, люди двигались вместе с обозом за село и дальше на многие километры, пока даже самые упорные не оставались у обочины, глотая сухой холодный воздух пополам со слезами. Один за другим отставали глубокие старцы, малосильные дети, терпеливые женщины...

Этой же дорогой зимой сорок второго проводили нашего брата. Мама тяжело переживала разлуку со старшим сыном, вернулась домой подавленная, измученная, но даже нам, своим детям, не показала слабости, а наоборот, как могла, утешала и поддерживала нас.

— С народом любая беда — праздник,— говорила она.— Даже в сорокалетней войне смерть найдет тот, кому суждено. Если мы родились под счастливой звездой, то вернется наш воин, если нет, то останется в чужой стороне.

Сноха, жена брата, запричитала было, но мама строго прикрикнула на нее:

— Не смей оплакивать раньше времени! Не накликай беду!

Потом, когда все немного успокоились, она велела снохе побыть рядом с нами, проследить за нашими занятиями, позаботиться о бельишке и еде, а сама намеревалась вернуться в аул. Летом мама собиралась и нас перевезти туда, чтобы все мы были вместе. Зимний день короток, как топорище. Утром мать отправилась в путь. Дорога неблизкая. Верховой затратил бы на него целый день.

Мы занимались после обеда. Проводив маму, я пошел на уроки. А на школьном дворе снова толпы народа, снова шум и плач, снова отъезжающие джигиты. На сердце тяжело, а ведь сердце-то детское, да беда взрослая.

Вечером уроки проходили при свете керосиновой лампы. В то время электричества не было даже в районном центре. В классе висели две лампы, но и они не в силах были рассеять полумрак. Шел немецкий язык. Меня вызвали отвечать. Я поднялся, а дальше ничего не помню. Случилось это часов в семь-восемь вечера.

Придя в себя, я открыл глаза и не понял даже где нахожусь. Незнакомая обстановка. Одни белые кровати. Рядом со мной сидели две молодые женщины в белых халатах.

— Где я?

— Тихо лежи!— прошептала одна.— Ты в больнице.

— А как же я попал сюда?

— Тс-с-с! Тебя ночью привезли. Ты был без сознания.

За окном чуть забрезжил рассвет. Мы вздрогнули от неожиданно громкого крика. Стали просыпаться больные, соседи по палате. Снова донесся призывный и жалобный, полный боли крик:

— Птенчик мой! Жеребенок мой!

Сестра бросилась на улицу. Я поднял голову, приподнялся на локте и посмотрел в окно. Там кто-то привязывал коня к дереву. Шаль, ичиги, чапан были похожи на мамины. Но я все же сомневался, откуда она могла взяться здесь. Снова кто-то закричал, окликая меня по имени. Странно, но я не узнал голоса матери. Теперь вся больница ее слышала. А вот кобылу нашу я узнал сразу, несмотря на то, что она была вся покрыта инеем. Лошадь пофыркивала, и из ноздрей ее выбивались белые клубы пара, как у богатырских коней.

— Отзовись! Жив ли ты, светоч мой?!

Вот уже голос раздался за спиной. Отшвырнув от двери сестру, вставшую на ее пути, в клубах морозного тумана, с холодом и ветром ворвалась в палату моя мама, не обращая ни на кого внимания. Она бы в тот момент не испугалась, наверно, и дракона, встань он на дороге. Раньше я никогда не видел маму такой решительной и в то же время растерянной.

Я сидел на кровати, не совсем еще понимая, что происходит вокруг. Мама бросилась ко мне, обняла и крепко прижала меня к груди, падая на мою постель. Больные настороженно притихли. Они словно ждали новых криков, новых слез. Но мама всхлипнула разок, вздохнула глубоко и села рядом, на табуретку, подставленную сестрой. Размотав кушак, она огляделась.

— Не серчайте, родные, я вчера только проводила на фронт старшего сына, а сегодня услышала, что младший в тяжелом состоянии. Вот и примчалась сюда. Простите, если неуместным криком своим покой ваш нарушила. Думаю, вы поймете меня: есть же и у вас матери. Не приведи аллах, дети мои, узнать вам то, что пришлось пережить мне за эти два дня! Весь путь до аула облила я слезами, а когда подъезжала уж к дому и вздохнула чуть свободней, надеясь отдохнуть, как встретила меня весть о болезни вот этого мальца. Только и хватило сил переседлать лошадей и взять в дорогу свежую кобылу. Затянулась потуже кушаком да тут же прямо ночью и отправилась в путь. И вот я здесь.

На лицах у слушавших появилось сочувствие.

— В ауле остался отец, придавленный несчастьями. Голодная скотина ревет, черный казан холодеет без пищи. Да пусть все проклято будет, лишь бы дети были живы! Слава аллаху! Тауба! Тауба! Спасибо и за это! Я уж и не чаяла его живым застать.— Мама ткнула пальцем в мою сторону, и лицо ее потеплело, стало добрым. Отсырел в помещении жесткий тулуп, и с него побежали струйки

воды. Кисло запахло овчиной. Сошел с бровей колючий иней, и мама снова стала домашней, такой привычной и мягкой. Я знал ее способность с первого раза завоевывать внимание людей. Вот и теперь она заставила неравнодушно слушать себя всех больных.

До сего дня я не перестаю удивляться мужеству своей матери, которая за два морозных дня трижды проделала путь по льду и снегу. А дорога-то долгая — семьдесят километров верхом проехать не шутка. Не всякий джигит сможет решиться на такое, а ведь она женщина, да еще и пожилая. Ох, до чего же сильно материнское сердце!

И еще многое в матери не перестает поражать меня. Во время войны остались на ее руках десять детей: пятеро внуков от старшего сына, трое ребятишек мужниного брата... Десять голодных ртов да еще мы: отец, две невестки и я. Помню, она из последних сил выбивалась, чтобы мы не оставили школу, учились. Как же была сильна вера в будущее, вера в нашу победу у этой простой неграмотной женщины!

В ауле работала только начальная школа. После четырех лет учебы мы разъезжались из родного гнезда и, начиная с пятого класса, учились вдалеке от дома, среди чужих людей. Приходилось платить за квартиру центнер муки, барана и арбу дров. Так было до войны и во время войны осталось без изменения. В селениях, где была средняя школа, многие семьи только этим и кормились. В первые два года мама оплачивала квартиру за троих сразу. А найти ее было нелегко. Не зная ни отдыха, ни сна, носилась мама по поселку в поисках угла для нас, организовывала доставку дров за двадцать-тридцать километров. Война продолжала давить все сильней. Не до учебы стало, лишь бы сытым быть. Не о знаниях приходилось мечтать, о хлебе. К тому же где напасешься еды на такую ораву? Отец пас небольшое аульное стадо. Мы переживали острую нужду. Нас выручало только молоко. Военные налоги платили тоже за счет скотины. Труд в колхозе не приносил почти никакого заработка. Правда, и с голоду умереть не давал. Все для фронта, все для победы! Люди понимали это и не требовали для себя ничего, смирились с временной нуждой.

В это суровое время мама нашла в себе силы не только кормить нас, но и учить. Удивительное мужество. Зимой она уже думала о лете, летом заботилась о зиме. Все разъезжала в нелегких хлопотах на своей кобыле. Ни разу я не видел ее сломленной, отчаявшейся. Большая внутренняя сила не оставляла места слабости. Теперь я знаю, что то была сила духа.

И ей хватило этой силы не только на свою семью: она, как могла, помогала аулчанам, делила с ними большие беды и маленькие радости. Руководители колхоза поручили ей одно важное дело. В то время в тылу собирали теплые вещи для бойцов, вязали носки, шарфы и рукавицы. В нашем ауле возглавила это мероприятие мама. Решающее слово оставалось за ней и на тех собраниях, где обсуждался новый заем. Мама первой подписывалась на него.

Она поименно называла всех джигитов аула, севших в боевые седла, и говорила, что это их доля в общий котел. Сейчас я понимаю, что моя простая мама владела даром убеждения, была прирожденным агитатором. Она не только убеждала, но и доказывала собственную убежденность делом. Если в колхозе не хватало для работ быков и лошадей, мама выводила нашу жеребую кобылу или стельную корову, сама впрягала их в соху и борону. Жалела животных, плакала украдкой, но поступала так, как подсказывала ей совесть. Если не хватало для семян мешков, то и эти нужные в хозяйстве мелочи, вплоть до веревок, находили в первую очередь в нашем доме.

Она первой шла в те дома, куда пришла черная бумага. Плакала вместе со всеми и первой же утешала людей в горе. Помню ее слова: «Не в саване покинул он дом, в своей одежде ушел из аула. Надо надеяться, люди, и ждать. Никто не видел, как его опускали в землю. Умейте ждать. Один лишь шайтан живет без надежды. Идет большая война, а в походе случается всякое. Может, жив наш джигит. Будем каждого из них ждать до победы». Ее слушали и будто оживали. Совсем по-детски, доверчиво поднимали на маму убитые горем лица, и их озаряла надежда.

Мама была естественна, как сама природа. Каждый жест и поступок ее были просты, как и вся ее жизнь. Она была горда. Но никогда ее гордыня не обижала людей, а даже наоборот, помогала слабым, смягчала озлобившихся, удерживала горячих. На людях она была очень сдержанной, но ночами не могла удержать глухих рыданий, тоскуя по старшему сыну. Мать старалась скрыть свои слезы даже от нас, но мы все равно знали о них. Если ей и удавалось не показать слабость свою на виду у всех, то мы все равно догадывались о ее трудной ночи по красным векам грустью омытых глаз, по непривычно согнутой спине, по нахмуренным бровям. Мама никогда не давала волю своему раздражению, не срывала злости на нас, понимая, что детство наше и без того не очень веселое. Она часто любила повторять, что безделье — наихудшее из всех зол, что оно друг всякому горю. «Кто всегда действует, того беда не застанет врасплох»,— считала она. Повзрослев, я понял, что это были не просто слова, а ее жизненная позиция.

И только еще раз довелось мне видеть ее слезы. Зима 1944 года выдалась особенно суровой и тяжелой. Из-за холодов и нехватки кормов тощал колхозный и личный скот. Весной наша кобыла, опора и кормилица, сбросила жеребенка. Крыша единственного стойла протекала как решето, и на месте земляного пола образовалось целое болото, которое чуть не засосало несчастную кобылу. Только на рассвете мы нашли ее в ледяной жиже уже издыхающей. Она совсем обессилела и лишь всхрапывала жалобно и косила глазами. С трудом вытянули ее из зловонной трясины, вытащили на сухое место. И тогда мама обняла лошадь за шею и заплакала. Мне показалось вдруг, что изнуренная трудом, не знавшая устали ни летом ни зимой коняга и старая женщина, поседевшая в забо-

тах о детях своих, понимают друг друга и делятся чем-то сокровенным. Мама долго сидела на корточках, опустив обессиленные руки. И к ним; к этим человеческим рукам потянулась лошадь и коснулась их теплыми губами, точно прощалась с хозяйкой. Мама вздрогнула. Она посмотрела на нас, плачущих навзрыд, глубоким и чужим взглядом, словно возвращалась из какого-то далека. Но вот глаза ее стали прежними, понимающими, она встала на ноги.

— О, поддержи нас, Камбар-ата, покровитель лошадей! — крикнула мама и дернула уздечку.— Чу! Чу! Ну, родная, вставай! Ну! Ну!

Тут и мы все подскочили, окружили лежащую кобылу и стали подталкивать изо всех сил. Лошадь рванулась раз, другой, застонала от усилия и поднялась на дрожащие, подкашивающиеся ноги. Ей тут же дали теплой воды, принесли из дома кошмы и теплую ветошь, чтобы накрыть скотину. Мама распарила для кобылы пшеницу, тот хлеб, которого не хватало и детям. Словом, мы сделали тогда все, что было в человеческих силах, чтобы спасти кобылу. И она не пала. Правда, долго еще болела, выглядела слабой и понурой, но постепенно стала выздоравливать.

Хоть и пришла весна, но грязный, слежавшийся снег никак не хотел таять. В сердцах мы долбили наст, отгребали в сторону колючие ледяные комочки и смотрели на черную землю: нет ли еще зеленых росточков, годных на корм. По очереди присматривали за больной лошадью, боясь, как бы не приключилась с ней новая беда...

Для меня это событие стало одним из самых ярких воспоминаний о войне, которая, как холодная трясина, засасывала в себя людей и животных.

...Возле нашего дома проходил овраг, по краю которого и бродила ослабевшая лошадка, накрытая лоскутами кошмы, изредка касаясь губами яркой молодой зелени. Оказывается, крайне истощенный скот не может даже пастись как следует. Она подолгу стояла понурясь у самого края обрыва, и мы боялись, как бы кобыла не сорвалась вниз. Глядя на нее, трудно было поверить, что это та самая лошадь, которая совсем недавно свободно пробегала с двумя огромными мешками пшеницы до мельницы, что находилась в тридцати километрах от нас. Она, бывало, легко ходила под седлом, в санной и тележной упряжи, оставляя далеко позади прославленных аульных жеребцов. Мы не уставали гордиться своей кобылой, ее мягкой иноходью, широким галопом, птичьей стремительностью. Однажды, еще до войны, привезя меня к началу занятий в школе в районный центр, мама возвращалась домой, как вдруг на плоскогорье Букпа выскочило перед ней небольшое стадо диких коз.

— Тут меня настоящий азарт охватил,— посмеиваясь, вспоминала мама.— Отпустила я повод и гикнула. Кобыла полетела как стрела, выпущенная из лука. И сама не знаю как, но очутилась я через мгновение рядом со стадом. А ведь дикие козы не из тех,

что дадут себя догнать лошади. У меня аж слезы от ветра выступили...

Что сталось теперь с нашей кобылой! Даже травинку ей трудно было перекусить. А ведь она к тому же по жеребенку приносила нам каждый год. Двое ее отпрысков, трехлетка и двухлетка, уже вполне годились к работе. Остальной приплод мы обменяли на мелкий скот, на коров и телят. Благодаря нашей кормилице и жили.

Чтобы не потерять, не приведи аллах, и двух молодых коней, отец отводил их пастись то на место старого тока, то к зазеленевшим уже зарослям чия. Сколько новых тяжелых забот упало на наш дом после истории с кобылой! От нее теперь в хозяйстве не было никакого толка. Лишь четыре копыта остались у нее, которые с трудом носили страдающее тело. Она еле переставляла ноги, а все же порой начинала слабо, но призывно ржать. Жизнь берет свое.

Так, благодаря нашим слезам и заботам, кобыла наша осталась жива. Когда она совсем поправилась, то снова приступила к привычной и нескончаемой работе.

Война есть война, что поделаешь. Все детишки, кроме меня, понемногу вынуждены были оставить учебу в школе. Не до знаний стало, была бы душа жива. Не было никакой возможности платить за постой в чужих домах. На весенних каникулах я своими глазами увидел, в каком бедственном положении оказалась наша семья. Стыд и сомнения охватили меня в ту пору. Хотелось чем-то помочь родным, облегчить их жизнь. Я тоже стал подумывать о том, чтобы бросить школу. Тем более, что и в школе стало совсем неуютно, серо и тоскливо. Всю зиму там почти не топили. Учителей было мало. Многие ушли на фронт. Оставшиеся часто болели. Мы забыли о том, как выглядят настоящие чернила и белая бумага. Писали на чистых полях старых книг варевом из пережаренного проса. Словом, то было не учение, а мучение. Да и платить за угол приходилось много, отнимая кусок у младших ребятишек. Но стоило мне заикнуться о своем намерении, как мама тут же решительно воспротивилась.

— Что я скажу твоему старшему брату, когда он вернется домой? Он упрекнет меня в том, что я не дала вам учиться, и будет прав. Мне и без того больно, боюсь, что эти вот сорванцы останутся темными и невежественными. Учись хоть ты!

Мама была неграмотной, но всю жизнь мечтала, чтобы мы, ее дети, стали образованными людьми. Стиснув зубы, тащила эта простая и удивительная женщина из долгой беды, из черной нужды целую ораву голодных и оборванных детей. То были настоящее мужество и героизм. Ценили ли мы их в свое время? Или принимали все как должное? Умели ли любить мать? Жаль, что такие мысли приходят к нам слишком поздно...

Я рассказал обо всем этом Майе Денисовне. Слушала она очень внимательно, потом повернулась ко мне и заговорила:

— У вас университетское образование. Работа по душе. Вид-

но, ваша мама и желала вам такой жизни. Так разве не исполнилась ее самая светлая мечта?

— К сожалению, она ничего этого не увидела. Если бы все хорошие люди жили долго, то моя мама, я думаю, была бы жива до сих пор. Увы, жизнь рассудила иначе...

Кончилась война. Люди понемногу приходили в себя. И вот когда нужда стала отступать, а жизнь налаживаться, когда снова появились улыбки на лицах людей и хозяева уже не стыдились пустого дастархана, когда раны, нанесенные войной, начали затягиваться, мама моя умерла. Кажется, весь жизненный запас ее сил истощился, а тут рак... Всего-то и прожила пятьдесят семь лет.

Я тогда учился на третьем курсе. Первые признаки маминой болезни обнаружились еще за два года до ее смерти. Но сразу после войны умер отец, и теперь уже все без исключения заботы легли на плечи матери. А в ауле хлопот великое множество. Дрова надо заготовить, зерно смолоть, за скотом ходить, доить, чистить, сено готовить. Одно утешение, что старший сын вернулся с войны живым и устроился на прежнюю работу в райцентре. Семью он увез с собой. Мама, вручая ему внуков, шутила: «Получай товар в сохранности. Правда, тощий вид у них, но зато в росте прибыль есть».

Я уехал в Алма-Ату сдавать вступительные экзамены. До сих пор помню счастливое лицо матери, провожавшей меня в город. Она была горда тем, что я первым еду учиться в высшую школу из всех джигитов целых семи колхозов. Ей было нелегко расставаться со мной, но в то же время так радостно, что мечта ее наконец-то сбывается. И радость была сильнее. Поступил я в университет. Под собой ног от счастья не чуял. Вернулся на несколько дней в аул, чтобы запастись продуктами и деньгами. Думал продукты взять у мамы, а деньги у брата, который получал твердую заработную плату. Но мама сама, оказалось, приготовила уже все для меня: и деньги, и еду.

— Зачем брата беспокоить? Пусть он немного окрепнет. Все же целых четыре года в огне жил, по крови шагал. К тому же у него детишки растут. А в райцентре, сам знаешь, все покупное. Не проси у него пока помощи. Да и какие у него деньги? Одна зарплата. Вот тебе на первое время,— сказала она, вручая приготовленное.

— Где вы взяли столько денег?— удивился я.

— Продала двух баранов на базаре.

— Так ведь... базар за двадцать километров отсюда! Как вы дошли, мама?

— Да, несладко пришлось. В жизни своей я видела немало трудностей. Но таких страданий, как с этими баранами, я, наверное, никогда не знала. На самом рассвете связала я их одной веревочкой и потащила со двора. А они, проклятые, уперлись — и ни шагу вперед. Рвутся, окаянные, в свой сарай. Все руки оттянула, да без толку. Кружат по двору, и никакой силой их не вытащить.

Тут уж я привязала веревку к своему поясу и напряглась что было мочи. Они назад, а я вперед. Пока возились, солнышко уж вышло. А мы будто детскую игру затеяли: кто кого перетянет. Шаг вперед — два назад. Выбилась из сил. Даже заплакала от обиды. Вспомнила старика, кобылу, а слезы уже ручьем бегут. Если бы они, кормильцы, были живы, не пришлось бы мне так мучиться. Не идти на базар никак нельзя: через день-два, знала я, примчишься в аул ты со своей радостью — собрать ведь что-то надо. Брат еще не настолько окреп, чтобы откладывать в сундук лишний рубль. А с этими упрямыми баранами впору попасть на базар, когда все разойдутся, и пришлось бы тогда мне несолоно хлебавши отправляться восвояси. В общем, еле вытащила их за аул. Тут они немного веселее пошли, но вдруг снова заупрямились и встали. Руки до крови натерла веревкой, поясницу надсадила, плечи натрудила, но все же дотащила проклятую скотину до базара в самый разгар торга. Отдала их первому встречному, даже не торговалась. Не до того было. Поспешила избавиться, испугавшись от одной мысли, что придется обратно их тащить. Да и не приучена я торговаться.

Деньги в те годы были не в большой цене. Два барана стоили тысячу рублей, каждый по пяти сотен. С этими деньгами в кармане я уехал в Алма-Ату и хватило их, признаться, совсем ненадолго.

Она, оказывается, уже тогда была очень больна. После того, как совсем ослабела и не стало сил смотреть за хозяйством, переехала жить к старшему сыну в район. Когда я приехал на летние каникулы, мама уже ничего не могла есть. Жидкую кашицу, и ту с трудом глотала. Больно было смотреть на нее. Вернувшись в город, я стал присылать ей барсучий жир, купленный на базаре. Мне писали, что он здорово помогает и что мама понемногу поправляется. Я верил. Очень хотел верить...

Третий курс. Самый интересный. Я хорошо завершил зимнюю сессию и тут же помчался в аул. Был у меня с собой подарок для мамы. Откладывая понемногу со стипендии, сумел я купить ей платье. Очень красивое, на мой взгляд. В глубине души я был очень доволен собой. А перед глазами все мама стояла. Гладит меня по щеке худыми руками и говорит: «Ну, видите сами, взрослым стал мой младшенький, теперь уж он обо мне позаботится. У него стану жить. А вам спасибо за все. Тебе, старший мой сын, спасибо. Довольна я вами. Теперь послежу за тем, чтобы не погас очаг в доме младшего».

До Тасбекета от самой станции подвезла меня старенькая полуторка, а до дома еще целых двадцать пять километров. Уже совсем стемнело, и мороз усилился. Пальто у меня было тоненькое, и, продрогнув основательно, я решил зайти погреться к знакомым.

Старуха хозяйка хорошо знала маму. Я застал ее сидящей перед печью на вязанке дров. Ответив на мое приветствие, она помолчала и вдруг сказала тихо:

— Хорошим человеком была твоя мать. Да упокоится душа ее в саду аллаха!

Я ничего не понял сначала. Только морозом вдруг прохватило всю спину до самого затылка. Я жалко улыбался и молчал. Нет! Нет! Этого не может быть! Пальцы вдруг ослабели, и шапка выпала из рук. Хозяин разгневанно вскинул голову, пристально посмотрел на меня и все понял. Повернувшись к старухе, он резко крикнул:

— Из ума выжила, дочь шайтана! Ты же этой вестью как палицей по голове оглушила! Не сюинши за добрую весть просишь, баба! Сумасшедшая, покарай тебя аллах!

Старуха растерялась. Она приподнялась и снова села:

— Откуда мне было знать, родной? Я же думала, что ты уже из дома в город возвращаешься. Ошиблась я, прости дуру старую. Каждая мать счастлива уйти раньше своих детей. Утешься, сынок. Мертвых не вернешь, а живым надо жить. Будь мужчиной, будь твердым как сталь.

Она еще долго о чем-то говорила, а я одно слово слышал, а другого уже не понимал. Сердце ворочалось где-то у самого горла. Было трудно дышать. Захотелось бежать из этого дома. Но куда было идти среди ночи? Ах, какая черная то была ночь! Вдруг меня всего стало трясти и я ничего не мог с этим поделать. Сутулясь и кряхтя, поднялся на ноги старик. Он понимал, что бесполезно уговаривать меня остаться отдохнуть. У меня все кружилось перед глазами, горячий огонь пожирал грудь, и от этого жара слезы выкипали и никак не могли пролиться. Волоча ноги, я с трудом пошел к двери.

— Светоч мой, будь же благоразумен! Не поступай опрометчиво, как ребенок! Путь твой долог, а мороз жесток. Как бы чего не случилось худого.

Старик, кажется, испугался тогда за меня, шел следом, не отставая. А я подумал о том, что возле почты в центре села иногда останавливаются попутные машины, сани, телеги. Холод стоял страшный, а меня всего что-то жгло и гнало вперед. Не помню, когда отстал от меня старик. И опять увидел я перед собой старую полуторку. Вяло подумал, что мне везет на них. Кто-то что-то говорил, а я смотрел на машину и молчал.

— Вы что, хотите, чтобы я в степи остался? Машина-то еле дышит. Давно на дрова ее пора пустить. А мороз-то какой! — кричал злой голос.

«Шофер»,— безразлично определил я.

Кто-то, видно, начальник, резко бросил в ответ:

— Я сказал, значит, поедешь! Если замерзнешь, я буду отвечать.

Не помню, как договорился, подошел к борту и тяжело перевалился в кузов. Машина вся скрипела и дребезжала, а мне казалось, что шофер нарочно едет так медленно. Хотелось заколотить руками и ногами по кабине, остановить машину и избить водите-

ля, чтобы тот ехал быстрее. Ужасное раздражение охватило меня, и я не знал, на ком сорвать свою злость. Все было мне враждебно. Все черно. И эта ночь, казалось, никогда не кончится.

Я совершенно отупел и потерял представление о времени. Глубокой ночью завиднелись огни далекого аула. Кто-то остановил машину. Я равнодушно посмотрел вниз. На дороге стояли сани, чуть в стороне — верховой. Это были мои родичи. Грустно обнялись мы на темной дороге. Машина уехала дальше. Я сорвал с коня среднего сына старшего брата, вскочил в седло и помчался к старому кладбищу. О чем я думал тогда, не знаю. Но четкая дробь копыт по мерзлой дороге до сих пор звучит в ушах. Горе толкает порой на самые непредвиденные поступки. В обычное время я бы со страхом подумал о том, что придется ехать мимо могил, а тогда в полном одиночестве мчался прямо к ним. Да и чем могли навредить мне мертвецы? Ведь там мама, а она уж не даст меня в обиду.

Беспощадно полосуя коня нагайкой, я словно срывал на нем всю свою горечь. Его копыта продробили по чему-то деревянному, и я выскочил на мост через реку, что саблей делила надвое наше село. Только тут немного пришел в себя. До кладбища оставалось недалеко. Может, глаза привыкли к темноте, но мне показалось, что ночь посветлела. И тут конь вынес меня прямо на окраину маленького, словно игрушечного, но страшного в своем молчании городка. Это и было мусульманское кладбище. Безмолвие и безлюдье не пугали: все наши аулы в те годы были похожи чем-то на кладбище. Но аулы все-таки жили...

Впереди что-то забелело. Мелькнуло в глазах и пропало. В детстве каждый из нас слышал много ужасных историй, связанных с мертвецами. Говорили, что если ночью пойти на кладбище одному, то непременно случится что-то страшное: может утащить в могилу скелет, может ударить крылом пери, на всю жизнь оставив безумным. Но мне не страшны были ни призраки, ни джинны. Я искал маму, сходя с ума от горя. Три могилы чернели впереди. Их еще не успело занести снегом. Боже, как они были сиротливы! Казалось, от живых ушли, а мертвые их еще не приняли.

— Апа! — придушенно вскрикнул я. — Апа-а-а! — И закружился между трех холмиков земли, не зная, к какому из них припасть грудью. В это время меня и догнали сани.

— В ночное время грешно беспокоить могилы усопших, — сказал кто-то строгим голосом.

Меня взяли за руки и насильно усадили в сани. А в груди будто пожар поднялся, растопил что-то колючее и ледяное, и я заплакал, не в силах больше сдерживаться.

Приехали домой. Мне страшно было поднять глаза. Но вот я увидел осиротевшие мамины вещи. Ее старый казакей висел на прежнем месте, под кроватью стояли остроносые кавуши, а медный кумчак будто пожелтел от тоски. Я невольно провел рукой по одеялу рядом с собой. Казалось, что мама только что встала и вы-

шла. Но место ее было пустым. Плачь не плачь, рыдай не рыдай — ее уже не вернешь...

Родичи, оказывается, встретили меня не случайно. Им позвонили из Тасбекета и предупредили о моем выезде.

Пока не кончились каникулы, я не мог отделаться от ощущения, что вот сейчас откроется дверь и войдет мама. Часто мне чудилось, что она, как обычно, хлопочет во дворе. Но только чудилось. Я понял, как нелегко отдавать смерти родных людей. Потом я долго привыкал жить без мамы. Очень долго. А может, и до сих пор привыкаю. И еще, я все никак не мог простить старшему брату, что он не сообщил мне обо всем раньше; может, я успел бы еще застать маму в живых, увидеть напоследок ее лицо. Брат хмурился и, отворачиваясь, объяснял:

— Таким было желание матери. «Не вызывайте. От его приезда жизнь ко мне не вернется. Пусть учится! Я не хочу, чтобы он видел меня умирающей. Я хочу остаться живой хотя бы для него»,— говорила она.

Мама и в самом деле осталась для меня живой. Я все думаю, как же ей хотелось посмотреть на меня в последний раз, прижать к груди, но она думала не о себе, а обо мне. И так всю жизнь. Не себе, а нам. Не для себя, а для людей. Видно, только матери доступно такое мужество. Не хотела, чтобы я видел ее остывшей, холодной, не способной откликнуться, прийти на помощь. Сильный дух не ломается и перед лицом смерти...

— И ваша мама жертва войны,— прошептала Майя Денисовна.— Ее тоже убила война.

— Что вы сказали?— не понял я.

— Да-да, и не смотрите на меня так. Всех матерей тех лет убила война. У вас передо мной одно преимущество. Вы не видели ее смерти. Она для вас жива. Счастливый вы человек! А меня все воспоминания о маме неизбежно приводят к виселице... Да-да, вы не видели той петли, что захлестнула горло вашей матери.— Глаза у моей собеседницы стали светлыми, она глухо прошептала:— И вы не слышали пули, которая ранила в сердце вас!

Я невольно схватился рукой за грудь и долго еще думал над ее словами.

* * *

В следующую нашу встречу я первым завел разговор о нашем прошлом.

— Майя Денисовна, вы, конечно, знаете знаменитые философские сказки Востока, собранные в книге «Тысяча и одна ночь»? Помните, там сказки прерываются под утро на самом интересном месте. Загоришься весь, ждешь, затаив дыхание, а Шехерезада неожиданно обрывает свой рассказ. И снова ты в ожидании продолжения.

— Я вас поняла,— чуть улыбнулась женщина,— хоть я и не Шехерезада, но... О чем бы вы хотели услышать?

— Вы не рассказали о летчике. Что с ним случилось потом?

Майя Денисовна долго молчала, а я терпеливо ждал. Наконец она вздохнула, положила руку на мое плечо и заговорила:

— ...В случившейся беде я винила его одного. Мне все казалось, что это он своими руками повесил маму. При виде его я бледнела от ненависти, и в то же время сердце мое разрывалось от боли. Он тоже очень страдал, видя, что я желтею и сохну, жалел меня, мучился, но долго не решался подойти, пока не стало ясно, что разговора откровенного нам все же не избежать. И он рассказал все, ничего не скрывая.

Получив приказ командования о помощи партизанскому движению в тылу, он вылетел в расположение нашего отряда. Когда уже думал, что благополучно миновал линию фронта, по небу заскользили лучи прожекторов, и застучали зенитки. Прожекторы обнаружили его и повели. Он бросал машину в стороны и вниз, но вырваться из белого коридора не удалось. Потом самолет тряхнуло. Он понял, что машина повреждена, но решил лететь вперед, пока сможет. Он был уверен, что доведет ее. В конце концов, темной ночью в незнакомом месте ему пришлось воспользоваться парашютом. При приземлении он сильно ударился о дерево и потерял сознание. Тут его и нашли наши люди. Партизаны ведь заранее получили уведомление о его вылете. Прежде чем покинуть самолет, он успел сообщить по радио свои координаты. Дальнейшее не помнит. На его счастье, попал к своим. А потом и ко мне. Он часто повторял:

— Майя, ты меня выходила и на ноги поставила. До самого последнего вздоха я твой должник. Прости, не сумел я маму твою сохранить в бою. Не сумел! Ох, если бы загодя все знать!

От этого летчика я узнала и то, что командиром нашего отряда был секретарь обкома одной из областей Украины. Случайно он мне об этом проговорился и даже сам растерялся. Испугался, видно, что выдал мне такую большую тайну.

Однажды он сообщил, что время его пребывания в отряде подходит к концу. Глаза его жгли меня. Он словно хотел сказать мне что-то очень важное. Я девчонкой еще была, но уже все-все понимала, только виду не показывала. Так не хотелось, чтобы он уходил. Привыкла к нему. Да и он, кажется, не мог меня оставлять в отряде, где все напоминало о маме. Словно какую-то ответственность за меня чувствовал. А я как вспомню, что скоро расставаться нам, так сердце и защемит, заплачет. Видела, и ему больно меня покидать. На людях мы просто держались, как брат и сестра, а в душе творилось невообразимое. В конце концов, в одну из ночей он ушел.

— Майя Денисовна! Не мог он так просто исчезнуть! — вскричал я.— Нет-нет! И еще вы, может, бессознательно, но избегали при мне называть его имя. Или это до сих пор тайна?

— Вы правильно заметили. Я его имени не называла. Может, мне и сейчас это трудно...

Мне стало неловко, а Майя улыбнулась.

— Это мне в вас и нравится, что нет мужского самодовольства и этакой непогрешимости в лице. Зато на нем все чувства отражаются. Эх вы, дитя степи! Простодушный и открытый. Да уж ладно, не смущайтесь, бог с вами!

— Возможно, вы и правы,— насупился я.— Говорят же, что человек похож на те места, где родился и вырос. Мы и русские широколицы, а кавказцы, скажем, лицом резки, как их горы. Пусть я открыт, так ведь и степь моя открыта всем.

— Хорошо сказано!— одобрила Майя Денисовна.— Значит, если я в лесной чаще выросла, так и сама сумрачна и скрытна?

— О нет, не надо передергивать! В вас я лучшую сторону леса вижу. Лес, который укрывает друга от преследований, тень дает, кров и пищу. Это уж как посмотреть. Если хорошего ждать и уметь доброе видеть, то и в степи, и в горах, и в море, и даже в пустыни можно сердце свое навсегда оставить. В моей степи тоже немало сурового. Ветры, бураны, метели, зной, а мы все же любим ее.

— Вот вы какой,— задумчиво протянула моя собеседница.— Хороший взгляд! Что ж, давайте оба видеть в наших родных местах только хорошее, договорились? Впрочем, мы немного отклонились, то ли в горы, то ли в лес, словом, не в ту степь попали,— она рассмеялась.— Вы спрашивали, как того летчика зовут? Антонов Василий. Вася.

— Вы его видели после?

— Можно сказать, что видела, а можно и по-другому выразиться. Первое время без него я очень тосковала, но войне до твоих чувств и дела нет, у нее свои законы. Страх, нужда, ненависть и кровь на каждом шагу. Смерть каждый час подстерегает. Но жить надо и бороться тоже надо, и людьми оставаться тоже. Вот и жили. Я быстро повзрослела. В годы войны все быстро взрослеют, вы и сами об этом хорошо знаете.

Шли дни, месяцы, годы. Пришел долгожданный час, когда встретили мы свою армию. Линия фронта прошла через наш партизанский край, очищая землю от фашистов. Народные мстители тоже били врага вместе с регулярными частями Красной Армии. Мы тогда уже многому научились в искусстве войны. Главное, перестали прятаться и гнуться, выпрямились во весь рост, свободно вздохнули. Рады и тому, что живы остались. Словом, неожиданно для себя оказалась я в самой Москве. Видно, решили, что достаточно я настрадалась и крови повидала. Как родную дочь, тепло проводил меня в путь сам командир отряда, чье имя долгие годы наводило ужас на врага. Славное и громкое у него было имя, известное всем от мала до велика.

— Учись, милая, будущее — твое,— сказал он.

Я всегда мечтала о консерватории, очень любила музыку. Без моих родителей в деревне не обходилось ни одно торжество, так они ладно пели и плясали. Отец к тому же играл на нескольких

музыкальных инструментах. Всякая, даже посредственная игра на пианино вызывала у меня как у слушательницы слезы восторга. В школе эта моя страсть пробудилась с новой силой. А в войну мечта не оставляла меня ни на час. Не каждый день мы сыты бывали, а вместо музыки слушали зачастую свист пуль и разрывы снарядов. Все надежды свои связывали с победой. Казалось, стоит прийти этому дню, и все мечты наши исполнятся сами собой. Этого, конечно, не случилось. В Москве я стала домашней работницей у одного крупного ученого. Старичок был добр ко мне. Хозяйка постоянно болела. Но главное, в их доме было пианино.

Короче, кончилась война. Пришел День Победы. Люди словно помолодели. Сколько было радости, сколько улыбок! 24 июня состоялся парад Победы, а вечером мы вышли на улицу, чтобы посмотреть праздничный салют. И вдруг, я глазам своим не поверила, вижу — Вася. Одет он был с иголочки. Прошел мимо меня, а я все смотрела ему вслед, пока не сообразила, что он уходит.

— Вася! — закричала я отчаянно. Он резко обернулся и бросился ко мне. А я к нему. Мы крепко обнялись и долго не могли оторваться друг от друга. Товарищи его смотрели на нас с веселым удивлением. Потом он извинился перед ними, и мы остались одни. Пошли куда-то по улице, крепко взявшись за руки, словно боялись потерять друг друга снова, надолго или навсегда. Вася рассказывал о себе. Его увезли так неожиданно, что он не смог попрощаться со мной. До последнего дня он воевал. Получил право участвовать в параде Победы... В тот же день мы поженились.

— Именно в тот самый? — удивился я.

— Да, в тот самый день. Кто знает, может, мы слишком были счастливы, слишком торопились. Война научила нас терпению, но она же приучила к быстрым решениям. Тянуть было незачем.

— Как здорово все получилось! — порадовался я.

Майя Денисовна от души рассмеялась.

— Только что вас удивила наша поспешность, почти возмутила, а теперь вы уже довольны.

— А я все время ждал этого, потому и доволен. Вы эту встречу выстрадали, а я заслужил своим терпением.

Теперь мы оба весело смеялись.

— ...Счастливей меня не было человека. Пришла долгожданная победа, и мы встретились с Васей. Тогда я поняла, как люди хмелеют от счастья. Я обо всем на свете забыла, все смерти и страдания отодвинулись куда-то далеко. Каждое прикосновение дарило нам неизъяснимую радость. А как мы спешили увидеть друг друга!

Сбывалась моя мечта. Я училась в консерватории. Скажите, может ли вдохновение длиться годы? Невероятно, но у меня так и было. Крылья выросли, сил прибавилось. Я в то время горы могла своротить в одиночку. Пальцы были настолько послушны, что казалось, порхали над клавишами сами собой, независимо от

меня. Другое дело, если бы я хоть училась до этого в музыкальной школе, но ведь не было у меня такого фундамента. Поэтому сначала закончила подготовительные курсы, а потом лишь поступила в стационар консерватории. За шесть лет учебы я сумела приобщиться к одной из чудеснейших тайн человечества, к музыке.

Василия начали обучать полетам на новой, еще секретной машине. Он был счастлив. Он был рожден летать. Без неба он бы задохнулся. Когда разговор заходил о высоте, о самолетах, Василий забывал обо всем на свете. Эта его увлеченность, преданность небу помогли ему быстро изучить и освоить новый самолет. В те дни он был постоянно весел и всегда широко улыбался, словно возвращался с приятной прогулки, а не с тяжелой, опасной работы. Каждый день мы с нетерпением ждали встречи. Если он задерживался, то я места себе не находила, и все краски вокруг для меня выцветали. Самый солнечный день становился пасмурным, самое веселое утро — печальным. Я была счастливее многих женщин, а в душе даже считала себя самой счастливой из всех. О таком муже, как Вася, можно было только мечтать. Мы слишком сильно любили друг друга, жили так дружно, наполненно и весело, что мне порой становилось страшно за наше счастье. Я старалась быстрей отогнать прочь мрачные мысли и самым серьезным образом сплевывала через левое плечо.

Помню, был выпускной вечер в консерватории. В тот день Вася должен был испытывать новый самолет. Но он дошел до командования, сумел всех уговорить отложить полет, обещая все наверстать, упросил, умолил, всю программу изменил, а своего добился и притащил в консерваторию чуть ли не весь аэродром. После вечера он пригласил моих преподавателей и своих друзей-летчиков в ресторан. Я никогда не видела его руководящим праздничным застольем. Вася оказался отличным тамадой. Он был вежлив, остроумен и прост. В тот вечер он всех покорил. С особой гордостью, точно о подвиге, Василий говорил о моем дипломе. Даже хвастал чуть-чуть. Не скрою, мне было приятно. Он говорил обо мне с большим уважением, а это, признайтесь, не каждой женщине удается заслужить. От его слов я и сама выросла в своих глазах и еще больше поверила в свои силы. Спросите у женщин, какие чувства они испытывают, когда их хвалят мужья. Не за стряпню, конечно, не за красоту даже. Редкая женщина сможет вам ответить правдиво. Женская природа интересна сама по себе. Мы мечтаем о лучшем муже, о лучшем доме, о лучших детях. Мы хотим, чтобы все хорошее принадлежало нам одним. Потому и ревнивы безмерно. Признаться, я очень боялась, что какие-нибудь красивые глаза увлекут Василия, уведут его, отнимут у меня. У любви бывают и такие муки.

Ах, эти дни, хмельные, радостные, загадочные, дорогие! Он очень любил слушать мою игру на пианино. Чем больше погружался он в волшебный мир звуков, тем радостней становилось

мне. Меня окрыляла его любовь к музыке, которая помогала нам выразить свои чувства до конца, затронуть самые тонкие струны души, полнее сказать о нашей любви. Сердце у меня разрывалось от нежности. И когда он обнимал меня, я готова была умереть.

Неожиданно нам пришлось уезжать на Дальний Восток. Василия по службе переводили туда, чтобы начать испытания сверхзвуковых истребителей. Я готова была с радостью ехать хоть на край света, лишь бы рядом со мной был Вася. Детей у нас еще не было, хотя оба мы страстно мечтали о сыне. Конечно, мы не понимали всей ответственности за будущего человека, нам просто нужна была милая забава, которая бы сделала нашу жизнь еще краше. Вася мечтал нянчить младенца, качать его на колене. Ему было все равно, девочка будет или мальчик. А я хотела родить сына, как две капли похожего на него. Но что поделаешь, не было у нас детей. Мы втайне друг от друга очень переживали, но в глаза утешали себя тем, что у нас все еще впереди, что мы молоды и что раз так получилось, то поживем еще немного для себя.

Работы у него заметно прибавилось. Иногда он возвращался домой совершенно разбитый. О службе своей он мне почти ничего не говорил. А если бы и рассказывал, что бы я поняла в самолетах?

Я обучала музыке детишек в военном городке. Жили хорошо, в достатке. Заработанного нам хватало вполне. Василий и на новом месте сумел показать себя с лучшей стороны, и военные летчики молча приняли его в свою семью. Стать своим для них не так-то просто. А раз его приняли, то и меня стали считать своей. С интересом приглядывались к нам. Муж — летчик-испытатель, а жена — пианистка. Нечасто такое сочетание встречается. А Вася все смеялся: «Летчиков много, а ты у меня одна». Мы безумно любили друг друга, хотя и принадлежали не только себе. Мы были как одно целое, хотя и не всегда сознавали это.

Человек привыкает ко всему. Я приучилась не стоять на пути Василия, когда речь заходила о его гражданском и воинском долге. Вначале меня до колик пугало само слово — «сверхзвуковой». Но и к этому привыкла. Обыденным не стало, а все же острота прошла. Иной раз я говорила себе, мучаясь стыдом и страхом: «Почему он должен испытывать новые самолеты? Почему бы ему не летать спокойно на старых надежных машинах?» Порой и вслух говорила то же самое. Василий смеялся:

— Если тебе волю дать, ты меня в теплицу засадишь, будешь поливать из лейки. Каждая новая машина — для меня радость. Пойми, мы становимся сильней, значит, девчонкам не придется прятаться от врага по лесам, не придется в бессильном гневе сжимать кулаки, слыша над головой рев вражеских моторов. Кто же, как не я, должен испытать новое? Никому я не могу передоверить это дело. В общем, каждый испытатель должен думать так, чтобы передавать боевым друзьям надежную и верную ма-

шину. И потом, как жить без поиска, без нового? Скажи, ты бы любила меня по-прежнему, если бы я отошел в сторону, предоставив друзьям рисковать своей жизнью? Если не быть в вечном поиске, то одряхлеет сердце. А если ты душой стар, то что толку от твоей молодости и силы? Рано одряхлеть — значит умереть, не родившись, погаснуть, не вспыхнув.

Вот так он и говорил, любил повторять: «И вечный бой. Покой нам только снится». И не знал покоя сам. Совсем о себе не думал. Работой жил, но я уже не ревновала. Горел он, кипел. Становился поэтом, когда рисовал передо мной прекрасные картины будущего авиации. Сам человек крылатый, а мечты его были и вовсе высокими: «Мы обгоним звук. Обгоним и свет. Сейчас самое время человечеству приступить к решению этих задач, и не только этих. В голове человека умещаются миры, и ему уже тесно на земле. Его ждут звезды». Он рассказывал о будущем и возбужденно убеждал меня:

— И в такое время ты хочешь пересадить меня на лошадь?! Ты хочешь, чтобы я стал заведовать каруселью в парке? Ты просто не подумала, верно? Помнишь, как сказал великий турок Назым: «Если я гореть не буду, если ты гореть не будешь и если он гореть не будет, кто тогда рассеет мрак?»

Всего не расскажешь. Но я сумела понять то, что не должна стоять между ним и работой, должна не мешать этому увлеченному человеку, а помогать всеми силами. Благое намерение, но ведь сердцу не прикажешь оставаться спокойным, когда муж уходит на новое испытание. Оно сожмется в комочек от тревоги и ожидания. И так всякий раз до встречи, после которой забываются все страхи. Так и проходили дни, не дни даже, а годы.

Как-то я пошла в школу проводить очередные занятия. Урок почему-то был беспокойным. Дети то и дело смотрели в окно. У меня сил не было призвать их к порядку. Одна за другой промчались в сторону полигона три машины скорой помощи. Забыв обо всем, бросились мы к аэродрому, но дальше нас не пустил часовой. Не знаю, какому богу молилась я тогда, но все во мне кричало об одном: «Боже! Сохрани его! Сохрани его!» Машины скорой помощи пронеслись в обратном направлении. Мы поняли, что они спешат к больнице. Теперь уже не оставалось никаких сомнений в том, что случилась какая-то беда. Но нас не пустили и в больницу.

На этот раз предчувствие не обмануло меня. Потерпел катастрофу самолет Василия.

— Он жив? — закричала я. — Жив он?!

— Живой, — коротко ответили мне, — без сознания.

Военные летчики научились быть сдержанными. Они вообще неохотно говорили о воздушных катастрофах, о гибели своих товарищей. На работе всякое случается, бывает и беда. Несчастные случаи происходят и на стройках, и на охоте, и на заводе. Если постоянно думать об этом, то встанут поезда, замрут строй-

ки, не уйдут в небо новые самолеты. Испытатель не может обойтись без риска.

«Жив». Дышать на миг стало легче. В больницу к нему не пускали, а мне велено было идти домой. Я не поняла, почему мне не разрешают быть рядом с ним, но послушно потащилась домой, чувствуя страшную боль и пустоту во всем теле. С ним остались врачи. Его жизнь и моя судьба были в их руках. Жена летчика должна быть сильной. Она всегда должна помнить, что счастье ее поднимается очень высоко, к самому солнцу, но оно... так хрупко. Может взлететь в поднебесье и стремительно ринуться вниз.

Только через три дня Василий пришел в себя, и меня наконец пустили к нему. Голова его вся была перебинтована, и только нос торчал наружу, почти такой же белый, как марля, да глаза жили на этом страшном подобии лица. Я не выдержала и зарыдала. Сидела рядом с ним и плакала. Всегда сильный и веселый, он был теперь беспомощней ребенка. Глаза его были тусклыми, туманными, и когда его взгляд останавливался на мне, нельзя было понять, узнал он меня или нет. Все же я тешила себя мыслью, что узнал.

Разговаривать он не мог. Три месяца лежал как немой. Я бросила работу в школе и все время проводила в больнице. Мне поставили койку рядом с его кроватью. Глаз с него не сводила, как бывало в партизанском отряде. Но тогда было куда труднее: кругом враг, грязь и смерть, сырые землянки да огонь коптилки, а на мою маму, единственную медсестру, смотрели как на врача, как на профессора, как на бога. А теперь Вася лежал в светлой и теплой палате, уход за ним хороший, кругом полно опытных и знающих врачей. За ним как за ребенком смотрели и делали все возможное, чтобы поставить его на ноги. И я верила, что его спасут. К тому же, кажется, самое опасное миновало. И все же трудно было избавиться от разных мрачных мыслей и предчувствий. Тогда в лесу он так же был слаб и беспомощен, но сумел внушить к себе большую любовь, пробудить у меня, девчонки, огромное чувство. Я стала его женой и вот снова у его изголовья. Если бы кто-нибудь сказал мне: «Вырви свое сердце! Вырви его, и тотчас муж твой встанет здоровым и сильным, как прежде»,— я бы не задумываясь вырвала сердце из груди. Неужели недостаточно мы страдали во время войны, вынесли оккупацию, холод и голод, суровую лесную жизнь, чтобы судьба принесла нам в мирное время новые испытания, новые беды? В чем же наша вина? Или мы были недопустимо счастливы? Пусть так! Я отдала отца, потеряла мать, готова была себя принести в жертву, молила судьбу за Василия, за его жизнь, за его здоровье. Это была моя единственая молитва, обращенная неизвестно к кому. Такие люди, как он, встречаются редко, такие люди должны жить! Уж лучше бы все беды валились на недостойных! Ах, как много завистливых глаз, черных душ! Видно, сглазили нашу чистую любовь. Одним на всю жизнь, другим лишь на час дается такое

чувство, но жить этой любовью можно до последнего вздоха.

Я боялась выйти на минутку. Все казалось, что умрет он без меня. А в моем присутствии смерть, конечно, не посмеет приблизиться к нему. Слишком мы были дружны, слишком счастливы. Меня это пугало. Или такова судьба всех любящих, что кому-то из них или сразу обоим отпущен короткий век?

И ночами я глаз не смыкала, сердцем молила, взглядом ласкала. Через месяц он стал говорить. Будто ребенок, который едва начал лепетать. Вся больница радовалась. Мы духом воспрянули. Слава богу, кажется, смерть нехотя отступала. Мы поняли, какое это счастье, что он начал говорить. Дышать стало легче, будто туман разошелся, тучи рассеялись.

— Ты и на войне так же, рядом,— с трудом сказал Василий.— Ты и там со мной, как и сейчас.

— Ты помолчи, тебе нельзя много разговаривать. Я даже тем дням благодарна, потому что встретила тебя. Лежи, милый, лежи тихо... Я бы немца того, что тебя сбил, расцеловала за такую встречу.— Я не понимала, что болтала, а Василий слабо так засмеялся.— Все течет, все меняется. На смену войне приходит мир, после голода — снова сытость. Мы видели и то и другое. Если закон жизни крепок, то теперь нам долгой-долгой радости ждать. Я сама не знаю, кого молила за тебя, но молитва моя услышана. Пусть ты будешь безруким, безногим, но лишь бы ты был жив. Мне не надо другого счастья.

Я говорила, как бредила, только чтобы он молчал. А он тихо улыбнулся и все-таки заговорил:

— Да, трудные годы остались в прошлом. И сейчас самое тяжелое позади. Даст бог, на поправку пойду. Только, по всему видать, не летать мне больше,— и он вздохнул горько и безрадостно.

— Ну и ладно! Бог с ним, с самолетом. Боюсь я его, Вася. Проживем как-нибудь. Ты об этом не думай, пожалуйста.

— Эх, Майечка! Тебе не понять неба никогда. Случалось ли тебе испытывать огромную радость, когда ты с высокого утеса смотришь на родную землю? Так вот, это даже не дает и крошечного представления о чувствах летчика. В небе ты радуешься всем сердцем, каждой кровинкой. Там ты крылат, там ты мужчина. И вот, все кончилось...

— Не говори мне о небе! Люди на земле живут.

— Но стремятся к звездам. Лучше сыграй мне на пианино.

Я не выдержала и засмеялась:

— Да кто же играет на пианино в больнице!

— Прости, мне вдруг показалось, что я дома, потому что ты рядом. По пальцам твоим летающим соскучился. А знаешь, Майка, честное слово, я бы быстро на ноги встал, если бы твою игру слушал каждый день. Уговори начальство, упроси, а?

Прошел почти год, прежде чем сняли гипс с руки, а потом уже постепенно стали всего от этого страшного панциря освобождать.

Разрешили вставать, опираясь на тяжелые костыли. Первые шаги своего малыша, смешные, нелепые, помнит каждая мать, так и я помню, как пошел впервые Василий. Да он и был ребенком. Ухаживала я за ним как за дитем малым. А уж самая большая радость была для нас, когда мы наконец-то вернулись домой, выписавшись из больницы. Временами у него сильно кружилась голова, но мы, счастливые, не придавали этому особого значения. Думали, обойдется.

Летчики, товарищи Василия, не забывали нас, не оставляли вниманием, постоянно доставали путевки на различные курорты. Это очень помогло мужу, и вскоре он уже смог ходить без костылей. Как он был рад, отбросив прочь эти проклятые палки! Но комиссия признала его негодным к полетам. Ему дали хорошую пенсию.

В это время я стала много думать о ребенке. Когда я приходила домой из школы, Вася метался по комнате, как хищник по клетке, места себе не находил. Ему нужно было дело, и дело большое. Исподволь я заводила речь о детях, о великом значении воспитания. Он хмурился, но слушал. Наконец я призналась ему, что мечтаю иметь ребенка. Предложила усыновить какую-нибудь крошку.

— Видно, я бесплодна, ты уж прости. На Востоке бесплодную женщину приравнивают к сухой смоковнице. Горько об этом говорить тебе, но от судьбы не уйдешь. Женись на другой, я пойму и не буду осуждать. Или же...

В тот раз я впервые видела Василия разгневанным. Он даже задохнулся от возмущения и долго не мог сказать ни слова. Я опустила вниз виноватые глаза, и в это время пощечина обожгла мне лицо. Я невольно вскрикнула. До этого не слышала от него грубого слова и вдруг... Что поделаешь, сама заслужила.

Три дня он молчал. Лежал, отвернувшись к стенке. А на четвертый глухо сказал:

— Чтобы я больше не слышал такого!

Я промолчала.

* * *

Сегодня Майя Денисовна не пришла на обычное место наших встреч. Я ждал ее около двух часов. Может, заболела? Ведь она тоже приехала сюда лечиться, а не отдыхать. Всюду искал ее, чувствуя, что привык к ней. С каждым разом она мне казалась красивей, добрей, ближе. Я только начал понимать, узнавать ее, и внешность уже не заслоняла от меня ее внутренней сущности. В чем-то судьба была щедра к ней, в чем-то жестока. Жалко, что не довелось ей испытать радости материнства, и, наверное, только женщина может понять ее горе. Глубокое страдание носила Майя в своем сердце, можно только представить, сколько бессонных ночей провела она в думах о крошечном, теплом и близком существе. Счастье материнства. Что может сравниться с этим?! Наверно, и

здесь она лечится от бесплодия. Сегодняшняя медицина почти всесильна.

Если бы то было в моих силах, я избавил бы ее от лишних страданий. Но что я могу? Я не медик. А может, по этой причине и с мужем она развелась? Женщины подобного склада могут пойти и на такой отчаянный шаг. Она же не только красива и умна, но и мужественна. Разве не видно огня в ее прекрасных глазах?

Василия она любит до смерти. Любовь между ними настоящая, испытанная. Возможно, видя глухую тоску мужа по детям, она сумела отойти в сторону, уступив его другой женщине ради своей любви. Зачем же видеть любимого человека несчастным, зачем его лишать радости отцовства? И она могла решиться принести в жертву свою любовь. Э-э, нет! Василий бы этого не допустил. Он слишком многим обязан Майе. Он не стал бы терять ее так легко.

Кто знает, в жизни случается всякое, чего порой не ждешь и ни в каком сне не видел. По рассказу можно почувствовать, что беды ее на этом не кончились, что в ее жизни была еще одна трагедия, а может, и не одна. Как бы то ни было, она носит в себе глубокое, затаенное горе. Как ни старается скрыть свою острую боль от людей, но боль эта все же сверкнет кинжалом то во взгляде, то в жесте, то в мертвом надломе руки. Моя болезнь перед ее болью — ничто.

Но она находит силы сочувствовать и мне. А может, это не просто жалость? Может, она сумела увидеть во мне родственную душу, с которой можно хоть поделиться частью своего непереносимо тяжелого груза? Найти человека, который бы понял тебя, всегда было нелегким делом. Я сам терпеть не могу пустых болтунов, а глупцов тем паче. Меня бесят чванливые изрекатели истин. Но я всегда с искренним уважением отношусь к людям сердечным. Я люблю открытых людей. В беседе с ними не испытываешь настороженности, не ждешь подлости и оскорбления. За все время наших откровенных душевных бесед я старался быть таким же чистосердечным, как и она, не принизить их неуклюжей шуткой или невольной пошлостью. К каждой встрече я готовился заранее, как к экзамену. А это приходит тогда, когда уважаешь собеседника. Жизнь Майи, ее судьба — это виденное и пережитое моим поколением. В трудностях — мужество, в глазах — мысль, в делах — жизнь, в слезах — история, которую не забыть. Даже детство прошло в борьбе за свободу и счастье. Мы рано взрослели. Может, даже слишком рано, до поры.

Мы оба ценили одинаково свое время и своих сверстников. Возможно, это-то и сблизило нас так быстро. Обоих нас не здоровье и молодость, не поиски развлечений привели на курорт, а последствия тяжело прожитых лет.

Видно, поэтому ищу я свою милую собеседницу, в душе уже давно названную другом. Она дочь Украины. Я — казах. А сколько общего в наших судьбах?

Снова стало покалывать сердце. Со времени знакомства с

Майей Денисовной сердце перестало было беспокоить меня, я почувствовал себя почти здоровым, и вот... Бывают сны, после которых не хочется просыпаться. Может, и она была ярким сном в моей жизни? А я-то думал, что много еще будет встреч. Или сон? Нет-нет, это явь. Она приходила ко мне и возвращала к жизни, как своего Василия.

Жаль, что не до конца узнал я ее жизнь. Что же это она, заинтересовала, пробудила сочувствие, мысли и исчезла. Я даже не удосужился спросить о сроке ее путевки. Подсознательно боялся, наверное. Или думал, что она отсюда никогда не уедет. Ах, растяпа! А теперь вот ищу. Если не придет, то меня будет долго еще мучить чувство, будто у меня украли недочитанную книгу.

Четыре дня прошли безрезультатно. Ни глазам, ни душе покоя не было. Я не узнал толком, где она отдыхает. Вспомнилось, как недавно мы танцевали с ней в нашем санатории, даже не вспомнилось, а ясно увиделось. На ней было красное платье в талию и красивые туфли на высоких каблуках. Модная прическа шла ей. На нее обращали внимание, и это мне, признаюсь, льстило. Я сам-то очень волновался и даже испытывал некоторый страх, когда впервые обнял ее за талию. Майя поняла мое состояние по дрожи руки. Как бы призывая успокоиться, она слегка пожала мне руку. Первый танец получился у нас неплохо. Музыка увлекла и закружила. Мне сразу стало легче, и ноги перестали быть деревянными. Мы танцевали легко. Это было чудесное кружение. Я не видел ни танцующих, ни оркестра, а Майя и вовсе растворилась в музыке и плыла, не чувствуя себя. Я видел это по ее полузакрытым глазам. Ничего удивительного. Ведь Майя — человек музыки. Мне давно известно, что хорошие танцоры стараются выйти первыми, чтобы насладиться танцем, пока еще не возникла в зале толчея. Хорошим танцорам нужны понимающие зрители и свобода. Я и сам неплохой танцор, но такой партнерши, как Майя, еще не встречал. Она танцует, будто парит, слегка откинув голову и прикрыв глаза. Я видел голубую жилку, пульсирующую на ее горле. Красное платье было похоже на неистовое пламя, которое жадно приникло к ней и билось и плясало, исполняя языческий обряд. Ладонь мою обжигало, но это было так сладостно, что я готов был вытерпеть любые муки. Груди ее были по-девичьи остры и дерзко вызывающи. Порой казалось, что они независимо от Майи танцуют, влекут, манят. Когда же все вокруг поплыло в волшебном забытьи: и высокий потолок, и музыка, и небо,— проклятое сердце мое проснулось и вновь подступило к самому горлу. Не хватало воздуха.

Я увидел встревоженные глаза Майи. Она поняла, что со мной, и быстро вывела на свежий воздух. Я был очень огорчен тем, что танец наш прервался. Злился на свое сердце. Пусть бы оно разорвалось, но зато мы довели бы чудесный обряд до конца.

— С сердцем нельзя шутить,— успокаивала Майя.— Я тоже долго не танцевала. На первый раз хватит.

Когда я вспомнил тот случай, тоска моя по Майе стала во сто

крат сильнее. Как можно не любить такую женщину! Впрочем, «чтобы понять красоту Лейлы, надо смотреть на нее глазами Меджнуна». Майя. К ней природа была щедра; она дала ей ум, красоту, мужество, доброту... а горе сделало мудрой. Бывает так, что природа сыплет милости на одного человека как из рога изобилия, а другому остаются крохи. Большую любовь испытала она, но и горестей ей хватило с избытком. Но и любовь свою, и счастье, и красоту, и благополучие — все отдала бы ради ребенка. Она могла и собой пожертвовать, лишь бы Василий почувствовал себя отцом. И, право, она была бы счастлива, видя счастье любимого человека.

...Я глазам своим не поверил, когда увидел наконец Майю Денисовну. Или это мираж, плод воспаленного воображения? Не доверяя себе, я, как в детстве, протер кулаками глаза. Нет, я не ошибся. Это была она. Идет и улыбается. Значит, ничего худого с ней не случилось. Ей кажется забавным, что я танцую на месте от нетерпения.

Я не выдержал. Бросился к ней с протянутыми руками и обнял, несмотря на легкое сопротивление. Мы встретились как очень близкие друзья после долгой разлуки.

— Мы действительно привыкли друг к другу за короткое время,— сказала она, как бы оправдывая себя. При этом одна бровь ее чуть надменно взметнулась. Но меня это не испугало. Я знал ее привычку. Эти шелковистые брови. Они показывали ее гордой, думающей.

Я ошалел от радости и, дурачась по-мальчишески, проблеял песенку из старого кинофильма:

Я встретил девушку
Полумесяцем бровь...

Она рассмеялась.

— Правда,— сказал я,— ваши брови — как ваши верные стражи. Стоит им чуть подняться, как у любого сердцееда пропадет охота говорить вам пошлости.

— Ах вы льстец!— Она погрозила мне пальцем.

— Вы не заболели?

— Я чуть не умерла. Можно сказать и так,— задумчиво и непонятно ответила она.

Я вздрогнул.

— От Максима, сына, получила телеграмму: «Мама, приезжай, я попал в больницу».

От сына?! Я не смог скрыть своего удивления. Откуда у нее сын? Вчера ведь только рассказывала, как плакала о том, что нет у нее детей. Может, смилостивилась над ней судьба?

— Мы уехали с Дальнего Востока. Жалко было уезжать, оставляя красивые места, а главное, хороших, настоящих друзей. Но переехать пришлось из-за Максима. Мне все же удалось уговорить мужа.

— Жениться на другой?— испуганно спросил я.
Майя Денисовна рассмеялась:
— Что тут такого? Пусть бы себе женился. Или вы не хотели бы, чтобы он женился, оставив меня?
— Да как вас можно оставить?! Разве другую такую найдешь?
— Спасибо. Василий, видимо, думал так же, как и вы. Не согласился жениться, как я ни упрашивала,— полушутя, полусерьезно сказала Майя Денисовна.— Но усыновить малютку я его все же уговорила. Всегда можно ждать, что кто-нибудь в конце концов проговорится, и мы решили тут же уехать. Это было правильное решение. Вырастет мальчик, а ему вдруг ляпнут, что он де приемыш. Травма же будет на всю жизнь. Да и нам тяжело было бы. Взяли совсем крохотного мальчонку и назвали его Максимом. Словом, в Курск я приехала уже матерью почти годовалого сына. И здесь я поняла, что давно уже следовало так поступить. Василий в нем души не чаял. Мне даже казалось, что он забыл и про небо, и про самолеты. Максим сумел завоевать его сердце, заполнить все пустоты в жизни отца. А я... я была счастлива вдвойне. Вы не поверите, но у меня появилось молоко. Нет, вы не поймете того счастья материнства, которое захватило все мое существо. У меня слов не хватит, чтобы все объяснить вам. Да разве же это объяснимо?! Я поняла многое. Я стала очень мудрой. Я вдруг узнала, что, в общем-то, человек слаб и хрупок, что если бы не было святого материнского молока, он никогда не стал бы высоким и сильным. И еще я поняла блаженство матери, кормящей грудью дитя. Я поняла наконец свою маму, ее силу, ее мужество, как поняла силу всех матерей, готовых отдать за детей свое сердце. Недаром великие художники Возрождения писали кормящих мадонн. Они, матери, создали человечество, и всеми своими достижениями человечество обязано им.

Чего греха таить, все заботы о Максиме, весь уход за ним легли на плечи Василия. Но муж этим совсем не тяготился, наоборот, ни на шаг не отходил от сына, и если тот захнычет спросонок, то Василий берет его на руки и так и ходит с ним всю ночь напролет. Мой сон жалеет, а я все думаю, как бы приступы головной боли у него не возобновились. Бывали ночи, когда мы оба, жалея друг друга, не смыкали глаз. Но странно, усталости мы не знали. Я была рада, что не угас род Антоновых, а он был счастлив тем, что я познала материнство. Ушло навсегда то проклятое время, когда мы одни в доме сидели и молчали, думая каждый о своем. Оказывается, даже детский плач способен сделать людей счастливыми. Стало казаться, что до появления Максима мы не были счастливы, и теперь только стали оттаивать и пробуждаться, как деревья весной от теплых лучей да птичьего свиста. Есть на свете очень добрые, солнечные книги. Это книги про детей. Сама я люблю Носова и Драгунского. Но книга жизни нашего Максима была мне дороже всех. Первые шаги, первое слово, смех, проделки — каждый день новая глава.

С беспокойными, неуемными людьми всегда бывает трудно. По приезде в Курск, несмотря на все мои настояния позаботиться о своем здоровье, Василий построил себе мастерскую, начал плотничать. Сына он всегда забирал с собой. В детский сад отдавать Максима отец не хотел. Ревновал, не доверял, все говорил, что раз он пенсионер, то и сам вполне сможет присмотреть за ребенком, а там, в детсаде, дети часто болеют. На Дальнем Востоке мы зарабатывали хорошо. Кое-что накопили, хотя и не делали этого нарочно. И здесь нам вполне хватало пенсии мужа и моей зарплаты. Должна признаться, с тех пор, как я вышла замуж за Василия, я никогда и ни в чем не знала нужды. Во вкусной еде мы себе не отказывали и ни в чем себя не ограничивали. Да и много ли нужно было троим? Разве не о такой жизни мечтали мы в годы проклятой войны? Слава богу, дожили и до хороших дней.

И все же, Василий нередко бывал угнетен мыслью, что в каких-то 43 года он стал пенсионером. Я все старалась обернуть в шутку, говоря, что таков удел летчиков и балерин — уходить на пенсию молодыми. Все хотелось отвлечь его от мрачных, иссушающих душу мыслей. Не говоря о военных буднях, чего стоят две серьезные катастрофы, в которые он попал и едва не поплатился жизнью. «Ты дважды родился и прожил три жизни,— твердила я ему.— Чего же тебе еще нужно? Ты отдал народу знания, силы, умение, кровь. Нельзя плохо думать о людях. Они помнят добро. Выходит, ты даже слишком поздно вышел на пенсию. У тебя поврежден позвоночник, сломано бедро, серьезно травмирован мозг. Или мало тебе этого? И если ты благодарен Отчизне, то и Родина благодарна тебе. Теперь ты должен думать о Максиме. Смотри, как бы не остаться ему сиротой раньше времени. Береги себя ради нас. Береги себя ради сына. Он твое будущее».

С того времени, как мы переехали в Курск, Вася уже дважды попадал в больницу с ужасными приступами боли, от которых терял сознание. И во всем были виноваты столь любимые им самолеты. Ему нужен был покой, необходимы тишина и целебный воздух.

Он внимательно слушал меня и вроде соглашался. Но успокаивался ненадолго. Что делать, если уж природа создала его таким неуемным? Снова он начинал беспокоиться, снова места себе не находил. Наконец и я поняла, что не усидит он без дела, без работы. Он чувствовал себя выброшенным из общества, оказавшимся за бортом большой жизни и тяжело переживал. Для него было страданием ходить в сберкассу и получать свою пенсию. Выстояв очередь среди стариков и старух, он возвращался домой разбитый и больной.

Вы можете не поверить, но однажды, уже в Курске, я на работе почувствовала тот момент, когда у Василия случился сильнейший приступ, хотя мне об этом никто не говорил. В ту минуту, когда он упал, потеряв сознание, у меня сердце вдруг оледенело от тревоги, и я не могла себе места найти от беспокойства. Все

порывалась бежать домой и не усидела, ушла. Вернее, убежала. Сердце мое не ошиблось. Я нашла его лежащим без движения у порога. Вот какая беда настигла нас.

Я уже подумывала о том, чтобы оставить работу и все время посвятить уходу за мужем, но знала, что он не примет такой жертвы и будет страдать еще больше. Для него было радостью ждать меня с работы. А мое постоянное присутствие все время напоминало бы ему о болезни, о его неполноценности.

В общем, устроился он все-таки на работу. Возглавил городской клуб любителей летного дела. Снова вошли в его жизнь самолеты. Я заметила, что на него работа действовала благоприятно; он повеселел, даже помолодел как будто. Боли отступили, и приступы не возобновлялись. Порой он очень уставал, но не подавал и вида. Заставлял меня играть на пианино. Теперь у меня дома было два слушателя: он и Максим. Когда я играла, сын приказывал отцу петь и сам пищал. Веселый и шумный народец подобрался.

Василий начал собирать книги для библиотеки сына. Завалил Максима игрушками. Целую комнату заняли зайцы, медведи и петухи. Прямо магазин игрушек, а не квартира.

Жизнь наша постепенно налаживалась. Затягивались раны, исчезали прорехи. К нам стали часто приходить ребята из летного клуба. Василий показывал им свою библиотеку, давал книги на дом, советовал, что почитать в первую очередь. Кипела работа и в его мастерской. Ребята строили модели различных типов самолетов. Судя по разговорам детей, Василий установил тесные связи и со школами, где учились кружковцы. Тех, у кого были тройки, в клуб не принимали. Увлечение авиацией положительно сказалось на успеваемости ребят. Появилось много знакомых из школ, из городского комитета партии. Его стали посылать с читкой лекций на темы воспитания. Однажды он пришел с доброй вестью: его приняли в члены общества «Знание». Многие летчики Курска узнали наш домашний адрес, и теперь не было отбоя от телефонных звонков. Словом, вернулись те времена, когда вся Васина жизнь была заполнена работой и только работой, совсем как на Дальнем Востоке.

А я по-прежнему боялась за его здоровье. Пока все шло хорошо. Видно, людей, привыкших к беспокойной, хлопотливой и многолюдной работе, сам покой делает больными. Я уж смирилась. Но о том, как много стало у нас друзей, я узнала только в день рождения Максима. Василий столько гостей напригдашал, что я просто растерялась, не зная, где их всех усадить. С трудом разместились в двух комнатах. Мы сказали гостям, что осенью Максимка пойдет в школу и что мы будем рады отпраздновать это важное событие все вместе.

На людях Василий преображался. Друзья его вдохновляли, окрыляли. Он становился открытым, веселым, остроумным. Так случилось и на этот раз. Он с теплотой читал вслух телеграммы

от друзей с Дальнего Востока. Каждого отправителя представлял гостям, словно тот сидел за нашим столом. Потом он попросил меня сыграть на пианино. Не знаю почему, но я вдруг отчетливо вспомнила далекую Москву и мой выпускной вечер. Василий был таким же неотразимо обаятельным, как и тогда. Он и Максима петь заставил. Женщины с него глаз не сводили, и меня снова стала грызть давно уже забытая ревность. Я уж думала, что все пережитые беды, трудные наши годы, верность и любовь давно погасили это чувство. Ан нет. Так уж интересно мы, женщины, созданы. Если болен он — плачем. Если здоров — ревнуем.

— Эх, жалко, нельзя было стопочку выпить!— вздохнул Василий, когда гости разошлись.

Врачи категорически запретили ему употребление алкоголя в любом виде и любой крепости.

...Стоял хороший летний день, когда Василий привел с собой молодого парня и совсем юную девушку. Он познакомил меня с ними. Через два дня суббота.

— Майя, вот эти молодые безобразники решили пожениться,— сказал Вася.— А свадьбу им негде устроить. Сироты оба, как и мы с тобой. Пусть пригласят своих друзей к нам. Все-таки дома лучше, чем в общежитии.

Я никогда в жизни ни в чем не перечила мужу и, конечно, согласилась и сейчас. Свадьба прошла весело, и душой застолья снова был мой Василий. Молодые были до слез благодарны нам. Парня звали Николаем. Он Васю за старшего брата стал считать и вместе с женой почти безвылазно проводил у нас время.

— Если я хоть немного разбираюсь в людях, то из Кольки выйдет неплохой летчик. Многое говорит за это,— говорил мне муж, когда Коли не было рядом.

Так вот наш дом постепенно превратился во второй аэроклуб. Мастерская Василия стала музеем авиалюбителей. Все дни мужа были теперь предельно наполнены и расписаны по минутам. Сегодня он в клубе, завтра в школе, послезавтра в обществе «Знание». Бывало, что и прихворнет, да только сам этому придавал мало значения.

И вот однажды, когда он лежал в постели, позвонили из городского комитета партии. Разговаривали долго. Я не смогла понять, о чем шла речь. Подойду поближе, а он машет рукой в сторону столовой. Иди, мол, не мешай. Не хотел, чтобы я слышала. Наконец сказал:

— Высылайте машину. Сейчас приеду.

Всю ночь его не было. Я глаз не сомкнула. Но кто-то регулярно звонил и успокаивал меня:

— Вы, пожалуйста, не беспокойтесь, Майя Денисовна. Василий Михайлович велел вам отдыхать.

— Что за секреты?— волновалась я.— Почему он сам не позвонит?

...Утром он пришел усталый, посеревший, с запавшими глаза-

ми. Отворачивался, пытался отмолчаться, да разве я отстану от него.

— Никому ни слова,— предупредил он.— Если слух об этом просочится раньше времени, в городе может возникнуть паника. Обнаружен склад боеприпасов, оставленный немцами при отступлении. Все снаряды и бомбы необходимо обезвредить. Собрались специалисты и обсуждали этот вопрос. Важно было услышать и мое мнение как военного летчика. Спасибо, что в столь ответственный момент не забыли про меня. Это тоже фронт, Майя. Из воинских частей были вызваны саперы. Очень опасная и очень сложная работа. А наше дело только советом помочь. Не бойся!

Как же было не бояться?! У меня сердце оборвалось. Я не выдержала и закричала:

— Для тебя война давно кончилась! Близко не смей подходить к этим проклятым бомбам! Ты же инвалид, калека!

— Калека?! И это говоришь ты, Майя?!— с глубокой тоской сказал он.

Да, я, кажется, больно ударила его тогда по едва затянувшейся ране. Максим, никогда не слышавший, чтобы мы кричали друг на друга, насупился, и глаза его наполнились слезами.

— Ничего-ничего. Это мы пошутили.

— Да-а, так не шутят. Вы ругаетесь, вот что,— буркнул сын, надув губы. Потом он вдруг подбежал к отцу и обнял его за шею. Я покачала головой, как бы советуя Василию подумать о сыне, и ушла в другую комнату.

Прошло немного времени, и для жителей Курска было сделано по радио специальное сообщение, в котором призывали горожан к выдержке и спокойствию, предостерегали против паники. К обезвреживанию склада принимались все меры. Снаряды необходимо было вывезти на пустыри, и жителям предлагалось на это время покинуть свои дома. Но люди есть люди, и как бы их ни успокаивали, все же появились разные слухи.

Василия не было дома. Мы извелись от беспокойства.

Местное радио регулярно информировало о положении в городе. «Вывезена последняя бомба. Городу больше не угрожает опасность».

Только теперь все вздохнули с облегчением. Я уже много дней носила в себе огромную тяжесть, которая черным камнем давила на сердце. Хотелось бы и мне порадоваться вместе со всеми, а у меня на плечах словно по два пуда свинца. И все не отпускала тревога. Смеялась, шутила в тот день, чтобы только Максима не напугать. А он чуть ли не каждую минуту об отце спрашивал. То и дело перелистывал новые книжки, радуясь, что скоро пойдет в школу, торопился отцу показать свои нехитрые учебники. Стоило скрипнуть двери, как он тут же бросался к ней. Несколько раз приходила жена Николая. У нее вид был тоже невеселый и измученный. Муж-то — шофер. Он тоже находился там, на

опасной работе, среди добровольцев с комсомольскими билетами.

Перед операцией весь город встал по тревоге. К работе по спасению Курска вместе с армейскими подразделениями был привлечен и городской актив. Несколько кварталов закрыли для транспорта. На улицах было полно милиции и солдат.

Но вот все, кажется, кончилось. Вместо тревожных сообщений радио стало передавать бодрую музыку. Где-то из ракетниц произвели салют. Где-то запели красивую песню. Куряне вышли на улицы. Город снова ожил. А ведь целый день люди были угрюмы, собраны и неулыбчивы.

Десять часов вечера, а Василия все не было. Вдруг во дворе послышались какие-то голоса, шум. Целая группа людей подъехала к нашему дому на трех машинах. Василия среди них не видно. Мы с сыном так и прилипли к окну. У приехавших лица печальные. У меня сердце сжалось. Неспроста приехали эти люди. Ой неспроста!

— Дорогая Майя Денисовна! — обратился ко мне секретарь горкома партии.— Будьте мужественной... Мы потеряли нашего Василия Михайловича.

— Папка! — страшно закричал Максим.

Дальше я ничего не помню...

Глаза Майи Денисовны наполнились слезами. Она достала платок. Я испугался. Думал, что она и сейчас упадет в обморок. Все поддерживал ее под локоть.

— Не бойтесь — не упаду. Я уже закалилась. Да и горе мое постепенно потеряло свою остроту, хотя нет-нет да и кольнет, так, что дыхание перехватит. Но слез нет,— кажется, все выплакала. Выходит, что и горе закаляет.

Весь город с почетом проводил Василия в последний путь. На могиле его установили памятник. Он прошел войну, дважды разбивался, но выживал, и вот, через двадцать лет после Победы нашел свою гибель в мирном городе. Разве это не горько?

Но как же все случилось, спросите вы. Последнюю бомбу со всеми предосторожностями погрузили на машину Николая, чтобы вывезти за город и взорвать. Василий сказал, что поедет со своим братишкой. Николай чуть не на коленях умолял его остаться. Другие люди отговаривали, но Василий заупрямился. Видно, смерть его подгоняла. А он — если кого полюбит, то жизнь за него готов отдать. Такова уж была его природа. Может, жалел он Николая, который недавно женился. Хотел присмотреть за ним, поберечь его. Конечно, с ними были и военные специалисты. Вся операция была тщательно продумана. Все бомбы до этого были взорваны без ущерба для людей. Все живы и здоровы.

— Эх, Коля! — сказал Василий.— Своими руками взорву я эту последнюю бомбу.

Машина ехала медленно, но все же вскоре были на месте. Осторожно спустили бомбу на землю. Машина и прибывшие отошли подальше, на безопасное расстояние, укрылись в заранее приго

товленной щели. Когда раздался взрыв, Василий, смотревший на часы, упал. Говорят, что произошло кровоизлияние в мозг. Видно, напряжение этих дней, тревога, страх за близких, волнение, воспоминания о войне — все это явилось непосильной нагрузкой для его организма. Не выдержали, лопнули сосуды.

Я должна вам сказать одну невероятную вещь. Люди потом долго удивлялись этому. После обморока я не проронила ни слезинки. Окаменела вся. Я вам, кажется, говорила, что подобное со мной было только после маминой смерти. И только зубами скрипела от муки. Кого было винить? Маму повесили фашисты, и я ненавидела их. А теперь? И в этой трагедии виновата война. Нет, она еще не кончилась!— почти крикнула Майя Денисовна. Лицо ее, милое и женственное, стало жестким и суровым. Она так крепко сжала свой маленький кулачок, что пальцы побелели. Ноздри ее трепетали, а губы дрожали часто-часто. Мне показалось, что буря, поднявшаяся в ее душе, подняла и закружила меня как щепку. Странное это было ощущение — причастности к большой беде, к большим делам и чувствам.

— Вашу маму тоже убила война,— безжалостно продолжала она.— Нужда, голод, холод разъедали ее душу, как рак. Вы еще и пожить не успели, а уже на сердце жалуетесь. Это в вас попала неотлитая пуля прошедшей войны. Даже если не пуля, то огонь не столь далеких боев обжег ваше сердце. Огонь войны. Это пламя ворвалось во все наши дома, и нет семьи, не обожженной войной. Дети теряли отцов, даже если те возвращались невредимыми. Но они прошли войну и были уже не теми, что прежде. Сколько искалечено жизней! Сколько судеб исковеркано! Вот и я стою перед вами. Жива и как будто здорова. Но присмотритесь внимательнее и вы увидите, что сделала со мной война. Я ее жертва. На ее кровавый алтарь принесла я юность свою, жизнь, любовь! Не война ли, не холодные ли лесные ночи, не промерзлая ли земля сделали меня одинокой навек? Не потому ли бесплодна я, как сухая смоковница?

Врачи спрашивают: «Вы пережили какое-нибудь потрясение? Чего-нибудь сильно испугались? Оставались на холоде продолжительное время?» А я все помню. И мерзлую землю, и холодные дожди, и пронизывающий ветер, и страх. Да, страх! Ведь я живой человек, к тому же женщина. Но тогда я была еще ребенком. А что может потрясти душу сильней, чем вид казненной матери?! После всего разве вправе мы говорить, что война давно кончилась?!

Возможно, люди, которые смотрят мне вслед, думают обо мне как о счастливице, живущей обеспеченно и беззаботно. Откуда им знать, что у меня внутри все разбито вдребезги, что даже случайное прикосновение приносит нестерпимую боль. Каждому встречному не станешь рассказывать о своих муках. Не каждый и поймет. Да и к чему торопиться взваливать свой груз на чужие плечи? Раны телесные заживут, а душевные — не затянутся.

Война калечила не только тела, она коверкала души. Это страшно.

Сколько вдов! Сколько не рожденных детей! Каких гениев лишилось из-за войны человечество! Сколько Рерихов не родилось и Бахов! Почему сейчас так много старых дев? И вообще, почему стало так много одиноких? Может, им мешают живущие рядом? Нет, не потому остаются в девушках, что нет мужиков. Мужчин не могут найти. Одного, своего, единственного, которого сожгла война. Их памяти верны, любви своей преданны. Им не нужно сожительство, им нужна жизнь, и поэтому они с таким презрением отворачиваются от подделок. «Закон природы». А им указ другой, высший закон, по которому они и живут. Разве же это не раны?

Я должна быть еще благодарна своей судьбе. Я была рядом с любимым человеком и была любима. Я познала счастье. А какой это был человек! Жизнь его была короткой, но яркой. Высокими делами, высокими мыслями и целями жил он и оставил мне дорогое наследство — мужественность свою. Да, к звездам его влекло. И сам он был для меня звездой. И только ли для меня? Он был не из тех людей, которые умирают в постели. Многому научил он меня, и я до самой смерти буду обязана его памяти. Двадцать лет совместной жизни с Василием, с одной стороны, показались слишком короткими, как куцее топорище, а с другой, долгими и интересными, просто даже волшебными. Бывает, что я воскрешаю в своей памяти каждый из тех светлых дней, и тогда я хмелею от своих видений и у меня начинает сладко кружиться голова. Я начинаю худеть от дум, гореть от несбыточных надежд на чудо. А чудом было то, что судьба случайно свела нас в лесу, а потом в Москве. Мне вся моя жизнь начинает казаться сном. Порой даже берут сомнения: «Да полно! Ты ли это была женой такого человека?!» Мучаюсь от того, что коротким оказалось мое счастье. Если бы все вернуть, я бы сидела и смотрела на него, берегла бы каждую минутку. Может, он так рано ушел от меня, чтобы я сумела наконец оценить его полной мерой?

Я жила рядом с ним и не подозревала, что расту, что научилась видеть далеко и широко, смотреть с большой высоты. Не знала, что все эти годы училась у него быть настоящим человеком. Он мне путь указал, до вершины довел и... ушел. Я уже не могла смотреть на других иными глазами. Своим судом сужу людей, своей меркой меряю, и горько бывает порой видеть перед собой духовных карликов. Каким же он был терпеливым со мной, когда карлицей была я! Нашлись люди, которые говорили жалеючи, что я молода, что у меня один лишь ребенок на руках и что я должна найти себе мужа, а сыну — отца. Жизнь-то одна. Вот и вся их мудрость. Но я-то трудность по-другому понимаю, нежели они. Да разве эти люди могли бы понять меня? Когда я вспоминаю Василия, то остальные в глазах моих становятся какими-то приземистыми. Нет, я уже не могла бы стоять на бугор-

ке и воображать, что я на Джомолунгме! Я уже привыкла видеть простор с вершин, со сверкающих пиков. Начни я смотреть на жизнь иначе, я бы предала Василия. Я на все смотрела его глазами, его сердцем жила. На всю жизнь он оставил меня такой, и с этим ничего уже не поделаешь. Он не только сам высоко летал, но и меня сумел поднять на большую высоту. Я и сама не знала, что за эту-то высоту помыслов, дел и чувств боготворила его. Что теперь из-за этого тоскую по нему каждый день. Те слезы, которые песком запеклись в день его гибели, теперь вдруг оттаяли и проливаются обильно, как дожди весенние. Одно время я совсем раскисла. Жизнь была мне не мила. Я уже не могла владеть собой. Каждая вещь, воспоминания о его голосе, о походке, об улыбке вызывали у меня неудержимый поток слез. А ведь не прошло еще и года. Нередкими были бессонные ночи, когда стонала я от душевной муки и рыдала, и выла, как раненная насмерть волчица. Ох, какими долгими были те ночи! Если раньше я удивлялась тому, что не было у меня слез, то теперь поражалась, откуда во мне берется столько влаги.

У меня уже и к сыну жалости не было. Все заслонило горе. Рассудком я понимала, что так жить нельзя, а с сердцем ничего не могла поделать. Так становится жалко, что не смог Василий увидеть, как пойдет сын в школу, и порадоваться вместе с нами. Я стала опасаться за свой рассудок. Порой я отчетливо видела, как он шел рядом с Максимом и чему-то они оба весело смеялись. Я его ясно видела, как живого. И высокую стройную фигуру, и чистые глаза, и тонкий нос, и светлые кудри... и улыбку твердых, красиво очерченных губ. Сердце вскидывалось, трепетало. У меня начинали дрожать колени, и я очень боялась в такие минуты потерять сознание. Эти галлюцинации измучили меня вконец. Я очень устала и даже подумывала о том, чтобы поменять квартиру и уехать куда-нибудь далеко-далеко, совсем в другой город. Но потом одумалась и ужаснулась своим мыслям. Да куда же мне ехать отсюда? От него? Ах, какую я глупость готова была совершить! Разве же смогу я убежать от его могилы, от улиц, по которым он ходил?! Почему я должна бежать от него? Если я убегу от него сегодня, то завтра откажусь от всего, что было мне так дорого. И не устоять мне тогда на высоте. Не-е-ет, не сходи с ума, Майя, Майечка, Майя Денисовна! Ты должна иное мужество проявить.

Однажды во сне он подошел ко мне сзади и с тихим смехом крепко обнял меня. Я рвалась из его рук, хотела в глаза заглянуть, лицо его увидеть, а он не пускал. Тихо и добро смеялся, а руки железные как обручи стянул. Обессилела я. Хотела притвориться рассерженной. Он в жизни никогда так не шутил со мной. Шутка показалась мне обидной и грубой. Холодными стали руки и тело его. Я вдруг увидела, что пальцы его начали чернеть, превращаясь в железный стабилизатор бомбы. Я завопила от ужаса и проснулась. Заплакал испуганный Максим, проснувший-

ся от моего крика. Оказывается, я просто уснула в неудобном положении. Затекла рука, и побаливало сердце.

Как вы думаете, что это было? Телесная рана или душевная боль? Конечно, мука душевная. Мне кажется, легче было бы дать отрезать ногу или руку, чем испытывать подобные страдания. Возможно ли полностью излечиться от сердечной боли? Поэтому я и говорю, что война для нас не кончилась.

Уже несколько лет подряд я приезжаю на курорт. Конечно, на этот счет у каждого имеется свое мнение. Бывают и такие, которые пытаются завести со мной легкий флирт, короткий «курортный» роман. Но меня все эти поклонники нисколько не трогают, даже раздражают, и от этого Василий становится мне еще дороже. Я к людям строга. Опереточные ловеласы вызывают у меня чувство брезгливости. Светлый образ Василия уже сам по себе ключ и замок моей чести.

У тех-то, вроде, тоже жизнь, по-своему, может, интересная даже. Легко знакомятся, легко сближаются, легко расстаются. А по моему понятию, это все мелко, грязно и недостойно человека.

В музыке и в жизни есть фальшь. Фальшивые ноты портят самую прекрасную мелодию. Талантливые дирижеры и истинные музыканты страдают от этих режущих и скребущих диссонансов. Дирижеры не терпят фальши, гневаются на нерадивых исполнителей, бывает, что и кричат. Так и в жизни. Воспитанные чувства — это хорошо слаженный и сыгранный оркестр, и носитель этих чувств нетерпим ко всякому проявлению низменной фальши.

— Скажите честно, что вы подумали обо мне, когда я первой подошла к вам?— спросила вдруг Майя Денисовна.— Приняли за курортную дамочку, которая ищет развлечений?

— Признаться, да. Вначале я так было и подумал. Но это было даже не мыслью, а так, любопытством. И быстро прошло, как только я внимательнее заглянул в ваши печальные глаза,— смущенно ответил я.

— Спасибо! Поэтому мы и смогли стать друзьями и всегда были очень откровенны друг с другом. Это общение и душевная близость нужны были нам обоим. Мы искали средства от одиночества и лекарства от нашей беды. А сдержанность — свойство стыдливых людей. Спасибо! Я всегда стыдилась показывать слезы посторонним. Перед вами почему-то открылась. Я думала, что и у вас незабываемое горе, а вы просто на сердце свое обижены. Ничего, поправитесь, и болезнь ваша забудется. Не переживайте так сильно. Вы же этим сами болезни помогаете. Пусть вас судьба оградит от других несчастий!

— До встречи. До завтра.

Майя Денисовна помахала мне рукой и пошла по аллее.

Приближался день моего отъезда с курорта. Я стал искать подарок для Максима. Почему-то решил, что сын летчика должен стать космонавтом, и приобрел для мальчика бронзовый бюст Га-

гарина. С подарком в руках я пошел попрощаться с Майей Денисовной. Вдруг меня остановил чей-то голос:

— А не купите ли сувенир?

Обычная курортная поделка: лебедь на озерке. И лебедь, и озеро были загнаны в бутылку.

— Красиво смотрится,— сказал я. Сегодня мне никого не хотелось обижать отказом. Я заплатил и забрал это чудо местного творчества. И, право, даже обрадовался такому приобретению...

— Передайте, пожалуйста, это Максиму,— сказал я.— А это... Это вам, Майя Денисовна.

Она молча взяла подарки, и глаза ее вдруг наполнились слезами:

— Спасибо, мой друг. Ваш подарок напомнил о многом. Не будет движения вперед, если сын не обгонит отца. Ученик не превзойдет учителя. Я ни о чем не жалею. Всю оставшуюся жизнь я посвящу Максиму, который пробудил отцовские чувства в Василии и нашел мать во мне. Его радостями буду жить, его заботами... Вот что мне осталось. Я и вам поэтому ничего не сказала, когда ездила к сыну. Но все хорошо. Его удачно оперировали. Аппендицит. Организм молодой — быстро на ноги встанет. Он сам меня отослал обратно. «Езжай, отдохни и подлечись». Спасибо вам за все!

— Майя Денисовна, поверьте, я против пошлости, но лебедь — такая чистота!— не виноват, что его используют в своих целях бессовестные халтурщики.

Она тихо рассмеялась, и взгляд ее был очень добрым и понимающим.

— Я от чистого сердца дарю, Майя Денисовна. У нашего народа много легенд и песен о чистоте и верности этих прекрасных птиц. Мы любим лебедей. И сказки о верности этих птиц — не просто красивая выдумка. Говорят, это доказано орнитологами. Видно, по-настоящему прекрасное и должно быть постоянным. Здесь изображена одинокая птица. Она красива и печальна. Акку — так зовем мы лебедей. Я всегда буду думать о вас как о прекрасной белой лебеди. Именно в вас я увидел лучшие черты своего современника. Пусть же лебедь всегда напоминает вам о человеке, который будет благодарен вам всю жизнь.

— Но...— она хотела возразить, однако промолчала.— Спасибо! Вы меня взволновали, дорогой друг. Я даже растерялась. Я не подумала. Простите, у меня нет с собой ничего, что бы я могла вам подарить.— Она смущенно посмотрела на меня.— Лебедь... Ведь это и о нашем расставании...

— Мы живы,— тихо сказал я.— Вы меня обижаете, Майя Денисовна, разве я ждал ответного подарка?

— Нет-нет, не сердитесь, пожалуйста. Я совсем о другом.

Вдруг она, явно обрадованная неожиданной мыслью, схватила со стола фарфоровую чашку и стала совать ее мне в руки:

— Возьмите эту чашечку. Я из нее целебную воду пила. Она

жажду мою утоляла. Возьмите на память. Ну, положите же в свой портфель! Пусть она напоминает вам хоть изредка обо мне, о вдове, которая была очень счастлива. Все рассказанное мной держите в секрете. Кому интересно знать обо мне? Да и не поможет это. Я верю вам. Вот мое условие. Вы сдержите слово, а чашка будет напоминать вам о молчании. Обещаете?

Да, я обещал. Но, простите меня, Майя Денисовна! Я больше не могу молчать. После долгих колебаний и размышлений я пришел к решению все рассказать людям. Ваша судьба — это не ваше личное дело. Она типична для многих наших сверстников, для целых поколений наших людей. Я просто не имею права молчать. Говорят, что и раны телесные, и муки душевные излечивает время. Возможно, это самое время оправдает и меня в ваших глазах.

НАКАЗ

Повесть



I

Абзал и сегодня был в хорошем настроении. По старой своей привычке он пришел на работу за пятнадцать минут до ее начала, а ведь недаром древние говорили, что привычка — вторая натура. Абзал вспомнил латинское звучание этой пословицы и улыбнулся. Да, в звуках мертвого языка звенит яркая медь римских когорт: «Консветудо эст альтера натура». Замечательно!

Прежде всего Абзал обошел лаборатории. Здесь чисто, удобно и нет ничего лишнего. Все стоит на своих местах, как и положено. За годы работы он привык к образцовому порядку и постарался других приучить к тому же.

Не спеша Абзал направился к своему кабинету. Дверь приемной была приоткрыта, значит, Зоя Сергеевна уже на рабочем месте, на своем важном посту. И об этом Абзал подумал без иронии, потому что искренне считал работу секретарши нужной и ответственной, как например должность адъютанта. А ведь должности адъютантов во все времена занимали люди в офицерских чинах, а то и генералы.

Молодую женщину долгое время смущало то, что она приходит на работу позже шефа. Она была аккуратна и не опаздывала на службу, но получалось так, что Абзал Ниязович всегда опережал ее. Кто же мог ожидать такого от руководителя солидного научного учреждения? С самого раннего утра он уже сидел в своем кабинете, и поэтому она невольно начинала чувствовать себя неловко. В первое время Зоя Сергеевна боялась, что он сделает ей замечание или даже отругает. Ей стало бы неприятно, если бы он даже просто нахмурился, выражая недовольство. Но такого, к счастью, не случалось никогда; начальник встречал ее неизменно доброй улыбкой, и от этого весь трудный день казался хорошим и праздничным. Она уставала, но настроение всегда было чудесным, а главное, хотелось работать.

Абзал Ниязович не считал за труд вытереть пыль с мебели, вытряхнуть пепельницы или распахнуть настежь окно не только в своем кабинете, но и в приемной. Это удивляло и смущало жен-

щину, которая не раз заставала своего начальника за неподходящим для его положения занятием. Каждый раз она вспыхивала жарким огнем и спешила отобрать у Абзала тряпку. А он лишь посмеивался над ее смущением.

Раньше, вспоминала Зоя Сергеевна, этот кабинет выглядел неуютно, был серым, скучным и даже убогим. А сейчас и выходить отсюда не хочется. Высокий потолок выкрашен в лазурный цвет, стены облицованы полированными щитами. Рабочий стол и стол для совещаний отсвечивают как зеркало, поверхность их настолько гладкая, что, кажется, и муха бы не удержалась. Стулья с высокими спинками сделаны по особому заказу и обиты вишневым сафьяном. Очень большие изменения произошли и в приемной. Книги, которые раньше находились в недоступном директорском кабинете, теперь разместились здесь. Красивые полки заняли целую стену, а соседние обиты панелями под дуб почти до самого потолка. Может, секретарша стала бы меньше уважать шефа, если бы кабинеты других сотрудников остались в прежнем неприглядном состоянии, но ведь и они изменились неузнаваемо.

Она огляделась еще раз и подумала, что Абзал Ниязович мужчина все-таки обстоятельный и хозяйственный, а это для мужчины столь высокого ранга достоинство немаловажное. С приходом нового директора институт преобразился. Не только внешним блеском он стал отличаться от прежнего. В лабораториях появилось новейшее оборудование, как отечественное, так и импортное, самое лучшее и удобное для работы, приборы высокой точности и надежности. В новых условиях и работать было радостней. Без особого нажима, незаметно улучшилась и дисциплина. Люди стали яснее видеть свои цели и понимать поставленные перед ними задачи. Сотрудникам теперь больше доверяли, и это их окрыляло. Их никто не ограничивал в творчестве, не связывал инициативу, и они наконец почувствовали, что не просто трудятся, но и живут в настоящем коллективе, где от них не только требуют работы, но и заботятся, уважают. Никто не считал наказанием, если приходилось задержаться в институте или прийти раньше, чтобы успеть больше. Здесь люди не отбывали повинность, а работали с душой. И если раньше бывало, что на службу шли как на каторгу и превращались на долгий день в скучных чиновников, то теперь все это вспоминалось как страшный и глупый сон.

Для шефа не существовало понятия «рабочий день», потому что и утро, и вечер, и даже ночь часто становились для него рабочими. Он не изнурял себя, потому что трудился радостно и даже счастливо, и своей работоспособностью умел не колоть глаза подчиненным. Казалось, он не знает усталости. Может, благодаря этой его энергии и произошли чудесные изменения в институте. Все споры и конфликты стали разрешаться без криков и обид, дружелюбно, по-товарищески. И это тоже помогало.

Раньше в стенах института обитали два-три научных сотруд-

ника, которые и сами толком не работали, и другим мешали. Но зато они ловко умели бить себя в грудь. Не было практически ни одного собрания, на котором бы они не выступали. При этом создавалось впечатление, что именно они подпирают небесный свод и без них земля перестала бы вращаться. Краснобаи известные. Словарю их могли бы позавидовать торговки, когда они затыкали рты несогласным, обрывали выступающих, огрызались и беззастенчиво хамили направо и налево. Никому не хочется выслушивать оскорбления, и люди старались вообще избегать всяких контактов со склочниками и держаться от них подальше. Часто такое бывает с порядочными людьми. Как метко сказал поэт: «То перед наглостью робеем, то перед подлостью молчим». Даже сам тогдашний шеф побаивался крикунов, создав для них губительный климат вседозволенности. Иные, не выдержав, уходили с любимой работы. Как-то само собой создалось мнение, что сильны негодяи какими-то сказочно-могущественными связями, чьей-то вельможной поддержкой. Гуляли вредные, деморализующие и очень опасные сплетни и слухи. Их надо было выжечь с корнем и вернуть людям веру в справедливость. Пора было кончать с интриганскими и подхалимскими настроениями в институте. Иначе о работе в таких условиях не могло быть и речи.

И за то, что Абзал избавил коллектив от этих неприятных людей и в очень короткое время сумел оздоровить климат в институте, все сотрудники были ему благодарны. А уволил он тех типов так быстро и безболезненно, что некоторые даже не заметили этого. Тем полнее была их радость, когда они обо всем узнали. Словно тяжкий груз сбросили с плеч и дышать стало легче.

Ходили по институту целые легенды о том, как чуток к людям новый руководитель, как хорошо понимает их заботы и нужды и не терпит бездельников и бездарных карьеристов.

Произошли немалые перестановки и среди сотрудников. Это поначалу вызвало некоторое недоумение, но потом оказалось, что именно так и нужно было сделать, потому что теперь каждый научный работник был на своем месте.

Женщины, которые годами не могли устроить своих малышей в детский сад, не переставали теперь благодарить Абзала. Видно, у него хорошие отношения с городскими властями, раз они всегда идут ему навстречу.

А взять хотя бы секретаршу. Она вечно мыкалась по чужим углам. Абзал добился для нее ордера на новую солнечную квартиру. Его стараниями построен и санаторий для работников института на живописном берегу Капчагая, а теперь он хлопочет о доме отдыха на Иссык-Куле. Зоя Сергеевна сама недавно печатала об этом отношение.

А с каким вниманием слушают люди Абзала Ниязовича на собраниях и совещаниях! В его выступлениях нет ничего лишнего. Он говорит всегда по существу, ясно, точно и сжато. Он умеет рассказывать интересно о самых скучных специальных вещах,

может блеснуть остроумием и ценит хорошую шутку. Если бы не эти беспокойные телефоны, Зоя Сергеевна не пропускала бы ни одного собрания.

Памятным событием для всех стало празднование тридцатилетия великой Победы. Каким почетом и вниманием окружили в тот день участников войны! Не были забыты и бывшие работники института. Всех их пригласили на торжество и приняли с любовью. Тем, кто живет далеко, послали теплые поздравления. Стены на втором этаже заставили специально подготовленными стендами и портретами ветеранов. Были собраны материалы из газет и журналов, рассказывающие о героизме бывших фронтовиков, членов коллектива института. Для каждого ветерана изготовили специальный фотоальбом.

Перед открытием торжественного собрания оркестр исполнял марши и песни военных лет. У белой мраморной доски, на которой золотыми буквами были написаны имена тех, кто ушел на фронт из этих дверей и не вернулся, стоял почетный караул. Торжественные, повзрослевшие, серьезные, стояли в карауле пионеры, дети сотрудников института, отличники учебы. Этой доверенной им чести ребята никогда не забудут.

А портреты отличников заняли целую стену на стендах третьего этажа к великой гордости и радости их мам и пап.

«Дети наши, юное поколение советских людей! Ради вас проливали кровь на фронтах войны отцы ваши! Оправдайте их надежды, не забывайте, какой ценой заплачено за счастье! Пусть крепнет кровная связь поколений, их духовное родство!» — эта мысль была с любовью вложена в проделанную активистами института работу.

На этом торжественном собрании докладчиком был сам Абзал Ниязович. Вся грудь его была украшена орденами и медалями. Зоя Сергеевна невольно принялась считать награды, дошла до десяти и сбилась.

Но ее удивили тогда глаза Абзала. Они были далекими, словно все еще видели огонь и дымные дороги войны. Он рассказывал о том, что пережил сам, о погибших товарищах своих говорил как о живых. Казалось, он докладывал собравшимся о том, как жил сам и как жила страна, что сделано народом за эти тридцать лет, как бережно хранится память о тех, о погибших, но живых, какой прекрасной выросла молодежь... Он просто говорил о совсем не простых вещах, и людям трудно было удержать слезы. Он говорил и о трудовых подвигах новых солдат. Молчанием почтили память павших. Особое слово было сказано и о героях тыла.

— Товарищи! Братья мои! Все меньше становится тех, кто прошел через страшный огонь войны. Я не люблю равнодушных. Я люблю людей потрясенных. Я видел фотоэтюд, от которого больно стало сердцу. Там, где в День Победы собираются однополчане, стоит скамейка, а над ней фанерка с номером полка. На скамейке, закрыв лицо руками, сидит седой человек. И вокруг

него стоят девушки и парни со слепыми от горя лицами и смотрят, смотрят, смотрят на седого человека, который сегодня осиротел, потому что никто из его боевых братьев больше никогда не придет на священное место встречи. Вы слышите, люди! Никто!.. Но редеют ли наши колонны? Нет! На места павших заступают молодые. Мы, бывает, ворчим на них, но кто не ворчал на своих детей? Мы верим вам. Верим! В нашем коллективе больше двухсот человек, а ветеранов осталось не больше десятка. Мы должны беречь их, друзья, чтобы вдруг не осиротеть без них! Пусть и они помнят, как нужны нам! Как необходима нам их память о священной войне. Они не имеют права уйти и не рассказать все! Пусть долгой и полной будет их жизнь, пусть будет счастливой их старость!

Зоя Сергеевна была потрясена силой чувств и слов Абзала Ниязовича. Она не смогла остаться равнодушной и запомнила все почти дословно. Может, потому, что сердцем слушала... А в конце торжественного собрания были названы имена погибших. И о них говорили так, будто они живы и присутствуют сейчас в этом зале. Подарки, предназначенные им, были вручены их матерям, женам, сыновьям... Люди были взволнованы, скорбны и счастливы. Потом выступали ветераны... А после торжественной части состоялся концерт, на котором выступил специально приглашенный студенческий ансамбль. Как шутливое напоминание о тридцатых и сороковых годах были исполнены модные в то время мелодии: «Рио-Рита», танго «Брызги шампанского», «Утомленное солнце» и другие.

Да, это был незабываемый вечер, что и говорить. Он еще теснее сплотил коллектив. Зоя Сергеевна не могла бы сказать за других, но сама она стала совсем по-другому относиться к старым солдатам.

Кто знает, в какие дали увели бы еще ее мысли, если бы в это время не открылась дверь и в приемной не появился робкий на вид парнишка. Сняв с головы шапчонку, парень спросил:

— Начальник у себя?

Абзал Ниязович велел всегда пропускать к нему посетителей и шутливо просил Зою Сергеевну не делать из него суконного бюрократа. Она это правило запомнила крепко-накрепко и пропускала людей без задержек. Но этот парень...

— По какому делу, юноша? Как доложить?— спросила она.

— Скажите ему, что я из аула. Этого, я думаю, достаточно будет. Я привез ему письмо от одного человека.

Парень замолчал, заглядевшись на секретаршу. Она была настоящей красавицей, и мальчишка не смог скрыть ни восхищения, ни невольной радости от встречи с прекрасным. Да, Зоя была очень хороша, знала об этом и умела неназойливо дарить свою красоту людям. Рядом с ней люди добрели, а это дар чудесный, совсем не то, когда за смазливенькую куклу готовы рвать друг другу глотки. Ласковые и мягкие черты. Высокая прическа об-

рамляет нежное лицо. И за машинкой Зоя умела сидеть словно на троне.

Она окинула посетителя изучающим профессиональным взглядом. Таких мальчишек тысячи. Грива, конечно, до самых лопаток. Джинсы на тощих ногах. Обувь стильная, на высокой подошве. Рубашка с открытым воротом. Словом, вполне современный парень. Ничем, пожалуй, не отличается от городских шалопаев. Разве что поскромнее. Городские-то поживей будут, поразвязней. И еще видно, что это не притворная робость, не лицемерие тихони, а врожденная деликатность.

Зоя Сергеевна одернула платье и, стуча туфельками, прошла в кабинет. В тамбуре она еще немного задержалась, чтобы приоткрыть вторую дверь, и тут услышала голос шефа, разговаривающего по телефону. Ей не хотелось мешать, и поэтому она вернулась в приемную.

— Подожди немного, пожалуйста,— попросила она.— Закончит разговор и зайдешь.

Парень молча улыбнулся ей и кивнул в знак согласия. Потом он подошел к зеркалу, придирчиво осмотрел себя и, достав расческу, причесался. Это понравилось Зое Сергеевне. Она одобряла опрятность, хотя и считала длинные космы у мужчин не очень приличными. Паренек был стройным, даже, пожалуй, несколько хрупким. Держался он скромно, но с видимым достоинством. Когда он только вошел, она заметила бисеринки пота на его лбу. Видно, на улице очень жарко. В прохладной комнате парнишка отдышался, пришел в себя. «Симпатичный мальчик,— решила Зоя Сергеевна,— но скрытный, ничего о себе не рассказывает, хотя бы имя или фамилию назвал».

Она вздохнула и встала, прошла снова в кабинет, тут же вышла и пригласила:

— Проходи, мальчик!

Абзал на приветствие юноши протянул ему руку и предложил сесть. Раньше он этого парня не видел, да и сам Абзал не был знаком посетителю. Парень смутился, но сел в указанное кресло. Абзал внимательно посмотрел на него и подумал о том, что родичи из аула часто присылают к нему своих детей, говоря, что в городе живет их Абзал-ага, большой человек, и он, конечно, устроит в институт. Так и этот парень напомнил Абзалу, что время вступительных экзаменов приближается, самое неловкое и тяжелое время для горожан. «Видать, этот тип тоже из просителей»,— подумал он.

Но виноват ли юноша? Сможет Абзал помочь или не сможет — другой вопрос. Да и станет ли помогать в нечестном деле? Но он всегда старался с молодыми говорить мягко, душевно. В такие минуты он обязательно вспоминал свой первый приезд в Алма-Ату после войны. Правда, он тогда был уже мужчиной, побывавшим в боях. Но от этого разве меньше трудностей выпало на его долю?

Абзал до сих пор отчетливо помнит... Его приняли в университет. Собрав скромные свои пожитки, он прибыл из аула в город. Продукты тоже привез с собой. В городе хлеб выдавали по карточкам. По пятьсот граммов в день. Разве же это еда для здорового молодого мужчины? Выручили аульное просо, кусочки солоноватого курта да пахучее домашнее масло. Его женге Бибисары, жена дяди, дала ему в дорогу два коржуна очищенного тары и бурдюк масла. Он чувствовал себя богатым. Даст бог, надолго хватит этого добра. Можно было теперь особенно не беспокоиться о еде. Всей душой он желал получить основательные знания, стать человеком.

Получив направление в общежитие, он вышел из главного корпуса университета. Тут и трамвай подошел к остановке. В то время и трамваи в Алма-Ате ходили только по улицам Карла Маркса и Комсомольской. С коржунами на плече, с фанерным чемоданом в руке он бросился к дребезжащему деревянному вагону. Бежать с таким грузом было тяжело. Но он все же успел. Кто-то помог ему втащить чемодан, но мешки никак не желали проходить в узкие двери. С трудом втиснулся Абзал в вагон, и тут произошло непоправимое. Какой-то маленький гвоздик, торчавший в двери, пропорол ткань одного из коржунов. Абзал услышал треск, но уже ничего не смог поделать. Просо ручьем потекло из дыры в мешке. А разве просо удержишь? Все пассажиры в трамвае бурно выразили ему свое сочувствие. Горожане хорошо знали, что такое нужда. Абзал был близок к отчаянию. Внутри у него все болело от обиды на себя, на гвоздь, на мешок, на трамвай. Ему казалось, что он потерял руку, ногу, половину огромного состояния. Злясь на весь мир и глубоко стыдясь, он перетянул кое-как веревочкой дыру в переметной суме и стал горстями собирать просыпавшееся на пол зерно. А день был дождливый, слякотный. Пассажиры навозили ногами в вагон кучи грязи. Он выбрал более или менее чистое тары, но больше половины так и осталось в грязи. Люди качали головами, жалея парня, с которым приключилась беда. Никто не смеялся, но все равно Абзал не в силах был поднять голову и посмотреть кому-нибудь в глаза. Но что поделаешь — случившегося не исправить...

Глядя теперь на этого солидного человека, и не поверишь, что он собирал просо с пола грязного трамвайного вагона. И кто мог подумать в те годы, что из неловкого голодного парня вырастет ученый?

Нынешним молодым жаловаться грешно. По сравнению с прошлым, но жизнь у них, а рай. Никто из них не привозит в город тары из аула. Да и от аула название одно осталось. Не стародавние кочевки, а новые поселки раскинулись по степи, с высокими домами, с электричеством, с газом. И с транспортом люди сейчас никаких неудобств не испытывают. Поезда, автобусы, такси, самолеты — все к их услугам. А в то время горем был путь даже на близкое расстояние. Ждать поезда по пять и более

суток — дело привычное. О рейсовых же автобусах тогда и слыхом не слыхивали.

Помня о том времени, когда он сам приехал на учебу, Абзал с сочувствием относится к молодым ребятам и разговаривает с ними мягко и душевно. По природе своей лишенный высокомерия, этот человек быстро завоевывает их доверие, и вскоре уже молодые начинают рассказывать ему все, порой даже самое сокровенное, которым не всегда поделишься и с отцом. С самого начала Абзал интересуется делами аула, особенно внимательно расспрашивает он о жизни и здоровье аксакалов, самых древних, которых и осталось-то всего ничего.

— А сам ты, чей будешь? Что тебя в город привело, сынок?

Парень помялся и протянул ему письмо. Абзал поправил очки, развернул не торопясь письмо и принялся читать, решив про себя, что это одно из многих писем-просьб, не всегда оправданная рекомендация.

«Уважаемый Абзал!

Нелегко мне было написать тебе это письмо. Я долго мучилась и колебалась. Трижды начинала писать и трижды рвала написанное. Я не решилась написать тебе «дорогой», но имя твое Абзал, и оно само означает, что ты дорог людям и уважаем ими; я верю в широту твоей души, потому к тебе и обращаюсь. Чего только не заставит сделать материнская любовь! В этом, я посчитала, мое право писать тебе. Сын мой в прошлом году закончил школу, но не сумел поступить в институт. Работал год. Если не поступит и в этом году, то, боюсь, потеряет веру в себя, в жизнь, а главное, в людей, и это самое страшное, Абзал. Кому, как не тебе, знать об этом?! Я мечтала о том, чтобы хоть один из детей моих получил высшее образование. А это младшенький, и он особенно мне дорог. В школе он учился неплохо, но после прошлогоднего его провала сердце мое не на месте. Я растеряна и не знаю что делать. Посылаю его к тебе, а сама боюсь. Какое я имею право просить тебя после всего?.. И все же именно к тебе обратились мои мысли сейчас. Доброе дело никогда не забудется. Разве, проявив великодушие, не становится человек лучше? Не от сына, так от бога вправе мы ждать благодарности. Я к тебе обращаюсь на ты, хотя и знаю, что не только такой близости не должна себе позволять, но даже стоять рядом с тобой не достойна. Младшего моего, надежду свою последнюю, тебе доверяю. Ты же был великодушным и умел прощать...

Торгын».

— Так ты... сын Торгын?— неожиданно резким голосом спросил Абзал. Лицо его сразу побагровело, а потом начало медленно и пугающе бледнеть. Встав с места, он вышел из-за стола и принялся шагать по кабинету.

Неожиданная перемена в этом спокойном и приветливом человеке ошеломила юношу. Он теперь только заметил, что и сзади подобралась к нему беспощадная седина, которую уже не могли

закрыть молодые черные волосы. Над правой бровью светлел небольшой шрам, что-то мелко билось там и рвалось напряженно наружу. При ходьбе он слегка приволакивал ногу. Но это было почти незаметно. Только очень наблюдательный человек мог обнаружить этот дефект.

Расстегнув воротник, Абзал слегка ослабил галстук. Подойдя к какому-то прибору, похожему на радиоприемник, он нажал на кнопочку, и комната наполнилась прохладным ветром. Тогда только юноша понял, что это кондиционер.

— Значит, ты сын Торгын. Как же тебя зовут?

— Канат.

Абзал снова глубоко задумался, не заметив удивленного и настороженного взгляда Каната, и медленно подошел к письменному столу. Видно, он успел вызвать секретаря, потому что в кабинет тут же вошла Зоя Сергеевна.

— Вызовите, пожалуйста, машину, Зоя Сергеевна, и отвезите нашего гостя прямо ко мне домой,— попросил Абзал Ниязович и повернулся к парню.— Ты до вечера отдохни, Канат. Об остальном мы успеем поговорить.

Такого поворота событий Канат не ожидал и очень удивился, даже растерялся. Он собирался отдать письмо, как велела мать, и сразу ехать в общежитие. Да ему и проще было бы с другими абитуриентами. Но что делать? Отказываться нет особых причин, да и обидеть человека можно. Секретарша ободряюще улыбнулась ему, и Канат послушно последовал за ней.

А Абзал все смотрел ему вслед, хотя мысли его были не об этом мальце, а о другом, далеком и скрытом, казалось, надежно. Хорошо изучившая шефа, Зоя Сергеевна поняла его состояние. В дверях она повернулась и посмотрела на Абзала, как бы спрашивая, не может ли она услужить ему чем-нибудь, не нужна ли ему сейчас простая человеческая помощь. А он молчал. Стоял, стиснув побелевшими пальцами край стола, и молчал. Зоя Сергеевна вздохнула и тихо притворила за собой дверь. Чем-то встревожил Абзала Ниязовича этот юнец, взволновал глубоко и сильно. «Я люблю людей потрясенных»,— вспомнила она. Сейчас она сама видела перед собой потрясенного человека. Кто же этот мальчик? Может, в письме, что он привез, были плохие новости? Но начальник был безусловно расстроен. Это Зоя Сергеевна поняла сразу. Женщины склонны к невероятным фантазиям. К тайнам влечет их, как мух на мед. А что если... Она посмотрела пристально на своего попутчика... А что если этот парень приходится сыном Абзалу Ниязовичу? Что если тот был неудачно женат когда-то в прошлом? Нет, этого не может быть. Такой человек не сделает ошибки. Ей казалось, что если на свете существуют всего два честных и справедливых человека, то один из них Абзал Ниязович. Если бы он помогал другой семье, платил алименты, то Зоя знала бы об этом раньше всех. Она знакома с дружной и гостеприимной семьей своего шефа. Жена у него пре-

красный человек, открытый и доброжелательный. И внешность у нее привлекательная. Главное, глаза добрые. Ну что все-таки за парень явился такой загадочный? Обо всем этом думала Зоя в машине, то и дело бросая на Каната пытливые короткие взгляды, чем еще больше смущала юношу. Несмотря на то, что уже решила о нем, Зоя продолжала искать в мальчишке знакомые черты, но не находила. Разве что такой же смуглый да доброта еще чувствуется абзалова. Она зябко поежилась от своих подозрений и стала смотреть на дорогу.

II

Письмо Торгын и вправду сильно взволновало Абзала, потому что заставило испытать забытую боль, напомнило о том безмятежном детстве, которое пролетело как короткий и счастливый сон. Он снова увидел родной аул, бурые холмы, веселых друзей, задорные косички Торгын, ее белый дом, школу... На весь колхоз только у отца Торгын был дом под железной крышей, а остальные жили в обычных саманных мазанках, похожих на коржун: прихожая с низким потолком да комната слева и комната справа и опорные столбы посередине, грубо вытесанные, но отполированные руками и спинами.

Торгын росла капризной и избалованной. Может, потому, что отец ее был председателем колхоза. На весь аул существовал один велосипед, и хозяйкой чудесной машины была, конечно, Торгын. Когда проносилась она на сверкающем велике по пыльной улице аула, то женщины стыдливо проводили пальцами по щекам: «Как же это, о аллах! Каким бы большим начальником ни был отец, разве можно позволять дочери трястись на шайтанарбе? Девушке подобает скромной быть, а она еще и в штаны влезла. Тьфу!» Не раз слышал такое Абзал. Другие девочки не решались даже приблизиться к велосипеду, и поэтому Торгын приходилось больше играть с мальчишками. Да она и сама была похожа на отчаянного сорванца и всегда ходила в синяках и царапинах, не особенно нуждаясь в обществе тихих, но себе на уме подруг.

Однажды класс писал контрольную работу по арифметике. Абзал постоянно сидел за одной партой с Торгын. Слово учителя для мальчика было сильнее любой суры Корана. Когда мугалим[1] сказал, что давать списывать не следует никому, Абзал локтем закрыл свою тетрадку от Торгын. Девочка раза два толкнула его в бок, чтобы он показал ей решение, но Абзал сделал вид, что ничего не заметил. Посапывая в обе ноздри, он сосредоточенно решал свою задачу. А в арифметике, надо сказать, он был силен. И в тот момент он больше всего думал о том, чтобы выполнить контрольную раньше всех, сдать тетрадку и выйти из класса на свободу. Еще ему очень хотелось услышать, как обычно, похвалу

[1] Мугалим — учитель.

учителя: «Абзал снова решил раньше всех. Молодец». Он обеспокоенно повертел головой, но незаметно было, чтобы кто-нибудь уже заканчивал задание. В это время на его тетрадь упала записка: «Если не дашь сдуть задачку, велосипеда тебе не видать. Т.».

А велосипед — голубая мечта Абзала. Что же ему теперь оставалось делать? Он призадумался. Его отец был простым колхозником, но жил в достатке. Узнав о желании сына, обещал купить ему эту штуку с колесами, даже если придется продать корову. Но, как назло, велосипедов в продаже не было. Даже в районный центр съездил отец, но и там не нашел. Делать было нечего, и все ребята аула поневоле пошли на поклон к Торгын. Ее слово было теперь для всех законом. Что скажет, то и правильно. Что велит, то и исполнено. Как говорится, назовет белым — благодари, назовет черным — проглоти. Сама и очередь устанавливала, сама миловала, сама наказывала. Вот подошла очередь прокатиться Абзалу, но девчонка вдруг схватила велосипед за блестящие рога и повела как послушного козлика домой. А он... Он вздрогнул от обиды и пришел в себя. Что такое? Ведь он не на улице, а в классе, пишет контрольную. Надо сосредоточиться. И он снова уткнулся в тетрадь. Торгын надулась и опять толкнула его локтем: «Ну, когда дашь списать?» Абзал заспешил. Теперь он писал уже оба варианта на двух листках тетради. Когда все было готово, он незаметно подвинул к Торгын вторую бумажку и хотел было встать с места, как с треском получил линейкой по лбу. Абзал ничего не понял и растерянно посмотрел на сердитое лицо Торгын. «За что ты меня? За то, что решил тебе задачу?» — мелькнуло в голове. Разозлившись, он быстрым движением выхватил шпаргалку из рук девчонки. Торгын тут же вцепилась в него. В классе поднялся шум. Дети перестали писать и с интересом наблюдали за схваткой. К драчунам медленно подошел учитель.

— Что здесь происходит? — недовольно спросил он.

Абзал молчал, опустив голову. Торгын, вся дрожа от злости, вдруг захныкала:

— Он... он мое решение порвал... мой черновик.

Абзал аж взвился от такой бессовестной лжи:

— Брешет она! Это я сам за нее решил!

Учитель нахмурился. Он увидел обе бумажки: и шпаргалку и записку, где говорилось о велосипеде...

— Хорошо, — сказал он. — Я вижу, вы оба в этом случае виноваты, поэтому ставлю вам обоим за контрольную работу по двойке. И вина ваша даже не в том, что вы хотели обмануть учителя. Нет, все гораздо серьезней. Вы не выдержали контрольную на честность. — Он помолчал и продолжил гневно: — Разве может радовать незаслуженный успех, нечестная оценка? Разве можно купить знания за золото или велосипед? Разве должны строиться отношения между людьми на купле-продаже? Или так приятно быть купленным, забыв про свои принципы? Выйдите

оба из класса и хорошенько подумайте над своим поступком. Потом я проверю, как вы поняли меня. Идите и не мешайте нам честно трудиться!

У Абзала слезы из глаз брызнули от суровых слов учителя. Особенно было обидно из-за того, что учитель как бы выбросил их из класса, точно накипь, каких-то лишних. Абзал чувствовал себя словно заразный больной. И еще учитель сказал, что все ребята честно трудятся. А он-то, Абзал, учебу и за труд не считал...

Но все-таки и он многого не понял. За что ударила его линейкой Торгын? Может, за то, что первым хотел уйти и не стал ее ждать? Мало этого, и велосипед ему теперь ехидно улыбнулся.

У ребят в ауле было излюбленное место для игр. Абзал пошел туда, как обычно, а Торгын увидела его и, дернув плечиком, ушла домой, прихватив с собой велосипед. Так и повелось: Абзал к ребятам спешит, а Торгын игру бросает и уходит. Тут уж все мальчишки стали Абзала поругивать, ополчились против него, потому что из-за него и они теперь без велосипеда остались.

Обидно было Абзалу, но что поделаешь. Только отцу и мог он пожаловаться. И Абзал, сдавленно и горько плача, стыдясь своих слез, поделился своей бедой с родителем. Мырзакул, который до смерти любил сына, выслушал его и отправился к председателю, попросил, чтобы дети, как прежде, играли вместе.

— О аксакал!— рассмеялся председатель.— Мало у меня других забот, так еще детские споры решать заставляете. Дети, они и есть дети. Сегодня подерутся, завтра помирятся. Разве не говорили раньше в степи: «Не вмешивайся в детскую ссору и в собачью драку». Они и без нас найдут общий язык. А если мы вмешаемся, то только испортим все дело. Абзалу же хуже будет, ябедой станут считать, маменькиным сынком.

С тем и ушел Мырзакул, признав правоту председателя. Как умел, поговорил с сыном, утешил его, да и сам на том успокоился. И вот, когда все, вроде, стало входить в норму, Торгын попросила учителя пересадить ее за другую парту. Еще обидней стало Абзалу. Показалось ему, что теперь-то он навсегда потерял велосипед. Но учитель не разрешил Торгын пересаживаться.

— Помню, ты сама пожелала сидеть с Абзалом,— сказал он.— Негоже летуном быть. Кочевой народ — отсталый. Сиди, девочка, на своем месте. По-моему, Абзал ни в чем не виноват, а наказан достаточно. За одну вину наказывать дважды — жестоко.

По мнению Абзала, самый справедливый человек в ауле — это их учитель. За честность и справедливость весь народ любит его. Со всякими бедами и тяжбами идут люди к учителю. Говорят, что и сам председатель часто советуется с мугалимом в особо важных делах. Не зря же на груди учителя горит орден! Люди говорят еще, что во всем районе учитель — первый орденоносец. В прошлом году он ездил в Москву и получил в Кремле этот орден из рук самого Михаила Ивановича Калинина. Когда вернулся из столицы с наградой, то всем аулом ходили его поздравлять

и все были рады за него. Абзалу он привез красивую расшитую тюбетейку, которую потом бережно хранили в сундуке. Только по праздникам с гордостью надевал он ее на чисто вымытую голову. И вот, на Первомай, когда он вышел счастливый на улицу, Торгын сорвала с него драгоценную тюбетейку и, хохоча как черт, промчалась мимо, оставив растерянного Абзала в отчаянии.

Преследования этой девчонки становились все настойчивее, придирки все ощутимее, уколы больнее. Высокомерие ее возросло до неслыханных размеров, она прямо на глазах раздувалась от гордости. А чем ей было гордиться? Может, тем, что отец у нее председатель? Так ведь не она, а отец ее занимает высокий пост. Но учитель, по всему видать, поважней председателя будет и посильнее. Не испугался же сегодня и отчитал зазнайку как следует. Да, на этом свете очень нужна справедливость.

С самого дня контрольной работы Абзалу было очень даже тяжело, он и смеяться разучился за это время, но теперь вдруг сразу стало легче, будто гора с плеч свалилась и лицо вроде посветлело. Он снова решил начать играть с ребятами, а то из-за этой задаваки и шагу ступить нельзя было нигде. И почему только его отец не выучился в свое время на председателя?! Тогда и Абзал имел бы свой велосипед и чихал бы на вредную девчонку с вершины Хан-Тенгри. Если бы не эта машина, он бы на Торгын и внимания не обращал. Учится он хорошо, в арифметике ему равных в классе нет. Лишь велосипеда и не хватает. Учитель тоже любит его. А после сегодняшних событий он вообще, по мнению мальчика, поднялся на недосягаемую высоту. Только таким и должен быть учитель. Опрятным, красивым, смуглым, черноусым, неторопливым и стройным, и обязательно с орденом. Иным учителю быть нельзя, у него все на месте и ничего нет лишнего. Не зря же мугалима на каждом собрании избирают в президиум. И почти всегда он ведет собрания как председатель. Его не только дети беспрекословно слушаются, но и родители не заставляют себя просить дважды.

Абзал твердо решил стать точно таким же учителем. А может, лучше председателем? Нет-нет, он будет учителем.

Из-за глупой девчонки он в тот раз его ослушался. Мугалим же предупреждал, чтобы никто не давал никому списывать, а Абзал взял да за эту незнайку все решил. И правильно наказал его учитель. А все из-за велосипеда. Как же ошибся Абзал! Да теперь он ничего и никогда не покажет Торгын, даже если у нее будет не то что велосипед, а целый аэроплан. Почему? Да потому, что нет большей ошибки, чем обмануть человека, который поверил тебе. Тем более, что этот справедливый и честный человек — твой учитель...

В свою очередь, Абзал тоже делал вид, что ни капельки не интересуется Торгын и не обращает на нее никакого внимания. Хоть и горело у него сердце от обиды, он несколько дней не появлялся там, где бывала она с велосипедом. Абзал с утра до вечера

возился во дворе со своим щенком. Песик рос быстро, как богатырь, прямо на глазах. По всему заметно, что вырастет из него добрая борзая. Щенка еще весной привез ему в подарок нагаши, родич по матери, а точнее, родной дядя, потому что мамин брат. Тогда щенок был беспомощным, смешным и неуклюжим, а теперь вон какой вымахал, с добрую овцу. Нагаши был известным мергеном[1], знающим толк в ловчих птицах и охотничьих собаках. Зимой он обещал приехать поохотиться, окропить снежок кровью. Он, конечно, возьмет с собой и Абзала с его псом Туйгуном.

Под седлом у дяди будет верный белый конь, прославленный в скачках. Выйдут они на след, и гончая дяди по кличке Актос заволнуется, кинется в одну сторону, в другую, а потом вдруг пулей вперед и уж больше не собьется. А за опытной охотничьей собакой помчится и молодой Туйгун. Не слушая повода, рванется вороной жеребец Абзала. Ветер туго ударит ему в лицо и крикнет он от восторга и азарта погони:

— Вот он! Я вижу его! Бежит, бежит волчище! Ух, какой здоровый! Ух, какой матерый!

А нагаши гикнет и возьмет белого коня в плети. Взовьется благородный жеребец от боли и обиды и птицей полетит по белой снежной кошме. А за ним, не отставая, вороной жеребенок-кунан[2] Абзала. Впереди, на расстоянии выстрела от них, будет лететь стремительный Актос. Он вытянется звонкой тетивой и станет необыкновенно тонким и целеустремленным, как стрела. Будет стелиться над белой степью как текучая звезда, ринувшаяся на землю из далекого созвездия Гончих Псов. Не бежать, а резать поле и звонкий морозный воздух. Может, это и не собака вовсе, а звезда с необычным и красивым именем Арктур, о которой недавно рассказывал учитель? Абзал размечтался...

Туйгун все же еще щенок. Он стал отставать от Актоса. Но Абзалу кажется, что у его пса бег замечательный. Актос никогда и ни за что не даст себя обойти разным аульным шавкам, лохматым, ленивым, в репьях, дерущимся из-за каждой обглоданной кости. Что ни говори, а он из породы сказочного Кумая, собачьего пирра. Слишком молод Туйгун, но придет время, и он ни в чем не уступит Актосу, а может, даже победит его и превзойдет во всем.

Волк наметом уходил к горам. Но расстояние между ним и преследователем незаметно сокращалось. Одним из самых заветных желаний Абзала было увидеть яростную, первобытную схватку волка с собакой. Он хорошо знал, как происходит такое по красочным и живым рассказам нагаши. Но никакой рассказ не заменит увиденного собственными глазами.

Абзал обжег бока своего вороного витой камчой. При виде неожиданно появившегося из ложбины всадника волк растерялся

---

[1] Мерген — меткий стрелок.
[2] Кунан — трехлетка.

на миг, притормозив всеми четырьмя лапами, хотя всадник был далеко. Но быстро пришел в себя. Однако расстояние между ним и собакой стало короче. Путь отрезан, как и рассчитывал дядя. Волка нельзя было пускать в спасительный овраг. Впереди у серого был человек, а сзади его настигал страшный пес. Волк заметался. Ему хотелось жить, как никогда прежде. Он ненавидел непонятных людей и рад был бы никогда с ними не встречаться, если бы не гнал его на добычу беспощадный голод. Зверь тихо зарычал. Он принял мужественное решение. До последнего хрипа он будет биться с собакой, с врагом понятным и более близким по виду. Волк отомстит ей за древнее предательство, за униженную гордость, за неволю, купленную мясом, похлебкой. Волк отомстит!

Хищник устремился в равнину. Теперь он бежал от безопасных ущелий. Ему нужно было заманить пса подальше от людей с грохочущими палками, несущими огонь и последнюю в жизни боль.

Но и человеку требовалось то же самое, потому что человек этот был опытным охотником и хорошо знал бандитские повадки волков. Актос неумолимо настигал врага. Еще несколько прыжков, немного усилий и волк будет взят. За Актосом, стараясь не отстать, след в след бежал Туйгун.

— Туйгун! Туйгун!— закричал в диком азарте Абзал, размахивая руками.

— Не зови собаку!— резко оборвал мальчика дядя.— Не отвлекай от работы!

Абзал удивился. Ему и в голову не приходило раньше, что и охота относится к работе и что собаки тоже трудятся.

— Кричи! Криком ты поддержишь собак и добавишь страха волку,— радостно посоветовал нагаши.

Слава аллаху! Хорошо, что не позвал Актоса, а то бы дядя вообще рассердился... И Абзал стал кричать воинственно и грозно, как кричали древние воины его племени идя на врага. В ушах свистел колючий ветер, и гремел боевой клич дяди. Вот нагаши выхватил из-под колена тяжелую палицу. Видно, Актос вот-вот настигнет волка. Не успел Абзал сморгнуть выступившую от ветра слезу, как все смешалось: снег и ветер, небо и земля, рычание и визг, боль и отчаяние, радость и торжество. Но рано было еще торжествовать. Белый смерч поднялся над степью. Не понять, где в этом крутящемся клубке хищник, а где собака. Грудь в грудь, стоя на задних лапах, грызлись пес и волк. И приемы у них одинаковые: цепляются за уши, за ляжки рвут, а до горла не допускают. В стороне от схватки звонко лаял молодой Туйгун. Крутился на коне дядя с поднятым над головой соилом[1], но ударить не решался, боясь задеть Актоса. Слишком стремительной была схватка, и вместо волка можно погубить пса. Да и скаковой

[1] Соил — дубина с утолщением на конце.

конь не слушался повода, храпел в ужасе и рвался в сторону, никак не желая приблизиться к месту смертного боя. Два раза замахнулся и ударил охотник, но промазал и только снег взрыл палицей. В какой-то миг пес изловчился и поймал зубами волчий загривок. Астапыралла! Даже смотреть в кровавые глаза собаки страшно. А ведь пес казался обычно таким добрым и спокойным. Видно, сильна извечная ненависть собак к волкам. В это время промчался Туйгун, пропоров белым клыком волчью лапу. В отчаянном рывке сумел зверь освободиться от страшных зубов Актоса. Бой закипел с новой силой. На снег закапала горячая кровь, но не известно было, кому она принадлежала. Шерсть летела клочьями; злобное рычание и визг, хрипящий клубок переплетенных тел... В глупом Туйгуне и то проснулась охотничья кровь предков. Он тоже бросился в бой, тыкаясь в бойцов острой мордой и разрывая зубами чужую шкуру.

Но очень уж молод пес, совсем еще щенок. Ему, наверное, казалось, что не смертельный бой здесь идет, а веселая щенячья игра. Ужас перед диким зверем передался от белого коня вороному жеребцу. Скаля желтые зубы, вороной кунан крутил головой, рвался прочь от места схватки. Абзал с трудом сдерживал коня на месте, изо всех сил натягивал поводья. Да, редко случается видеть в жизни такую картину. Если бы не было рядом человека, то не дался бы могучий волк псу. Да и страшна ему собака только потому, что за ней стоит человек. Его взяли в круг двое конных, два пса. Что же было делать одинокому волку?

Снова изловчился Актос и схватил волка за ухо, рванул и тут же вцепился в загривок. Дернулся волк, щелкнул зубами, но не смог достать врага. Задвигал он лапами, царапая наст, рвался всем телом, а пес не отпускал. Но волк остается волком. Он бьется до последнего. Даже в таком беспомощном положении серый не сдавался, он с такой силой ударил задними лапами подскочившего Туйгуна, что щенок с воем отлетел от него на десять шагов. И в это время наконец обрушился на волчий хребет крепкий соил дяди. Забилось, затрепетало тело зверя, превратившееся в одну сплошную огненную боль. Только о боли и помнил сейчас поверженный волк, а может, в затухающих глазах его мелькнул на миг косолапый волчонок, такой теплый и доверчивый, а может, он вспомнил зеленые глаза молодой волчицы, которая была матерью его щенков... кто знает? В это время Актос отпустил растерзанное ухо и впился зубами в дергающееся горло волка. Глухой и тоскливый хрип услышал Абзал. Уже зная, что победил, Актос с силой рванул врага. Движения пса стали уверенными и свободными. Он был горд трудной своей победой. А на побежденного волка было страшно смотреть. Он лежал, могучий и бессильный, на истерзанном снегу, еще не остывший от схватки. Оскаленная пасть и крепкие клыки, казалось, были готовы снова грызть и рвать. Но это была агония. Лапы его еще дергались, но были уже слабыми и безжизненными. Победитель Актос

поставил переднюю лапу на широкую и крепкую грудь волка и принялся яростно рвать ему горло.

Тут и нагаши подоспел, спрыгнув с коня. Гнев Актоса не остывал, и он рычал, поводя по сторонам налитыми злой кровью глазами. Но зверь еще жив. Дрогнули его задние лапы, вытянулись, задрожали мелко. Ему уже не страшен был ужас смерти. Он ничего не сознавал. Нагаши поднял свою палицу и ударил хищника по носу. Пожалел его, спас от ненужных мук. Абзал часто слышал от мужчин в ауле, что душа волка находится на кончике его черного носа. «Ну, теперь конец!» — подумал он. Но Актос и не думал отпускать горло врага. Для пса бой еще не закончился. Нагаши погладил собаку, пытаясь ее успокоить, но Актосу это не понравилось. Радуясь победе, заливисто лаял Туйгун. Нагаши отошел в сторону, чтобы дать борзой прийти в себя. Показалось, что вздрогнул мертвый хищник. Снова рванул его Актос, не разжимая зубов. «А-а, зубы не может разжать»,— понял дядя. Он сунул таволожью рукоять камчи в пасть собаки и с силой надавил. Тогда только отпустил пес волчье горло.

Волк оказался очень большим. Он лежал, вытянувшись в грязном, истоптанном снегу, огромный и свирепый даже в смерти. Актос сидел в стороне на задних лапах и смотрел на хозяина. На светлой узкой морде его выступила кровь. Видно, задели его волчьи зубы. Абзал присмотрелся к собаке и удивился, какой же это могучий пес, с широкой и выпуклой грудью, с железными лапами, рослый и стройный. Как он раньше этого не замечал? Грудь как у скакового коня. Он перебирал длинными ногами и не сводил настороженных глаз с волка, бока его ходили ходуном. Нагаши подошел к нему, потрепал по холке и сказал что-то ласковое. Актос положил голову ему на грудь, потом ткнулся носом в ладонь, словно спрашивая: «Все ли я сделал как надо, хозяин? Доволен ли ты мной?»

Актос постепенно успокоился, но зато очень нервничали кони. Запах волка, запах смерти приводил их в ужас. Надо было возвращаться в аул. Малиновое солнце медленно, но неудержимо катилось вниз. Не было времени даже на то, чтобы шкуру снять. Дядя хотел забросить поверженного зверя на круп своего коня, но тот захрапел и закрутился. Вороной же вообще не подпустил — не обучен. Дядю удивило поведение белого скакуна. Раньше не раз привозил он волков в аул на своей спине. Что с ним случилось? Нагаши покачал головой и усмехнулся в усы. Раньше-то конь одну шкуру вез, а теперь на него хотят целого волка погрузить, хоть и мертвого. Благородное животное воспротивилось. Но нагаши решил настоять на своем. Ему хотелось показать аулчанам, какого огромного волка они взяли на этот раз. Он велел Абзалу сойти с седла и подержать повод белого. Тогда только удалось приторочить волка к спине лошади. Теперь еще ясней стало видно, какого зверя удалось взять на этой охоте. Когда дядя перекинул его через лошадиный круп, то хвост еще оставался

па снегу, а оскаленные зубы словно хватали наст. Рвался и всхрапывал белый конь и долго не мог успокоиться, но потом все же смирился, почувствовав знакомую и уверенную руку хозяина. Синие тени легли на снег. Небо потемнело. Но весело было возвращаться с такой добычей. Впереди на расстоянии курука бежал спокойный Актос, за ним трусил Туйгун.

— Сегодня твой щенок выдержал первый бой,— сказал Абзалу нагаши.— Твой отец должен устроить той по этому поводу.

Словно услышав и поняв слова дяди, белый конь прибавил шагу. Ровно и красиво бежал впереди Актос, словно ничего и не случилось. Собаки — не люди. Им результат важен, не слава. Нет у них честолюбия. Но старшинство изволь соблюдать. Туйгун по щенячьему своему неведению пытался весело обогнать Актоса, однако тот недовольно, но сдержанно зарычал, и Туйгун послушно переместился в хвост.

...Аул шумел как при отъезде па джайляу. Всюду ходили разговоры: «Слышали, люди? Говорят, сын Мырзакула сегодня взял волка». В возбужденной суете вечера отец успел благословить невнятно жертву арабской молитвой и перерезал горло белому барану. Люди всегда рады поводу повеселиться. Дружно собрались все в дом Мырзакула. Идут и идут гости, один за другим. В этом доме отмечали как праздник каждый приезд нагаши. Всегда стоял здесь веселый шум, слышался смех, раздавался рокот домбры, звучала песня. Аул доволен, рады и хозяева. Нагаши был прозван народом Серэ[1] Нияз, почетным именем этим звали его во всех казахских аулах. Абзал очень гордился своим родственником и всегда хотел, чтобы дядя приезжал в их дом чаще.

Нагаши был искусным рассказчиком. А сегодняшнюю охоту он прямо-таки воспел как подвиг батыра. Юным же батыром, как ни странно, оказался Абзал. Люди слушали, открыв рты, цокая от удивления и восторга языками. Смелости и удали племянника, ловкости и храбрости Актоса был посвящен рассказ нагаши. Оказалось, что это единственный племянник, а не сам дядя, метко и сильно ударил волка, когда тот схватился с Актосом, и это решило судьбу боя.

— Э-э-э...— протянул один из аксакалов.— Недаром говорят, что хороший мальчик похож на нагаши. А он вылитый дядя.

Тут все засмеялись, а дядя сказал с любовью:

— На сестру похож.

— Как бы не сглазить да черным словом не задеть,— заплевались суеверные старухи.— Не следовало бы так долго хвалить ребенка, да береги его аллах!

Услышав эти слова, мать Абзала забилась как встревоженная птица над гнездом. Запричитала, как раненая:

---

[1] Серэ — смельчак, удалец, любимец народа.

— О аллах! Отведи беду от невинной души! Оберегите сына, духи предков! О Тенгри!

Она сама, кажется, не понимала своих слов, потому что и к духам, и к аллаху, и к языческому Тенгри обратилась в святой своей тревоге. И никто не посмел смеяться. А отец усмехался, довольный и веселый, поглаживая ладонью сивые усы.

Жалко, что Торгын не слышала всего, что сказано было в этот вечер о нем, об Абзале. Он с гордостью посмотрел на председателя, который зачарованно слушал дядю Нияза, весь подавшись вперед. «Знай же, кто я! Знай же, какой я!» Все в нем кричало от радости и гордости. Он забыл, что в охоте той был простым зрителем... «Пусть твоя дочь не очень-то свой курносый нос задирает! Пусть знает, с кем она говорит!» Но председатель не обращал на него внимания, а другим до него и дела нет. Кажется, один мугалим понимал Абзала. Он трогал пальцем свои красивые усы и тихо посмеивался. Нагаши, привыкший говорить прямо, вдруг вытаращил глаза на председателя и хлопнул себя по колену:

— Как же я раньше-то не задумался над этим? Эх, басеке[1], не стать ли нам сватами? Ты дочь растишь, мы джигита воспитываем. Ну, как?

Абзал пулей кинулся к двери. Он не слышал, что ответил председатель. Только громкий смех долго еще преследовал его. Но смех тот не казался обидным. Пусть взрослые шутят, как хотят, ему не жалко. Теперь Абзал остался один на один со своими мыслями. Вот бы узнала Торгын, какое геройство он на охоте проявил! Может, тогда она сама приезжала бы со своим велосипедом. Ох нет, не такая она, упрямая! Но... если за деньги трудно достать, то за шкуру волчью наверняка дадут самый лучший велосипед! Надо сказать об этом дяде.

— Ура! Нашел! Нашел!..

Абзал испугался собственного крика и вздрогнул. Перед ним стоял щенок, высунув розовый язык, а больше никого не было. Ни Актоса не видно, ни дяди. Ни снега нет, ни волка. Абзалу стало очень грустно и обидно. Если бы все оказалось правдой, то не было бы человека счастливей, чем он.

А все же интересную он про себя картину нарисовал. Только бы не узнал никто, а то поднимут на смех. Абзал будто в другом мире побывал.

Солнце поднялось высоко, а жара все усиливалась. Надо было собираться в школу. Вновь придется сидеть рядом с Торгын, с этой «принцессой». Сегодня тоже контрольная. Может, перед ним снова появится записка: «Если хочешь кататься на велосипеде, дай списать». Но он, конечно, списать не позволит. Режьте его на куски, а он не даст.

— Абзал! Абзал! — позвал его кто-то. Он посмотрел в сторону калитки и увидел там Торгын с велосипедом.

---

[1] Басеке — уважительное от «баскарма» — председатель.

— Ты давно не катался,— сказала она.— Хочешь круг сделать?

Смеется, что ли? Или серьезно говорит? Свистнув Туйгуна, Абзал вышел на улицу. Вроде не шутит, даже наоборот, руль ему подает.

И Абзал тут же забыл свои обиды...

Незабываемая, солнечная пора краснощекого детства! Как много, оказывается, оставило оно воспоминаний!

На следующий год семья Торгын переехала в другой район, куда ее отца перевели с повышением. Абзал долго ее не видел и даже стал забывать. Он и сам уехал из аула в интернат. Три года учебы прошли здесь, и Абзалу пришлось привыкнуть к новому укладу.

Однажды, придя в класс, он увидел, что за одной партой сидит Торгын, та самая высокомерная хозяйка велосипеда. Абзал удивился. Она тоже узнала его, и это видно было по взгляду ее широко раскрытых глаз. Девушка встала и протянула ему руку. Она очень выросла и изменилась. Это был уже не резкий подросток, словно собранный весь из углов и ломаных линий, а серьезная и ладная барышня. Пытливым и спокойным стал ее взгляд, прежде диковатый и озорной, но нет-нет и вспыхивали в зрачках прежние лукавые искорки. Казалось, она надела на миг чью-то чужую маску, и стоит обратиться к ней, как маска эта спадет и снова глазам окружающих предстанет прежняя девчонка-сорванец.

— Торгын... это ты?— растерянно спросил Абзал.

— Кажется, я,— засмеялась девушка.— До сих пор не признал?

Он смутился, но не мог не отметить, что голос ее из резкого превратился в нежный грудной. Да и сама она была далеко не прежней. Острая линия плеч стала плавной, грудь высокой, движения рук мягкими. Смуглая физиономия аульной проказницы превратилась в светлое и ласковое лицо взрослой девушки. Она перебирала длинными пальцами тугие косы, переброшенные на грудь, и нервно посмеивалась, не зная что сказать.

— Ты насовсем пришла в нашу школу?

— Совсем, но не насовсем,— расхохоталась Торгын.— Я учиться здесь буду... в вашей школе... Надеюсь, что она станет и моей.

— Вот и хорошо!— обрадовался Абзал, не обратив внимания на ее иронию.

Девушка тоже в свою очередь украдкой изучала Абзала, невольно сравнивая его с тем мальчишкой, сыном пастуха Мырзакула, которого она не только хорошо знала, но и обижала не раз и даже заставляла плакать. Если бы кто-нибудь сказал ей, что из чумазого пацана вырастет такой парень, она бы ни за что не поверила. Но сейчас глаза ее не обманывали: перед ней стоял высокий и стройный юноша, плечистый, с красивыми густо-карими глазами, в ладно скроенной интернатской робе, в которой другие ребята были до смешного похожи на инкубаторских цыплят. Он

держался уверенно и по-хозяйски; видно, интернат для него что родной дом, наверняка, и учится хорошо, ведь и в аульной начальной школе он успевал по всем предметам лучше других.

Прошло немало времени с тех пор, как они расстались. После четвертого класса Торгын с Абзалом больше не встречались, а сейчас оба уже десятиклассники. Почти шесть лет пролетело. А это, оказывается, большой срок...

Тому, что среди незнакомых ребят встретился ей Абзал, Торгын очень обрадовалась. Она еще не умела ценить воспоминаний, но уже дорожила детством и прежними друзьями. А разве не с Абзалом вместе они росли! В ее возрасте еще трудно было сразу привыкнуть к людям, тревожила мысль, как примут ее новые товарищи, новые учителя. Даже эти беспокойные мальчишки, которых и мальчишками уже не назовешь. Эти джигиты, рослые и широкоплечие, совсем не похожие на школяров, усатые и густоволосые.

Может, благодаря Абзалу Торгын быстро стала своей не только в классе, но и в школе, привыкла к новой обстановке. А может, и не Абзал вовсе ей помог, а ее собственный характер, открытый, веселый и дружелюбный.

Торгын приехала из района, где было много русских, поэтому по русскому языку и литературе она была самой сильной в школе. И говорила по-русски очень чисто и без всякого акцента, к велпкой зависти ребят. В интернат Торгын пришлось перейти потому, что отца ее снова перебросили на другую работу, на этот раз заведовать райфинотделом. Торгын хотела остаться в старой школе, но родители воспротивились.

Очень скоро Торгын уже знал в интернате каждый — она была заводилой во всех школьных делах, а уж для кружка художественной самодеятельности и вовсе стала находкой: и пела, и танцевала, и стихи читала с блеском. Абзал помнил, что и раньше Торгын не очень стеснялась людей и всегда с готовностью пела и лихо плясала для них, зачастую импровизируя на ходу. Аулчане просто восхищались: «У председателя девка — огонь. Она и сквозь землю пройдет с веселой песней». Талант ее с годами развился и окреп, будто крылья приобрел, новыми гранями расцветился.

Как-то Торгын зашла в интернат к своим подругам и неожиданно застала в гостях у девушек Абзала, играющего на мандолине.

— Ого! — весело удивилась она.— Откуда в тебе такие способности?

— Интернат привил,— шутливо ответил Абзал.

— Хорошее дело мандолина,— улыбнулась Торгын.— Но...

— Что, мало? — воскликнул Абзал, отложил в сторону мандолину и, схватив стоявший в углу аккордеон, рванул мехи.

С веселым смехом девчата вскочили с мест и закружились в вальсе. Торгын прекрасно умела танцевать, но парных танцев не любила, наверно, потому, что не выносила прикосновения чужих рук. Абзал об этом и не подозревал. Он передал инструмент другу,

а сам встал перед Торгын и положил ей руку на талию. Она осторожно, но настойчиво высвободилась.

— Я... я не умею.

— Научишься,— пообещал Абзал.— Я тебя научу.

Торгын опустила глаза. Почему-то теперь ей не была так уж неприятна близость человека, и она впервые почувствовала какое-то необъяснимое превосходство Абзала над ней. Почему?

...В тот вечер он впервые проводил Торгын до дома. Они шли по районному парку, потому что так было ближе. Дом девушки находился на одном конце парка, а интернат на другом. Они шли и молчали, пока Торгын не попросила его рассказать о себе. Абзал сначала замялся, но все-таки ответил, какими судьбами оказался он в интернате после того, как в один год потерял родителей.

— Когда вы уехали, у меня заболел отец. Мама ухаживала за ним, пока сама не свалилась в горячке. И отец, и мама умерли от тифа. Так я один и остался. Ты же знаешь, ни братьев у меня, ни сестер нет. Да и родичей близких не густо. Один нагаши и мог принять близкое участие в моей судьбе. Правда, далеко живет. Но несмотря на это, он часто навещал нас. Когда родители слегли, дядя созвал в наш дом всех лекарей и баксы, которых знали в округе, муллу привез. Большего он при всем желании сделать не мог. Врачей поблизости никаких не было... Отца дядя очень любил, как и маму, свою сестру. Не зятем, а братом считал. Отец в нем тоже души не чаял. Дядя Нияз любил веселую охоту. Этой страстью он заразил многих в ауле и не только увлек, но и кое-чему выучил. Каждый джигит в ауле спешил обзавестись борзой, ружьем и ловчей птицей. Сама знаешь, как удобны наши места для охоты, как богаты дичью. Ну вот, все эти бешеные баксы и сладкоречивые муллы так ничем и не помогли, только по лисьему воротнику да по шапке утащили в свои норы. Тогда нагаши объявил всем, что тому, кто излечит зятя, подарит он волчью шубу и отдаст своего белого коня. Но смерть оказалась сильнее всех мулл и этих шарлатанов баксы. Он умер. Перед смертью отец вызвал меня к себе и сказал: «Сынок, есть у меня к тебе просьба... последняя просьба. Есть и наказ отцовский... тоже последний, сынок. Будущее твое в учебе и счастье твое в знании. Учись! Никогда не бросай учебу! Стань гражданином, как твой учитель... Это мой наказ тебе и мое последнее благословение. Что ж делать, если всевышний не дал мне увидеть тебя ученым человеком? А теперь иди!» До сих пор я думаю, что же хотел сказать мне мой почти неграмотный отец, когда наказывал мне стать гражданином. Перед смертью не лгут. Видно, он хорошо понимал, о чем просил. Конечно, понимал... Беда одна не приходит, волей-неволей пришлось снова отворять ей ворота. Немного спустя смерть вернулась, чтобы забрать маму. Дядя просто обезумел от горя. Раньше он мне казался несокрушимым, как скала, невозмутимым, как древний идол. Он всегда был веселым, ровным в обращении, здоровым и не придавал значения всяким бытовым неприятностям, был выше

этого. Я никогда не думал, что нагаши, такой сильный человек, может так переживать. Когда матери стало совсем плохо, дядя ходил мрачнее тучи и приходил в ужас при одной только мысли, что за один год могут рухнуть стены нашего дома и погаснет огонь в очаге. Я смотрел на него со страхом. Смотрел и не узнавал. Глаза его потухли и ввалились, губы посерели. Разве можно было узнать в этом человеке прежнего весельчака, славного мергена и богатыря? Дни и ночи напролет он дежурил у постели больной мамы, стараясь предугадать каждое ее желание. Он подавал ей воду, умывал ее, менял белье. А меня гнал прочь, и горло его перехватывала судорога от страха, что я мог заразиться. Кто-то сказал ему, что можно вылечить мать медвежьей печенью. Нагаши тут же оседлал коня, прихватил Актоса и уехал в Алмалы. Три дня провел он в горах, но так и не встретил медведя. До самого Сандыктаса доехал, но даже следов не нашел. Повстречался в горах с русскими приятелями своими, но и они ничем не смогли ему помочь. Никто не достал ему чудодейственного лекарства. Высохшим и почерневшим от неудачи вернулся он в аул. Плохая примета, если во всех горных лесах и ущельях не нашлось ни одного медведя. И дядя не мог поднять глаз от земли. Собственное бессилие приводило его в отчаяние. Перед лицом неминуемой смерти он был беспомощен, и это бесило его. Поэтому не раз дядя в гневе садился на коня и гнал в степь Актоса. Пес вдруг стал выть по ночам, пугая нас. «Беду кличет, мать его...»— дядя страшно ругался и хватался за ружье. С трудом удавалось успокоить его. Да и как рука поднимется убить такую собаку, как Актос? Говорили, что борзые не воют, и то, что завыл благородный Актос, до крайности удивило аул. А пес, видно, знал, что мамин конец близок. Он по-своему любил ее, ведь мама ласкала и кормила его. А может, он даже знал, что она не чужая хозяину. Актос будто не хотел ее смерти и тосковал по-волчьи. Он прощался и плакал, пугая и терзая всех, кто его слышал. Однажды мама снова потеряла сознание и начала бредить в тифозном жару. Нагаши сидел у ее изголовья и тяжело и громко вздыхал. В доме было полно аульных старух. И в это время Актос как-то особенно жутко завыл. Старухи испуганно заговорили:

— Дурной знак. Худо. Быть беде.

— Да будет он жертвой!— взревел дядя, сорвал со стены ружье и кинулся вон из дома. Следом грохнул выстрел. Мне показалось, что лопнуло небо. Нервы человека все-таки не выдержали. Он сорвался, не мог не сорваться, потому что казалось, будто пес оплакивает живого человека, очень и очень нам близкого. Потом в ауле все жалели Актоса. Никто не думал, что дядя Нияз может быть таким жестоким.

Мама говорила, что из трех братьев и пяти сестер остались только они двое. Наверное, он боялся остаться один на этой земле и по-настоящему осиротеть. Поэтому в его воспаленном мозгу и мелькнула мысль о жертве. Очень дорогое нужно было отдать

богам, чтобы смерть отступилась. И он отдал своего верного друга... Его не осуждали. Что ему пес, когда и себя он готов был в жертву принести, только бы жила сестра его. Не смог удержаться. Такое случается и с самыми сильными мужчинами. Ему тоже жалко было пса и очень больно. Но понял ли его кто-нибудь до конца?.. Вскоре мама умерла. И тогда мы с дядей посмотрели друг другу в глаза и ужаснулись... За слишком короткое время я осиротел. Отметив сорок дней, нагаши увез меня к себе. Все вещи и немного скота, что сумел собрать покойный отец, дядя раздал аулчанам, сказав при этом, что доля мертвых должна служить живым, а бог не оставит без милости души ушедших. Ему казалось, что если я останусь в нашем доме, то проклятая болезнь не пощадит и меня. Поэтому, может, он так торопился меня увезти. На склоне Канжигалы мы похоронили маму. Там же оставили и Актоса... Абзал заметил, что Торгын тихо плачет.

— Я все слезы давно уже выплакал,— сказал он.— Почему же ты плачешь?

— Я ведь... их тоже знала. Я... я тоже любила их.

В это время они подошли к дому. Абзал попрощался и хотел было уйти, но Торгын не отпустила его. Она все никак не могла успокоиться, и сердце ее разрывалось от жалости и нежности. Абзал был еще мальчиком, а уже столько пережил горя. Она не знала, как ему помочь, как утешить хоть немного. Невольно взяла его за руку и задержала.

— Твоих родителей и дядю хорошо знал и мой папа. Он их очень уважал. Зайдем к нам, Абзал, прошу тебя. Я говорила своим, что ты здесь.

— Нет, спасибо. В другой раз. Я еще не все уроки выучил,— ответил он.— Наверное, воспитатель уже ищет меня.

Видно, слишком резко прозвучал для Торгын отказ, потому что она отпустила его руку и грустно сказала:

— Как хочешь... Я просто хотела как лучше.

Было темно, но Абзал видел, как блестели ее глаза. У Торгын был какой-то особенный взгляд, полный нежной растерянности и жалости. Его-то он и представил себе, потому что в такие минуты глаза девушки были особенно милыми. Он только что держал в руках ее теплые пальцы, трепещущие, как серебряные струны. Эти пальцы словно хотели что-то сказать ему: сокровенное, глубокое, нужное. Но он растерялся... Нужны ли слова, когда просыпаются чувства, новые и пугающие, желанные и незнакомые? Абзал снова взял Торгын за руку. Она молча подчинилась. Так и стояли, перебирая друг другу пальцы, еще не умея читать их язык...

Кажется, после той встречи появилось что-то новое и в характере Торгын. Это заметили товарищи и, если кому-нибудь нужна была девушка, ее искали рядом с Абзалом. А самой ей казалось, что она просто должна быть вместе с другом, пока он не излечится от одиночества.

III

Учащиеся школы часто давали в районном центре концерты. Активное ядро художественной самодеятельности составляли десятиклассники. Бессменным ведущим этих концертов был Абзал.

Однажды во время репетиции к нему подошла Торгын:

— Абзал, ты не согласишься сам аккомпанировать мне? Я хочу исполнить «Корлан»[1]. В последнее время она не идет у меня из сердца, как-то сильно волнует. Я недавно слышала, как ты играл ее на мандолине.

— Но я ее еще не очень хорошо играю,— растерялся Абзал.

— Мы успеем подготовиться, вот увидишь,— успокоила его Торгын.

— А если попробовать на аккордеоне?— спросил он.

— Нет-нет, аккордеон слишком пышен и сух,— запротестовала девушка.— Мне кажется, что мандолина к этой песне больше подходит. Нужно начинать «Корлан» с тихого тремоло и поднимать мелодию все выше и выше. У нас должно получиться, Абзал. Эта песня, по-моему, чем-то похожа на итальянскую. Такая нежная и страстная мелодия. И потом, ты ее с таким чувством играешь...

— С чувством?— переспросил пораженный Абзал. Ее слова заставили его задуматься. Почему-то стало очень грустно. Торгын поняла, что невольно прикоснулась к его тайной ране.

— Прости меня,— тихо попросила она.

— Нет, ты все верно сказала,— покачал он головой.— Значит, сумела меня услышать и понять... Музыка... Ничто лучше музыки не может передать душевное состояние человека, его боль. Она будто рисует душу твою.

— А ты не хочешь увидеть картину моего сердца?— спросила девушка шутя, радуясь тому, как удачно вывернулась из неловкого положения. Она была мастерицей на такие неожиданные смелые и дерзкие вопросы и вообще привыкла говорить ясно и прямо.

Абзал знал, что Торгын сказала больше, чем хотела. Он всегда жалел, что ему не хватало умения разговаривать так, как она. У него все получалось как-то неловко и грубо. Хотелось сказать прямо и честно, а выходило зло и обидно. Словом, стрелы его часто летели мимо цели. Теперь, во что бы то ни стало, ему надо было выучить песню «Корлан», а главное, научиться хорошо аккомпанировать.

После школьных занятий Абзал хватался за мандолину и бесконечно выводил одну и ту же мелодию: пообедает — и снова надрывает душу товарищам, приготовит наскоро уроки — и опять в руках его мандолина. Собственная игра его никак не удовлетворяла: то у него медиатор трещит, то струны дребезжат, то пальцы неуклюжие немеют...

---

[1] Песня казахского народного композитора Естая.

Взбалмошный Абитай как-то не выдержал:

— Ты, друг, случаем не влюбился? Что-то слишком минорный у тебя вид в последнее время.— Он засмеялся.— Смотри не женись! Школу надо сначала закончить.

— Не бойся, голубь мой, как бы самого не заарканили до срока. А я, пока институт не закончу, ни за какие баурсаки не женюсь.

— Эх, если бы не больная нога, и бы такую девушку, как Торгын, давно бы украл! Такая девка раз в сто лет рождается. На радость и горе джигитам. Всем хороша. Да над тем, кто женится на ней, солнце и дни и ночи сиять будет. Вот как дело-то обстоит, парень! — вздохнул Абитай.

«Да как он смеет! Да что это он несет?!» — возмутился в мыслях Абзал. Ему вдруг стало горько и тошно. Никогда раньше ему не приходило в голову, что он может потерять Торгын, и вообще, какие он имел на нее права?.. Абзал впервые узнал, что такое ревность.

Злыми глазами зыркнул в сторону Абитая, ковыляющего в столовую. Абзалу ненавистна была в тот миг даже его припадающая походка.

Сказал — забыл, поссорился — простил. Легкий был человек Абитай. Что в голову придет, то и говорит, даже отвечать за свои слова не умел. За язык свой и страдал не раз: били его ребята, колотили девчонки, но все напрасно. Да и не обижался он долго, уж такой человек.

Но разве не прав был Абитай? Каждому хотелось сорвать самый прелестный цветок. И на красивую девушку все заглядывались. Не получится ли так, что пока Абзал тренькает на мандолине, кто-то увезет Торгын в темную ночь, бросив ее поперек седла? В этих краях с девушками особенно не церемонились: едва окончит десятый класс, как ждут их чуть ли не у дверей школы свахи. Нет, такого не случится. Торгын как-то сказала ему, что собирается поехать в Алма-Ату, в институт поступать. Она в семье единственная дочь, и отец, конечно, ничего для нее не пожалеет. И в Алма-Ату, наверное, отпустит. Но и дядя Абзала, его славный нагаши, ничего для племянника не пожалеет. Разве не он, выполняя волю покойных и свое желание, привез в этот интернат Абзала, с трудом устроил и все твердил: «Учись! Учись! Учись! Ты должен хорошо учиться, как обещал родителям! Мы устроим большой той, когда ты закончишь школу. Надеюсь, души покойных услышат нас и будут довольны». Так говорил нагаши, единственная опора Абзала, человек, которому он был обязан всем.

Слова Абитая задели Абзала за живое. Что он будет делать после школы? Женится? Об этом и речи быть не может — прежде всего институт, но кого-то надо иметь в виду на будущее, привязать к себе ниточкой крепкой. Во всем районе не было девушки, равной Торгын. Да и росли они вместе с малых лет. Вроде, нет преград и никто поперек дороги не стоит, прав у него больше всего. Впрочем, о каких правах он вдруг размечтался? Торгын никаких

прав на себя не признает. Сердце девичье ни с чем не посчитается, когда придет срок, ни на какие воображаемые права не посмотрит. Придется ей кто по душе — уйдет хоть на край света и не оглянется ни разу. В прошлом году три девчонки после школы замуж выскочили. Едва дождались последнего звонка. Одна уж и родить успела. А вдруг кто-нибудь уже ждет Торгын с оседланным конем?.. От такого предположения сердце Абзала замирало.

Но нет, Торгын не из тех девушек, которые спешат выйти замуж. У него с ней одна мечта, одни планы на будущее. Да и учится она неплохо, лучше многих. Замуж торопятся те, кто рыбой молчит на уроках и тусклыми глазами смотрит учителям в рот, ничего не понимая. Этим один путь — замуж. И возраст у многих вполне подходящий. Некоторым по двадцать скоро стукнет. Они поздно в школу пошли и теперь ждут не дождутся, когда кончится надоевшая учеба. Неужели Абитай поставил Торгын в один ряд с этими тупицами? А что означают его слова о том, что он умыкнул бы Торгын? Так она и согласилась за него пойти! А впрочем, кто знает, как все может обернуться. Абзал занервничал. Говорят, хромые среди людей самые хитрые. Без мыла в душу залезут, скользким салом в глотку проскользнут. Был же такой в истории железный хромой Тимур, который не одну девушку похитил, а почти полмира. И разве таких мало было? Абзал тут ходит с разинутым ртом, ничего не замечая, а вдруг Абитай уже действует и все его поведение просто маскировка? Как бы он и в самом деле не подставил подножку! С языка его мед каплет, умеет говорить. Может так задурить голову, что и про хромоту его забудешь. А если и Торгын забудет?..

Абзал рассердился на себя. Зачем это он так унижает человека за его недостаток? Разве Абитай в том виноват? Или кто-то издал закон, запрещающий хромым жениться и детей иметь? Или сам парень выпросил у создателя хромоту? Шумный он, несобранный, простодушный, а вообще, парень хоть куда, верный и честный. Прямой, может в глаза сказать все, что думает, не взирая на лица. Разве не он на одном из школьных собраний так раскритиковал самого директора, что тот места себе найти не мог от стыда? Не для себя же старался тогда Абитай, а для всех них, для школы, для интерната. На него потом многие косились.

Смелости парню не занимать. Отчаянный он какой-то, а таких девушки любят. Он все в глаза выскажет и тут же поможет, не то что многие, которые всегда готовы отложить неприятный разговор на завтра. Вот в чем его преимущество.

И все-таки заприметил Торгын. Может, она очень сильно ему нравится. Одно хорошо, что этот битый пес на многое открыл Абзалу глаза. Почему бы ему самому не открыть сердце девушке? Или он ждет, что она сама первой признается?

Пальцы бегали по грифу мандолины, а мысли увели Абзала далеко. Допустим, Торгын согласится выйти за него, а как посмотрят на этот союз ее родители? Не скажут ли они, что не для нищего

сироты растили красавицу-дочь и что она найдет себе более достойного избранника, у которого дом — полная чаша, да и родители, слава аллаху, живы... А что если украсть Торгын? Убегут вместе, и все. Но где взять коня для такого важного дела? Абитай хорошо знаком с райисполкомовским конюхом. В райисполкоме есть пара добрых гнедых, не изнуренных работой. Зимой ясли у них полны зерна, летом кони пасутся на вольных травах... Абзал представил, как он чуть не на коленях умоляет Абитая упросить конюха дать им лошадей. Конюх долго не соглашается, испуганно воздевая к небу худые руки. Но Абзал дал ему денег и с большим трудом выпросил-таки гнедых... И вот, едут они по белой дороге лунной ночью вместе с Торгын, и такая стоит кругом настороженная тишина, что больно и сладко замирает сердце. Тихо покачиваются в седлах два всадника. Им бы только благополучно добраться до аула нагаши, а там все образуется, все встанет на свои места. А пока Абзал смотрит на взволнованную и испуганную Торгын, и нежность щиплет его сердце. Он готов сейчас защищать ее от всех сил, земных и небесных, если они ополчатся против них. Как она мила и беззащитна! Стремя в стремя идут кони. Но надо спешить, спешить. И вот летят они по белой лунной дороге. Торгын не только взволнована, но и опечалена тем, что приходится тайком покидать родной дом, любящих родителей, свое светлое детство и мчаться навстречу неизвестности с чужим джигитом, и, кто знает, сумеет ли он стать ей родным, заменить мать и отца. Ах, как жестоко ошибся всевышний, создав ее женщиной! Он утешает девушку, у которой невольно брызнули слезы из глаз. Он говорит ей, что родители простят все, когда увидят, как любят они друг друга, как дружно живут. Никуда родители не денутся...

А потом нагаши устроит громкий той на всю степь. Гости будут довольны и выскажут добрые пожелания молодым от всего сердца. Они обрадуются тому, что не погас огонь в очаге Мырзакула. На свадебной байге первым придет вороной жеребец Абзала. Он не смог жить без хозяина, покинутый, оставленный в Канжигалы, и убежал оттуда, примчался на той. Он вырос и стал настоящим боевым скакуном, рослым и сильным тулпаром... После тоя Торгын и Абзал направятся наконец в свою юрту, поставленную для молодых в стороне, в белую праздничную юрту. И сердце Абзала застучит, рванется из груди. Станет парню холодно и счастливо, станет ему жарко и весело. О-о-о...

— Эй, Абзал! Ты про свою мандолину забыл! Играй давай!

Он вздрогнул от веселого голоса Торгын, и пугливая мечта разлетелась вдребезги. Абзал и не заметил, как подошла к нему девушка. Он понял, что давно уже спит с открытыми глазами, обнимая мандолину словно любимую. Растерявшись и смутившись вконец, он резко ударил по струнам. Торгын засмеялась. Ее позабавила растерянность парня, она погрозила ему шутливо пальцем и сказала:

— Ой-ой, джигит! Далеко ли изволили побывать? Захожу, а ты

сидишь один в комнате, прижал к себе пузатую мандолину и грезишь с открытыми глазами. О девушке мечтал, а, Абзал? Видно, и вправду сладкие сны видел, такое у тебя до сих пор сахарное лицо, хоть в чай клади!— и она расхохоталась.

Абзал хотел было все ей выложить и обо всем рассказать как на духу, а там хоть трава не расти, но насмешка девушки удержала его от неуместной откровенности. И еще он боялся обидеть ее, ведь часто его прямота воспринималась людьми как нечуткость, как грубость. Нет, лучше уж потерпеть, подождать... Вот крутую кашу заварил чертов Абитай, который вечно сует свой нос туда, куда его не просят. Да и как признаться во всем Торгын, ведь для этого другое место нужно найти и слова красивые, необычные, которые он не сможет выговорить. Уж Абзал-то знает из книг, как происходят настоящие объяснения. Луна необходима, река, песня, а может, гроза какая. Словом, класс, хоть и пустой, не место для признаний, да и интернатская роба не фрак и не плащ рыцаря. Торгын может обидеться и уйти. Лучше не трогать спящее лихо, пока оно тихо. Надо подождать... до выпускного. А сейчас лучше всего спеть вместе с ней «Корлан». Еще выдастся удобный случай...

— Поешь казы[1],— вдруг предложила Торгын и протянула ему сверток.— Соскучился, наверное, по домашней еде. Интернатское варево небось надоело?

Абзал развернул промасленный тетрадный листок, взял ломтик жирного казы и с наслаждением отправил в рот. Другой кусок он протянул Торгын, но девушка отказалась.

— Нет-нет, ешь сам. Я же из дома только. Сыта.

Абзал и в самом деле стосковался по домашней пище и с удовольствием съел угощение. Ему даже показалось, что он никогда в жизни не ел такого удивительно вкусного казы.

— Большое спасибо, кормилица!— улыбнулся он.

— Маме моей спасибо скажешь, я здесь ни при чем,— тряхнула головой Торгын.— Она готовила.

— Я из твоих рук принял,— развеселился Абзал,— и оно стало еще вкусней.

Торгын молча посмотрела на него со странной улыбкой. «А улыбка твоя — лучший десерт»,— хотел сказать Абзал, но не решился.

— Завтра уже концерт. Порепетируем в последний раз?

* * *

Концерт удался на славу, незабываемое представление. Каждый номер был лучше предыдущего, и зрители отбили все ладони, аплодируя юным артистам. Каждого выступающего подолгу

---

[1] Казы — конская колбаса.

не отпускали со сцены, пока он трижды не повторял своего номера. Но особенно горячо люди приняли «Корлан».

Ведущий программы Абзал чуть задержался с выходом, и зал встретил его нетерпеливым грохотом аплодисментов, словно спрашивая: «Чего же ты, парень, ждать заставляешь?» «Хороший прием,— отметил про себя Абзал.— Надо, оказывается, хоть изредка заставлять зрителей ждать». Он уже чувствовал себя довольно опытным ведущим.

— Сейчас перед вами выступит солистка нашего самодеятельного коллектива, ученица десятого класса Торгын Толыбаева. Она исполнит для вас песню Естая «Корлан».

Зал так хлопал, будто все с ума посходили. В длинном и пышном платье из струящегося белого шелка, в бархатном, плотно облегающем ее тонкую фигуру камзоле вышла на сцену Торгын. Она была похожа на ту Торгын, которую Абзал вез вчера в мечтах в далекий аул нагаши Нияза. Наверное, в старых батырских кисса[1] именно таких сказочных красавиц воспевали акыны, сравнивая их красоту с молодой луной. Она с улыбкой посмотрела на Абзала, и он спохватился:

— Аккомпаниатор...— Он сделал паузу, чтобы еще больше заинтересовать зрителей.— Это я!

Тут все засмеялись и захлопали в ладоши. А Абзал пошел за кулисы и вынес оттуда стул и мандолину. Он устроился поудобнее и посмотрел на Торгын. Она была взволнована и счастлива. Казалось, песня с ее большими и прекрасными чувствами переполняет девушку. Она кивнула Абзалу, разрешая начать. И нетерпеливое ожидание Торгын, ее вдохновенная тревога вдруг передались джигиту, и он сам удивился, как красиво повел мелодию. «Тин-тари-ран, тин-тари-ран!»— выпевала мандолина. И серебряный голос поющей словно летел по звонким колокольчикам. Все было так согласованно и так прекрасно, что зал превратился в одного, замершего от счастья слушателя...

А в Маралды есть девушка по имени Корлан.
Любви прекрасной чудный дар природою ей дан.
Луна и солнце перед ней бледнеют от тоски.
Что делать мне, мечта моя, прости меня, прости.
Две козочки, два близнеца,
Кусни с сестрой Корлан,
Вы радость своего отца,
Моя мечта — арман...

На репетициях Торгын несколько раз делала ему замечание, что он слишком быстро проигрывает одну фразу, в то время как играть это место нужно медленно и с особым чувством. «Любви прекрасной чудный дар природою ей дан». На концерте он, ка-

---

[1] Кисса — одна из стихотворных эпических форм казахского фольклора.

жется, провел это место как надо. Еще она была не очень довольна, что Абзал слишком резко бьет по струнам и звуки у него получаются отрывистыми там, где нужны мягкость и нежность, ведь в песне говорится о «двух козочках, двух близнецах», и Торгын справедливо требовала, чтобы он тремолировал это место припева, а если возможно, то и весь припев. Но искусство не терпит указов и приказов, оно подчиняется своим сложным законам. Получилось же сегодня! Потому что он весь был настроен на эту музыку и очень остро почувствовал все ее нюансы, вот и пришло вдохновение — иначе такое состояние окрыленности и назвать нельзя. Эта песня подарила им крылья. Они летели над голубой и зеленой землей, такой теплой и ласковой, что хотелось подарить ее всю детям и влюбленным. Они не видели зрителей, а те забыли о них. Люди не просто слушали, а жили песней. О таком мечтает каждый певец. Какие чувства, какие мысли пробудила музыка в сердцах слушателей — об этом не знали Торгын и Абзал. Но глубоко сознавали, что эти мысли и чувства были чистыми и прекрасными, высокими и светлыми, потому что и сами они плыли в каком-то сладком забытьи, песня баюкала их, как мамины руки...

Стояла на сцене Торгын с глазами, полными слез. «Тин-тари-ран, тин-та-ри-ран!» — вызванивала мандолина. И уже перестал понимать Абзал, кто это поет: прекрасная Торгын или сказочная Корлан. Торгын или Корлан, Корлан или Торгын. А может, они и есть одно целое? То одно-единственное, которое потрясает мир и чему имя Любовь? «Тин-тара-тин-тара-трины!» — радовалась и печалилась мандолина. Она лишь сегодня заговорила по-настоящему, прежде лишь подчинялась его рукам, не была свободной. До чего прекрасна эта песня! Неужели она в миг преобразила, как в сказке, Торгын и Абзала! Неужели она сумела? Или волшебница она? Но кто? Песня или певица? Слова или мелодия? Или юность во всем виновата? А ведь Торгын заранее знала, что так будет, верила в это. Он же ни о чем не подозревал. Песня как песня, красивая, звучная. Но не так оказалось на самом-то деле, все не так, все сложнее. Песней о многом хотела сказать Торгын, о многом...

«Замрешь, услышав, про себя забудешь, когда войдет в тебя, как солнце, песня». Из этих слов великого Абая, Абзал понимал лишь «замрешь, услышав», а «про себя забудешь» почувствовал только сейчас. Песня жила в каждой алой капельке крови, в каждом вздохе, растекалась по жилам светлым очищающим огнем, трепетала в каждой клеточке нерва. Песня оказалась волшебной тайной, на миг приоткрывшей парчовую свою завесу над сокровенным. Или тайной была девушка? Кто знает... Не руками играл он сейчас, а сердцем, и понимала это мандолина и пела свободно и раскованно. Может, ток горячей крови из человеческих жил передавался чудесным образом в железные жилы инструмента? Кто может об этом знать? Еще не остыв, не веря себе, посмотрел

он на Торгын и понял, что она сейчас испытывает то же, что и он. Такие минуты и в жизни и в искусстве бывают редко...

Зал бушевал. Это были уже не аплодисменты, а что-то невообразимое. Абзал с Торгын, взявшись за руки, убежали за кулисы, но люди не хотели их отпускать, вызывали снова и снова, скандировали.

Абзал почувствовал, как дрожали пальцы девушки. А как билось его сердце! Он даже не запомнил, сколько раз выходил после этого на сцену, сколько раз раскланивался.

Еще осталось в памяти, как после концерта на сцену поднялся первый секретарь райкома партии. Он от всей души тепло поблагодарил ребят за доставленное удовольствие, поздравил их с успехом и как-то очень по-человечески пожелал им всем счастья в будущем. Лучшей награды нельзя было и пожелать.

— Как твоя фамилия, сынок?— спросил он у Абзала.

— Мырзакулов,— чуть слышно ответил Абзал.

— Ты со всеми артистами нас познакомил, а про себя почему-то забыл,— улыбнулся секретарь.— Ну молодец, джигит! Спасибо, ребята, спасибо!

А когда возвращались домой, Торгын сказала:

— Ты, оказывается, талантливый человек, Абзал. Я думала, что у тебя только к учебе способности, но оказалось, что и искусство тебе близко.— Она засмеялась и сплюнула через левое плечо:— Тьфу, тьфу, тьфу! Как отлично ты вел концерт! Изменился на глазах — стал каким-то открытым, добрым, подтянутым. Даже я с трудом тебя узнала. Может, ты и в самом деле такой? Не знаю... не знаю... А хочу знать! Понимаешь, хочу!

— Тоже мне талант,— буркнул себе под нос смущенный Абзал,— есть он или нет его, одному аллаху известно.— Он тяжело вздохнул.

— Ты почему вздыхаешь?— спросила Торгын.

— Вздыхаю, брат, вздыхаю,— невпопад ответил Абзал.— Я о тех незабываемых минутах жалею и хочу снова испытать такой же душевный подъем и боюсь, что они больше никогда не повторятся. Вот и вздыхаю.

— О чем ты говоришь, объясни как следует, а не жуй слова, как корова жвачку,— почему-то рассердилась Торгын.— В классе тебя гением считают, Аристотелем называют, а ты двух слов связать не можешь. Объяснись наконец!

— Нет, Торгын, об этом лучше молчать. Есть мгновения, когда самый острый язык бессилен передать твое состояние, и он спотыкается, как быстрый конь,— покачал головой Абзал.— Об этом лучше руки скажут. Возьми их в свои ладони и посмотри человеку в глаза.

Торгын усмехнулась и взяла в свои руки его пальцы.

— Ни о чем они не говорят,— сказала она наконец.— Пальцы как пальцы. Глаза как глаза. Только зачем ты так быстро пальцами шевелишь и глаза вытаращил?

Но Абзал был бледен и серьезен. Торгын смешалась и замолчала.

Луна сегодня была ясной, будто молоком ее облили. Ночь светлая и мягкая, настоянная на крепких запахах ушедшей весны и недавно наступившего лета. В воздух, казалось, подмешали полыни и мяты, цветов и листьев так густо, что щипало горло. Да разве только горло?

— Торгын, спой, пожалуйста, «Корлан» еще раз!

— Как, прямо здесь, в парке?— удивилась девушка и смущенно рассмеялась. Ее тихий глубокий смех взволновал парня, а тут еще она чуть заметно пожала ему руку.— А если не получится как там? Может, у меня тоже лишь один раз была такая минута?

— Только для меня... Ты что-то сказала, Корлан?

— Меня зовут не Корлан, а Торгын. Или ты забыл мое имя?

— Да, я сегодня все путаю. Только бы ты поняла мое состояние...

— Видно, самой придется разобраться в тебе, потому что сам ты ничего объяснить не можешь.

«Вечно я невпопад говорю!»— огорчился Абзал, но он знал, что сейчас он ничего не сможет ей объяснить. Ему было бы гораздо легче снова провести такой же концерт, чем объяснить свое состояние...

* * *

Памятным событием стал в жизни Абзала выпускной бал. После концерта они с Торгын почувствовали друг к другу какое-то взаимное притяжение, близость, похожую на родство. В школе они были неразлучны и после школы тоже вместе. Правда, к государственным экзаменам готовились упорно. С восьмого класса Абзал был отличником и очень старался поддержать свое звание и закончить школу так, чтобы потом о нем долго еще вспоминали добром. Учеба давалась ему легко. Голова хорошо работала. На нее жаловаться было грех: умела копить знания и в нужный момент извлекать их на свет божий, подобно Большой Советской Энциклопедии. Что касается математики, то, казалось, что под корнем каждого волоса густой его шевелюры прячется по корню квадратному.

Торгын слушала раскрыв рот, когда он отвечал урок. Как он сумел все это выучить? Не зря, видно, друзья называли его гением. Эх, если бы она раньше начала заниматься с Абзалом, то и сама успела бы значительно больше, ушла бы гораздо дальше вперед... Надо было готовиться совместно с самого первого сентября. Но и этот месяц дал ей многое...

Абзал всерьез предложил ей вместе ехать поступать. Конечно, такой человек должен учиться дальше. Если бы у Торгын была такая голова, она бы ни о чем, кроме учебы, и не думала.

Но сможет ли она в институте учиться? Мама, услышав о ее желании, стала ворчать: «Нечего девушкам в такую даль ехать...» Но папа оборвал ее довольно резко: «Сама ничему не училась и детям мешать вздумала. Не стой на их пути! Время им принадлежит, пусть учатся. Если бы мне предложили дальше учиться, я бы не задумываясь уехал, но что поделаешь, если годы прошли». Мать вначале замолчала, но потом опять начала:

— Тебе-то о чем жалеть? Как ты сам говорил о себе... помнишь, хвастал, что ты нарком финансов целого района. Пусть хоть как ты будет дочь наша.

— Эх, женщина!— вздохнул папа.— Не поняла ты, что в горькую насмешку я это говорил. С кочки смотришь, а думаешь, что на горе сидишь. Что ты с кочки своей увидишь? Для того, чтобы дальше видеть мир, надо высоко подняться. Скоро придут молодые и ученые люди и дадут под зад твоему «наркому», как ты тогда запоешь, «наркомша»? То-то и оно. И я рад буду уступить им, потому что ради них все это делается, ради детей, квочка! А дочь будет учиться! Будет!

Вот и отец хочет, чтобы она училась, и Абзал зовет ее с собой. Пробовала Торгын поговорить об этом с подругами, но они отмахнулись: «Чего уж нам! До старости учиться, что ли? Итак боимся без мужей остаться». А одна так вообще открыто заявила:

— Мне бы только школу закончить, а жених уже ждет с нетерпением, да не какой-нибудь, а бухгалтер. В колхозе немалая величина.

Многие девчата так думают. Видно, дома им не устают внушать подобное. Торгын задумалась. Ее пугали рассуждения подруг, ее пугал и далекий город, неверие в свои силы и способности и страх остаться старой девой, что в ауле считалось большим позором. А если не поехать в институт, то сильно отстанет от Абзала, останется позади, а он зашагает широкой дорогой и не оглянется ни разу на аульную замарашку. Думать об этом было невыносимо. Но еще ужасней то, что они перестанут понимать друг друга. Мир ее домом замкнется, а его домом станет мир. И найдет он другую, умную, образованную, городскую... накрашенную. Нет, не отдаст она его никакой накрашенной! Он не будет счастлив с ней! Нет, что бы там ни случилось, она должна быть с ним. И если она будет рядом, то сумеет его удержать! Никуда он от нее не денется!

У Абзала, кажется, все мысли замкнулись на учебе. Объясняет Торгын какие-то сложные вопросы. Ему и дела нет до ее сомнений и тревог. Какой нечуткий! Но разве он должен чувствовать эти девичьи страхи? Слишком мелки они для него... Торгын становилось смешно и она хохотала от души. А сама завидовала Абзалу, верному своему пути без ложных сомнений. Он простодушен и открыт. Абзал будет верным жене и науке. То есть науке и жене. Он и не знает, что Торгын им сейчас любуется и

даже завидует. Если сказать ему об этом, он бы очень удивился и не понял, чему она завидует. А может, он просто ее и не видит, потому что весь устремлен помыслами к завтрашней «пятерке» на экзамене. Школьное руководство тоже странное какое-то. Неужели таким сильным ученикам нельзя было дать аттестата без всяких экзаменов?

Иногда ее пугает все возрастающая близость между ними. Когда его нет рядом, ей чего-то не хватает. Вот учеба в школе почти и закончена. Как сложится дальше их жизнь? Абзал все молчит и ни о чем не говорит, кроме учебы. Однажды, правда, что-то попытался сказать, но не сумел, да так и оставил все как было. А сейчас он, пожалуй, не только на девушку, но и на ангела бы не посмотрел, очутись тот рядом. От пери бы он отвернулся, не то что от Торгын. Только об экзамене и думает. Раза два удалось ей на короткое время отвлечь его каким-то интересным, веселым рассказом, но глаза его тут же становились отсутствующими, и он снова принимался за учебники. Все же он искренне желает, чтобы она поехала с ним в Алма-Ату. Не безразлична ему судьба Торгын, это ясно. А вот сама она... Может, он решил сказать ей о своих чувствах там, в Алма-Ате? С него станется. Признаться в любви в стенах школы для Абзала, видно, большой проступок, даже преступление. Значит, надо ждать. А сказать о любви, когда еще не получены аттестаты, это недисциплинированность. Так, верно, думает Абзал и ему, конечно, кажется, что весь мир должен думать точно так же.

Торгын снова засмеялась. Абзал удивленно оглянулся. Даже его простодушным изумлением можно было любоваться без конца.

— Ну, хватит, наверное,— отдохнем! Я устала!

— Но ведь читаю я, а ты только слушаешь,— еще больше удивился Абзал.

— Кто первым придет, еще видно будет, читающий или вышивающий. Экзамен завтра покажет,— сказала Торгын.

Он улыбнулся. Она любила пошутить, и это ей было к лицу.

* * *

Вот и экзамены наконец позади. Двое из выпускников стали отличниками, другие тоже сдали экзамены вполне успешно. Отличники — Абзал и Абитай. Из семи девушек лучше всех отвечала Торгын. Получили на руки огромные листы свидетельств.

Со всего района съехались родители на долгожданный той. Взрослые собрались в отдельной комнате после торжественной части собрания. Там их ждал накрытый стол с богатым угощением. Где-то умудрился перехватить стаканчик и Абитай. Говорил он громче обычного, в голосе появилась излишняя веселость и бесшабашность.

Абзал очень глубоко переживал то, что его нагаши не смог

приехать на выпускной вечер. Это остро напомнило ему о том, что он сирота. Торгын поняла его состояние, хотя он и старался быть веселым, и не отходила от него ни на шаг, пытаясь отвлечь от мрачных мыслей. Взглядом своих горячих глаз она словно хотела растопить тот ледок, который застыл острым комочком в его груди. Она очень надеялась, что рядом с ней он забудет про свое одиночество.

Абзал тоже сознавал, что без Торгын ему бы стало во сто крат хуже. Она была его опорой. Она заполнила все черные пустоты, которые, бывало, безднами открывались перед ним.

— Старших сейчас от застолья не оторвать. Луна какая светлая! Какая светлая и ясная! Давай немного погуляем, Абзал,— предложила Торгын.

Обрадованный Абзал даже обнял ее:

— Ну, Торгын, ты даешь! Я же сам хотел тебе это предложить. Да если ты позовешь, я готов за тобой и в собственную могилу.

— Тише, джигит, не так прытко. Мы еще увидим, как далеко ты пойдешь на мой зов.

...Эту ночь он не забудет до самой смерти. Молодых людей охватило сладостное ощущение свободы, они почувствовали себя взрослыми, сумевшими достойно завершить большое и ответственное дело, и теперь чувствовали в себе такие великие силы, что горы могли своротить и реки повернуть вспять. Весь мир лежал перед ними и ждал их прихода, их рук, их ума. Институт — это учеба взрослых, самостоятельных людей. А в школе кончилось детство. Детство, которое изрядно надоело и с которым все же грустно было расставаться.

Абзал сделал еще один трудный шаг. Это далось ему нелегко. Он обнял за плечи Торгын, и она не отстранила его. Он словно миновал трудный перевал. Ведь до этого только пальцев ее касался, и это так его волновало.

Луна, казалось, тоже была взволнована и спешила, бежала по небу. Изредка ее закрывали косматые шали туч, но луна выглядывала даже из-за них, чтобы увидеть двух юных, счастливых людей. Ветерок, напоенный цветами, примчался с гор, стал ласкать их щеки, теплый и добрый. И они пошли навстречу ему, туда, к горам.

Абзал снял галстук и расстегнул пуговицу у самого ворота. Торгын взяла в руки его галстук и шутливо примерила... Пройдя через парк, они вышли в степь.

— Что делать, если кто-нибудь здесь увидит нас? Ведь завтра по всему селу пойдут разговоры,— шепотом сказала Торгын.

— Ну и пусть! Я вот иду с тобой рядом и об этом готов кричать на весь мир! Я хочу объявить всем людям, что сегодня я иду с самой...

— Тише, тише. Не надо кричать на весь мир, ты мне одной скажи.

— Чего и кого мы должны бояться? Школы боялись, родителей боялись. Должны же мы наконец почувствовать себя взрослыми, равными всем, и никого больше не бояться. Разве не свободны мы?

— Не дай бог, эти слова твои Абитай услышит.

— Да, ему только скажи!

— Вот ведь какой удачливый, черт! Все экзамены на пятерки сдал.

— Везучий, но и способен, упорен, только вот дурной характер мешает,— добавил Абзал.— Все хорошее в нем зачеркивает.

Ему не очень понравилось, что Торгын заговорила вдруг об Абитае, да еще с похвалой. Он и показал ей, что не очень доволен таким поворотом. А внутри у него что-то комком сжалось.

— Мы что, в горы уходим?

— Нет.

— Почему же торопимся, как на пожар? Давай присядем.

Они нашли зеленую лужайку и сели отдохнуть. Торгын сразу скинула с ног туфли на высоком каблуке.

— Измучили, проклятые! Сил нет терпеть: жмут! Ох-ох-ох, как приятно траву ощутить ступней! Вот бы, как в детстве, по такой траве босиком побегать!

— Нет, Торгын! Мы должны сегодня раз и навсегда проститься с детством!— Абзал лег на живот, поджав локти.

Торгын принялась гладить его густые волосы. С нежностью смотрела она на джигита, такого большого и беспомощного, будто ребенок, ждущий ласки. Абзал поднял голову, и его глаза засияли при свете луны. Она будто впервые увидела его лицо, гордый излом высоких бровей, тени длинных ресниц, падающие на щеки, прямой нос с крылатыми нервными ноздрями, крутой подбородок с ямочкой. А как горели его глаза! Луна ли в них отсвечивала, или блики скрытых чувств? Боясь спугнуть робкую ласку, Абзал закрыл веки. Ему стало больно. Ведь точно так гладила его по голове мама, пока он не засыпал крепко. И все-таки эта ласка другая, она как-то по-иному волнует, нежит, по жилам растекается. Он вздрагивал от нежности к ласковым рукам Торгын, к милым ладоням любимой. «Любимой!»— Абзал обрадовался, что нашел наконец такое нужное слово. Он снова закрыл глаза, чтобы послушать свое сердце, которое выстукивало одно слово: «Любимая, любимая, люби меня...»

Торгын нагнулась близко к его лицу и шепотом попросила:

— Не усни.

Дыхание ее было легким и чистым, как у младенца. А он уже почти умирал от нежности и хотел этой счастливой смерти. Абзал тихо привстал и ласково обнял девушку. Голова его кружилась, и он сам не заметил, как прикоснулся губами к ее приоткрытому рту. Она не оттолкнула его, растерянно ойкнула и ответила на его поцелуй. Замерли они, счастливые и чуточку испуганные новым для них большим и радостным чувством, желая продлить эту

сладостную боль до бесконечности. И снова Торгын провела рукой по его волосам доверчиво и смело.

— Шелковинка моя легкая! Звездочка моя теплая!

Джигит словно истово молился, чуть слышно произнося неизвестно откуда вдруг взявшиеся слова, но девушка слышала и понимала его. Он будто снова почувствовал жажду и потянулся губами к ее потемневшему рту, и она сама подставила для поцелуя свои затрепетавшие губы. Но тут же отпрянула и снова приникла, опять оттолкнула. Абзал голову потерял, расслабленно закрыл глаза, а когда открыл их, то увидел, что Торгын сидит и смотрит на него. Он зарылся лицом в ее дрогнувшие колени и затих. Он обнял ее и боялся отпустить, потому что казалось ему, что она исчезнет навсегда. Они ласкали друг друга, как голуби, ворковали и целовались робко и волнующе.

Наверное, долго бы еще сидели они так, но вдали заголосил петух. Он прокричал, напомнив о том, что сказочные духи должны покинуть мир людей... Сказка не кончилась, нет. Но неужели так быстро настало утро? И когда они посмотрели пристально друг на друга, в глазах их замер один вопрос. Луна истаяла и ушла высоко. На востоке замерцала голубая звездочка Шолпан, утренняя звезда, звезда любви Венера. Спешило солнце, щедро заливая землю все более светлыми красками. Закричали петухи во всей округе, приветствуя новый день. Влюбленных не радовал рассвет, и петушиные песни чем-то обидели их. Разве не могли они немного задержать сегодня солнце, дать ему поспать и не будить его своими звонкими песнями? Спешит рассвет, спешит...

Вот и первые люди вышли из сонных домов. Замычали коровы. Закурились над крышами дымки. Гуси загоготали. Не над ними ли? Все хотят прогнать их отсюда, и негде больше найти им уединение.

Они расстались у ворот парка. Им было трудно разлучаться теперь, когда они поняли друг друга. Абзал долго смотрел вслед уходящей Торгын. Он не верил, что эта красивая девушка любит его, что сердце ее принадлежит только ему. Вот косы ее, длинные и тяжелые, оттянули назад гордую красивую голову. Стройные легкие ноги ступают неслышно и мягко. Боже, какая она вся светлая! Даже светоносная! Гнется как ивовая веточка. Льется как серебряная струйка...

Словно почувствовав его взгляд, девушка оглянулась и помахала ему рукой. А ему показалось, что то лебедь крылом махнул, когда он обжег ее взглядом.

Утро счастливое! Сегодня и заря занялась другая, необычная, алая! В одном лишь она виновата, что рано зажглась на небе. Или она тоже захотела полюбоваться их счастьем, оттого такая смущенная и радостная? Тогда не надо винить ее ни в чем. Будьте свидетелями чистой любви, звезды! Будьте свидетелями ласк, ветры! И ты, луна, храни слова сокровенные! И ты, заря, всегда встречай их радостно! Знай же, мир, что он очень любит девушку

по имени Торгын! Он любит эту шелковую ниточку, лучик звездный и умирает от нежности. Но он теперь хочет жить, потому что любовь его осветила... С именем ее он будет жить! Не разлучайте его с любимой до конца дней! Разве мало было в его жизни горя, и он не хочет еще раз осиротеть! Пощадите их, холодные ветры! Пощади их, знойное солнце! Защитите их, добрые силы! Пусть за раннее сиротство его будет ему наградой ее любовь!

Счастливый Абзал не верил себе. Неужели это сон? Нет, вот подходит к калитке девушка в белом платье. Это его любимая. Ее подарили ему прошедшая ночь и яркие звезды и широкая степь. Он что-то пытался крикнуть высохшими губами и не смог. Он просто хотел крикнуть на весь мир:

— Здравствуй, утро!

IV

Абзал отдыхал в ауле нагаши, ел мясо, пил кумыс. Он решил немного отдышаться после десятилетнего марафона, чтобы с новыми силами приступить к серьезной учебе. Обрадованный нагаши устроил большой той в честь племянника, и целый аул два дня подряд гулял и веселился от души. Все приглашенные явились, чтобы посмотреть на сына покойных Мырзакула и Назым. Нияз был очень этим доволен. Ничего не пожалел он ради единственного племянника, в лице которого он находил знакомые черты уважаемого им зятя и любимой сестры. Порой казалось Ниязу, что в этом мальчике чудесным образом воскресли и Мырзакул, и Назым.

Сегодня Нияз собрал самых близких родичей, чтобы объявить им о том, что племянник едет учиться. Нияз был очень горд за него. Зашумели родственники и стали дарить юноше скот, вмиг сделав его богатым. Многих из своих нагаши Абзал даже не знал, но любил их, потому что они были братьями мамы.

— Ученому жиену[1] нашему даю белого бычка!

— Сыну сестры нашей будет подарком круторогий баран!

Видно, очень уважали Нияза в родном ауле. Видно, очень любили в этом ауле и мать Абзала. Каждый дарил что мог, и наперебой предлагали: «Бери».

— Жиен имеет право и украсть,— смеялся кто-то.— Считайте, что легко от него откупились.

— Да разве же от своих откупаются,— недовольно бурчал другой.— Нашей сестры сын.

— Уже и пошутить нельзя,— притворно обижался первый.

— Каким видным джигитом стал!— восхищался кто-то третий.

— Э-э, не зря пропали заботы Нияза. Этот мальчик будет человеком!

---

[1] Ж и е н — племянник по женской линии.

— Глаз моих зрачок! Он так похож на милую Ерке-кыз!— И Абзал понимал, что это говорит кто-то из жен старших родичей мамы, ее женге. Старухами беззубыми стали уж те молодайки, которые вошли невестками в этот аул, когда мама была еще босоногой девчонкой. Это они называли маму «ерке-кыз» — ласковой девочкой, баловницей.

— Оу, милый мой! Или ты еще не закончил учебу? Не хватит ли? Лучше бы женился и приехал к нам в аул, чем жить среди чужих-то!

— И то верно, сынок! Вбил себе в голову Нияз эту учебу, которую за всю жизнь не одолеешь. Задурил голову ребенку...

Поговорят немного и будто спохватываются, снова начинают благословлять Абзала и дарить ему скот.

— Да поддержит тебя создатель на трудном пути! Достойную дорогу ты выбрал, джигит! Считай, что еще один жеребенок прибавился в твоем табуне. Если хочешь, сейчас забери, твой он.

— Не лишней в стаде будет и черная овечка. Бери ее, сынок, она сразу тройню принесет.

Абзал наслаждался щедростью своих нагаши, их лаской, заботой и добротой. Выходит, совсем напрасно считал он себя одиноким сиротой. С такими нагаши да нужду знать?! Вон он как разбогател за каких-то полчаса. А если к родственникам отца поедет, тогда вообще баем станет. Дядя Нияз сказал, что сам повезет его в родной аул, как только Абзал поступит в институт. Абзал понимал, что и в отцовском ауле нагаши устроит той не хуже здешнего. Но в первую очередь поведет он его на могилы родителей, чтобы прочитать там Коран, чтобы отдать салем им как живым. Он крикнет как смертельно раненный человек: «Вы слышите нас, Мырзеке и Назым?! К вам привел я сына вашего, Абзала! Вы слышите нас?!» Не может быть, чтобы не услышали! О-о-о! Поплачут они над могилами, расскажут обо всем, потом пойдут домой, молчаливые, подавленные, и дядя все время будет шумно сморкаться и вздыхать.

Точно так было уже один раз, когда Абзал приезжал на каникулы. Потом нагаши соберет людей. Ему все равно, в каком доме останавливаться, все с радостью встречают Нияза, и в избранном им доме всегда бывает весело и хорошо. Серэ Нияз приехал! Значит, быть празднику. И весь аул поспешит отдать ему салем. При виде Абзала всплакнут старухи, приласкают его старики, мужчины и женщины обнимут, дети повиснут на шее. Зацелуют его собственные женге, зеленой жвачкой насыбая вымажут, да где уж тут обижаться, ведь нет границ у радости, нет предела. Абзал соскучился по родному аулу. Очень ему хочется поехать туда.

Если бы он привез сюда Торгын, то нет никаких сомнений в том, что эти два аула обеспечили бы их на всю жизнь. Все это не так трудно, был бы нагаши Нияз жив и здоров. Но ведь и Абзал должен как-то оправдать такую щедрость и заботу людей, при-

нести им больше пользы и радости. Поэтому надо учиться, чтобы потом помочь всем этим беспечным малышам получить настоящее образование, чтобы эти два аула прославились своими учеными. Тогда народ станет уважать его, как дядю Нияза, прославленного охотника и серэ. Может, скажут о нем люди: «Он такой же, как его нагаши, добрый и щедрый, живет для людей и готов отдать бедняку последнюю рубаху, последний кусок хлеба». Вот какие мысли неожиданно охватили Абзала. Какие светлые, простодушные люди живут в родных местах! Остаться бы с ними навсегда. Но ведь есть еще и Торгын...

* * *

И вдруг словно небо рухнуло. Все ломалось на глазах: и мечты, и веселье, и большие задумки, и мир... На второй день родственного пира примчался черный гонец с горестным и гневным криком:

— В боевые седла, казахи! Война!

С воплем бросились по домам женщины, мужчины разошлись молча. Над почти полным дастарханом остались Нияз и Абзал. Они сидели каждый в своем углу и тяжело думали об общей беде. Каждый думал о своем...

Еще в самом начале года военкомат взял на учет всех десятиклассников. Международная обстановка была тревожной, да и возраст многих учащихся был призывным, потому что в школу детей обычно отдавали позже положенного срока. По этой же причине выпускники школ выходили из ее стен почти взрослыми мужчинами. Все, кроме Абитая, оказались годными к несению воинской службы.

Абзал заторопился. Ему поскорее захотелось увидеть Торгын, других ребят, с которыми учился. Как же они восприняли эту ледяную весть? Что случилось? Или реки повернули вспять свои воды? Или небо упало на землю? За какой-то час исчезли смех и веселье в ауле, и даже дети перестали играть. Сначала не понял Абзал всей тяжести обрушившейся беды, а теперь она давила на плечи с каждым днем все сильнее. И это обстоятельство торопило его больше всего. Как они там: его школа, его интернат, райцентр? Может, там среди своих сверстников легче будет? Но главное, там Торгын...

Нагаши с грустью смотрел на потерявшего покой Абзала. Он понимал племянника. Нияз велел жене собрать продукты, запряг в телегу бегового коня и сам отвез племянника в район. Он чувствовал свою вину перед Абзалом за то, что не приехал на его выпускной вечер и радость мальчика не была полной. Вздохнув украдкой, он отвернулся от задумавшегося Абзала. «Что ждет впереди малыша? Эх... если встретит кого-нибудь из приятелей, пусть угостит»,— подумал он и сунул в карман племянника пачку денег. Мир стал тусклым и печальным, не то и в этот раз устроил

бы Нияз для племянника той, созвал бы всех его друзей. Не смог он приехать на выпускной. Никак не мог оставить больных детей. Надо же было сразу двоим заболеть! А все равно сердце Нияза не на месте, все кажется ему, что в долгу он неоплатном перед памятью Мырзакула и Назым. Если бы они были живы, то, несмотря ни на что, прибежали бы, прилетели бы, приползли бы к сыну в такой счастливый день. Эх... Как же исправить ему ошибку?..

Приехав в райцентр, Абзал сразу принялся искать Торгын. Оказалось, ее зачем-то увезла к себе подруга, которая жила в стороне Алаколя.

Нагаши хорошо знал отца Торгын, и весь вечер они провели за разговорами. Нияз стал расспрашивать о делах в районе. Здесь тоже было как всюду, брали в армию всех, подлежащих призыву, получили повестки и вчерашние десятиклассники. Сердце Нияза испуганно замерло. В последнее время он стал суеверным и мнительным. Вот и привез сам и своими руками сдал, выходит, беспощадной машине войны, с горечью отметил он про себя, будто не мог избавиться от племянника, да война помогла.

Абзал переночевал в своем интернате, а утром пошел в военкомат. Там ему сразу вручили повестку и комиссар сказал:

— Хорошо, что пришел, парень, а то мы тебя потеряли было. Ну, сегодня отдыхай, собирай вещи, какие нужно, прощайся с родными, а завтра будем вас отправлять, ничего не поделаешь.

Абзалу показалось, что в райцентре общая беда ощущается еще острее, чем в ауле. Родина в опасности! Это ясно читалось в каждом лице, а не только ощущалось в военкомате. Посуровели лица людей, даже дети, и те стали взрослыми до срока. На сборном пункте навстречу Абзалу поднялись сразу десять выпускников из его школы. Они обрадовались ему как отцу родному.

— Вот и тебя нашли все-таки!

— Меня не нужно было искать,— тихо поправил Абзал.

Сначала он не узнал своих приятелей в этих бритоголовых парнях. Потом они зашумели, стали обниматься, будто год не виделись.

— Жалость какая!— сокрушенно вздохнул один из друзей.— Такую шевелюру не пожалеют, а?

Абзалу и самому вдруг стало до слез жалко своей прически. Он тут же вспомнил Торгын. Увидеть бы ее еще разок до того, как постригут «под Котовского». Он стал невольно оглядываться в ту сторону, где находился ее дом. Нет ли там арбы какой-нибудь у ворот, может, успела приехать?

Днем, среди людей, среди одноклассников, было еще терпимо, а вот настоящую муку он испытал вечером. Круглоголовым и ушастым, жалким явился он к нагаши. Отец Торгын только пришел с работы, и они с гостем все говорили о войне, как и все люди в каждом доме.

— Ойбай!— взревел дядя, увидев в дверях Абзала.— Как это так сразу!

— Хорошо, что успели,— сказал Абзал.— Все наши ребята завтра отправляются. Вместе все и поедем.

Нагаши от такой новости так и уселся па пол. Потом он долго молчал, поглаживая усы. Толыбай, хозяин дома, принялся утешать его, успокаивать. Но дядя только вздохнул:

— Надо же угодить между пулей и куланом! А я-то думал, что возрадовались наконец духи Мырзакула и сестры, когда закончил он десятилетку.

Абзал заерзал на месте, виновато посматривая на дядю. Ему хотелось уйти к товарищам. Но дядя покачал головой и попросил:

— Подари мне эту ночь, жеребенок. Останься со мной, малыш... Я думаю, в этом доме нам обоим места хватит.

Абзал замер и посмотрел на хозяина. Толыбай молча и приветливо кивнул. Казалось, в его глазах стояли слезы. Надежда встретить Торгын, увидеть ее с новой силой вспыхнула в груди Абзала. После такой черной вести не останется же она гостить у вчерашней соклассницы?

Им постелили в комнате Торгын. Долго не спал дядя, все вздыхал и гладил тяжелой ладонью круглую макушку Абзала, что-то шептал тяжкое, ласковое и непонятное, как рыдание. То ли плакал, то ли молился. Наконец, измученный, забылся сном и нагаши. А Абзал лежал с открытыми глазами и никак не мог уснуть. Торгын все нет, да и кто теперь отпустит ее на ночь глядя.

Каждый звук заставлял джигита вздрагивать. Он вскакивал с постели и спешил к черному окну. Постоит и снова ложится... Вдали снова послышался дорожный колокольчик, слабый крик возничего, скрип колес. Выходит, чувствовало ее сердце, звало домой. Спешит, торопится Торгын. Вот и совсем рядом. Он выбежал ей навстречу, обнял крепко и поцеловал, как в ту ночь, даже еще крепче. Но она не обрадована, а испугана. Ведь это ее дом! Как же попал сюда Абзал? Ой, стыд какой! Но нет, слава аллаху, не проснулись еще ее родители, он первым услышал и выбежал. Как хорошо, что успел он ее увидеть перед отъездом! Какая она стала красивая, как в сказке! Как глаза ее светятся ясные!..

Открыл глаза, а никого рядом нет. Привиделось все, померещилось. Абзал встал, подошел к окну, приник лбом к холодному стеклу, постоял и снова лег. Закрыл глаза. Снова увидел Торгын. Она пришла проводить его на фронт. Плачет. Украдкой сунула ему в карман клочок бумаги. Абзал прочесть торопится. Выбрал удобный момент, развернул письмо, а там ее рукой написано: «Я буду ждать тебя, Абзал! Ты мечта моя светлая!» Боясь, что кто-нибудь увидит, Абзал спрятал записку в карман. Но нет, ненадежное это место. Лучше за пазуху спрятать, из-под ремня не выпадет. Он сунул руку за пазуху — и проснулся. Шайтан, снова задремал... Вскочив с места, бросился к окну. Посветлело вроде. Неужели рассвет настал? Утро пришло? А это все сон, только сон

и ничего больше?! Горько-то как, обидно! Видно, не смогла приехать. И не сможет. Значит, не увидит ее напоследок Абзал. Не суждено... Он снова приник к окну. На улице залились лаем собаки. Он вздрогнул, но тут же обрадовался. Едут! Уж на этот раз не может быть ошибки! Это, конечно, она. На дороге появилось смутное очертание подводы. Абзал чуть из окна не выскочил. Эх, черт, мимо проехала! Видно, за дровами кто-то пораньше собрался. Зачем было так надеяться?

Тихо ступая, подошел он к заправленной девичьей кроватке. Еще с вечера успел он заметить, где висело на плечиках платье Торгын, в котором она была на выпускном вечере. Она была в этом платье, когда он ее целовал. Какое красивое платье, больше нет таких и не будет. Он бережно прикоснулся пальцами к мягкому шелку и поцеловал его. «Шелковинка моя нежная!» Тут же оглянулся, залившись краской, но дядя продолжал крепко спать. Тогда он провел ладонью по пышно взбитым подушкам и вдруг припал щекой к их ласковой прохладе.

В комнате стало совсем светло, наступило утро. Люди стали просыпаться, вставать из теплых постелей. Невесело пробудился и нагаши, неторопливо оделся. Абзал посмотрел в сторону той лужайки, где они провели незабываемую ночь с Торгын. Ему захотелось сбегать туда. Но тут он поймал на себе внимательный взгляд дяди и очень смутился.

— Ну, Абзал, душа моя,— сказал грустно дядя,— из детства ты в самую войну шагнул. Будь стойким, сынок! Будь верным долгу! Одному аллаху тебя поручаю...

В тот же день после обеда все мобилизованные отправились в путь. Торгын так и не смогла приехать. Храбрился Абзал, смеялся, а в груди волки выли. Не потому тосковал, что едет на фронт, навстречу неизведанному, а потому, что Торгын не увидел напоследок, с ней не простился.

Горько плакал, провожая друзей, Абитай. Не к лицу мужчине такие слезы, но это были слезы обиды на судьбу. Его можно было понять. Он без конца целовал и обнимал своих товарищей и чувствовал перед ними невольную вину. Но разве был он виноват? Не мог ничего скрыть бедный Абитай, простодушный и открытый. Все у него на виду. Вот и слезы эти — свидетельство тому. Жалко детства, жалко прошлого. Чужой человек мог бы подумать, что это Абитай едет на фронт, а остальные пришли его провожать, вот и льет он горькие слезы, прощается с друзьями навсегда.

— Проклятая нога! Из-за нее остаюсь, не еду с вами,— плакал Абитай.— Проклятая, хоть бы сгнила она совсем! Ведь я теперь как больной дикий гусь, отставший от стаи!

Рыдал Абитай, а ребята удивлялись. Чудак, дома остается — и плачет. Они бы танцевали от радости на его месте. Но это они просто в утешение говорили. Абзалу стало жалко Абитая.

— Ты Торгын видел?— шепнул ему на ухо Абитай.

— Где она?— встрепенулся Абзал.— Приехала?

— А... а она разве уезжала?— открыл тот рот.

— Да, уехала к какой-то подруге в Алаколь,— с досадой пояснил Абзал.

— К подруге? Да пропади сейчас все подруги на свете!— рассердился Абитай.— Какие могут быть гостевания, когда вы уезжаете?!

— Нет, ты не понял,— стал оправдывать Абзал девушку.— Она еще до начала войны уехала и, видно, выбраться не может.

— Может, ей что-нибудь передать?— тихо спросил парень.

«Эх, верный и добрый друг, а я ее к тебе вздумал ревновать».— Абзал крепко обнял Абитая и расцеловал.

— Скажи... Передай, что я очень ждал. Очень! Я глаз с дороги не сводил.

Вот и остались позади родной край и тихонько утирающий слезы нагаши. Самых близких, самых любимых благословили люди на святое дело защиты Родины. Больно и горько было за юных джигитов, но это были уже не дети, а воины, готовые выполнить свой высокий долг. Таким можно было доверить оружие. Таков приказ Отчизны. В часы испытаний надо быть твердым. Нельзя себя щадить, когда Родина в опасности.

Нияз обнял племянника на прощание, посмотрел на него сухими глазами. Он сказал о том, что нет боли сильнее боли народа, что все джигиты в степи и горах сели на боевых коней и это честь для Абзала и гордая горькая радость для него, Нияза. Он не пролил на виду ни слезинки, чтобы не размяк Абзал, чтобы сердце его не расползлось от жалости к себе, подобно мучной болтушке кедея[1]. Нет, Абзал должен знать, что на суровое, мужское дело призван он и должен почувствовать всю свою ответственность. Нияз не пролил ни слезинки до самого отхода эшелона. Иначе он не был бы батыром и мергеном, иначе не был бы он славным серэ. Кто знает, может, и Торгын сумела бы стать Абзалу поддержкой в эти тяжелые минуты, ведь было в ее характере что-то такое, что заставляло человека чувствовать себя сильным и мужественным. Пусть бы плакала она, пусть бы жалела, но одним своим присутствием смогла бы его ободрить. Ведь не за одну только красоту и нежность полюбил он ее, но и за ум, за гордость, за готовность всегда прийти на помощь. Когда Абзал читал сказания о батырах, отправляющихся в поход, то восхищался не только подвигами во имя народа, но и стойкостью, верностью и мужеством их любимых. В их характерах была сила, не свойственная многим женщинам. Взять хотя бы девушку по имени Кортка. Какие прекрасные и мужественные слова говорила она своему батыру Кобланды, какие мудрые советы давала, какую веру в свои силы влила она в его грудь[2]. Не зря создал

---

[1] Кедей — бедняк.

[2] Речь идет о героях казахского героического эпоса «Кобланды-батыр».

народ такие замечательные женские образы. В бой идут не со слезами, а с холодной яростью. Не об этом ли поется в богатырских былинах? А батыр чувствует себя непобедимым, когда с ним рядом всегда находится сильная, нежная и мудрая подруга. Жена — это крепость надежная, дающая бесстрашие.

Торгын не является его женой ни перед богом, ни перед людьми, но в душе Абзала давно заняла место любимой подруги, невесты, будущей и единственной супруги. Война помешала их планам, их счастью, но не их любви. Не успели они пожениться, да разве ж в свадьбе дело? О чем жалеть? Разобьют врага, вернутся в родные аулы джигиты. Тогда прижмет он ее крепко к своей груди и никуда больше от себя не отпустит. Вот это и можно будет назвать свершившейся мечтой. Пусть глаза выцветут от слез и ожидания, но верность будет испытана разлукой, закалена муками, и тогда ее чистота затмит своим светом блеск бриллиантов.

Такие мысли не давали покоя Абзалу, когда он думал о Торгын. Может, оно и к лучшему, что не смогла Торгын приехать проститься, что не видел ее в последний раз. Пусть потоскует. Ведь страдание тоже оружие. Ему тоже полезно помучиться. Тоска по любимой обернется злостью на врага, боль за Родину станет его гневом, мука за родных превратится в стойкость. Они наполнят душу негасимым огнем, вольют силы в его руки. Видно, судьба хотела, чтобы сразу зажегся он ненавистью к врагу, чтобы в боях закалилась его любовь, чтобы верность его очистилась в огне. Торгын, если захочет, может остановить его сердце, но может и заставить его биться сильней. Вот она какая. Шелковинка, бьющаяся на ветру. Крепкая и нежная. Он шепчет имя ее, и в него вливаются бодрые силы. Да будет благословенно имя ее!.. Абзал старался скрыть свое состояние, но не всегда это ему удавалось. Но одно твердо знал, что не подавлен разлукой и готов на ратное дело.

* * *

...И началась совсем другая жизнь, жизнь в огне и в крови. Четыре года войны научили тому, чему он в прошлой, мирной, жизни не выучился бы и за сто, за тысячу лет. Народ узнал, что такое лихо, мир узнал, что такое храбрость. Лишь бы потомки поняли, что такое война. И не забыли.

Много всякого случалось на фронтовых дорогах. Обо всем и не расскажешь. Что-то забылось, что-то осталось. Но как забыть первое письмо, которое он получил от Торгын?

Всего четыре месяца обучали новобранцев и сразу бросили в бои под Москвой. Торгын узнала адрес у Абитая. Благодаря ему нашли они снова друг друга.

Каждое слово, каждую запятую в ее письме Абзал выучил наизусть. Она писала о своей мечте, о своей любви. Открыто пи-

сала, отбросив в сторону ненужный и ложный стыд. И себя упрекала без жалости. Но что поделаешь, если так неожиданно началась война и так быстро ушли они на фронт. Зачем было тогда ей ехать к подруге? Не так уж и дружны были они в школе. Новизны захотелось. Заторопилась Торгын, как только услышала черную весть о войне, но, как назло, не нашлось сразу никакого транспорта. Не выдержала она и отправилась пешком. А путь не ближний, сорок верст. Все ноги стерла в кровь и свалилась посреди дороги, в селе Андреевке. Горячка сильная началась, и ноги разбитые опухли. Пришлось две недели проваляться в постели. А когда домой вернулась, узнала, что все ее одноклассники давно уехали на фронт. И тогда заплакала она, заплакала оттого, что не смогла проститься ни с одним из них.

«Но ведь твое место в моем сердце особое, Абзал,— писала Торгын.— Ты для меня был и прекрасной явью и сказочным сном. Я часто хожу на наше с тобой место, закрываю глаза и слышу твой голос: «Любимая! Шелковинка моя!» Там ты впервые сказал мне о своей любви, и я тебе поверила. Не могла не поверить, ведь я и сама любила тебя. И та лужайка осталась моей тайной и моим утешением, потому что здесь могу я с тобой поговорить. А думаю о тебе всегда, даже когда сплю. А однажды я заметила вдруг, что перебираю пальцами травинки, а мне казалось, что это волосы твои мягкие я снова ласкаю, как в ту ночь. Ты глаза закрыл. А я смотрю на тебя и не могу никак наглядеться. Какая то была чудесная ночь! И сердце у меня забилось и готово было разорваться от боли и любви... Да что там говорить, разве все это в письме опишешь? Тоскую я по тебе, очень тоскую! Будь здоров, как прежде! Моя любовь убережет тебя от пули! Я верю, я твоя... твоя...

Любимый мой, мечта моя... Абзал! Я жду, жду и буду ждать!»

И он ждал. Ждал этого письма, не признаваясь в том даже самому себе. Как оно поддержало его в первую суровую военную зиму, заставило без отчаяния перенести наступление врага, потому что влило новые силы и веру в победу, как поддержало его там, на переднем крае, где стояли они лицом к лицу с противником.

В ту же зиму ярко озарила их жизнь горькая и гордая слава двадцати восьми батыров генерала Панфилова, своих батыров, казахстанцев. Герои были рядом, и это вселило в Абзала и его товарищей новое чувство приподнятости и мужества. Да и только ли в них?

Третье письмо от Торгын Абзал получил в тот день, когда ему вручили орден Красной Звезды. Оба события были для него одинаково радостными, и Абзал не мог не отметить про себя, что это замечательное совпадение и что отныне все пойдет гораздо лучше.

Прошло немало боев, жестоких и кровопролитных, а Абзал пока цел и невредим, хотя и не прятался за спины товарищей.

Один только раз осколок мины вспорол бровь, но уже через неделю он снова был среди товарищей. Говорят, и в сорокалетней битве погибает только тот, кому суждено. Абзала бог милует пока.

Когда их часть перебросили под Сталинград, Абзал был уже лейтенантом и командовал взводом. На этом фронте он был награжден орденами Великой Отечественной войны I и II степени и орденом Ленина. Никогда в жизни не забудут Абзал и его товарищи день пленения фельдмаршала Паулюса и капитуляции его шестой армии. Они участвовали в операции по разоружению немцев и конвоировали их в тыл.

Великая битва. Весь мир был потрясен этим небывалым в истории подвигом, как в начале войны был потрясен мужеством Бреста и массовым героизмом советских солдат под Москвой, как преклонился перед гордостью и отвагой голодного Ленинграда. Многое мир узнает потом и будет еще не раз сражен силой духа советского народа, даже его детей. Кусая губы, чтобы не заплакать, будет читать мир дневник маленькой ленинградки Тани Савичевой... Люди, не обойдите стороной Пискаревское кладбище, когда будете в Ленинграде!..

Письма летели со всех концов, согревали и радовали солдатские сердца... Особенно весточки от любимых, таких как Торгын. Она писала о том, что работает учительницей в родной школе, преподает язык и литературу. Отец ее тоже на фронте, и она очень беспокоится за него, потому что уже два месяца нет от него писем. Живут они вдвоем с матерью. Торгын ни на что не жалуется, но из ее писем можно понять, что и в тылу жизнь стала трудной. Перешли на карточную систему. Получают в месяц шестнадцать килограммов кукурузы. Абзала пронзила жалость к Торгын. Он понял, что она о многом умолчала. Видно, не хотела его расстраивать, прибавлять забот и горя, которых ему и так хватает в крови и в дыму фронтовых будней.

Торгын с детства росла в обеспеченной семье и не знала нужды. Отец ее постоянно работал на руководящих постах, и в доме его всегда был достаток. К достатку привыкнуть легко, а отказаться от него трудно. Ни к чему человек так быстро не привыкает, как к роскоши. Вместе с войной обрушились на дом Толыбаевых горе и нужда. Ладно Торгын, она молода и здорова, ей легче перенести бедность, а каково ее матери привыкнуть к тому, что вместо былого изобилия теперь шестнадцать килограммов кукурузы в месяц. Нужда — суровый учитель, но ведь всем сейчас приходится трудно. Однако Торгын не такая размазня, чтобы дать матери умереть с голоду. Уж кусок хлеба в день у них наверняка есть.

Молодец все-таки Абитай! Он уже председатель колхоза и к тому же, говорят, один из лучших в районе. Женился. Каждый раз, приезжая в райцентр, заходит к Торгын, помогает чем может. Продукты кое-какие привозит, дровишки и прочее. Большая

поддержка для Торгын с матерью. А Абзал-то удивлялся, почему вдруг перестали приходить письма от Абитая. Председательская работа и в мирное время большого досуга не дарила, а теперь, наверное, и вздохнуть некогда. Но однажды письмо от него всетаки пришло, такое же взволнованное и сумбурное, каким бывал и сам он.

«Ассалаумагалейкум, народные герои! Мы каждый день слышим о ваших славных делах и радуемся тому, что бьете вы страшного врага в кровь, хотя и сами стоите в крови по колено. Враг вырыл могилы для нас, так похороните его в этих могилах! Бейте собак фашистских без всякой пощады за поруганную землю нашу, за разбитые мечты, за смерть людей наших...

Благодаря вам, родные, живы и мы, трудимся, как можем, для победы, живем хорошо, о нас не беспокойтесь. Но тыл сейчас тоже стал единым фронтом, а мы его бойцами, кующими победу для народа. Мы — это женщины, дети, старики, калеки... Правда, здесь не падают бомбы и не рвутся снаряды, но здесь тоже идут тяжелые бои под призывом «Все для победы!». И мы ничего не пожалеем для нее!

Я забыл не только про свою хромоту, но и про себя самого. Трудно приходится и начинаешь невольно думать, что на фронте было бы лучше. Грызешь себя ночами за то, что не с вами сейчас. Но и грызть себя становится некогда. Люди из сил выбиваются, себя не жалеют, но что можно сделать с армией старух, стариков и детей? Вся тяжесть легла на плечи женщин. Если бы ты видел их запавшие глаза, разучившиеся улыбаться! Они от усталости рук не могут поднять, а я их гоню. Плачу, а подгоняю, хотя и знаю, что нет нужды их гнать, что сами бы они сделали все как надо и умерли бы на пашне, на покосе. Но я вижу не одно поле, а весь колхоз. Мне знакомы не только беды одного аула, но и нужды района. И я должен их гнать на работу, даже когда умирают они от горя, получив проклятую похоронку. Это тоже своего рода милосердие... Много слез во мне, сердце набухло от них. Но почему-то я не могу плакать. Бейте проклятых фашистов! Бейте, родные! Если бы мне разрешили, я бы к вам пешком ушел, лишь бы не видеть детских глаз, погасших без детства! Лишь бы не слышать, как кричат в пустых домах убитые горем вдовы! Лишь бы не видеть трясущихся серых губ осиротевших аксакалов! Ни днем ни ночью мы не знаем покоя, потому что фронту нужен хлеб! Хлеб — это жизнь! Так нас учили, брат. Но меня не учили быть председателем. Эту науку пришлось постигать самому в поле, на отгонах, на фермах. Но прежде всего я учился у людей. Иной раз так все измучает, что готов накричать на первого встречного, но спохватываюсь и думаю, что ему нисколько не легче. Война сейчас в каждом доме.

А проблем много. Такие вопросы мне в школе и не снились. Не раз просил руководителей района освободить меня от этой работы, ведь я еще слишком молод и опыта у меня никакого. Но

мне запретили даже думать об отставке, сказав, что я самый грамотный председатель и что, за исключением двух-трех руководителей хозяйств, оставшихся по «брони», остальные и подпись свою с трудом ставят. Даже несколько женщин председательствуют. Отсюда тебе ясно, наверно, как мы живем.

Я советовал и Торгын пойти в председатели. Она бы справилась. Ну, пусть хотя бы председателем сельсовета стала. Все облегчение семье, но она отказывается покинуть дом отца и еще говорит, что не имеет права оставить школу, что дети, несмотря ни на какую войну, не должны остаться неграмотными. Учителей не хватает. Уроки, как могут, ведут бывшие десятиклассники. А в ауле, правду сказать, жить все же легче по нынешним временам. С другой стороны, работа наша адская, и я не хочу, чтобы она мучилась так же.

Вернулся с фронта какой-то капитан, довольно скользкий на вид. Что-то он покоя не дает девушкам. А впрочем, мне все это, может, и показалось. Торгын, конечно, его и близко к себе не подпустит, об этом ты лучше меня знаешь.

Абзал, я за это время, кажется, стал мудрым. Не смейся! Я понял, как велик мой народ-богатырь! Как он самоотвержен и могуч! Даже если остались одни женщины и старики! Я готов на колени встать перед ними... Вы вернетесь и удивитесь, конечно, многому.

Для вашей встречи я смастерил легкие санки, чтобы вы непременно сказали: «Ай да наш Абитай!» Это если зимой вернетесь, а если летом, то и тогда найдем, как встретить. А санки вышли на зависть. Пеший ляжет на землю, чтобы их рассмотреть, конный седло покинет. Мы запряжем в них пару самых быстрых коней и помчимся по аулам. Хоть бы скорее!.. Я мечтаю сам править этой кошевкой на вашей с Торгын свадьбе. Я первый сват твой, заранее предупреждаю. В шаферы-то из-за хромоты моей не возьмешь, пожалуй? Все расходы на свадьбу беру на себя. Заканчивайте скорее войну и возвращайтесь с победой! Как мы вас ждем, родные! Как мы вас ждем!..»

Абзал задумался. Да, Абитай изменился, как, впрочем, изменилось и все вокруг. Жизнь заставила друга задуматься над такими вещами, о которых он прежде не имел и понятия. Но разве сам Абзал не стал другим? Раньше мир его замыкался аулом и районом. Алма-Ата была близкой и реальной, но все же мечтой. А теперь?.. Он понимал, что бьется за свой аул, за свою степь, за свои горы, но он понял, что родными были для него и эти сожженные русские деревни и это его братьев расстреливали и вешали каратели, таких же крестьян, как и в его далеком отчем краю. Русские матери плачут так же, как и казахские. Голодные дети тянут ручонки к солдатам, будто к отцам. Он никогда не забудет, как обняла его девушка в освобожденном селе, зарыдала, затряслась худеньким тельцем, шептала, что ждала их, родных, а теперь ей и умереть не страшно... Он гладил острые ее плечи и

молчал. А ночью та синеглазая девушка, совсем еще ребенок, повесилась на вожжах в сарае. Фашисты надругались над ней, и она не захотела жить с позором.

...Абзал заметил, что руки у него дрожат. Нет, это не дело для бойца. Успокоился, собрался и принялся читать дальше.

«Я совсем забыл передать тебе привет от моей семьи. Ты мою жену еще не видел, а она у меня красавица. Сам боюсь, что увидишь мою Биби и отобьешь. Заранее собираю пальцами слезки свои в кулек. А тут еще Абитаевич бесштанный тормошит за рукав, просит передать привет своему папе-офицеру, собирается стать таким же, как ты, но при этом ставит условие, чтобы ваша милость изволили привезти с фронта для него пистолет.

А я в нетерпении, друг мой. Хочу тебя с женой познакомить. Ах да! Я же писал о ее красоте. Лицом она на полную луну смахивает, но без этих... лунных кратеров. Но если ты ее отобьешь, то я долго плакать не собираюсь. Девушек прекрасных много, без жены не останусь. Я ведь теперь завидный жених — председатель! Мне каждый с радостью дочь отдаст.

Заболтался я, а тебе, может, и не до смеха. Но ты прости своего дурного друга, я же просто хочу немного поднять тебе настроение. Если сможешь, пришли мне свое фото. Пусть сынок мой всем показывает и хвастается тем, что у него есть еще и папа-командир. Даст бог, и мы сфотографируемся у районного кудесника специально для тебя. Поверишь ли, даже это стало проблемой из-за нехватки времени. В район ехать — как на полюс. Но я сдержу слово и «вышлю тебе свою семью конвертом». А ты к встрече готовься и жди.

Абитай, твой верный друг».

Ах чудак! Не разучился, выходит, смеяться. А у Абзала скулы сводит. Перед глазами та истерзанная девочка, а в ушах голос ее: «Родные мои! Миленькие! Как я вас ждала! Как ждала! Милые! Я теперь... Мне и умереть не боязно!» Кто мог знать, что так страшно кончит она жизнь?! И он виноват! Он виноват перед ней за то, что не смог прийти раньше! «Прости, сестра, ведь я солдат...— казнил себя Абзал.— Это сейчас я плачу о тебе, а завтра буду мстить за каждую твою слезинку! За каждую кровинку твою буду мстить!..»

Он снова обратился в мыслях к Абитаю: «Эх, Абитай! Знал бы ты, что на фронте у нас появился человек, похожий на тебя, балагура. Его любят все бойцы и командиры. Зовут его Василий Теркин, а отец его поэт Александр Твардовский. Ты по чину выше рядового Теркина, председатель! Но по характеру вы братья с ним. Кто знает, если б был ты здесь, может, тоже стал бы казахским Теркиным. С вами легче воевать, друзья! Ведь на войне и смех — оружие, и мы не собираемся его складывать».

Благодаря письму друга, Абзал словно побывал на родине и узнал, как там сложилась жизнь. Только что это еще за лощеный капитан, о котором было заикнулся Абитай, но продолжать не

стал, будто чего-то испугался. Зачем же он вообще о нем упомянул? Да еще в связи с Торгын. И тут же принялся утешать... Может, это просто одна из неудачных шуток Абитая? Случалось ведь с ним и раньше такое. Что за загадка? Разве не получил Абзал на днях письмо от Торгын, в котором ничего такого подозрительного не было. Нет-нет, не надо оскорблять ее подозрениями. Видно, нет любви без ревности и без сомнений. Всегда они рядом ходят, как радость с бедой.

Абзал гнал от себя прочь это недостойное, как ему казалось, чувство, будто назойливую осеннюю муху. Но она не хотела улетать, его муха-ревность, жалила, жужжала, возвращалась снова. Даже во время боя не мог он от нее отмахнуться. Нельзя так дальше. Надо избавиться от проклятой.

* * *

Предчувствие. Абзал верил в это странное чувство. Через два дня после освобождения Киева на марше их догнало пополнение, в котором было немало пожилых. Увидев их, Абзал вдруг забеспокоился. Ему казалось, что и нагаши должен быть среди этих стариков. Природа все дала его дяде: ум, силу, ловкость, красноречие. Но он был неграмотным. Ни писать, ни читать нагаши не умел, да ведь это не его винить нужно, а время. Не было школ в его детстве. Отдали было Нияза на обучение мулле, но после первого же наказания палкой мальчик обматерил оторопевшего учителя, помянув всех его негодных предков, и ушел навсегда.

Нияз понимал, что человеку нужны знания, и поэтому ничего не жалел, чтобы дать образование племяннику и детям своим. Но ему самому было порой нелегко. Он стыдился обращаться за помощью к сопливым грамотеям, это унижало его. Редко по этой причине получал Абзал вести от дяди, но из этих считанных писем уже знал о том, что трое старших сыновей Нияза Керим, Касым и Кабанбай тоже воюют. Опустел без них дом нагаши, и он уже подумывал о том, чтобы тоже уйти на фронт. Вскоре пришло письмо, в котором сообщалось о том, что нагаши все же добился того, чтобы его взяли в армию. С тех пор Абзал надеялся на то, что где-нибудь встретит дядю на фронтовых дорогах. Но сегодня он особенно остро почувствовал это. Может, потому, что увидел этих пожилых людей.

Завтра снова предстоит сражение. Абзал со своими товарищами только вернулся из разведки, как ему сообщили, что его вызывает к себе командир батальона. Сам Абзал в то время уже командовал ротой.

По дороге к штабу Абзал увидел на обочине под могучим деревом людей из пополнения, греющихся у небольшого костерка. Вдруг встал из круга огромный усатый казах в солдатской шинели. Война иногда дарит такие чудеса! Неужели... Неужели это нагаши?! Или оттого, что много думал о нем, этот человек показался похожим на дядю?

Но нет! Это он! Он самый! Дядя! Тяжело переваливаясь, нагаши побежал к Абзалу, который тоже кинулся ему навстречу, раскинув руки, как в детстве. Оба не в силах были скрыть слез. Нагаши целовал заплаканные глаза племянника, крепко прижимал его к груди, вглядывался в родное лицо, и они снова обнимались...

После беседы с комбатом Абзал попросил командира отпустить дядю к нему на одну ночь.

Нагаши очень изменился. Это был уже не прежний богатырь. В плечах появилась сутулость. Скулы выпирали от худобы. И молодым-то несладко приходится, а в возрасте дяди пробыть шесть месяцев на фронте тяжело особенно. Нагаши рассказал о том, что сначала хотели его взять на тыловые работы, но он все же настоял на отправлении в действующую армию.

— Погибают люди и в тылу. Всякое бывает: там дерево упадет, там в шахте обвал, машина собьет. От судьбы не уйдешь. А я все-таки охотник и стрелять, слава аллаху, умею. Глаз еще не потерял остроты. Сказал начальникам, и меня поняли, спасибо им. Еще сказал, что четверо моих детей уже воюют, и мне совсем негоже отставать от них. Посмеялись, руку пожали, и вот я здесь, радость моя. Если по правде, я и сам надеялся встретить на фронте всех вас четверых. От Касыма с Керимом с тех пор, как уехали, ни строчки нет. Кабанбай пока жив и здоров. Его на морскую службу взяли. Военный моряк. Ну, а ты писал всех чаще, так что о тебе мы почти все знали. Довелось-таки встретиться с тобой, ягненок мой. Довелось, слава аллаху! Даст бог, встречу и остальных. Касыма и Керима увидеть надеюсь, а вот с Кабанбаем труднее — не в море же идти...

Нагаши рассказывал, Абзал слушал.

— Мы в одну часть попали, с кем бы ты думал? С учителем твоим. Рядом воевали, а нас все звали «парой усатых» или «усатой парой». Да недолго пришлось встрече радоваться. На моих глазах погиб твой мугалим, на фашистской мине подорвался. Смерть хорошо знакомого человека всегда тяжело переживать.

Абзал нахмурился. Он видел много смертей, но о гибели любимого учителя было особенно больно слышать. К смерти, как и к холоду, привыкнуть нельзя. Каждый день приходится убивать и сотни раз умирать самому. Не от страха, а от горя. Но даже предаваться долго горю и размышлять о жестокости и тяжести войны, горой упавшей на плечи народа, порой нет времени. Надо думать о том, как уничтожить врага и остаться живым самому, как сохранить жизни своих солдат. В этом и заключается их безрадостная фронтовая работа. Огромной ценой платит народ за свободу, если даже такие люди, как нагаши и учитель, идут воевать. Но нельзя постоянно думать о смерти, да и некогда бывает в сплошном дыму, в грохоте, в изматывающих переходах. И хотя они теперь наступают, бьют и гонят врага, но смерть не обходит

их ряды. Каждый день кто-нибудь погибает, и горе входит еще в один дом, где давно уже поселилась война. Они идут вперед и громят фашистов, освобождая свою землю. Но когда-нибудь, очень скоро, перед ними встанут слабые дети и немецкие старики, такие же, как нагаши. Неужели придется стрелять и в них?! Нет, лучше об этом пока не думать...

Мысли Абзала перебил нагаши:

— Рысбек, мугалим твой, строчил за меня письма в аул. Но он погиб, и теперь некому за меня писать. Так что ты, жеребенок мой, напиши завтра письмо в аул своей женге, расскажи о том, как мы встретились. Пусть и они порадуются за нас — женге твоя и двое сопляков, что дома остались... Сам знаешь, силой меня бог не обидел. Да не знал я, что из-за силы страдать мне придется. Сразу пулемет таскать на себе заставили. Да еще одно мучение для меня в окоп залазить. Редко какой по размеру мне приходится,— расхохотался дядя. Абзал улыбнулся на его шутку. Но он все еще был под впечатлением своих мыслей и не сразу смог освободиться от них. А нагаши продолжал:

— Даже когда стреляешь, прятаться приходится. А ведь я мерген, люблю гнать в открытую. Чем делать меня вьючным животным, лучше бы позволили оседлать моего Белого да дали бы палицу в руки... Увидели б тогда сами, как побежала бы эта черная орда.— Дядя шутил, а глаза его были грустными. Он понимал, что с соилом против танка не пойдешь.— Немец-то, мать его... прячется от меня. Видно, прослышал, что Нияз приехал на фронт. Признаться, сынок, я еще ни с одним фашистом лицом к лицу не встретился. Ни разу! Бежит как баба, без оглядки. Видно, сильно вы его напугали... А ведь у самых стен Москвы стоял и клацал зубами, волк. А сколько других народов подмял под себя! Да, во главе наших туменов[1] стоят мудрые полководцы, настоящие батыры. Весь народ поднялся против врага, сынок. Тыл и фронт, воины и женщины. Великий народ наш, Абзал, советский... Эх, Абзал, что я скажу своим малышам в ауле, когда спросят они, убил ли я хоть одного фашиста. Ведь смеяться станут, что на фронте побывал, а живого фрица не видел. Мне бы какого-нибудь гада покрупней, я бы его задушил голыми руками, а там, глядишь, и отпустило бы сердце.— Он посмотрел на свои огромные руки и расхохотался. Абзал тоже не выдержал и засмеялся. Да, такими пальцами, как у дяди, можно за один раз пятерых фрицев задавить. Не пальцы, а снаряды артиллерийские. Ишь, как шевелятся!

— Кстати, о моем белом коне,— вдруг вспомнил нагаши.— Я ведь его тоже встретил здесь. Вот уж воистину чудо! Не в своем районе, даже не в области, а на фронте увидел. Его одним из первых в ауле забрали. Ох как жалко было отдавать! Легче было бы вместе с ним уйти к этому Доватору или к Плиеву: генералы

---

[1] Тумен — древнее воинское подразделение в тысячу человек.

знают, что седло для казаха — родной дом. Да, жалко было, но ведь и дети, братья на фронт уходили. А конь на святое дело был нужен. Так и благословил своими руками. После вашего отъезда собирался, правда, колхозу продать, да вдруг стыдно стало. Ну будто туман какой глаза застлал. Что это я? Разве можно в такое тяжелое время деньги рвать у своего народа? Ведь и в мирные дни не думал о них, проклятых...

— Как же вы его встретили?— заволновался Абзал.

— Как обычно, враг бежал, а мы его преследовали. Шли, значит, за ним по пятам. В одном месте пушка завязла в грязи. И люди, и лошади измучены. Изо всех сил тянут, а толку нет. Какой-то дурак хлестал коней кнутом изо всех сил, не жалея. Ты же знаешь, как я люблю лошадей, все брошу, чтобы хорошим конем полюбоваться, а тут... Словом, не выдержал я, выскочил из колонны. Смотрю, в грязи по уши вся четверка коней. Пригляделся и чуть не упал от горя и радости, узнал среди них своего Белого. Это он рвался и прыгал, униженный жестокими ударами. Остальные кони тоже храпели, из шкуры вот-вот выпрыгнут. А пушка ни с места. Солдат уж совсем обезумел: бьет лошадей и бьет. Я пулемет свой товарищу передал, подскочил к нему да как двинул кулаком. Он и с ног. А тут и Белый узнал меня и так заржал, жалуясь и радуясь, как ребенок, что я заплакал, обняв его за шею. «Моя лошадь! Моя... — повторял я не помня себя.— Что же ты животное бьешь, дурак? Оно же ответить тебе не может! Лучше бы людей попросил помочь. Разве бы тебе отказали?!» Солдат поостыл, уставился в землю. Не драться же ему со мной. Да и стыдно было. Ну, тут мои ребятки подошли, вытянули проклятую пушку. Лошади снова потянули ее по грязи, а я со своим пулеметом еще долго шел рядом. Успел угостить Белого краюхой хлеба с солью да кусочком сахара. Для него это был праздник, я думаю. А когда уходил от него, заплакал мой конь, запрощался, и так тоскливо, что сердце у меня оборвалось. Я снова бросился к нему, прижал к груди его голову, поцеловал. Артиллеристы смотрели на нас очень серьезно и молчали. Они все понимали, эти ребята. А потом я ушел и больше не оглядывался. А Белый все звал меня и звал... Я шел и думал: «Не зови меня, друг мой! Я не могу остаться с тобой и не в моих силах тебя забрать. У войны суровые законы. Они разлучают не только таких друзей, как мы с тобой, жеребенок. Надо терпеть. Тебя бьют кнутом по крупу, меня хлещут по сердцу. Но я знаю, Белый, тот солдат больше никогда не будет бить тебя. А вот меня еще долго будет истязать эта хвостатая плетка разлуки и горя, крови и слез. Надо не просто терпеть, надо уметь бороться». А потом командир перед строем отругал меня за то, что я ударил солдата. Хулиганством назвал. Да разве ж это хулиганство? Разве тот солдат не хулиганил, когда лошадей бил? Виноват и я, тоже ударил, ведь за лошадей надо было вступиться да и солдатика того в чувство привести. А что я мог больше сделать?..

На следующее утро Абзалу и Ниязу снова пришлось прощаться. На глазах ослабел нагаши, стал совсем старым. На этот раз он рыдал, не отпуская от себя племянника. Нет, не прежний могучий дуб это был, а расщепленная молнией осинка. Разве так провожал Абзала на фронт нагаши?

— Будь здоровым и живым, мой ласковый жеребенок! Да буду я жертвой для вас, дети мои!

Неужели война сумела так обломать этого железного человека? Как он плачет! Как плачет! Абзалу даже неловко стало. Он был еще слишком молод, чтобы ценить чужие слезы.

— До победы осталось не так уж много, нагаши. Не надо плакать, плохой это знак, сами ведь знаете. Даст бог, скоро все вернемся с победой. Вот радости будет! А вы плачете. Не ожидал я такого от вас, не ожидал. Не узнаю вас...

Вроде утешает Абзал дядю, ругает, стыдит, а сам чувствует, что совсем не те слова говорит. В груди черная пустота и такая тоска взяла, что готов был упасть на землю Абзал и грызть ее.

— Эх, родной мой, поверь старому охотнику. Чем ближе конец битвы, тем она страшней, ожесточенней. Я ни разу не видел, чтобы волк легко отдал свою жизнь. Фашист хуже волка, потому что он человек с волчьей душой. Он еще страшно огрызнется напоследок. Нельзя раньше времени радоваться тому, что обессилел он. Надо быстрей бить его по черному носу, потому что душа волчья на кончике его морды. А до этого не надо считать его погибшим. Держи крепко палицу в руке и не благодушествуй.

— Вы охотник известный, а поддались слабости,— жалея дядю, сказал Абзал.— Получше нас знаете нрав разбойничий. Кто же, как не вы, нанесет последний удар по оскаленной морде?

Но нагаши не слышал племянника. Он свое слово сказал.

Ушел нагаши, Абзал смотрел ему вслед, потрясенный и опечаленный. Не думал он тогда, что это была последняя их встреча.

* * *

Обидно было выйти из строя, когда до победы рукой подать. За четыре года лишь раз царапнуло, зато теперь зацепило как следует. Произошло это в боях за освобождение Варшавы. Правду говорил нагаши о волчьих повадках врага. Сопротивлялся немец отчаянно, злобно. Потерь было много. Казалось, нет места, свободного от мин. Фашисты всюду их понатыкали, чтобы остановить наступление. На одну из мелких, противопехотных мин и напоролся Абзал. Взрыва он уже не слышал. Просто показалось, что какая-то могучая и жестокая сила вырвала с корнем ногу. Он сразу потерял сознание. Очнулся в госпитале, в глубоком тылу. Здесь Абзал вспомнил происшедшее с ним и в ужасе схватился за ногу, вскрикнул от острой боли. Но нога была на месте, и поэтому даже боль показалась радостной. Вот ведь как не повезло напоследок. Советские войска рвались к Берлину, к самому гадючьему логову,

а он, беспомощный, как кукла, валялся на больничной койке. А так мечтал войти в Берлин!

Все же интересное существо — человек. Вчера, когда шли тяжелые бои, каждый день жизни казался для него подарком, а сегодня хотелось быть там, с победителями, стоять под обожженным в войне знаменем. И то, что он лежал теперь в больнице, было, конечно, большой несправедливостью. Но не вычеркнут же он из списков победителей! Четыре года и он приближал победу и ради этого светлого дня не щадил себя. Каждый, кто участвовал в боях этой страшной войны, вправе считать себя победителем, несущим алое знамя, воздвигшим его, водрузившим над черным сердцем фашизма, над волчьим логовом. И это право прежде всего принадлежит павшим. Их святой кровью пропитаны победные стяги.

Абзал вспомнил своих дорогих боевых друзей... тех... погибших. Они оживали в памяти, требуя высоко нести знамя Победы, не забывать, какой жуткой ценой она досталась. «Мы с вами! Помните это на победном марше! Мы с вами! Помните... помните... помните...»

Абзал перенес очень сложную операцию. Прошли первые невыносимые боли, привыкла к неподвижности спина, вернулись мысли о фронте.

Да, теперь ясно, что он дожил до Победы, что встретит ее с народом. Не зря лилась кровь. Вести с фронта окрыляли раненых бойцов и офицеров, действовали лучше всякого лекарства, помогая врачам в их трудном деле.

Абзалу часто снилась Торгын. Но почему нет от нее весточки? Целых полтора года прошло с тех пор, как получил он от нее последнее письмо. С тех пор как ножом отрезало. Уже после ранения отправил он ей два письма. Ведь один шайтан живет без надежды. Но никакого ответа от нее Абзал так и не дождался. Неужели правдой оказались намеки Абитая о том лощеном капитане?

...Вот он идет к аулу, слегка припадая на раненую ногу. Раньше всех навстречу ему выбегает Торгын. Как она прижалась к нему, как обняла крепко, как поцеловала! Наверное, даже жены законные так не встречают своих мужей. Абзалу даже неловко стало перед людьми, но Торгын и не думает его отпускать от себя, вся дрожит.

— Пусть видят,— шепчет она исступленно.— Люди знают, как я тебя ждала все эти годы. Я всем успела сказать о своей любви к тебе.

За это время Торгын стала еще красивей. Суровые годы, казалось, не коснулись ее чистого лица. Разве только повзрослела, стала серьезной. Но в общем это та же Торгын. Совсем как в то памятное утро, когда возвращались они домой со своей лужайки. И походка та же, и улыбка, и сияние глаз. С той же лаской, с той же любовью она обнимает его.

— Как же ты до Берлина не сумел дойти? Я хотела быть женой героя, освободившего от фашизма Берлин. Да что это я говорю?! Разве от этого я стала меньше любить тебя, мой батыр?! Нет-нет!

Абзал краснеет, слегка смущенный. Ему кажется, не найти ответа на этот наивный вопрос. Он и сам чувствует себя как будто обойденным, даже слабым оттого, что не сумел дойти до Берлина, свалился в пути.

— А я уже успела рассказать своим ученикам, что разбито само бандитское гнездо, что над ним флаг Победы, что среди тех героев, которые водрузили над Берлином наше знамя, был и выпускник этой школы Абзал Мырзакулов. Что этот ага сидел за той партой и что я училась с ним и сидела рядом. Я рассказала им, что в учебе он был отличником и ему легко давались все науки. И еще он был очень талантливым человеком. Оказывается, такие люди и воевать умеют прекрасно. Я сказала своим ученикам, что если они будут хорошо учиться, то станут такими же воинами, как их дядя Абзал, майор, который брал Берлин... Как они слушали! Что же мне им теперь сказать? Что я обманула их? Стыд-то какой!

Даже пот прошиб Абзала. Но не Торгын говорила ему эти слова, а сам он себя терзал. Неужели кто-то посмеет его упрекнуть в том, что он не дошел до Берлина? Все, абсолютно все, кто воевал, были участниками боев за Берлин, потому что все об этом мечтали, но не все дошли. Это понимал Абзал, а сердце все равно сжималось от боли. Но он тут же забывал о сердце, потому что огнем горела рана. Ох, как болела нога!

Исчезла из видений Торгын. Опять обман! Он уже мужчина, сколько всего перевидел, а от детских фантазий так и не смог избавиться.

И вот уже все тело ломалось и корежилось от нестерпимой муки. Каждая жилка молила о милосердии. Весь он сплошная и дикая боль. Словно кто-то грыз окровавленными клыками его кости, впивался когтями в трепещущее сердце, раскаленной иглой вонзался в мозг. Клейкий и холодный пот пропитывал рубаху, казалось, что вместе с потом уходит жизнь.

Абзал в изнеможении падал на подушку, мотал головой, и кто-то рядом кричал:

— Сестра!

К нему спешили на помощь. И только это было явью, а все остальное — чушь, все остальное — ложь, все остальное — сон. Но как хотелось, чтобы сон этот не кончался!..

V

Летом 1946 года Абзал вернулся на родину. Приехав в райцентр, он все порывался зайти в дом Торгын, но что-то его удержало от этого шага. Торгын молчала. Внезапно перестал писать и Абитай.

Абзал недоумевал и терялся в догадках: что же случилось с ними? Была в этом странном молчании какая-то тайна. Его мучили подозрения, может, Торгын с Абитаем... Абзал обрывал себя, а в голову снова лезли непрошеные думы. Многое в представлении людей изменила война. Обмелели полноводные реки, высохли цветущие сады, зато в иных местах стали плодоносить горькие дички, зато в иных местах стали течь реки из песка... Понимал Абзал, что стыдно обижать подозрением друга, но ревность, как битая собачонка, виляя хвостом, не отставала ни на шаг. Мечты — пустой сон. Не лучше ли сладких снов один день счастья? Так, верно, и решила Торгын, сказав себе: «Лучше председатель под боком, чем майор на фронте». Может, сама жизнь заставила сделать ее этот выбор. Тяжело было, а Абитай стал ей опорой в трудные дни. Торгын, конечно, была благодарна ему. Потом это чувство признательности незаметно превратилось в любовь. Вот и раскатывают теперь зимами в той кошевке, которую приготовил Абитай для встречи друзей-фронтовиков. Вспомнил Абзал и то, что даже в их вечер, в ночь их любви Торгын заговорила об успехах Абитая в учебе, о его способностях. Абитай — взбалмошный человек и поступки у него должны быть сумбурные. Налетел, поди, увлек, а потом засовестился и перестал писать. Придумал какого-то капитана. Может, и полюбили друг друга по-настоящему...

Да, с такими мыслями трудно жить. Какое имеет он право чернить даже про себя двух самых близких друзей? Разве забыл Абзал, что Абитай давно женат и что есть у него дети? Не мог Абитай друга предать. Ох и стыдно ему будет, когда узнает он обо всем, что здесь было и что зря он так мучился. Дай-то бог! Нет, нечего делать пока в районе, надо со стороны приглядеться. К тому же первый долг он обязан выполнить перед нагаши. Остальное потом. И Абзал поехал в дом дяди, ставший ему родным.

* * *

Надрывающим душу плачем встретила его Бисары-женге. Не выдержал Абзал, зарыдал, как ребенок, весь отдавшись черному вихрю тоски, который вдруг закружил его и понес. И сквозь эту злорадную свистопляску пробивался к нему издалека голос женге. Нет, такого Абзал не испытывал, даже когда хоронил отца и мать. Может, слишком мал был тогда для горя? Может, не знал, что такое тоска? Голосила женге, как смертельно раненная птица, как лебедушка белая, потерявшая гордого лебедя:

Ты живым вернулся домой!
Ты один, жеребенок мой!
Взглядом братьев своих не ищи!
Не вернулся и твой нагаши!
Слезы высохли от тоски,
А из глаз моих льют пески.

Сердце синим покрылось льдом.
Опустел наш печальный дом.
Не осталось в груди молока,
Обратился мой взор в облака.
И летят облака в выси,
Чтобы мертвым весть донести,
Окропить холм земли чужой,
Не водой дождевой — слезой!
Твои братья ушли, Абзал!
Не вернулись они назад!
Четверых снарядила в войну.
Не пришли... За какую вину?!
Трех джигитов отправила в ад,
Будто приняла смертный яд!
Для меня теперь неба нет!
Для меня почернел весь свет.
Нагаши твой не старым был:
В нем горел еще юноши пыл.
Жеребят взял на водопой.
Не вернулся никто домой.
Ох, увел их отец на бой!
Ох, увел их отец с собой!
Верблюдицей кричала я:
Где ребята мои? Где семья?
Я пустую глажу постель,
А в душе бушует метель.
Я с тобою не знала нужды,
Как не знает кулан узды!
Но как жить мне без жеребят,
Что в далекой земле лежат?!
От груди их успела отнять.
Даже если назад тянет мать,
Воин должен идти далеко.
Не свернулось мое молоко.
Только матери каково,
Не увидеть в живых никого?!
Море слез проливает мать:
Ей своих верблюжат не обнять.
Но Абзала увидела я,
И как будто воскресла семья!
Отпустила тоска в тиши...
Говорят, ты встречал нагаши?

Собравшиеся люди с трудом успокоили Бисару. Абзал плакал.

— Раньше говорили: «Драгоценный камень со дна ветер на берег выносит. Слово горькое с души горе горькое смывает». Абзал, дорогой наш, ты же воин, мужчина, не след тебе так убиваться. Возьми себя в руки, родной,— утешали его аксакалы.

...Аул очень изменился. Он совсем не похож на прежний. Видно, черный смерч войны разметал и здесь все дорогое и привычное. Всюду царит страшное запустение, всюду приметы нужды. Сердце сжимается от боли за родные места.

Памятью от нагаши остались двуствольное охотничье ружье на стене да огромный пес, Туйгун, которого когда-то вырастил Абзал, а потом отдал нагаши, зная, что не сможет охотник обойтись без хорошей собаки. Случилось это после того, как дядя застрелил сгоряча своего Актоса.

Постарел Туйгун. Собачий век короток. Но память у собаки долгая. Сколько лет не виделись, а Туйгун сразу узнал молодого хозяина, по-щенячьи обрадовался, заскулил, на грудь стал бросаться, стараясь лизнуть в губы. Потом в ноги повалился, на спину лег и лапами задрыгал. Долго не хотел отпускать от себя Абзала. Вспомнил, видно, как щенком еще играл. Тогда подобные выходки были вполне уместны, а сейчас ужимки старого пса с широкой железной грудью, мощными лапами и свирепой пастью представляли собой смешное и горькое зрелище. Растроганный Абзал с грустью смотрел на своего Туйгуна.

Через несколько дней Бисары поведала Абзалу о собаке удивительные вещи. Женге умела рассказывать, будто песни пела...

— После отъезда Нияза пес неделю не переставая выл. Мы гнали его прочь и проклинали, но он не унимался. Даже стали бояться его. Потом он сам перестал вдруг тосковать. Но всегда очень волновался, когда подходило время идти на охоту. Тут уж Туйгун начинал нетерпеливо скулить и царапать землю когтями. А кто с ним пойдет? Некому было охотиться во всем ауле. Можно сказать, что не осталось здесь ни одного мужчины, способного удержать собаку на поводке. Пес, видно, не выдержал и стал подолгу пропадать из дома. Возвращался всегда поздно ночью, усталый, с высунутым языком.

Однажды утром он потянул меня за подол на улицу. Я прикрикнула на него, чтобы шел на место. Но Туйгун вдруг заскулил жалобно и снова потянул меня со двора. Я удивилась, но все-таки пошла за ним, и он привел меня в тугаи. На небольшой полянке я увидела сложенных в кучу четырех зайцев и пять фазанов. У птиц головы оторваны напрочь, у зайцев глотки перегрызены. Так ведь делают охотники, чтобы добыча не стала поганой. Я не могла поверить своим глазам. Откуда псу знать, что если у дичи кровь не выпустить, то она считается нечистой? Памятливый Туйгун запомнил, как поступал с добычей твой нагаши... В тот день дети мои были сыты.

Постепенно мы привыкли к тому, что в доме появился такой необычный кормилец. Как только ухватит меня Туйгун за подол, я все бросаю и бегу за ним. Столько шкурок и пера сдала за год приемщику — не перечесть! Так что Туйгун не только кормил, но и одевал наших сопливых щенков. А им и малахайчики нужны, и шубенки, и ичиги. Все сумела я справить благодаря Туйгуну.

Амангельды родился в год твоего отъезда на фронт. Умитгуль появилась на свет уже после проводов Нияза. Когда он уезжал, я носила ребенка под сердцем. Мы очень хотели девочку. Особенно дядя твой мечтал о дочурке. Но он даже обрадоваться ее рождению не успел. Уж он бы той устроил, сам знаешь. А путь у девчонки тяжелым оказался. Едва только жизнь в ней затеплилась, как война проглотила отца и братьев. Я понимаю, что ребенок тут ни при чем, но никуда не могу деться от этих мыслей. У-у-

ух! — Женге вздыхала, стараясь подавить рыдания, и, немного успокоившись, продолжала: — Ох, как ждала бы я их, кабы надежда была! Но ведь на всех четырех получила «черную бумагу». Кабанбай совсем мальчишкой был. До срока лет себе прибавил, чтобы раньше в комсомол вступить. Не зря в народе говорят, что дитя, обреченное на смерть, убегает к могилам. Знаешь сам, он рослый был и плечистый, как отец. Откуда знать военкому про его истинный возраст, сейчас больше бумагам верить привыкли. Поверил и военком, да и некогда было ему разбираться-то. Так и ушел на фронт. Да как радовался! Ведь один из целого района попал в морские солдаты. А что море — сплошные слезы матерей и невест погибших. Говорят, соленое оно. Ты видел море, Абзал? Какое оно? Очень синее?

Да что это я... Начала об одном, а поехала совсем в другую сторону. Ты уж прости меня, племянник. Ведь с Туйгуна начался наш разговор. Однажды он вдруг снова завыл, да так горестно, что у меня сердце оборвалось. Видно, в тот час умер Нияз, а верная собака почувствовала смерть хозяина...

А за год до этого Туйгун вернулся как-то домой сильно израненный. Он долго болел и чуть не умер. Я сумела его выходить, да с тех пор он никуда со двора не идет. Когда приполз домой весь в крови, страшно было на него смотреть. Вся пасть в рваных ранах, уши клочьями висели, бок пропорот будто ножом. Видно, с волком схватку выдержал. Хотя, если подумать, не дался бы он легко одинокому волку. Со стаей, наверно, пришлось биться. Теперь вот домоседом стал. Собака тоже жизнь любит. Детей любит, хозяина и жизнь. Большое потрясение перенес тогда Туйгун. Со страхом познакомился. Для нас он живая память об отце, мы его не трогаем, кормим. Да и грешно гнать со двора, когда он столько сделал для нас хорошего. Сейчас дети с ним играют. Он для них вроде няньки, вроде коня. Ездят, чертенята, на Туйгуне верхом, а он все безропотно сносит. Признаюсь тебе, Абзал, в том, что все время таила от людей. Не было у меня любви к этим малышам. Все казалось, будто они виноваты в смерти старших и мужа. Только с твоим приездом стала я сердцем оттаивать. А прежде всю боль и злость свою на них срывала. Боюсь, что запугала их, от себя отдалила. Конечно, был бы жив отец, ничего не пожалел бы для долгожданной дочки. Сам знаешь, как он любил детей.

Молча кивал головой Абзал, соглашаясь со словами женге. Как схожа его собственная судьба с судьбами этих безвинных малышей, так рано осиротевших. Правда, сам он был постарше, когда потерял родителей. Но, к счастью, был у Абзала нагаши. Он надежным утесом стал, к которому без страха можно было прислониться плечом. Опорой был, сумел заменить Абзалу и мать и отца. А чем он отплатит? Он...

Чуть теплившийся в очаге Нияза огонек снова разгорелся. Абзал приехал с офицерским жалованием, выданным сразу за

несколько лет, и эти деньги пришлись очень кстати, потому что на них он сумел одеть и обуть детей и вдову нагаши. С приездом Абзала и гостей в доме стало больше. Как и при Ниязе, часто захаживали руководители колхоза. Даже районное начальство пожаловало из Бурлитобе отдать салем фронтовику, да еще какому: на весь район было только два майора — военком да Абзал. А вскоре после отъезда уважаемых гостей в дом Нияза привезли муку, масло, барана. По мнению Бисары, племянник вернулся с фронта большим человеком, чуть ли не генералом. Она гордилась родственником еще больше, чем до войны, когда хвастала перед товарками его ученостью. И не зря: когда Абзал надевал свой единственный выходной костюм, на грудь его больно было смотреть — так сверкали многочисленные ордена и медали. Да и сам он джигит хоть куда. Прихрамывает, правда, заметно. Но сейчас и хромые женихи идут за первый сорт. Врачи обещали, что со временем все пройдет. Разве ж такой джигит должен платить калым за невесту? Их тут пруд пруди, как дынь на базаре. Пусть уж девки сами платят калым, коли хотят такого красавчика в мужья заполучить! Бисары смеялась своим бабьим мыслям. Издавна повелось у казахов, что женге были первыми свахами в ауле. Появились такие планы у Бисары, повеселела она. Абзал только посмеивался, но не разубеждал ее. Радовался, что ожила немного женге.

А дети и вовсе были счастливы. Всей аульной ребятне успели рассказать, что привез им дядя Абзал, какие обновы купил да чем угостил.

Бисары хотела даже той устроить в честь приезда Абзала, но он сам воспротивился этому. Не до праздников, была бы душа жива. К чему неоправданные расходы, ведь еще долго придется бороться с нуждой. Так утешал он женге, не смея сказать, что в доме, где не вернулись с битвы четверо, не место раннему веселью. Кощунство это. Не мог он бередить рану Бисары, потому что знал, сколько горя пришлось ей вынести. А женге хотелось, чтобы все в доме было как при Ниязе. Но Абзал напомнил ей о детях, которых надо было поднимать. Про себя же он поклялся, что до конца дней своих не будет знать нужды его Бисары-женге. Ничего он для нее не пожалеет, как и для этих двух птенцов. Память нагаши и братьев священна для него. О них он всегда будет помнить. А той успеется. Учебу Абзал тоже пока отложил, увидев, как трудно сейчас живется аулу.

Если б Торгын дождалась его, они бы создали семью и стали бы вместе помогать этим сиротам. Ему не терпелось съездить в соседний район и разузнать все о ней. Кстати, и Абитай ведь был председателем колхоза «Бастауш» в том же районе. Абзал хотел побывать и в родном интернате, в школе. Но помнит ли кто-нибудь его там? Да это не так уж и важно, ведь интернат стал для него вторым домом. Если мать кормила его своим святым молоком, то школа дала ему знания. Он впитал в себя молоко знаний,

такое же святое, как и материнское. С ним постиг он и любовь к Родине, к людям. Школа научила его быть честным и сильным. В тяжелые минуты она была ему поддержкой, в годы сиротства — домом. Школа сумела его воспитать не только сыном своего отца, но и сыном Отечества. И если матери ждут в непрерывной тоске возвращения детей, то разве не встречает своих сыновей школа с раскрытыми объятиями. Пусть нет уже в живых родителей, но ведь остался у него интернат. Если учредят когда-нибудь особые награды за любовь к детям, то в первую очередь надо отблагодарить школу.

Кто в наше время больше школы уделяет внимания воспитанию детей?! Трудно переоценить ее роль. Десять лет! Не одному своему питомцу дала она крепкие крылья в жизнь, а тысячам, миллионам. Советская школа — школа настоящих патриотов, убежденных интернационалистов, новых людей. И это не громкие слова, а твердое убеждение Абзала. Так он будет думать всегда. От любви к своему аулу, к своему маленькому дому, к району, к республике до любви к Родине, к человечеству, к миру проходят путь воспитанники школы, становясь истинными гражданами и патриотами своей Отчизны. «Мой очаг — это моя Родина, моя Родина — моя колыбель». Это подтверждено войной, кровью, болью, гордостью и славой. Эти мысли стали убеждением за четыре грозных года. Война доказала их высокую справедливость. Если счастлива Родина, значит, и над его очагом взошло солнце. А коли очаг стал затухать, то, значит, и Родине нелегко. Недаром Родину матерью называют. Если мать теряет сына, то и Родина теряет его. Но мать лишается одного, а Родине приходится оплакивать миллионы своих сыновей... Надо непременно проведать школу, поклониться ее золотому порогу, вдохнуть ее радостный воздух. Ведь там еще и Торгын, его будущее, хозяйка его очага, теплый огонь его жизни...

* * *

Оказалось, война нанесла еще не все раны Абзалу. Торгын не дождалась его, стала женой того самого капитана, о котором упоминал в своем письме Абитай. Успела двоих детей народить и катается в масле, прозываясь женой председателя райпотребсоюза. Когда Абзал пришел в родную школу, он надеялся увидеть Торгын. Ведь она работала там учительницей. Но она не захотела этой встречи и сумела ее избежать. Даже со стороны не увидел ее Абзал. А он просто хотел заглянуть ей в глаза, чтобы понять предательство.

Абитая тоже не оказалось дома. Он был осужден. Жена его, простая аульная девушка, видимо, была наслышана об Абзале и встретила как родного. Детишки тоже обрадовались его приезду, запрыгали, закричали, что приехал к ним «папа-онисер». Фотокарточку, которую он прислал им с фронта, Абитай увеличил,

вставил в рамку и повесил на стенку, на самое почетное место. Рядом висел семейный портрет: видно, именно этот снимок хотел ему отослать друг, да не успел. Сердце Абзала стиснуло от жалости к детям Абитая, как совсем недавно к ребятишкам нагаши. После расспросов и скромного угощения жена Абитая показала гостю сани, стоявшие во дворе. Полозья их были изящно изогнуты, как лебединые шеи. Спинка сплетена из краснотала. Сама кошевка и оглобли красиво расписаны красными и синими узорами, будто обмотаны широкими блестящими лентами. Видно, сани делались с любовью, и когда-то от них нельзя было глаз оторвать. А теперь краски потускнели, стали гаснуть. Спинка растрескалась, повылезли рассохшие прутья. Нет хозяина, и солнце и ветер сделали свое дело...

* * *

Нет, надо учиться! Надо учиться, чтобы потом быть нужным этим малышам, детям близких ему людей. Ничего, пять-шесть лет придется потерпеть Бисары-женге, самой тянуть дом. Слава аллаху, мир наступил! Трудно будет, но ведь не одной только ей.

Абзал всегда помнил предсмертный наказ отца: «Учись, сынок! В знаниях твое счастье!» А разве нагаши не об этом мечтал? Он сам привез Абзала в интернат, хотя не хотел с ним расставаться. И Родина требует того же. Мирным будням нужны знающие люди. Еще многое предстоит восстанавливать, еще много придется строить. Знания нужны и для того, чтобы не допустить нового пожара. Об этом нельзя забывать!

Темнота принесла людям немало горьких страданий. Взять хотя бы нагаши. Он мучился оттого, что не мог написать домой и не мог прочесть ни строчки из ответного письма. Он чувствовал себя униженным и обойденным. Не зря же первым делом заговорил об этой своей боли, когда встретились они на фронте. «Разве может мечтать о большем человек, если знает грамоту!» — простодушно восклицал дядя. А ведь он не был хуже других. Богатырь, палуан, мерген, серэ! Его уважали и ему завидовали, а тот в душе завидовал тем, кто умеет хотя бы подпись свою поставить на бумаге. «Учись, Абзал, жеребенок наш! Учись всегда и везде! Учись у людей и у жизни! Всю жизнь учись, милый!» — вот наказ родных ему людей. Да, сейчас он один из видных людей в районе. С золотом на плечах и на груди ходит. А дальше? Офицерский мундир не прикроет пустоты. Разве не об этом говорил когда-то своей жене «нарком финансов», отец Тор... Опять это имя!

Да, надо, надо учиться. Недаром в степи говорят, что сильный одного победит, а знающий — тысячу. Прекрасно сказал народ. Человек в борьбе становится сильным. Только в борьбе пробуждаются в нем бойцовские качества. Что же, на войне он не по-

срамил свой край, а теперь ему предстоит не менее тяжелое сражение за знания. Он хочет стать сильным. Правда, Абзалу предлагают хорошую работу. В районе, в военкомате, даже в областном комиссариате. Если он примет предложения, ясно, что не хуже торгыновского капитана будет жить. Ну, а завтра? Завтра придут другие. И надо быть равным с ними. Надо смотреть в будущее...

Теперь Абзала здесь ничто не удерживало. Торгын, похоже, довольна своим нынешним положением, тем, что сыта, одета и обута, а он должен думать о том, чтобы завтра в бурном океане жизни быть не просто пловцом, а капитаном. А ведь как она убеждала его, что будет ждать! Ей бы и мертвый поверил. Может, и сама Торгын искренне верила в свою юную любовь, да на поверку это лишь пеной молодого чувства оказалось. И вообще, что такое любовь, как не обман сплошной? Разве могут два разных человека чувствовать и думать совершенно одинаково? Он теперь никогда женщине не поверит! Ведь сколько лет ей одной молился, закрыв сердце на замок. На других и не смотрел даже. Какие прекрасные девушки встречались на военных дорогах, отважные, гордые, красивые, добрые и верные, а он все об одной думал, не подозревая, что она его давно забыла. Дурак, хвастался всем, что ждет его любимая и обязательно дождется, и при этом расплывался в глупой улыбке, как масло на сковороде. Тьфу! Надо же быть таким идиотом! Верным был, честным и чистым, как монашка невинная, когда Торгын уже лобызала другого, даже не вспомнив о нем. Летел к ней, дурачок, как ангел на крылышках, а его горячей кочергой встретили да прямо по лбу! Так ему и надо, не будет слишком легковерным! Так что же: плакать, смеяться, валиться в ноги?! Может, обратят на него внимание, узнать соизволят?! А может, пойти и зарезать обоих? Да и детей впридачу? Эх, Абзал...

Нет-нет! Даже в шутку не стоит думать о мести. Пусть грызет сердце черная собака ревности, он должен перебороть себя. К черту всех девушек и всякую любовь! И хорошо, никто от учебы отвлекать не будет. За две лодки держаться негоже, обязательно ко дну пойдешь. Не разорваться же между учебой и девкой. Надо выбрать более достойное... Может, Торгын специально так поступила, чтобы не стоять на его пути? Ах, снова это имя! Куда от него деться? Забыть, забыть ее! Прочь все мысли о ней! Измучила уже его, довольно! Прочь, прочь! Хватит с него насмешек и страданий! Надо в себя прийти! Он должен найти свою дорогу, свое место в жизни. И на дорогу эту выведут его только знания...

С этими мыслями Абзал и приехал в Алма-Ату, где вскоре стал студентом физико-математического факультета университета. Офицерскую гимнастерку с майорскими погонами сменил на серую рубаху студента. Все благополучие, которое обещала ему работа, предлагаемая в ауле, он легко променял на хлебную кар-

точку в пятьсот граммов ржанухи и койку в общежитии. Тот, кто идет вслед за мечтой, должен преодолеть немало трудностей, прежде чем достигнет своей цели. Тому немало примеров у всех народов, на всех землях и во все времена. Абзал тоже выбрал себе нелегкий, тернистый путь.

* * *

Еще одну обиду нанесла Абзалу Торгын. Но это случилось неожиданно для него.

В год окончания университета на ноябрьские праздники выдалось четыре свободных дня. Абзал решил съездить в аул проведать семью нагаши. Он хотел узнать, как учатся малыши, достаточно ли сена сумела заготовить женге на близкую зиму, как у них с продуктами, помогает ли колхоз... Словом, надо было съездить. Да и соскучился.

Летние каникулы Абзал проводил в ауле и все хозяйственные заботы брал на себя, обеспечивая родных на зиму чем мог. Надо отдать должное и руководству колхоза, которое не скупилось на помощь. В колхозах в те годы невеселое было житье. Но Абзалу при нужде и подводу находили, и лошадь давали, и материал для ремонта... На джайляу отправляли, чтобы окреп немного на кумысном воздухе. Реже стала вздыхать и женге, потому что медленно, но верно приходил в дом прежний уют и достаток. Теперь, кроме проклятий, она стала возносить судьбе и благодарения. Ребятишки учились хорошо, стараясь быть похожими на Абзал-агу. А летом они все время проводили с ним на горных альпийских лугах. Мечтают, сопливые, тоже поехать в Алма-Ату учиться, и Абзал всегда поддерживает их. Это из-за их будущего уговорил он Бисару переехать из Бурлитобе в соседний Саркандский район, где была русская школа. Зная русский, им и дальше учиться легче будет, и зорче, богаче станут. Пусть поживут в Сарканде, не крайний свет. Да и ему удобней было приезжать сюда из города.

Самый трудный пункт в дороге — Молалы. Здесь редко найдешь машину, идущую в Сарканд. А автобусов тогда не было. Посчастливится попасть в кабину полуторки — и чувствует себя путник, точно в самолет попал.

Попутчиком Абзала оказался его приятель, студент зооветинститута. Тоже фронтовик. Раньше они встречались несколько раз во время летних каникул и познакомились. Обрадовались друг другу и теперь, едва с поезда сошли. Вместе и попутку принялись искать. Им сразу повезло. На пыльной площади стояла грузовая машина, и шофер искал пассажиров до Сарканда.

Обрадовались студенты, будто разом семь зайцев поймали, бросились бегом к машине. Возле нее уже стоял человек с подвязанной щекой и постанывал. Видно, зубы беднягу измучили. Он тоже оказался пассажиром, к тому же знакомым будущего ве-

теринара. Абзал настроился было в кабине сидеть, но пришлось место больному уступить.

Вместе с товарищем привычно перемахнули через борт и устроились в кузове. А дело-то было осенью, дни стояли пасмурные, ночи холодные. Одеты они были легко, по-городскому. Хоть и не до особого модничания было в те годы, но все же тулуп и валенки в городе не носили. Ходили в чем придется, а по возможности, старались раздобыть широченные клеши, штиблеты с дырочками, фланелевую рубашку. О габардиновом макинтоше и мечтать было страшно. Большое начальство в таких ходило. Вошли в моду полувоенные фуражки, придающие мужественный командирский вид. Но на стипендию не очень-то разгуляешься.

Вот и дофрантились до того, что в дороге посинели на ветру, как свекла. Прижались друг к другу и трясутся, проклиная все на свете. А ветер до мозгов пробирает, пара пустяков заболеть. Тут студент-ветеринар и предложил Абзалу:

— Д-д-друг! Брат мой в колхозе «Дингек» председателем. Д-должен встретить меня на арбе. Давай вместе сойдем, погостим у него денек, а завтра в Сарканд двинем, а?

Абзал согласился. Уже сумерки наступили, холод железными клещами вцепился. Если не отогреться, то в Сарканд вместо него кочерыжку привезут. А тут еще снежок пошел...

Подвода давно уже ждала у дороги. Брат студента останавливал проходящие машины и справлялся о своем родственнике. Предусмотрительный родич, даже теплые вещи для гостя прихватил. Вот радость-то!

Пока они здоровались и обнимались, машина тронулась и пропала в темноте. Даже номер ее не запомнили. Спохватились, но поздно. Уехали их чемоданы в Сарканд, а может, и того дальше. На какой автобазе работает тот шофер, черт его знает! Особенно жалко было новые штаны, в которых так хотелось пощеголять перед девушками. Что же теперь делать?

— Слушай,— нашелся Абзал,— ты знаешь того, с подвязанной щекой? Здоровался же. Может, он заметит, что мы чемоданы оставили, а? Он же будет возле дома своего останавливаться. Где он живет, не знаешь?

— Шапочное знакомство,— ответил ему брат-студент.— Дома у него был один раз. Насколько помнится, хата его у самой дороги. Да-да, на берегу речки стоит, чуть в стороне от шоссе. На него надежда маленькая. А что если он свой чемодан возьмет, а наших и не заметит?

— Тогда считай, тю-тю нашему царскому гардеробу!— рассмеялся Абзал.— Шофера мы никак не сможем найти.

На этом и кончился разговор о чемоданах. Посмеялись друг над другом, и встречающий беззлобно пошутил.

Угостили городских гостей на славу. Мясом накормили до отвала, водкой напоили. «Студенту разбогатеть — раз сытым быть». Такая поговорка была распространена в те годы. Это сейчас сту-

дент от пшенной каши нос воротит. Ему ресторан столичный подавай, цыплят «табака».

Наутро, позавтракав, выехали они в Сарканд на горячем колхозном жеребце, запряженном в легкий тарантас. Решили на всякий случай завернуть к тому мужику с подвязанной щекой. Хорошо бы, нашлись чемоданы, а там недалеко обоих и по домам развезти.

Выпавший накануне снег растаял, и дорога превратилась в бурый кисель. Стоило съехать с асфальта, как колеса по самую ось в грязи утонули. Лошадка, что все баловала по дороге да диким взглядом косила, поуспокоилась, не до шуток стало в болоте. Ровно шла, хорошо. Вот вам и трудовое воспитание.

— Кто этот вчерашний твой знакомый?— спросил Абзал.— Ну попутчик наш?

— Я его не очень хорошо знаю,— почесал переносицу студент.— Если не ошибаюсь, зовут его Сырдан. Прошлым летом я с ним случайно в парке познакомился, ходил туда в волейбол играть. Люблю волейбол, а он неплохим игроком оказался. Но выпивши был. После объяснил, что с горя, мол, выпил. Раньше в соседнем районе он на большой работе был, райпотребсоюз возглавлял. Но сняли его за что-то, он и руки опустил. Говорил, что здесь где-то работает, но я уже забыл где. Тогда он по пьянке меня с товарищем к себе домой затащил. Не хотел я идти, да разве пьяного переспоришь. Его жена Торгын...

— Что?!— закричал Абзал, мертвея.— Торгын?!

Парень удивленно посмотрел на него:

— Ты знаком с ней?

— Нет-нет,— растерянно ответил Абзал.— Я знал когда-то одну с таким же именем, но она умерла.

— Ах вот как! То-то закричал, будто клад нашел. С лица весь переменился.

Абзал промолчал. Внешне он был почти спокоен, но кто бы знал, какие бури бушевали сейчас в его груди! Он потерял ее, потерял навсегда, почему же снова она встала на его пути, когда он и думать о ней забыл? Хотел забыть... Хотел. Уже не такой острой была обида, и боль его успела притупиться. Ведь так старательно гнал от себя все мысли о ней. Что может быть хуже, когда думаешь, что погасло чувство, пеплом стало, а оно жжет жарким саксаульным угольком, снова разгорается, несмотря ни на что.

В это время спутник его выпалил, будто подкарауливал:

— Жена у него красивая очень, но грустная. Горе какое-то тайное гложет ее. Но очень красива, прямо глаз не оторвать. Она хотела скрыть свою печаль, но это ей не удавалось. Мы же не дети и видим, когда человеку плохо. Зато муж не обратил на это никакого внимания. Или привык? А может, тоже скрыть хотел? Не знаю. Но тут же стал требовать, чтобы она принесла водки. Правда, жена на его приказы и бровью не повела, отмахнулась

как от назойливой мухи. Словом, пришли в гости, а ушли пристыженные. Хозяину было неловко перед нами. Он проводил нас до ворот, растерянно оправдывался. Все руками разводил и приговаривал, что студентам пить, вообще-то, вредно, мол, мозги нужны ясные, а не затуманенные водкой. Что было потом, я, конечно, только догадываться мог. Но, думаю, без ссоры не обошлось... Если они живут в том же доме, то я найду.

Снова пришлось свернуть с твердой дороги и ехать по самые ступицы в грязи. Наконец студент объявил:

— Если не ошибаюсь, мы доехали. Вон тот дом.

Абзалу показалось, что кто-то смотрит на них изнутри, в окно. Сердце у него вскинулось и застучало, словно испуганный жеребенок. Сколько лет прошло? Изменилась Торгын, наверное. Какой же она стала? Увидеть бы ее! Увидеть скорей! Но как держаться с ней? Все обиды, все страдания разом забылись, что-то новое ворохнулось в груди, теплое и беспомощное, как птенец. Все отчуждение и искусственная неприязнь рухнули в один миг. «Я увижу ее! Наконец-то! Увижу... ее. Пришло время встретиться»,— захлебываясь, шептало что-то внутри.

Арба, поскрипывая, въехала в открытые ворота. От колес летели ошметки грязи. Остановились у самых дверей. Абзал первым спрыгнул с телеги, принялся отряхиваться, а сам глазом косил в сторону окна, из которого смотрела на них женщина. Лицо ее трудно было рассмотреть за стеклом. Но ведь это Торгын! Абзалу ли не узнать ее даже за сотней окон! Это она! Конечно, это она. Ее взгляд жгучий. Абзал помнил его все эти годы. У него вдруг стали неметь руки и холодеть губы. Сердце точно злая верблюжья колючка, и с каждым ударом колючки все больнее впивались в раненую душу его. На лбу выступила испарина...

Из дома лениво выполз смуглый до черноты джигит. В волнистых волосах его поблескивала седина. В нем можно было признать вчерашнего попутчика с перевязанной щекой. Он чуть заметно пошевелил губами, приветствуя их. Студент шумно поздоровался с ним как со старым знакомым, о чем-то спросил, даже об истории с чемоданами успел поведать.

Хозяин почесался, не стесняясь гостей, и наконец сказал:

— Да, я знаю. Забыли про свои вещи. У меня они.

— Ура!— воскликнул обрадованный студент.

Абзал слушал все это краем уха, а сам глаз не мог отвести от проклятого окна. Снова мечтал увидеть то смутное лицо за стеклом, те огненные глаза. Но наконец он сумел взять себя в руки и повернулся к арбе, возле которой стояли те двое. Ох, как трудно будет перешагнуть порог ее дома, сказать первые, ничего не значащие слова. Но надо себя пересилить, чтобы не выдать смятение, Абзал принялся про себя повторять то, что он будет говорить.

Вошли в прихожую, но там никого не оказалось. Абзал украдкой осмотрелся: обстановка показалась ему бедноватой, а компа-

та серой и неуютной. Что-то не похоже, чтобы жил здесь бывший ответственный работник. Из соседней компаты слышались громкие ребячьи голоса.

А Абзалу не терпелось увидеть Торгын. Он слышал и не понимал, о чем говорили эти двое. Изредка кивал головой, даже не зная с чем соглашается. Притворялся, что поддерживает беседу, а сам глаз от двери оторвать не мог.

Он вздрогнул, услышав пронзительный голос хозяина:

— Эй, Торгын! Поставь чай для гостей!

Неуверенно как-то приказал, не так, как положено хозяину. В окне мелькнула женская фигура и тут же пропала. Абзал успел заметить коромысло и ведро. По воду пошла, отметил он, узнав Торгын по тугим косам. Да, это была она. Вроде, почти не изменилась. Только голова низко опущена. Но это, видимо, от коромысла. Вернется сейчас и чай поставит. Абзал сделал вид, что хочет размяться, и подошел к окну. Он стоял и смотрел вслед Торгын, пока она не скрылась из виду.

А Торгын так и не вернулась. Делать было нечего, пришлось убираться, забрав чемоданы, так и не дождавшись угощения. Но разве о чае думал Абзал, разве угощения ждал?

Бормоча что-то виноватое, проводил их до ворот хозяин. Снова колыхнулась в душе тоскливая обида. Да и как же не обижаться ему па Торгын?

VI

Теперь-то Абзал твердо решил забыть ее. Поначалу ничего не получалось, но постепенно время вылечило его от этой боли.

Годы прошли. Он уже закончил учебу в университете, семью завел. Дом можно построить, часто думал он, дворец возвести, а вот семью создавать падо. Женился он на девушке-сироте, такой же, как и сам. Она тоже училась в Алма-Ате, по профессии врач. Зовут ее Сандугаш. Соловьем своим называл ее Абзал, мучаясь и стыдясь чего-то. Но был с ней искренен, любил, как умел, хотя и не мог не сравнивать с той, которая долго еще стояла между ними. Очень любила своего Абзала скромная и ласковая Сандугаш, двух детей ему подарила, сына и дочь. И хозяйкой оказалась хорошей. Теплым стал его дом, когда в нем поселилась эта тихая радость.

На работе с самого начала все пошло хорошо. Все годы учебы в университете Абзал был сталинским стипендиатом, а после окончания ему предложили остаться в аспирантуре. Он сделал некоторые изменения в своих документах: имя погибшего пагаши стало его отчеством, а имя отца звучало в фамилии Абзала. Так он почтил память дяди.

За каких-то три года сумел он закончить аспирантуру и даже стать кандидатом. Тогда же встретил и свою Сандугаш. После защиты Абзал попросился на практическую работу. Правиль-

ность этого решения подтвердила сама жизнь. Через пять лет он закончил докторскую диссертацию. Его заметили, доверили пост заместителя директора того же института, где он начал трудиться, а потом и директором назначили.

Сын нагаши Амангельды закончил горный институт и работал в геологической партии. После окончания медицинского вышла замуж Умитгуль и уехала в Кентау, на родину мужа. Он у нее секретарь горкома комсомола.

Сумел Абзал помочь и двум детям Абитая. Один из них зоовет окончил и работает в родном колхозе, парторг. А дочь еще дальше пошла. В Ленинграде учится, в аспирантуре, после окончания биофака. Видно, способности к учебе унаследовала от отца.

Абзал радуется за всех и по-прежнему беспокоится. В жизни часто так бывает: делаешь доброе дело, а хочется еще больше. Хорошими людьми растут дети. Красивыми, воспитанными, умными, а главное, добрыми и человечными. Шутит Абзал, что не знали эти дети нужды в витаминах, а сам счастлив за них.

Особенно приятно бывает ему в дни праздников, когда собственные его дети не успевают вытаскивать из ящика открытки и телеграммы. Да и сам он с работы охапку писем приносит.

— Абзал Ниязович,— сказала ему однажды секретарша,— сколько у вас друзей и родственников! Одни только праздничные поздравления дней пять печатать приходится! Ужас!— И она рассмеялась.— В Москву, в Ленинград, в Киев, по областям, а сколько алма-атинских!..

— Дай и вам бог, милая, чтобы было кому писать,— улыбнулся Абзал.

— Неужели вы всегда заново готовите для всех новый текст?— удивилась Зоя.— Ведь у вас и без того времени нет свободного.

— Слова тоже стареют и прежние не годятся для новых чувств, для нового дня,— серьезно сказал Абзал.— Это как встречи, понимаете? Каждый раз нужны другие слова, которые бы дошли до сердца. К сожалению, вы правы в том, что нет времени. А нужно! Ох как нужно! И времени для людей жалеть нельзя... Так что... пишу как могу...

Но не всегда вовремя получалось это у Абзала, и часто тянул он с поздравлениями до самого праздника. Конечно, горячка не лучшее дело, тем более, что большая нагрузка падает на секретаря. Но Зоя всегда готова сделать приятное для Абзала. Он придает особое значение своей личной переписке. Для секретарши это кажется формальностью, долгом вежливости. Но для Абзала в этом тоже пульс жизни, радостно сознавать, что где-то ждут его писем, что он нужен кому-то. И когда долго нет от кого-нибудь вести, он изводится, расстраивается и тревожится. Почему молчит? Может, что случилось? Сандугаш хорошо знает об этом и все письма тут же несет мужу, радуясь, что может сделать ему приятное. А вести приходят разные: от родственни-

ков, однокурсников, боевых друзей. Люди, выросшие в интернате, в детдоме, особенно ценят родственные отношения. Всю жизнь не хватало им ласки и тепла родного дома. И жажда по такому теплу не оставляет их всю жизнь.

* * *

Приближался праздник. Накануне его выдалось особенно много работы. Неожиданно резко зазвонил телефон. Абзал поднял трубку.

— Слушаю вас!

Что такое? На другом конце провода молчали. Не шутить ли вздумали? Да ведь не вовремя. Кто-то дышал и молчал в трубку.

— Алло! Алло! Кто это? Я вас не слышу. Перезвоните, пожалуйста!

— Абзал, это ты?— Голос нерешительный и как будто незнакомый. Но где-то он слышал его, этот голос. Кто же это? Говорит по-казахски, волнуется. От предчувствия чего-то непоправимого Абзала затрясло.

— Это ты,— тихо повторила трубка.

— Да, да, да.

— Ты не узнал меня.

— Кто вы? Кто?

— Торгын.

— Торгын?! Тор-гын...— закричал Абзал, точно раненый, забыв про возраст, про положение, про все на свете.— Зачем?!

— Не знаю... Но это я, Торгын. Я не очень тебе помешала? Извини, что на «ты» с тобой после стольких лет. Прости меня.

— Я не обижаюсь,— с трудом выдавил Абзал.

— Ты сможешь меня навестить? Я остановилась в гостинице «Алма-Ата», в 411 номере. Мне очень хочется тебя увидеть. И не только...

— Зачем?— с болью спросил Абзал.

— Так нужно, поверь мне. Нужно, Абзал. Я... я приехала, чтобы в больницу лечь. Понимаешь? Это очень серьезно. Надо быть мне готовой ко всему, понимаешь? Я не могу с таким грузом на душе умирать, Абзал.

— Что ты! Не надо говорить о смерти! Все обойдется.

— Ты должен знать все. Приходи.

— Хорошо-хорошо, я приду. Я непременно приду.— Он не мог больше ничего сказать, так вдруг перехватило горло.

Позвонил домой и предупредил Сандугаш, что придет поздно. Но не сказал ей, где задержится. Впервые скрыл...

* * *

По дороге в гостиницу Абзал думал о том, как он будет держаться с Торгын во время этой встречи. Надо спокойно выслу-

щать ее, поговорить и проститься. Но решение его поколебалось, едва он поднялся на четвертый этаж. Ему вдруг зябко стало у самой двери номера, и он снова почувствовал себя заброшенным и одиноким, как в детстве. В горле внезапно пересохло, галстук стал тесным. Ослабив узел, Абзал расстегнул верхнюю пуговицу на рубашке. Чтобы успокоить неистово скачущее сердце, немного отдышался. Почему же через столько лет после незабываемой лунной ночи сердце его забилось так знакомо и молодо? Ведь давно уже не мальчик. Можно сказать, пожилой мужчина. И Торгын тоже не девочка. Годы-то никого не жалеют. В разных домах живут, у разных очагов греются. И ничего не нужно менять.

Такими мыслями старался он утешить себя, но получалось это плохо. Волнение перед встречей сделало его слабым и беспомощным. Все здравые мысли куда-то подевались. Пора входить. Он постучал.

— Да-да!— ответил мягкий голос. Теперь он сразу узнал его и успел удивиться, прежде чем толкнул дверь. Оказывается, голос любимой не меняется. Любимой! Как горько! Неужели всю жизнь он любил только ее?

Абзал открыл дверь и прошел в комнату.

— Тебе никогда не надо стучаться ко мне, Абзал. Для тебя всегда открыто.— Торгын пыталась улыбнуться.— Ты вправе ворваться и растоптать меня.

Она еще говорила что-то как в бреду. Губы ее тряслись от плача. Абзал оцепенел. Но тут Торгын не выдержала и зарыдала, бросилась к нему и обняла так сильно, что Абзал застонал от жалости.

— Не отталкивай меня! Не отталкивай! Я двадцать лет ждала этого дня! Я двадцать лет мечтала о том, чтобы обнять тебя один раз и умереть. Не отталкивай меня!

Она шептала как безумная эти слова, шаря слепыми от горя глазами по его лицу, а сама говорила о счастье:

— Я счастлива, Абзал, моя долгая мечта! Я счастлива впервые за двадцать бесконечных лет! О, как я тебе благодарна! Ведь ты пришел ко мне? Ты же пришел? Ко мне! Ты пришел!

А у него все плакало внутри, каждая клеточка рыдала и тосковала. Что-то звонкое, как струна, лопнуло в сердце, и печальный до боли хор женских голосов запел в далеком далеке: «Любви прекрасной чудный дар...» Неужели воскресла в нем «Корлан»? Не надо! Нет!

Абзал медленно приходил в себя. Ему показалось, что на миг он потерял сознание. Но на груди его томилась от боли Торгын, не в силах вернуть прошлое, и плечи ее сотрясались от горьких рыданий.

Он молча провел рукой по ее волосам и поднял голову. В зеркале напротив он увидел себя. Как он изменился за эту минуту! Из зеркала смотрел человек с очень больными глазами, с бледным, меловым лицом.

Ничего не вышло из его решения держаться спокойно и быть терпеливым. Ведь он собирался прийти, поговорить и уйти. Но кто мог знать, какую встречу ему приготовила Торгын. Да и знала ли она об этом сама? Нет, здесь через край выплеснулось долгое горе ее. И все получилось по-другому. Не смогла она скрыть все, сил ее больше не хватило. И этот взрыв не мог не взволновать Абзала. Сила ее чувств потрясла его.

...Конечно, разговор их не мог быть коротким. Торгын рассказывала о себе. Слезы почти непрерывно лились из ее глаз, но она их не замечала.

— Конечно, нет для тебя человека более ненавистного, чем *я*. И я тебя не виню. Сама судьба, видно, хотела, чтобы я была наказана за свое предательство, и бросила меня под ноги тебе. Знаешь, что помешало мне умереть тогда? Мысль о том, что эта жертва нужна тебе, что ты должен потерять меня, чтобы остаться живым.

— Лучше бы я умер,— глухо и неожиданно для себя сказал Абзал. Торгын печально посмотрела на него, и он с болью сравнил ее с одиноким опавшим деревом.

— Нет, Абзал, я не так выразилась. Правильней будет, если я скажу, что я должна была потерять тебя ради тебя же.

— Мне не нужно жертв,— снова кольнула обида.

— Но мне нужны были эти мысли! Оставь их мне! Хотя бы их! Запуталась я в липкой паутине, как стрекоза беспечная. Обгрыз мне крылышки паук, всю душу, всю кровь высосал! Душит меня до сих пор, ой как душит! И если весь караван кочует к солнцу, мой верблюд идет назад, к тьме. Все лучше живут люди, все радостней, а моя короткая радость вся в прошлом и мне все хуже и хуже с каждым днем. Не жалуюсь и не оправдываюсь, Абзал, просто все рассказать тебе хочу до конца. Может, легче мне станет? А может, ты не хочешь, чтобы мне было легче? Я и сама этому не верю, потому что чистую твою любовь не смогла сохранить, себя сберечь для тебя одного. Так мне и надо...

Трясина, паутина, не все ли одно? Я попала в эти сети во время войны, ты знаешь. И до сих пор не отпускает меня тот паук. Ох, как я рвалась из этих сетей, но не могла вырваться и до сих пор бьюсь словно муха обреченная. До сих пор не могу прийти в себя, все кажется, что должен кончиться этот проклятый сон, этот черный кошмар. Ты уж наберись терпения и выслушай меня. Я хочу открыться перед тобой, перед первой и единственной своей любовью. Не прошу меня простить, но понять меня ты должен. Ума тебе не занимать, да и сердца тоже. Я верю, ты поймешь меня. Ведь на чаше твоих весов всегда перевешивала справедливость. Сумей же быть справедливым и ко мне. Я плачу не только от горя, но и от радости, что пришел этот день. А может, рада тому, что тебя вижу? Не знаю. Ничего не хочу скрывать. Давно не было мне так хорошо и легко. Будто из заточения вырвалась. Не так уж много осталось мне жить, но

меня конец не страшит. Потому что много лет я была мертва. А сегодня, благодаря тебе, я живу. У меня очень плохое здоровье, Абзал.

...Война есть война. Страшным горем обрушилась она на всех, не на меня одну. После двухмесячных курсов стала я учительницей в нашей же школе. Ты об этом должен знать из моего первого письма. Отец ушел на фронт раньше своих сверстников. Не знаю почему, но думаю, что ушел он добровольцем. Словом, осталась я единственной кормилицей и опорой матери. А ведь я тоже рвалась на фронт, хотела быть рядом с тобой и подумывала о курсах медсестер. Но не могла маму оставить, жалела ее. Ведь она бы совсем одна осталась. Мама привыкла ни о чем не думать, жила в достатке и почете при отце. И вдруг мы сразу как-то несчастными и жалкими стали. Да, жалкими, я не боюсь этого слова. Мне было легче, а мать горе сломило. Она сразу, на глазах постарела, стала вялой и безразличной ко всему. Так и жили, без радости, без смеха. Каждый шаг казался долгим, а незабитый гвоздь — трагедией. Сузился мир.

В сорок втором году я вела и всю комсомольскую работу в школе, и поэтому часто приходилось бывать в райкоме комсомола. Секретарем райкома тоже была девушка, года на два старше меня. Однажды передали, что меня вызывают в райком. Когда я пришла туда, то в кабинете первого секретаря увидела человека в военной форме. Тогда я еще слабо разбиралась в знаках различия. Подумала, что какой-то фронтовик зашел по делам. Словом, не обратила на него особого внимания.

— Вы меня вызывали?— спросила я у секретаря.

— С вами хочет поговорить товарищ капитан,— сухо ответила она.

Я повернулась к военному и тут вспомнила, что видела его раза два в кино. Раньше я его никогда в наших краях не встречала. Места рядом оказались, и он пытался ухаживать за мной.

— Проводить вас позволите?

— Нет, спасибо,— ответила тогда я ему, не придав заигрываниям никакого значения.

Но зато он выразительно бросил:

— Не ошибись, малютка. Как бы пожалеть не пришлось.

Мне была неприятна его угроза, но страха я не испытала. Мало ли что говорят отвергнутые джигиты. А зря его слова без внимания оставила.

— Что нужно этому человеку?— спросила я нарочно у секретаря райкома.

— Об этом вы узнаете от меня!— резко сказал капитан и повернулся к той девушке.— Вы найдите себе пока другой кабинет. У нас особо конфиденциальный разговор.

Меня, признаться, это незнакомое слово, такое ученое и официальное, испугало и я запротестовала:

— Я с вами не останусь!

— Нет останетесь!— отрезал он.— Вы знаете, кто я? Так вот, для информации, я из такого учреждения, где не спрашивают разрешения войти, поняли? Не таким, как вы, рот затыкали. Так что ведите себя соответственно и прекратите пререкания. Раз я сказал, значит, есть разговор.

Со мной еще никто так грубо не разговаривал. Грубо и страшно. Мне стало не по себе. Я даже не сумела обидеться, куда девалась моя гордость! И даже пожалела, что так строптиво начала с ним разговор.

— Хорошо.— Я все еще пыталась собрать остатки достоинства.— Что вам от меня нужно?

Секретарь давно вышла, а я и не заметила. Капитан стал расстегивать пуговки плоского офицерского планшета. Пока он доставал бумагу, я сумела рассмотреть его. Тонкий, острый, какой-то принюхивающийся ко всему нос. Казалось, нос этот жил отдельной жизнью от желто-серого, желчного и худого лица с тонкими злыми губами. Глаза у него были пустыми и равнодушными. Глаза палача. Страшные. Взгляд их вселяет ужас, как взгляд змеи.

— Назовите имя и фамилию вашего отца?

— Толыбай Курганов.

— Лучше бы он под курганом лежал, этот Толыбай, а не был Кургановым!— зло скривился капитан.— Ваш отец предатель. Он добровольно сдался немцам. Выходит, вы дочь изменника Родины. А она еще нос тут, понимаешь, задирает!

Я ничего не понимала. Что он говорит?! О боже, что он говорит?! Не помню, как лишилась чувств. Пришла в себя оттого, что кто-то лил мне на грудь воду. Платье было расстегнуто, и грудь, к которой никто не прикасался, бесстыдно обнажилась перед этим страшным чудовищем. Это сразу привело меня в ярость. Я вскочила с места. Капитан молча посмотрел на меня и сказал холодно:

— О нашем разговоре никто знать не должен. С этого дня вы сами будете приходить в нашу контору. Наше учреждение находится за рекой, да вы и сами об этом прекрасно знаете. Скажу вам по секрету, что семьи изменников Родины находятся у нас под особым контролем. Никаких больше выходок ваших я не потерплю. Правила у нас очень строгие, учтите это на будущее. Идите!

— Нет!— закричала я, все еще объятая ужасом.— Нет! Этого не может быть! Это страшная ошибка! Мой папа не предатель! Я его знаю! Знаю! Он умрет, но не сдастся в плен.

Он только издевательски засмеялся в ответ:

— Запомните, милая, что мы никогда не ошибаемся. У нас не доказанных и не проверенных фактов не бывает. То, что вы защищаете преступника, не в вашу пользу.

Я молчала, подавленная и потрясенная случившимся, и не знала, что сказать этому человеку.

— Допустим... Но наша вина в чем?— начала и тут же прокляла себя за то, что даже в мыслях допустила возможность предательства со стороны папы. Но было поздно.

— А вы сами подумайте. Разве может предатель воспитать в своей семье преданного нам человека? Разве ненависть свою тайную к нам не передаст своей дочери, которая в любой момент может так же предать нас?

— О боже! Что вы такое говорите?! Да как же вы смеете жить с такими мыслями?!— заплакала я, совсем опустошенная и разбитая.— Вы глубоко ошибаетесь.

— Это вы ошибаетесь. Вы, даже если не виноваты! Ведь потеряли бдительность? К разговору об ошибках мы еще вернемся не раз. А сегодняшнюю беседу на этом закончим. Распишитесь вот здесь о неразглашении.

Совершенно подавленная, я послушно поставила какую-то закорючку.

Весь тот день я никак не могла прийти в себя, будто рыба, выброшенная на песок. Мне не хватало воздуха, и я готова была расцарапать себе грудь. Все было как в кошмарном сне. Не помню, как я провела свои уроки.

Матери, конечно, я ничего не стала рассказывать, боясь, что у нее разорвется сердце от горя. Я решила молчать. И все думала об отце. Такое чувство, наверное, бывает у брошенных детей. Любовь, уважение, ненависть, гнев, обида — все странным образом перемешалось во мне. И еще стыд... А потом пришла внезапная и острая тоска по нему. Я не могла так просто взять и отдать его плохому. «Нет-нет, не может быть! Он не предатель!— по-детски, наивно защищала я его про себя.— Он хороший! он честный! он добрый!»— «А ты докажи!— требовал кто-то.— Докажи, что он не предатель! Факты у тебя есть?»—«Он не такой, я знаю, и все!»— кричала я, но фактов у меня не было.

Вот так я и попала в это страшное испытание. И... не выдержала его, Абзал. Я металась между водой и огнем. Через день вызывал меня капитан в свой кабинет, всегда к вечеру. Но не ночной темноты я боялась, а могильного холода, змеиных глаз моего мучителя.

Целый месяц прошел в глубокой тоске. Он допрашивал меня обо всех наших дальних и близких родственниках, о друзьях и знакомых, о предках, давно умерших, об их дедах и прадедах. Искал каких-то баев. Это он называл «классовым подходом». А обо мне он знал больше, чем я о себе. Расспрашивал и о соседях, старых и новых. С кем они водятся, куда ходят, кто к ним приходит. Обо всем хотел знать. Каждый вызов его был ужасней предыдущего. Мне казалось, что меня публично раздевают.

Однажды мама что-то заметила и спросила:

— Что с тобой, дочка? Похудела-то как! Невеселая ходишь.

— Все сейчас худые и невеселые, мама,— отмахнулась я.

— Нет-нет,— не поверила она.— Что-то ты от меня скрываешь. Что-то точит тебя изнутри изо дня в день.

— Ничего, мама, может же быть у человека просто плохое настроение,— как можно равнодушней сказала я. Она странно на меня посмотрела и промолчала.

Не могла я, боялась сказать ей правду.

Вышла я однажды ночью из дома и замерла. Кто-то стоял, прижавшись к стене, у самого окна. Ночь темная, безлунная, воровская. Я о ворах и подумала. Тогда их немало развелось. А беда ведь одна не приходит. До войны мы неплохо жили, было кое-какое добро. Эти запасы нас и поддерживали в трудные дни. Но ведь и они не бесконечны. Все это как-то молнией в голове пронеслось. Если вор, то до нитки нас оберет, на тяжелую нужду обречет.

— Эй, кто там?!— закричала я во весь голос.— Кто там прячется?

— Тсс!.. Тише вы там, гражданка Толыбаева! Я это! Нечего шум поднимать!

Я по голосу узнала капитана и вся сжалась, как кролик перед удавом. Да и был он для меня страшней целой шайки отпетых воров и бандитов. Еле слышно сумела я спросить:

— Что вы здесь делаете?

— Я могу вам не отвечать, но скажу, что по-нашему это называется «ночное наблюдение». Так что перестаньте кричать и не мешайте работать.

Подумав, сколько же ночей он мог следить за каждым нашим шагом, я ужаснулась. Но тут он сухо, как в кабинете, спросил:

— В доме есть посторонние?

— Чужих никого нет.

— Ну и хорошо,— буркнул он и пошел со двора.

Капитан так напугал меня, что я в ту ночь совсем не смогла уснуть. Чего только не передумала до зари! Вон как за нас взялись! Выходит, и вправду отец стал изменником? С чего бы иначе весь этот сыр-бор разгорелся? А во мне волчица голодная воет: «Нет! Нет! О-о-оу-у!» Я чуть с ума не сошла под утро. Билась как птица в клетке, но никакого решения так и не могла найти.

Однажды я не выдержала и рассказала про свою беду Абитаю, приехавшему в район на какое-то совещание. Не было у меня больше никого ближе, чем он. А он, сам знаешь, какой горячий. Разбушевался, в страшный гнев пришел, кричит:

— Ах негодяй! Да я и на него найду управу! Кто ему измываться над людьми позволил? Ведь какая война идет! Ну ладно, предположим, что твой отец попал в плен. А ты-то при чем? Чего он от тебя хочет? Я с ним поговорю!

Ну и поговорил, видно, несчастный, на свою головушку буйную. Скоро услышала я весть о том, что Абитай арестован. Не прошло и двух недель, как его посадили. А я сразу после встречи

с ним пожалела, что все рассказала, но поздно было. Видно, Абитай не стал в долгий ящик откладывать беседу с капитаном, потому что при первом же вызове тот набросился на меня с бранью и угрозами.

— Вы почему нарушили мой приказ о неразглашении? Вы под арест пойдете за это! Не можешь язык за зубами держать, баба, а еще за отца заступаешься! Яблочко от яблони недалеко падает.

И я поверила. Для меня это было потрясением. Ведь я выдала тайну! Значит, я могла тоже стать... У меня даже язык не поворачивался произнести это слово. Я могла стать предательницей, Абзал, и я ею стала. Я нашу любовь предала, значит, и большее могла... Ох, как тяжко!

За что взяли Абитая? Не знаю. Говорят, большая растрата была у него в хозяйстве. Только и узнала, что в тюрьме сидит. Кто знает, может, я была виновата в его гибели? Но где уж мне было думать о чужом горе, когда своего через край? Поверишь, даже расспрашивать о нем боялась. Даже передачи ни одной снести ему не могла. Думала, как бы капитан и это мне в вину не поставил, не пришил еще одну заплату на ветхое одеяло.

Когда приехала жена Абитая, я ее не пустила в дом. Взмолилась: «Милая! Если хоть чуточку нас жалеешь, найди другой ночлег! Наше положение ничуть не лучше твоего». До сих пор мучает меня мысль, что в беде Абитая виновата одна я. От этой мысли холодно, как в склепе, становится. Но и это еще не все. Как-то капитан снова меня вызвал. На этот раз о тебе стал спрашивать.

— Вы вместе учились с Абзалом Мырзакуловым?

— Да, мы одноклассники.

— Какие у вас были отношения с этим человеком?

— Я люблю его. Жду его возвращения.

И тут он стал смеяться. Это было так отвратительно, что меня всю передернуло. Он заметил на моем лице брезгливость и перестал хохотать. Долго, со злорадством смотрел на меня и наконец сказал:

— Вот оно как! Эх, милая моя! Мало того, что вы дочь врага, так вы, оказывается, еще невеста предателя. Ну и семейка, упаси аллах!

— Что?! — только и вскрикнула я.

— Но-но, ничего говорить не надо! Нам хорошо известно, где сейчас находится этот Абзал, на кого работает и какому немцу зад лижет.

Два месяца от тебя не было писем. Я вся извелась в думах о тебе и совсем растерялась, не зная, что сказать капитану.

— Можете оплакивать свою любовь сколько угодно, но вернуть вам ее уже невозможно. А вы и не знали, что он предатель.

Мало мне было горя с отцом, так тут еще одна бомба разорвалась прямо над головой. Но, оказывается, до этого я еще жила, и

только услышав такое о тебе, я умерла окончательно. Но прежде чем окаменеть, заплакала навзрыд, потому, может, что теряла навсегда не только тебя, но и веру в людей, в доброту, честь, в справедливость, во все, чему нас учили с детства.

— Распишитесь в том, что вы подтверждаете свои показания. Выходит, и вправду любили?— издевательски спросил он.

Я расписалась как заведенная.

Жить стало хуже некуда.

Однажды я взмолилась, чтобы он разрешил мне уехать отсюда куда-нибудь в другое место. Но он отказал:

— Сейчас вам никак нельзя уезжать отсюда. Я за вас головой отвечаю. А она у меня тоже одна.

— Что делать?— спросила я.— Вот мы с вами, хоть и в трудных обстоятельствах, но все же стали знакомыми. Где выход, подскажите? Ведь вы старше и опытней меня.— К мучителю своему за советом обратилась в отчаянии.

И тут кончик носа его странно так зашевелился, будто живой мышонок. Ниточка губ раздвинулась в улыбке. Он как-то на глазах подобрел. Но эта доброта его еще больше меня испугала...

В это время Абзал прервал рассказ Торгын:

— Я ведь писал тебе. Каждую неделю, по крайней мере, писал. А ты говоришь, что два месяца от меня писем не было. Как же это случиться могло?

— Потерпи, Абзал, ты обо всем узнаешь.— Она посмотрела в зеркало и увидела в нем отражение Абзала, с кирпичным румянцем на щеках, лихорадочно возбужденного.

— Что было дальше?

— Ах да!.. Он вдруг подобрел, но разве может быть доброй змея? Потом заговорил:

— Подумайте сами, милая. Никому как мне не известно о вашем положении лучше. Оно очень сложное. По-человечески, мне жалко вас, я вам даже сочувствую, но есть нечто более высокое, чему мы все подчиняемся. Ведь мы просто винтики огромной машины, которая должна работать безупречно. А если кто-то думает, что может сунуть палку в колеса, то машина его безжалостно раздавит. Не из жестокости, а по необходимости. Вы дочь того, кто пытался противостоять нам. Он оказался гнилым винтиком. Конечно, из-за него катастрофы не произойдет, но ведь каждый винт должен служить верно и долго. Наша задача в том и состоит, чтобы вовремя находить ржавые гвозди и заменять их исправными. Вы понимаете, что гнилой овощ весь воз заражает. Вы, образно говоря, ближе всех были к гнили.

«Боже!— думала я.— Да здесь целая философия! Что делать? Ведь он по-своему прав». А как мне было свою правоту доказать?

— Что делать?— вырвалось у меня.

— Сейчас скажу.— Капитан пожевал губами и продолжил:— Вы помните такое выражение: «Жена Цезаря вне подозрений»?

Я молча кивнула головой. Он довольно захихикал:

— В нашем положении этим Цезарем в некотором роде являюсь я.

Я похолодела от ужасного предчувствия. Я уже понимала, куда он клонит, но верить не хотела. Неужели все это подлое дело он затеял ради того, чтобы поймать меня в свои сети?!

— Я холост,— добавил он, испытующе глядя на меня.

— Значит, вы меня замуж хотите взять?— наивно спросила я.

— Да. Для вас это единственный выход вырваться из столь трудного положения.

— Но кто же вы тогда будете, если женитесь на дочери предателя и невесте изменника? Вас же не станут держать на такой работе! Нет-нет, такой жертвы я не приму!— хитрила я, и сердце мое как-то ожило. Кажется, впервые я нашла у капитана слабое место.

— А об этом пусть у вас голова не болит!— рассердился он.

— Но я же говорила вам, что у меня есть джигит, которого я жду. Я сказала, что люблю одного его. Какая же из нас с вами семья получится, если вы будете знать, что жена ваша другого любит? Разве вы будете счастливы? Об этом-то вы подумали?

Я говорила свободно, легко впервые со дня встречи с этим человеком, принесшим мне столько страданий. Я смотрела ему прямо в лицо и ждала ответа. Он нахмурился, посерел от злости, но сдержался.

— Да вы, я вижу, совсем еще ребенок. Кто же в наше время верит в такую галиматью, как любовь? Это же романтический бред! Разве вы не знаете, что мужем становится тот, кому отдана первая ночь девушки? А говоря по-вашему, супругой становится, бабой!— Он был предельно откровенен со мной, даже груб, но это меня не оскорбило. Я слушала, что он дальше будет говорить.— Неужели вы забыли, что дружок ваш предатель? Вам лучше вообще забыть о нем. Надеяться на его возвращение глупо. Если там не подохнет, то здесь будет расстрелян. Вы должны отказаться от прошлого. Иначе дни ваши станут еще мрачней. О, вы не знаете многого! Есть очень сильные средства для борьбы с врагами народа. Лучше синица в руке, чем журавль в небе. Да и тот давно свое откурлыкал! Словом, не могу же я бесконечно с вами возиться. Времени у нас больше нет. Недели хватит вам подумать и ответить?

— Но если вы не поняли, я вам уже дала ответ.

— Какой ответ? Что не любите?

— Точно. Именно такой.

— А я вашей любви и не просил. Я жду ответа на вопрос: будете вы моей женой или нет? А неуместная горячность может и к пропасти подвести. Безнаказанно отталкивать приходящую внезапно удачу глупо, милая. Словом, подумайте.— Он встал с места, подошел ко мне не спеша, протянул руку к моему плечу.

Я ударила его по руке, а он засмеялся: — Строптивая, необъезженная! Но красивая! Очень, очень мне по душе такие! Я сущую правду говорю, милая. Эх, если б ваш отец...

— Боитесь его? Карьере помешает? Так оставьте меня в покое. Не мучайте больше, прошу вас.

— Эх, кто-то сказал: «Если б мясо перестало быть вкусным, то я тут же перестал бы его воровать».

— Значит, вы вор?

— Э-э нет! Здесь не воровство, а страсть.

— Выходит, вы хуже вора. Ведь вы хотите у человека его честь украсть, стыд!

Вывел он меня из себя. Меня ничто больше не сдерживало. Я вызвала его на открытый поединок. Он понял это и снова рассмеялся. Походил, померял шагами свой кабинет.

— Строптивая,— повторил он.— Ничего не скажешь. Мне ваша горячность нравится. Говорят, чтобы укротить строптивого коня, надо его до пены прогонять. Тогда он становится послушным. За эти слова как бы не пришлось вам завтра краснеть, когда вы моей женой будете.

— Вы что?— удивилась я.— Так говорите, словно я уже вошла в ваш дом.

— Ну, от этого вам никуда не деться. Подумай, Торгын, подумай как следует,— и он с улыбкой посмотрел на меня. Не сдержав отвращения, я отвернулась.

— Мы с вами, кажется, отклонились от основной темы нашей беседы. Пока оставим этот разговор. Вот что, принесите мне все письма, полученные вами от этого вашего, так называемого жениха. Да и отцовские письма тоже не забудьте прихватить. Все до одного!

И снова страх оледенил мое сердце. Опять показалось, что заточил он меня в темную яму смертников.

Подошло и назначенное время. Встретил он меня в этот раз с улыбкой, а не сурово, как обычно. Будто не сомневался в положительном для себя ответе. Ждет.

— Вы меня напрасно мучаете,— сразу сказала я.— Ничего у нас с вами не выйдет. Поймите же, я жду и буду ждать. Вернется он — мы рады будем вас на свадьбу пригласить, а если не вернется, то я готова невенчаной вдовой на всю жизнь остаться. Я его очень люблю, не вставайте между нами.

Капитан молча выслушал меня и, кажется, не обратил на мои слова ни малейшего внимания. Только улыбка пропала.

— Где письма?— сухо спросил он.

— Ни одного письма не осталось. Порвала я их, оказывается.

— В таком случае, вам придется так же поступить и с вашим дурацким бредом. Наплевать и забыть. Все. Можете идти, когда понадобитесь, вызовем. Идите!— Он сорвался в крик:— Я тебе покажу, соплюха, такую любовь, что маму забудешь!

Этот крик я услышала уже за дверью. И от отца ждала пи-

сем, и от тебя, а их все нет и нет. Эх, мне бы тогда по весточке короткой с фронта получить, я бы уж постучала кулаком по столу этого капитана. Я бы высказала ему все, что думаю о нем. Почитай-ка, дракон, эти письма! Никакие они не изменники! Все ты сам выдумал, черная душа, лгал всегда! За эту клевету сполна ответишь! Никто не простит подлости по отношению к семье фронтовика!

Но увидеть такой светлый день мне было не суждено. Не было писем. И ваше молчание словно подтверждало страшную правоту капитана.

Как-то, вернувшись с работы, я не застала дома маму. Соседи тоже ничего не могли толком сказать о ней. Где я только ее не искала, но все было напрасно. Два дня мамы не было дома. Я уж думала, что она утонула, и целый день провела в поисках у реки. Но ей нечего было делать у воды. Ведра были полные, коромысло висело на месте. К родственникам она тоже не собиралась. Да и путь к ним неблизкий. Опять-таки одежда чистая дома лежала. А если бы поехала, то меня заранее предупредила бы. На работу в то время надо было как штык ходить, сам знаешь. Судили ведь даже за опоздания. А я не знаю уж, в каких страшных снах не побывала, совсем извелась от тревоги. Иду в школу на третий день, а навстречу мне капитан тот попался. Не знаю почему, но я вдруг ему рассказала о своей беде, а он посмеивается, лукаво так посматривает.

— Не надо беспокоиться. Не утонула ваша мама. Просто она нами задержана. Видите ли, новые доказательства появились, вот она и понадобилась для уточнения некоторых фактов. Только в связи с этим пришлось ее арестовать и допросить. Если желаете, я помогу вам устроить с ней свидание. Это не положено, но чего не сделаешь по старому знакомству. Ведь порядок у нас железный, сами знаете.

Мне словно в мозг пригоршню горячих углей высыпали. Все вспыхнуло и огнем занялось. Руки стали бессильными, и стопка книг из них вывалилась прямо под ноги. А дело было весной ранней, все дороги раскисли от грязи. Я забыла тут же об уроках и со всех ног бросилась в сторону от школы, к знакомому уже страшному дому.

Через некоторое время пришел капитан. Он позвонил куда-то по телефону и приказал привести маму. А я слез не могла сдержать.

Поверишь ли, я сразу и не узнала ее. За два дня превратилась она в крошечную, совершенно седую старуху. За каких-то два дня! Такого ужаса я в жизни еще не переживала...

Торгын смотрела в пустоту, мимо Абзала. Но тут плечи ее упали, руки подломились, и она медленно повалилась на кровать, возле которой сидела. Абзал испуганно вскочил на ноги и бросился к ней, успев подложить ей под голову подушку. Она слабо покачала головой. Попробовала сесть. Абзал помог ей.

— Прости,— сказала она.— Минутная слабость. Воздуха не хватило. Все прошло. Итак, капитан тот испугался. Он растерянно смотрел на нас поочередно. А мама заплакала:

— Торгын! Дочка, что мне здесь такое говорят? Вроде отец твой врагу продался. Мы же... Нас же убили, Торгын, живыми! Ты меня похорони, не жди, когда глаза закроются! Что это за сон страшный? Или ты раньше об этом знала?

И мы, обнявшись, зарыдали в голос, по-старинному, по-бабьи оплакивая папу.

Маму тут же снова увели. И тогда я упала на пол перед капитаном и обняла его колени. Не помню, что говорила, но умоляла выпустить мою маму.

— Через два-три часа она вернется домой,— сказал он.

Маму привезли скрытно, так что и соседи ничего не заметили. На следующий день к вечеру ее снова вызвали на допрос. Я сама пошла к капитану. Как ни в чем не бывало встретил он меня. Чисто выбрит, пахнет одеколоном, скрипит ремнями. Равнодушный, официальный. Наши страдания трогали его не больше, чем комариный писк. Да мы и были для него комариками. Наоборот, уверенности в нем будто прибавилось. Самодовольство на лице, важность. Пошел мне навстречу, а кадык по шее дергается, будто проглотить меня собирается.

— Я на все согласна,— сказала я.— Делайте со мной что хотите, но не мучайте больше мать. Хочешь, рабой своей сделай, хочешь, женой, воля твоя!

...Вот так, в мае 1944 года я стала «законной» женой человека по имени Сырдан.

Потрясенный Абзал вскочил на ноги:

— Какая неслыханная подлость!

Он заметался из угла в угол, держась руками за виски. Торгын с болью смотрела на него, и глаза ее сами наполнялись слезами.

— Откуда мне было знать, что с этого часа мои страдания только начались,— тихо сказала она.— Я-то радовалась тому, что мать освободила. Ради матери свою святую любовь в жертву принесла...

Спешно стали готовиться к свадьбе. Но все эти хлопоты прошли мимо меня. Люди, услышав о предстоящем тое, одобрительно говорили: «Хороший выбор сделала. Сейчас девушкам трудно мужей найти, а ей капитан достался». Но что знали люди? Для посторонних глаз все у нас ладно, по-людски. Учителя в школе поздравляли. А мне все одно: хоть гори вся земля синим пламенем, хоть плачь, хоть рыдай народ, хоть смейся, хоть кричи. Каменной стала. Только в голове какой-то звон, да хлопья сажи летают перед глазами. Сама себе чужая.

Лежбище у меня с этим драконом стало одно, и я всегда с холодным ужасом ждала наступления ночи. Никому, Абзал, не желаю я испытать такое, ни одной женщине. Может, в такие ночи

был зачат Гитлер?— Она слабо усмехнулась.— Вот ведь какие мысли приходят иногда. А он? Что он? Доволен, горд собой, что сумел меня победить, сломать, сожрать.

Впрочем, зачем тебе все это? С тех пор для всех реки вошли в берега и потекли по течению, а моя все вспять течет.

Вскоре он на другую работу ушел. Как это случилось, по какой причине, я и до сих пор не знаю.

— Извини, я перебью тебя, Торгын,— сказал Абзал. Ему сейчас хотелось высказать то, что давно уже накипело.— Как раз с этим все ясно. Он был хитрым, изворотливым, но случайным человеком в органах, о работе которых мне достаточно известно, и ее, поверь, трудно переоценить. Это они, чекисты, воспитывали удивительных людей, героев, легендарных разведчиков. Это они первыми приняли бой с фашистами. Иной из них стоил дивизии, а то и армии. Они боролись со шпионами, диверсантами, вредителями, политическими бандитами в тылу. Но и туда пробирались случайные люди, Торгын, корыстные, властолюбивые, чванливые. Ты не можешь представить, как это страшно! В органах, по словам Дзержинского, должны работать люди с чистыми руками, горячим сердцем и холодной головой. Это он ставил обязательным и непременным условием при отборе кадров ЧК. Может, это война открыла лазейки для тех, кого и на пушечный выстрел нельзя подпускать к органам. Но там таким не продержаться. Вот почему недолго пробыл на своей работе этот подлец, Торгын.— Абзал вздохнул.— Пользуясь общей бедой, пролез он туда и успел искалечить жизнь тебе, твоим детям, детям Абитая и его семье, да и мне, может быть...— Абзал пересел поближе к Торгын и с жалостью взглянул в ее заплаканное лицо.

— Он, оказывается, когда-то успел закончить торгово-финансовый техникум,— продолжала Торгын.— Поэтому устроился работать заместителем председателя райпотребсоюза. Вот уж где разгулялся! Как отцовское наследство, как собственный табун, стал разбазаривать государственное добро направо и налево. Любил при этом повторять: «Чем шестьдесят дней быть холощеным вьючным верблюдом, лучше один день побыть ревущим бурой».

Пыталась я сначала что-то наладить, как-то понять его, раз уж так случилось. Оттаять хотелось. Думала, раз в книге судеб так написано, ничего не изменишь, надо смириться. В это время, скажу прямо, появился на свет наш первенец. В кромешной ночи он стал для меня слабой звездочкой. Я стала молить Сырдана, чтобы он перестал обращаться с народным добром как со своим, а он будто воду в песок лил. Я твердила ему, что пропадет он, если и дальше так жить будет. Но не сумела его убедить, заставить слушать себя.

Он тогда уже крепко пил. А пьяным менялся на глазах до неузнаваемости. Трезвое легкомыслие сменялось буйством, он начинал ко всем придираться и приставать. Ни с того ни с сего скандалы закатывал. Как назло, его как начальника стали часто

приглашать в гости. Но не помню случая, чтобы он в гостях без ссоры обошелся. С кем-нибудь да сцепится. А дома зло на мне срывал, обвинял во всех грехах. А то и хвастать начинал тем, как ловко он меня в свои сети поймал, что одна из самых красивых девок Семиречья стала его, Сырдана, бабой. Ох, как больно! Как горько было! Я боялась ходить в гости и принимать кого-нибудь у себя. Тысячу отговорок найду. Не станешь же объяснять людям, что муж у тебя скандалист. Никто меня, вроде, и не заставлял, сама вышла за него. Вот и терпела.

Как раз в это время остался он на целых полгода за председателя. Теперь ему никакого удержу не было. Разве до этого он тратил, ел, пил?! Оказывается, это мелочи по сравнению с тем, что он теперь принялся вытворять. Не ел, а жрал, не пил, а спивался. Пришлось даже раза три принародно тащить его домой из канавы. Представляешь, каково мне было тогда? Я со стыда умирала перед людьми. Сырдан всем был известен, а многие знали и моего отца. Боялась я услышать в спину чье-нибудь хлесткое, как камча, слово: «Смотри-ка, какого она сумела себе мужа выбрать!» Все это болело во мне. Ведь недаром говорят: рука сломается — под рукавом не видно, череп проломится — под шапкой не видно.

Мать не переставала причитать:

— И где ты только нашла этого негодяя? Смотри, как бы совсем тебя не погубил. Убьет ведь под пьяную руку. Совсем безумный от водки делается.

А мне только и оставалось что каждый день пальцы грызть.

Однажды он снова где-то пьяный упал. Его мои школьники подняли и приволокли домой. Вот где испытала я жгучий срам! Даже мышиной норки не оказалось рядом, куда бы могла я скрыться от простодушных и сочувствующих глаз своих учеников.

В это время и ты вернулся с фронта, Абзал, слышала я, что и в школе ты побывал. Я бы на крыльях к тебе полетела, да ведь крылья мои уже сломаны были. Я бы обняла тебя крепко, но ведь объятия мои уже нечистыми были. Весь тот день я проплакала. А он снова вернулся пьяный. Я его ненавидела. Решила тогда все высказать, порвать с ним, развестись. Но куда мне было идти? Кому я была нужна с матерью-старухой да двумя детьми? Видно, суждено было сгнить заживо на его проклятом пороге. Я мечтала увидеть тебя хоть со стороны, незаметно. Говорят, в старину стала просить дочь бедняка, чтобы отпустил он ее на той. Так приставала, что он рукой махнул и сказал: «Я-то что? Непускалка не пустит. Как хочешь». Обрадовалась бедняцкая дочь и кинулась собираться. Видит, не в чем ей идти на той. Не пустила ее непускалка. Так и меня моя «непускалка» не пустила. Платье-то было целое, зато сердце голое, в лохмотьях.

Все получилось, как и должно было получиться. Вышвырнули Сырдана с работы. Все пришлось распродать, чтобы покрыть его растрату. Даже святое, что от отца памятью осталось. А что было делать, все же муж и отец двоих моих детей. Но пуще всего позор

перед людьми жег бы. С большим трудом удалось ему суда избежать.

Долго он ходил без работы. Наконец начал ныть, что уедет в свои родные места, что на моей родине его нарочно спаивают, грабят, за человека не считают, подножки ставят. Словом, винил он кого угодно, только не себя. Или кто насильно водку лил ему в горло? Или кто заставлял воровать? У подлеца тысяча оправданий. Он даже за семью ответственности ни малейшей не чувствовал. Но себя никогда не винил. Даже в мыслях такого не держал. Для него все люди подлецы, всех проклинал. Но только не себя.

В общем, уперся на своем, решил весной уезжать. А место неблизкое для такого поспешного переезда. Край земли — Кызылнар. Вот еще напасть. Со слезами пошла я к матери.

— Что я могу сказать, дочка? Я как-нибудь проживу. А если умру, приедешь на похороны. Всегда говорили, что дочь мужней земле предназначена. Я тоже к отцу твоему аж из самого Баянаула приехала. Да и не земная даль пугает, а даль между вами. Боюсь я, что без помощи останетесь вы в чужом краю. Трудно ждать хорошего от такого легкомысленного человека. Делят степь и горы на аргынские, дулатские, уйсунские, кипчакские, делят людей на роды, орды, жузы и племена. А ведь все казахи. Для хорошего человека везде место найдется, откуда бы он ни был. А плохой человек и на своей земле места не найдет. Делать нечего, придется тебе ехать. Езжай! Может, найдешь там счастье, и твое солнце зажжется. Может, его родичи сумеют повлиять на него...

Оставила я в родном краю рыдающую мать. Сама в тоске и слезах уехала. Слова мамы оказались пророческими. Не приняла нас та земля, и там мы не к месту оказались. За какой-то год успел он насмерть перессориться со всеми своими родственниками. Раньше цветочки, оказывается, были. Там он перестал сдерживаться, совсем распоясался. В пьяном виде стал то с топором, то с ножом на меня бросаться. Третий наш ребенок родился там. Родился ненормальным. Как я плакала, с какими мольбами к богу обращалась, если бы ты только знал! И всегда смирялась, считая все свои страдания наказанием за тебя, Абзал. Если вру, то пусть эта ночь будет для меня последней!

Мать, ты сам знаешь, во всем слушалась отца, и в нашей той, далекой, жизни все было правильно, жили хорошо. Меня так же воспитывали. Мужчина — хозяин, глава в доме. Я и старалась ничего ему против не говорить, без нужды не прекословить. На слова его обидные молчала, побои терпела, все прощала. Все ждала и надеялась, что сам одумается, возьмется за ум и станем мы жить по-людски, хоть и без радости, но и без особой печали. Война проклятая не только закалила, но и сломала многих, одних сделала мудрыми, а иных разбаловала. Я и ждала, что время всех нас излечит, все на свои места поставит.

Всюду война оставила свой тяжелый след. Всем плохо прихо-

дилось. Какие бы ни были родственники, но у каждого свои заботы, своя жизнь. А нас целых пять душ. Может, и помогли бы нам люди, да ведь кто захочет поддержать такого, как Сырдан? На всех собакой рычит, зубы показывает, за палку хватается. Так и всех родичей от себя отдалил, всех разогнал. Несладко им от него пришлось. Но меня жалели. Стали уговаривать снова уехать на родину, к матери. Да и самим бы им без нас спокойнее было. Я не обижалась, радовалась таким словам, потому что появилась причина уехать к себе, к матери, в родные с детства края.

Словом, однажды в Сарканде очутилась. В старый наш район ехать стыд не позволил. Да и с чем бы мы поехали туда? Одно было утешение, что мама теперь почти рядом. Я снова стала в школе работать. Сырдан — в колхозе. А благополучия все так и не было. Растеряли мы его. Нигде он больше года не работал. То уволят, то под сокращение попадет. Детей все больше, достатка все меньше. Если другие люди стали подниматься на ноги после войны, то мы наоборот. Дом наш все стороной обходили, чашки чая не зайдут выпить. В бытность отца, помню, дастархан почти не убирался, всегда было готово угощение для множества гостей. А тут как в склепе жили. Меня это тоже мучило. Мужчина, если он только пыжится, а дело у него не идет, если бахвалится, а путного ничего не скажет если петушится, а характер у него вздорный, то не только жена, но и дети перестают считаться с ним. Что дома он, что нет его — все равно.

Вот в каком положении оказались мы, когда вы приехали в поисках своих чемоданов. К тому времени он и вовсе ничтожным стал. От прошлого щеголеватого капитана и следа не осталось. Опустился — дальше некуда. Стал неразборчив в знакомствах. С какими-то мальчишками якшался, в мяч играл. С ними же и водку пил. Как выпьет — житья не дает. А я по-прежнему старалась скрыть от людей все, что могла. Все прорехи сама затыкала. Словом, сверху цело, внутри дым. Как я испугалась, когда ты сам так неожиданно приехал в мой постылый дом! Одна мысль, один страх: бежать! Сначала я даже оцепенела. Мой стыд, мой позор, мои беды — как я покажу их тебе?! Все мое существо кричало об одном: исчезнуть! И я убежала. Не за водой. То было паническое бегство.

До позднего вечера просидела в тот день у воды. И, наверное, вода в реке стала соленой, как в море. Так долго я плакала. И на работу не пошла. А вернулась домой — меня встретила привычная брань, очередной скандал.

Но зато приняла я наконец окончательное решение. Твое появление разожгло давно потухшие угольки в моей душе. Почему я так живу? До каких пор буду терпеть и ползать у ног подлеца покорной рабой?! Ведь я человек! Я прежняя Торгын, дочь Толыбая! Разве не меня любил такой джигит, как Абзал?! Доколе же в бездну катиться?! Сказала себе: «Встряхнись! Сбрось ветхий плащ горя, страданий, унижений! Расправь плечи, подними голову!

Если тебя судьба растоптала, то почему должен измываться над тобой чужой и ненавистный человек?»

И я встряхнулась. Сумела, Абзал. Мне никогда уже не суждено было выпрямиться во весь рост, как горбатому, но голову поднять сумела. Стала бороться за свое достоинство и за будущее своих детей. Реже теперь плакала, потому что в слезах не видела толку. Подготовилась и поступила учиться заочно. Окончила институт. В себе и в окружающих искала силы. Поняла, что Сырдана исправит только могила, потому что он давно уже был нравственно горбатым. Ни жизнь, ни ошибки, ни время ничему его больше не научат. Но при прежней моей пассивности он бы непременно искалечил и детей. А их вина в чем? Нет, я должна была думать о них. Скажу честно, не раз помышляла покончить с собой. И только их беспомощные ручонки удерживали меня от непоправимого шага. Они были звездочками моими путеводными в сплошной ночи. Надо было жить. А если жить, то только по-человечески. С мужем мне не повезло. В этом тоже война виновата. Пуля, которая не попала в тебя, ударила в мою грудь. Но она и тебя ранила, Абзал. Да и сети, из которых до сих пор я не вырвалась, раскинула та же война. А кого, скажи, она пожалела? Вместе со всеми ранеными и искалеченными войной я должна была строить заново свою жизнь.

Так медленно зажигался для меня огонь надежды, заживали и крепли крылья.

Теперь наши с Сырданом роли переменились. Все больше мужские дела и заботы переходили ко мне, а мелкие хозяйственные и кухонные хлопоты остались на его долю. О, теперь я его крикам и скандалам поставила заслон. Но не сразу. Сначала я научилась не обращать внимания на его выходки. Но вскоре заметила некоторые изменения и в своем характере. Если раньше молчала, то теперь все чаще огрызалась. Не скажу, что это мне нравилось. Но иного пути я просто не видела. Крикливой стала. Может, терпение мое кончилось, а может, гнев так изливался? Не знаю. Но заметила и старалась себя сдерживать. Стыдно было до его уровня опускаться.

...Я постоянно следила за твоей жизнью. Ты много писал в газеты, журналы. Я все читала, и это оказало на меня большое влияние. Знающий человек — зрячий. Ты мог доступно и ясно решать очень сложные проблемы. Тебе все свободно давалось. Во всяком случае, мне так казалось. Некоторые тайны физики и математики ты раскрывал так просто, что они стали понятными и мне, филологу. А сколько было написано тобой о философских задачах и педагогических проблемах! Я сама учитель и могу сказать тебе, что это были глубокие, умные мысли. Я вырезала все твои публикации, читала детям. А потом вдруг почувствовала, что и мне есть что сказать людям. Робко взялась за перо. Но дело пошло. Я даже сумела кое-что сделать в своей области. В школе это принесло мне авторитет и уважение. Даже районные руково-

дители обратили на меня внимание. Я вступила в партию. Стала завучем. Не раз делала доклады на областных и республиканских педагогических совещаниях и конференциях. Оказывается, не все человеческое сумел убить во мне Сырдан. Появилась уверенность в себе, и эта уверенность с каждым днем все крепла. Я теперь жила, и это самое главное.

Однажды я съездила в тот аул, где ты родился. Узнала о том, что после войны многим помог ты встать на ноги, помог получить образование. Всех под крыло свое взял. Твой свет для них негасим. О тебе в ауле легенды рассказывают. Да, сумел ты стать солнцем для родного аула. Имя твое не сходит с уст ни старого ни малого. «Наш Абзал!» Они гордятся тем, что ты родился у них.

Из той поездки я вернулась гордая и зареванная. «Наш Абзал!» Они имели право так говорить. Когда-то и я говорила: мой Абзал! А теперь я потеряла на это право, и навсегда. Одно меня поразило в вашем ауле: исключительное желание и рвение молодежи учиться, учиться и учиться. Ты для них высокий пример, Абзал. «Видите,— говорят твои родичи,— Абзал всегда учился. Каким человеком стал!» Ты просто педагогическая находка для школьных учителей. Ведь на близком и конкретном примере воспитывать легче. Я это приняла к сведению и старалась использовать этот опыт в нашей районной школе. Прости, нашла тогда повод без конца и без пользы повторять твое имя вслух. Дура я, баба! А все легче на душе. Кажется, к тебе обращалась, с тобой разговаривала. Тем и счастлива была и благодарна судьбе за все, что связано с тобой.

Как-то портрет твой опубликовали в журнале «Билим жане енбек»[1]. Я и его тайком вырезала. С этого и пошло начало большого скандала. Сырдан в то время тоже изменился. Он стал похож на виноватую, побитую собачонку. Но лишь до тех пор, пока не выпьет. Как человек он давно перестал для меня существовать. О том, что в доме есть мужчина, напоминала лишь одна из двух рядом стоящих кроватей. О том, что он еще жив, говорили лишь крики малышей. Но подрастут те чуть-чуть — и они его за человека не считают. Тут уж я ничего не могла поделать. В общем, носят его фамилию, и только. Он «воспитывал» их по-своему, от противного. Перед собой они видели образец человека, каким не надо быть.

Я уже говорила, что привыкла к его брани. Подумала, очередная вспышка. Но нет, наскакивает, гляжу, с кулаками. Оттолкнула, скорее удивленная, чем испуганная.

Во время ссор рот его такую погань изрыгает, что уши вянут. Чего только не наболтает! Кого только в любовники мне не пихнет! Вот и теперь: «Ты шлюха, ты девка! Завучем стала только потому, что с секретарем райкома спуталась! Вот тебя и выдвинули, курва глазастая! Какой из этих щенков мой? Нет, не мои, сука

[1] «Знание и труд».

бесхвостая!» И пошло, и поехало. А я ноль внимания. Привыкла и похлеще выслушивать. Видно, крепко на этот раз выпил. Что-то больше обычного разъярен. Раньше себя заводил на крик, а тут сразу вскипел. Орал, орал и вдруг откуда-то приволок целую связку пожелтелой бумаги и с визгом швырнул мне под ноги.

— На, мразь, читай письма своего возлюбленного! Ты же их так ждала все эти годы! С собой в постель возьми! Спи с ними! А я и в сортире употребить их брезгую. На, подавись! Может, жажду утолишь свою!

Дети из дома вон бросились. У них уже рефлекс на отцовские крики выработался. Несчастные, каких только слов не наслышались они от отца! Почувствовали приближение новой бури и, распахнув глазенки, бросились искать защиты кто где.

Смотрю, а это действительно твои письма, те самые письма, которых не было целых два года. Только теперь поняла, в чьи руки они попадали, кто, воспользовавшись своим служебным положением, сделал так, что они не доходили до меня.

Порвалась последняя нить терпения. Последняя капля высохла. Он предстал передо мной не просто обделенным природой ничтожеством, а коварным злодеем. Какая подлость!

Возненавидела я себя, а к нему почувствовала вообще непреодолимое отвращение. Как же я столько лет прожила рядом с подонком, была женой и не поняла, с кем ложе делила?! Кто же я, всю долгую жизнь отогревавшая змею? Кто я, поддерживавшая подлеца? Посуда терпит годы, а бьется в один миг. Я подала заявление на развод. Сырдан этого, видно, никак не ожидал. Он стал умолять меня отказаться от своего решения, которое считал опрометчивым. Он даже просил лучше убить его, только не бросать в его положении. Говорил, что это неблагородно. О детях твердил, их именем заклинал. Но я стояла на своем. Пошла к секретарю райкома и все ему рассказала. Он помог мне. Я разошлась с негодяем и наконец избавилась от своего мучителя.

Прозрела как-то. Но Сырдан не оставил нас в покое. Несколько раз приходил пьяный, грозился убить. Я вызывала милицию, и его сажали. Так повторялось много раз и наконец он перестал наносить ненавистные визиты. Потом я слышала от кого-то, что он стал кляузником. Спутался с себе подобной женщиной-алкоголичкой и строчит жалобы на всех и всякого, всюду «справедливости» ищет, «правдолюбцем» себя мнит, «борцом», единственным в этом мире. К такому закономерному концу он и пришел. Мир устроен справедливо, и сама жизнь выносит свои приговоры.

Вот как била меня судьба. Может, ты не поверишь? Решишь, что это обида разведенной жены говорит? Подумаешь, если не было ничего общего, что же удерживало нас вместе столько лет? Тебе понять трудно, потому что сам ты такого не пережил. Я не жду прощения. Может, жизнь моя — наказание за предательство...

Ну вот, казалось, наконец-то вздохнула свободно, начну жить

полнокровной жизнью, без издевательств Сырдана, а тут болезнь подкралась. Ничего есть не могу, пища комом стоит в горле. Вот и приехала провериться. Боюсь, что это рак. Мало удушья, которое мучило меня всю жизнь, так теперь новая беда. Видно, очень сильным было проклятие...

На протяжении всего рассказа Торгын старалась крепиться, владела собой, разговаривала даже чересчур спокойно, а на последней фразе голос ее вдруг сорвался.

— Не тревожься, Торгын,— сказал Абзал дрогнувшим от жалости голосом.— Все обойдется. Я никогда тебя не проклинал. Обижался, но не проклинал. За нуждой приходит достаток, как за ночью день. Так говорят. Нет здесь никакой твоей вины. Я теперь все понял. Прости меня. Да, одну тебя винил, не зная, как было тебе трудно.

Он прижал голову Торгын к своей груди, провел ладонью по волосам. Потоньшала коса ее, потускнела. Когда он вошел в комнату, ему показалось, короной на голове лежала, а вышло, что тощим жгутом свернулась. Торгын ее на плечи сбросила, может, чтобы вспомнить ту единственную ночь. Сжалось сердце. Абзал еще раз провел рукой по косе. Но все умерло. Тот прежний трепет и полнота нежности. Лишь жалость осталась. Одна жалость. И боль. Торгын затихла, замерла, как озябшая птичка, словно боясь что-то вспугнуть. Она снова стала той прежней девочкой, только обиженной, всхлипывающей. Но прежней, хоть на миг. На миг горького счастья, короткого сна. Она закрыла глаза, чтобы продлить эту боль. И боль редкими слезинками пробивалась сквозь ресницы и скатывалась на ее колени...

— Апырай,— глубоко вздохнул Абзал,— как хорошо, что ты приехала! Какую тяжелую книгу написала о тебе жизнь. Жертвы войны... И такими они, оказывается, бывали. Мы на ней четыре года страдали, а ты больше двадцати. И в плену, выходит, побывала. Места необожженного, неисколотого на твоем теле, в душе твоей не осталось. И с этим растоптанным сердцем ты вернулась в жизнь, я преклоняюсь перед тобой, Торгын! По-настоящему любить жизнь умеешь ты. Но не только на твою голову столько горя выпало. Вспомни о брошенных детях, о тех подранках войны, которые ждали прославленных отцов, забывших о них. Взрослые, они не прощают обид. Вспомни о юных женщинах, ждавших мужей, которые вернулись, предав их верность. И фронтовики разные были. Война очистила огнем, выявив не только мужество, истинный патриотизм, она обнажила подлость, жестокость в сердцах. На самых точных весах определила сущность каждого. Она столкнула в открытом и беспощадном поединке человечность и жестокость, подлость и благородство, справедливость и произвол. Ты не мучай себя, Торгын. Честь твоя, человечность твоя выдержали все испытания. Ты чиста. Твои муки тому свидетельство.

А из глаз Торгын бежали частые слезы, бусинками скатыва-

лись одна за другой. И чем больше этих бусинок, тем сильнее прижималась она лицом к груди Абзала. Ей казалось, что не скупой ладонью ласкает он ее, а всем сердцем. Оторвалась от него, упала спиной на кровать и раскинула руки, словно хотела обнять. Раскрылась навстречу чему-то новому и радостному.

Абзал вздрогнул. В нем словно с новой силой вспыхнуло прежнее пламя. Беспомощной, ждущей, как ждет влаги цветок, нежной показалась ему Торгын. Он задрожал. Торгын словно ждала его прихода, словно хотела впустить его, желанного, в себя. Дыхание ее было ровным, глаза закрыты, губы дрожали, а высокие груди так и манили прикоснуться к ним. Красивой и юной, как прежде, предстала перед Абзалом Торгын. С жалостью и болью смотрел он на нее, устыдившись своего порыва. Конечно, нет прошлого. Нет к нему возврата. Об этом ясно говорит дряблая кожа под ее глазами, морщинки в углах губ, синева усталых век. Да, ему показалось. Вот и складки на шее... Только глаза прежние. Но она закрыла их от него. Может, она боится, что в них он снова прочтет всю ее тяжелую жизнь, и не хочет этого? Какой-то бесенок все прыгал и визжал, толкая его к ней. С трудом отогнал его Абзал, укротил. Нет, любви нельзя быть доступной. Она должна быть как цветок на вершине горы. Как эдельвейс. И не всегда его надо срывать.

Абзал посмотрел на часы. Поздно уже. Три ночи. У младшего была привычка ждать отца у окна, если тот приходил поздно. Ему показалось, что малыш до сих пор не спит. Он вздрогнул, ощутив прилив нежности к сыну. Да и Сандугаш наверняка не ложится.

Он взял Торгын за плечо, и она послушно встала. Абзал вытер ладонью ее мокрые глаза, прикоснулся губами к похолодевшему лбу. Оба молчали, испытывая неловкость.

Абзал позвонил в гараж и вызвал машину...

На следующий день он помог переехать Торгын в более удобный номер-люкс, договорился с профессорами-онкологами о консультации. В конце концов тревога оказалась напрасной, рака у Торгын не обнаружили. Неделю она гостила в городе, и Абзал сделал все, чтобы она не скучала. Но домой не пригласил. Потом он накупил ей и детям подарков и проводил в путь.

Вот и с той встречи прошло уже немало лет. Верно говорят, что до тридцати годы идут, а после катятся. Каждый праздник он поздравлял ее, не забывал писать, и она отвечала аккуратно, пока неожиданно снова не замолчала. Или что-то изменилось в ее судьбе? Может, Сырдан вернулся? Кто знает...

Жизнь побила несчастную, как неумелый наездник породистого скакуна. И седло сползло на шею, и подпруга оказалась слабой, и узда изодрала скулы. Когда-то при одном имени Толыбая люди вставали с места, завидев Торгын, забывали обо всем на свете. Слухи о том, что отец ее попал в плен, оказались верными. В неволе он и умер. Но он не был предателем. Нельзя же огульно

винить всех, кто попал в руки врага. В основном, это были честные люди, на долю которых выпало самое тяжкое, и они мужественно прошли все круги фашистского ада. Не надо забывать, что среди них были и люди с несгибаемой волей, такие как генерал Карбышев, поэт Муса Джалиль... Сила духа их до сих пор служит образцом и примером стойкости. Даже после смерти они воспитывают нас. А сколько стойких борцов и героев остались безвестными!

Судьба исковеркала Торгын. Ушел из жизни ее отец. Страшной и нелепой смертью погибла мать: ее сбила машина. А какая семья была в свое время! И во всем этом виновата война.

VII

Приезд Каната воскресил в душе Абзала прошлое. Мальчик снова протянул нить между ними, невольно вернув Абзала в детство и в войну, в маленький аул, в его добрую колыбель...

О прошлом напоминают старые друзья, собственная память и дети. Когда видишь их, то острее начинаешь ценить и понимать настоящее счастье. Не забывай, откуда ты вышел и кем стал, не забывай ничего, не отворачивайся от людей, помни о прошлом.

Но одно из этого давнего пугает Абзала. Это любовь к Торгын. Не мешает ли она чисто и глубоко любить Сандугаш, не растратил ли он себя, не обманывает ли ее? Нет-нет, прошлое никогда не встанет между ними. Он счастлив с женой, с нею жизнь его полна. Сандугаш мать двоих его детей. Прекрасная мать и большого сердца человек. Может, благодаря ей достиг он чего-то в жизни. Она всегда была другом и опорой ему. Упорным трудом своим Абзал многого добился, но что если рядом была бы не Сандугаш, а Сырдан в платье? Сумел бы он вырваться из пут, как Торгын?.. Да благословят добрые силы его Сандугаш!

Одна только судьба Торгын заставила его побывать во многих местах, многие дороги пройти, многих людей узнать, целые годы перепахать. Вехой на его пути стала она, чтобы не забывал мертвых и помнил о живых. Двадцать миллионов жизней унесла война. Знакомая цифра, а сколько жертв иных, кто считал? Мы помним о павших и чтим их память. Но какие почести следует воздать таким, как Торгын? Склонить голову? А не мало ли будет этого?

Абзал поможет Канату. Нет, не звонком, не протекцией. Торгын может не тревожиться за будущее сына. Он сделает все, чтобы тот стал Человеком!

Абзал нажал на кнопку звонка, вызывая секретаршу.

За окном летела ранняя стая перелетных птиц. Летела, как его воспоминания. И было много печали в этом безмолвном полете. За нею напрасно спешили прозрачные шелковинки бабьего лета, невесомые, легкие. Может быть, среди них плыла и чья-то одна, нежная... Торгын.

СОДЕРЖАНИЕ

КАКИМЖАН КАЗЫБАЕВ

НАКАЗ

Роман и повести

Перевод с казахского

569

Редактор *М. Жанузакова*
Рецензенты *Г. Черноголовина, Б. Канапьянов*
Художник *А. Тленшиев*
Худож. редактор *Н. Буба*
Техн. редактор *О. Пегова*
Корректор *С. Сулейменова*

ИБ № 2135

Сдано в набор 7. 06. 82. Подписано в печать 21.10. 82. Формат 60×90¹/₁₆. Бумага тип. № 1. Гарнитура обыкновенно-новая. Печать высокая. Усл. п. л. 20,5. Уч.-изд. л. 23,2. Тираж 50 000 экз. Заказ № 902. Цена 1 р. 80 к.

Издательство «Жалын» Государственного комитета Казахской ССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли,
480124, г. Алма-Ата, пр. Абая, 143.
Фабрика книги производственного объединения полиграфических предприятий «Кітап» Государственного комитета Казахской ССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли,
480124, г. Алма-Ата, пр. Гагарина, 93.


Какимжан Казыбаев
Наказ